

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 1

Евгений Витковский

I

Есть народ киммерийский и город Киммерион, покрытый облаками и туманом: ибо солнце не озаряет сей печальной страны, где беспрестанно царствует глубокая ночь.

Николай Карамзин. История Государства Российского.

Пушные товары, еще семга, лососина, сиг. Этими товарами тысячу лет назад выплачивала Киммерия дань Великому Новгороду, а тот переправлял товары в Киев. Это была «печорская дань»: так Новгород расплачивался с великим князем за право владения землями Печоры и теми, что дальше к востоку. А к востоку от Печоры лежала Киммерия; к новгородским владениям она не относилась, но киммерийские князья Миноевичи предпочитали не воевать со свирепым соседом, дешевле было выложить кое-какую необременительную дань. С востока Киммерию надежно защищал Уральский хребет, на юге агонизировала в усобицах Угрская Биармия, к северу лежало ледовитое море. Владения Киммерии до него не простирались, но, видимо, какие-то древние предки киммерийцев у какого-то моря жили. В разговорном даже языке сохранилось слово, которым эти пространства соленой воды обозначались. Звучало красиво — «таласса».

Пушные товары, еще семга, лососина, сиг. Торговец-офеня мог и теперь загрузить оба заплечных мешка этими товарами. Не оскудели ни леса Киммерии, ни полноводный Рифей, — но стало это невыгодно. Нынче поставляла Киммерия всему крещеному и некрещеному миру единственный товар. Постороннему глазу он мог показаться хитрой переделкой богородской игрушки, прикрепленной к плоской тарелке, но посвященные в тайну звали его старинным, нежным русским словом «молясина». Только киммерийские мастера владели тайной — как по-настоящему благолепно, душевно, притом прочно сработать настоящую молясину. На любой толк. Деревянную, костяную, золотую, бронзовую, перелетную, говорящую. Поэтому оба мешка человека, притворившегося офеней, были набиты аккуратно завернутыми в оленью замшу молясинами. Самыми разнообразными, как у настоящего офени-расторгуевца, такого, которому в любой избе дверь отворят, не обидят, пригрянут, последним куском поделаются, переночевать пустят. Потому как обидеть офеню с молясинами издревле считалось на Руси тягчайшим грехом, куда хуже, чем церковь ограбить.

Веденей в последний раз оглянулся через реку на родной город — стоящий среди полноводного Рифея на сорока островах Киммерион. Потом размахисто, на офенский манер перекрестился двойным крестом: сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево. Потом нахлобучил шапку и побрел от склизкого

берега на запад. Болотные сапоги тонули в трясине почти по колено, но путник не опасался, каждый киммериец с детства знает, что под Змеиной Грязью лежит слой вечной мерзлоты. Всей-то глубины здесь в весеннюю оттепель менее аршина. Да и вообще на этот левый, низкий берег Рифея редко кто забирается, ведет вдоль него неприятная Свилеватая Тропка, природная граница Киммерии. Впрочем, хорошо в этих местах клюкву брать, она тут чуть не круглый год, разнообразная, — а наилучшая идет для теремного квасу. Для того, которым в горячих термах на каменку плеснуть хорошо.

Вспомнив родные киммерийские термы, Веденей вздохнул и потянулся за термосом. Предмет сей, в глубокой древности изобретенный на Рифее, был громоздок, но на первую неделю пути необходим. Киммерийский термос являл собою полый мамонтовый бивень с откачанным из него воздухом. Внутри помещался извилистый, специально по форме бивня выдутый сосуд. В сосуд заливался горячий квас-теремник, густой от пряностей и частичек клюквы; все это затыкалось притертой пробкой из мамонтовой кости. Считалось, что тепло в таком термосе держится сорок четыре года, и квас не портится. Но какой же киммериец не любит горячего квасу, кто же станет терпеть сорок четыре года? Он свой квас еще до вечера выпьет. Веденей отхлебнул. Квас, прощальный привет родного края, предстояло растянуть на полную киммерийскую неделю, в которой — так уж издревле установлено — двенадцать дней. За это время Веденей надеялся дойти до первой остановки, до хутора Потихому-Замётано. Конечно, если он вообще туда дойдет. Если вообще выйдет из Киммерии. Если проводник вовремя явится в лесу, если Змей не заупрямится, а также если за последние полвека в Потихому-Замётане ничего не приключилось плохого. Именно полвека прошло с тех пор, как последний киммериец вышел во Внешнюю Россию этой тайной, трясинной дорогой.

Великий Змей, дряхлый остаток дочеловеческого величия Земли, был не просто связан с Киммерией, — он являлся ее границей. Это его грязную и скользкую спину стыдливо именовали киммерийцы Свилеватой Тропкой. Если время в Киммерии Рифейской текло почти так, как в остальном мире, только медленней — ровно, без больших событий, как в Древнем Египте — то для Змея, кажется, оно почти вовсе не текло. Вся страна очертаниями повторяла его, только Египет лежал вдоль Нила, а Киммерия лежала вдоль Рифея. Впрочем, обе реки текли на север. И само название страны считалось древнеегипетским; «Кеми» — так называли свою страну фараоны.

Чего ради приблизительно в девятнадцатом столетии до Рождества Христова предки нынешних киммерийцев ушли из Египта? Или не из Египта, хотя похоже, что из него, оттуда потом многие драпали; шли куда-то без тропы и без дороги, шли, шли, да и пришли на Северный Урал, где расселились по берегам необыкновенно теплой реки, названной ими Рифеем? Свое летоисчисление они по сей день вели со дня основания главного города, Киммериона, и год Первый по-киммерийски означал по-европейски год до Рождества Христова одна тысяча восемьсот седьмой. Иди проверь теперь, точная дата, неточная...

Город располагался в таком месте, где река, окончательно спустившись с хребта Поясовый Камень, разливалась вширь, обтекая сорок высоких, удобных для

обитания человека островов. Но, может быть, древние киммерийцы были выходцами из Кро-Маньона? С Крита? Из Камеруна? Темна древность киммерийская, да и ничем особо не важна пока что для нашего повествования: всё, что надо, рассказал о ней на первой же странице своей «Истории Государства Российского» славный историк Комарзин, фамилию которого западные русичи на свой лад переиначили.

Великий Змей возлежал вокруг Киммерии, пытаясь уберечь тепло этой земли, — не для людей, конечно, а для себя; его древнему пресмыкающемуся телу тепло требовалось для выживания. Он и сам не помнил тех времен, когда его еще не ужавшееся тело обнимало всю земную плоскость, все три страны света, какие тогда были — Европу, Азию и Африку. Он давно усох, но и нынче был не мал, — почти тысяча верст по каждому берегу Рифея, да еще немного поперек на севере и на юге: словом, не Всемирный он был теперь Змей, но все равно Великий. На восточном, низком берегу он приятно полёживал в трясине, правым боком впитывая теплоту речной воды, от удовольствия подергиваясь, и тогда встряхивало весь Киммерион, а сильнее всего — самый западный остров города, наименованный за такую беду Землей Святого Витта. Змей тянул свое тело к северу, до самого впадения Рифея в заполярную реку Кару, по которой проведена умниками граница между Европой и Азией; там, на севере, он уютно лежал на речном дне, прижимаясь к теплой отмели Рачий Холуй, образованной тем, что при впадении в Кару Рифей раздавался на два рукава. Потом тело Змея, сухое, жуткое, чешуйчатое, вскарабкивалось на Азиатские отроги Урала, а дальше протягивалось к югу, свисая с правого, высокого берега Рифея, опять-таки всеми силами впитывая идущее от воды тепло. Дотянувшись до хребта Поясовый Камень, Змей сворачивал к западу, и вновь объявлялся с европейской стороны под стыдливым названием Свилеватая Тропка. Верховья Рифея Змей пересекал в совсем узком месте, известном как Уральское Междозубье, пришлым ученым он казался рекой с глупым названием Илыч; был тот Илыч какими-то мудрецами закартографирован, хотя нет его на самом деле и никогда не будет. А кто картам больше верит, чем Истине, тот сам натуральный Илыч на последней стадии.

Переступить через Змея человеку без воли древней рептилии было не дано: хитрый реликт мезозойской эры, занимаясь традиционным глотанием собственного хвоста, в незапамятные времена вывернулся, и теперь являл собою Великого Ленточного Змея Мёбиуса. Кто бы ни шагнул на него, сразу попадал на одностороннюю поверхность, с которой, как даже малым детям известно, выхода нет. Вот ежели б Его Допотопное Величество Змей соизволил вытащить жеваный хвост из пасти — тогда другое дело, тогда дорога была бы свободна. Но где именно смыкались голов а и хвост чудовища — по киммерийскому поверью знал только один человек, странник тайги Чердынской и Печерской, Мирон Павлович Вергизов, иначе именуемый Змееблустителем. На него и рассчитывал Веденей как на проводника. По крайней мере, такой проводник был ему предсказан.

За Свилеватой Тропкой лежала Внешняя Русь, Великое Герцогство Коми, со всеми лагерями, шахтами, гравийными карьерами, экономическими проблемами

и прочим, чего Киммерия на своей территории не имела и никогда не потерпела бы. Единственный постоянный путь из Киммерии вел с южного острова Лисий Хвост через пещеру в тридцать верст длиной. Пещера пролегла под дном Рифея и под пузом Змея, через Великую Яшмовую Нору выходила под утёсами в Русь. По пещере бесстрашным офеням приходилось топтать тридцать верст в полной темноте, по пояс в углекислоте, из-за которой там ни собаку провести нельзя — подохнет, ни факел зажечь — погаснет. Но офени приходили в Киммерион каждый Божий день, таща короба с дорогой косметикой, батарейками к радиоприемникам, новейшими компьютерными играми, компакт-дисками, растворимым кофе и прочим, чего многоумелые киммерийцы все-таки не производили у себя дома. Самые смелые офени тащили в Киммерион из далекого Арясина мешки с чертовой жилой, чертовой кожей, чертовым клеем и прочими предметами, необходимыми для производства наилучших молясин, словом, с товарами, среди которых давно уже не самыми дорогими числились дивные арясинские кружева, пуд которых, пропущенный через венчальное кольцо, поныне составлял неперменный атрибут любой киммерийской свадьбы. Ну, а из Киммерии офени тащили на собственном горбу только один товар, самый выгодный, посторонним ничего не говорящий — молясины. Духовный товар, только для посвященных.

Офени ревниво оберегали свою дорогу от слишком зоркого ока Внешней Руси, но не от киммерийцев: те по доброй воле с благословенных берегов Рифея не уходили. Лишь раз в полвека снаряжала Киммерия во внешний мир ходока-познавателя, обходившего дозором всё, достойное внимания. Ходок возвращался через год-другой, полностью потеряв и физическое и душевное здоровье, а потом жил на казенных харчах, повествуя старым и малым небылицы и рокоча новые былины. Киммерия бывала на полвека сыта новостями, страна это была не ленивая, но по лишнему никогда не любопытствующая. И вот неумолимые полвека опять истекли, и жребий идти во Внешнюю Русь выпал Веденею — потомственному гипофету, иначе говоря, толкователю речений Сивиллы Киммерийской.

Казенный писарь выправил документы: по ним уроженец села Медвежий Остров Киммерийской волости Чердынского уезда Пермской губернии был откомандирован в Арясин Тверской губернии по вопросам оптовых поставок кружевных изделий для ритуальных и церемониальных нужд. Сто лет назад такой документ сработал отлично, а вот пятьдесят лет тому... Лучше не вспоминать, что приключилось с ходоком в тот раз. Тогдашний ходок вместо Внешней Руси угодил в город Берлин, водрузил над раздолбанным тамошним горсоветом свое красное, киммерийской кошенилью крашенное одеяло — и лишь после трех побегов из разных лагерей сумел вернуться домой. Веденей Хладимирович Иммер надеялся, что у него приключений будет поменьше. Он закрыл термос и спрятал под плащ. Бездорожье уводило прочь от берега, вверх, к водоразделу, которым здесь служила Свилеватая тропка. Её без провожатого путешественник и увидеть-то боялся. Выискивая места потверже, Веденей ломился через мелколесье, стараясь не ощущать того ужаса, который живет в подсознании каждого киммерийца — ужаса перед Внешним Миром.

«Как заблудишься — ОН к тебе выйдет» — напутствовала Веденя градоправительница Киммериона, кирия Александра Грек. Веденю казалось, что он вообще-то уже достаточно заблудился. Закат стал менять краски, а провожатый все не возникал. На шестидесятой с чем-то параллели в марте сумерки наступают рано, хотя медленно, к тому же в лесу разного зверья полно. Из оружия имел при себе Веденей только термос; когда-то он мамонту служил хорошей защитой, но очень уж это давно было. Да и квас жалко. Земля под ногами круто пошла вверх, Веденей огляделся и понял, что блуждания кончились: долгожданный провожатый появился среди подгнивших черных елей.

Человек возник не сразу, не весь: сперва он был частью ствола, потом расплылся тенью на фоне заката, от тени отделился тонкий контур, а тот и вовсе повернулся боком, будто бумажный лист, мелькнула шапка волос, но оказалась не шевелюрой, а капюшоном, затем фигура возникла снова, волчьим прыжком рванулась к Веденю — и замерла в трех шагах от киммерийца. Веденей не смог бы сказать точно, подошел человек, подплыл или подлетел вот сюда, на сухую кочку. Человек был стар и сгорблен, однако очень высок — на полголовы выше киммерийца. Он кутался в широкий плащ, на лицо спадал остроклювый капюшон. Верхняя часть лица была скрыта, но подбородок торчал наружу, и Веденей отметил про себя, что старец гладко выбрит. «Специально для встречи со мной брился, что ли?» Веденей никогда прежде не видел Вергизова, но признал его мгновенно. Старик заговорил хриплым — от долгого молчания, надо думать — голосом.

— Пушные товары, семга, лососина, сиг? А может быть, точильный камень? — Не дожидаясь ответа, старец гибкими пальцами таможенника заскользил по мешкам Веденя. По выемкам и округлостям он распознавал стойки, фигурки, круги, молоты, — всё, из чего состоит средней цены молясина, — слишком дорогих товаров на всякий случай в мешок Веденю класть не стали. Разное слышал гипофет о Вечном Страннике, но никто не говорил ему, что здесь, у Свилевой тропки, старец выполняет функции таможенника. У хребта Великого Змея!..

— Идем, — сказал старик неожиданно сильным и красивым голосом, — Идем — к брошенным деревням, к бедным городам, к грязным рекам, к стонущим поселянам, к хрипящим бурлакам, к дедам, к отцам, внукам, ко всем, кто уже загублен, ко всем, кого губят сейчас. Идем, Веденей Иммер, гипофет Старой Сивиллы! Идем. Отворяю врата.

Веденей струхнул и попятился, — притом не зря. Вечный Странник извлек из складок плаща двуххвостый, свернутый в форме лозы жезл и взялся за концы обеими руками. Круглая рамка дрогнула и поплыла над землей. Старик двинулся по склону вверх, вглубь лесонтудры. Веденей ухватился за полу его плаща и пытался не отставать. Через полверсты рамка дрогнула и завибрировала. Из лозы выпрыгнула искра, ударила в землю; во мгновенном свете Веденей увидел, что стоят они совсем рядом с широкой, светло-зеленой полосой — со Свилевой Тропкой. Земля дрогнула. Кажется, старец и вправду знал — где у Змея голова, где хвост, где они сливаются в одно целое.

Дрожь в почве нарастала. Веденей опасался, что завалится на спину; мешки здорово мешали. Он приготовился опуститься на четвереньки, когда Мирон с проклятием отпрыгнул назад и потащил за собой гипофета. Единым клубком скатились они с выпершего из ровного места холма.

— На голове стояли... — выдохнул Мирон, отирая чело. С лица его слетел капюшон, Веденей присмотрелся в потемках и сжал зубы, обнаружив, что сильно ими стучит. Морщинистый, горбоносый, костистый череп, целиком лысый, резкие скулы, сильно запавшие глаза, тонкие губы, с которых потоком лились древнейшие ругательства; теперь Веденей понял, почему Вечный странник — во всяком случае, в легендах — никогда не откидывает капюшона. Это лицо перепугало бы в любом доме Киммериона не только детей, но и взрослых. Оно было опалено нечеловеческим огнем и темным знанием, словно Вергизов спустился к источникам горячих ключей Верхнего Рифея, прошел сквозь потоки лавы и вновь вышел к людям, — только зачем?.. «Да уж крещеный ли он?» — с тревогой подумал киммериец, человек довольно набожный, как и все в Киммерии; Киммерия гордилась тем, что житие Святой Лукерьи Кимерийской, жившей по европейскому календарю в двенадцатом веке, состоит всего из трех слов: «Пришла, окрестила, ушла». А вот расположенную к югу от Киммерии Чердынь еще только в одна тысяча шестьдесят втором Святой Иона уговорил креститься. С Чердынью у Киммерии было вечное соперничество, хотя та давно захирела до полной нищеты и даже до того, что ударение в названии города жители стали ставить на первом слоге — верх самонеуважения. Но Веденей оторвался от богоугодных мыслей и кинулся проверять мешки: не повредился ли товар. Нет, упаковано было на совесть. Мирон встал и неуловимо вернул капюшон на место. Лозовидный жезл в его руках горел синим пламенем.

Пятисаженный кусок Свилятовой Тропки, взгорбившись на два человеческих роста, очищался от приставшей грязи, тины и снега. Плоская голова доисторического чудовища растягивалась; Веденей догадался, что Змей выплевывает свой давным-давно заглотанный хвост, чтобы ответить наглым нарушителям покоя. Веденей бывал в юные годы на севере, на отмели Рачий Холуй, видал тамошних раков, к концу лета нагуливающих вес в полтонны, — но одна лишь голова Змея была раз в десять больше такого рака. Впрочем, испытав только что шок от лицезрения черепа и лица Мирона, Веденей испугался Змея меньше, чем можно бы ожидать.

— Слепой и глухой, — одними губами сказал Мирон, — а сейчас все равно ругаться начнет.

Змей сплюнул длинный, сильно измочаленный конец хвоста, разверз трехсаженную пасть и обрушил на пришлецов поток гремящих, скрипящих и хрустящих звуков. Веденей не без удивления признал в этом грохоте членораздельную речь; moreover, Змей говорил на старокиммерийском, на языке, давно превратившемся в мертвый, хотя общепонятном для уроженцев Киммериона. Веденей знал этот язык лучше прочих горожан, он знал его как язык вполне живой: именно на нем пророчествовали сменявшие друг друга над серным треножником старухи-сивиллы, с которыми приходилось иметь дело

всю жизнь, — работа гипофета как раз в том и состояла, чтобы пророчества записывать и растолковывать. Первое он исправно делал с детства, второго толком никогда не умел, точней, не умел вовсе, — за это он, надо думать, и был откомандирован изучать Новых Русичей.

— Не люблю гамма-лучей, — грохотал Змей, — сколько раз говорил тебе, не люблю гамма-лучей. Я тебе не... — Веденей не знал слова, но понял, что имеется в виду некая донельзя презренная, к тому же мелкая ящерица, — И зачем я тебя терплю? Лежу себе, молчу, думаю...

— Голый хвост сосу, — тихо добавил Вергизов на современном русском, а Змей продолжал бубнить на старокиммерийском:

— Извлекаю скудные питательные соки! — Змей вознес слепую голову еще выше, и она затерялась в вечернем тумане.

— Теперь — быстро! — бросил Мирон, подхватил Веденея; одним невозможным прыжком перенес и себя, и киммерийца, и тяжелые мешки на западную сторону трехсаженной канавы, постепенно заплывающей черной слизью. Солнце зашло окончательно.

Провожатый летел в туман и холод, и хорошо было в этом галопе только то, что ноги не успевали уйти в трясину. Стемнело окончательно, но под ногами светилась плесень, при желании Веденей мог бы глянуть и на мерцающий циферблат своих дорогих электронных часов, роллекса, принесенного офеней из Гельветской Кимврии, или, если говорить по-новорусски, из Швейцарии.

Провожатый не оборачивался, он словно знал, что Веденей бежит за ним след в след. Веденей всерьез заподозрил, что Вергизову дан таинственный дар «четвертого глаза»; третий, меж бровей, у всякого есть, только пользоваться им не всякий умеет, а вот четвертый, на затылке — там, где у прочих лишь малая впадинка — лишь у тех, кто ведет прямой род от Великих Пресмыкающихся, о которых кое-что известно только Наиболее Посвященным. Такой глаз называют драконьим, или же змеиным, — зачем он нужен, никто не знает, но глядеть им, говорят, можно.

Наконец, почва под ногами стала ровной и менее топкой. Странник остановился и повертел капюшоном. Веденей поежился. Он впервые находился во Внешней Руси, Герцогстве Коми, как там еще эти места называют. Мешки уже натерли ему спину. Как, однако же, офени такую тяжесть на себе всю жизнь таскают? Впрочем, ходят они по какой-никакой, а все же по дороге, — не по болоту. Веденей позавидовал. Больше ста поколений ушло на то, чтобы потомки кимров, кимбров и кимвров протоптали тропу из Кимр на Киммерию. Кимры и основаны-то были как последнее место отдыха офеней, где можно сменить сапоги и топтать дальше, в пределы Тверского княжества, к таинственному Арясину. Больше трех тысячелетий топтали офени малоприметную тропку, прикидываясь то безумными биармийцами, то степенными лукоморичами, то погорелыми опоньцами. Но сгнула и рассеялась Биармия, оторвалось от Морской Луки и унеслось далеко в океан сластолюбивое Лукоморье, совсем неизвестно куда запропало Опоньское царство, хотя нынче объявилось другое, с похожим названием — Япония, но родства меж ними — киммерийцы знали точно — не имелось никакого. Всё дальше и дальше к югу от Киммерии

отодвигались дороги, связывавшие Великую Русь с Сибирью: зачахла золототекущая Мангазея, впала в ничтожество Чердынь, даже Тобольск, древняя сибирская столица, постепенно хирел. Из всех великих царств и республик северо-восточной Евразии осталась одна лишь Киммерия, да и то потому, что не значилась ни на каких картах. Стоило это ей невероятных усилий, а если быть точным — то огромных взяток, которые и в Новгороде Великом, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, потом опять в Москве — брали охотно, а в нынешней Москве, имперской, — еще охотней, чем раньше.

Трудолюбивая Киммерия как была, так и оставалась под боком Великого Змея; точнее, это Змей грелся об Киммерию своей старческой тушей. Впрочем, даже в Киммерии за последние столетия угасли некоторые города, процветал — единственный, главный, разлегшийся на сорока островах Киммерион. На восточном берегу Рифея располагался закрыто-режимный Римедиум, не столько город, сколько монетный двор, чеканивший медную и серебряную мелочь для нужд внутрикimmerийской торговли; на юго-востоке страны жил совершенно изолированной жизнью сектантский городок Триед; на крайнем севере, против Рачьего Холуя, стояли два вконец обезлюдивших Миуса, Правый и Левый, еще имелось два поселка при разработках точильного камня на левом берегу Рифея, еще — с десятков по тем или иным причинам все еще жилых деревень: вот и все достойные упоминания грады и веси Киммерии, если забыть, конечно, о многочисленных поселках бобров, числивших себя как бы коммунальными соседями людей по Рифею. Иного пути в Киммерию, кроме как через Яшмовую Нору, или же Размык Великого Змея, не было. Перейти Свилеватую Тропку никому не давалось.

Впрочем, у немногих счастливых имелась возможность эту тропку не перейти, но перележать. Один такой случай во всех начальных школах Киммерии преподавали как исторический факт. В году от основания Киммериона три тысячи пятисотом, а от Рождества Христова одна тысяча шестьсот девяносто третьем, государь Всея Руси Петр Алексеевич соизволил возвращаться из Архангельска в Москву, да вот по ошибке, по хмельному делу, приказал ехать вместо юго-запада — на юго-восток. А как был он царь, да к тому же великий силою и очень пьяный, то повезли его туда, куда он повелел. Довезли до Свилеватой Тропки, уж чуть на нее (да и сразу на Уральский хребет) не наехали, да по счастью просто возок перевернули и царя выронили. Царь, без двух вершков три аршина росту, лег как раз поперек тропки, да возьми головою в Киммерии и окажись. Подтянул царь ноги из России в Киммерию, свежей морошки из-под снега откусал, и увидел среди полноводной реки дивный град на сорока островах, с прямыми улицами, с домами в три этажа, — и протрезвел от умиления. Погостил в Киммерии, признал в ней своим наместником архонта Евпатия Оксиринха, и через яшмовую Пещеру отъехал в Москву; в память же об этом помещении построил он на Неве город своего имени, весь на манер Киммериона. Больше с тех пор достоверно никому Свилеватую Тропку перележать не удалось.

Путь через Яшмовую Нору ревниво стерегли офени. Наверное, можно было попасть в Киммерию и с севера, где Змей лежал под водой, — но там, на Рачьем

Холуе, жили исполинские раки, очень мирные и деликатесные существа, хотя для постороннего человека невозможные к лицезрению по причине их ужасной внешности. Был еще один путь в Киммерию, он иссяк в прошлом веке: тогда вогульские браконьеры гоняли арясинские кружева с Волги в Каму, оттуда в Колву, где-то разгружали и переносили к самой южной точке Киммерии, небольшому озеру М;рло — к тому самому, над которым орлиным гнездом высился замок графов Палинских, — поговаривали, что с верхней смотровой площадки замка в хорошую погоду видны крыши Киммериона. Браконьеры-идолопоклонники знали, что наступать на Свилеватую Тропку нельзя, примерещатся тебе туман и ёлки гнилые, а потом заглотает тебя голодный зверь Мёбиус, — поэтому, подойдя к телу Змея, они просто перекидывали через него свой товар невидимым, на терпеливо поджидающим лавочникам с Киммерионского острова Елисеёво Поле. Но потом новые русичи споили вогулов огненной водой, заразили сифилисом, уморили налогами и сослали на Сахалин. Киммерийцы со своими нарушителями поступили традиционно, их выдворили в городок Римедиум, прозванный Прекрасным за то, что над ним — отвесная стена в полную версту, да еще с нее Змей переливчатым брюхом свешивается, ну, а напротив, через протоку — Земля Святого Эльма, восточный остров Киммериона. Ни выхода, ни выплава из Римедиума нет, ибо там — монетный двор, идет чеканка киммерийских денег, ведущаяся с разрешения, выданного государем Всея Руси Петром Алексеевичем. Никого за триста лет не выпустили из Римедиума: Киммерия свои древние свободы блюла строго, и кого посадили — того посадили насовсем.

Но власть киммерийских архонтов была не дальше Змея, а за Змеем начиналась Внешняя Русь, по которой вел сейчас вечный странник Мирон Вергизов усталого толкователя сивилиного бреда, гипофета Веденей. Тот пытался понять, куда же это они на ночь глядя по топкой лесотундре бегут, но тут Вергизов на миг исчез; запахло дымом, холодной золой, заскрипела дверь, лязгнул засов.

— Заходи, передохнуть пора, — послышался голос провожатого из глубины помещения. Десятым чувством понял Веденей, что перед ним — сторожка, видимо, очень старая. Дерево крыльца, на которое он шагнул, крошилось под сапогом. Воздух в помещении был застоявшийся и почти теплый. Появился свет; старик сидел за квадратным столом и подкручивал пламя в керосиновой четырехлинейке. Несусветно пыльное стекло от лампы стояло рядом, капюшон с головы Вергизова был откинут, и вновь содрогнулся гипофет, увидев нечеловеческий череп Вергизова.

Веденей опустился на скамью, выложил на стол термос-бивень, огляделся. Стол, две скамьи, печь-буржуйка, еще что-то черное в дальнем углу, поблескивающее. С немалым удивлением признал в этом предмете рояль. Над роялем виднелось что-то вроде птичьего чучела. Может быть, даже именно птичье чучело. Прыгающие тени точно ничего разглядеть не позволяли. Мирон властно взял кривой термос, вынул пробку и надолго присосался. Веденей подумал: неужто выпьет всё? В такой термос пол-амфоры входит, а это, если по-новорусски, почти двадцать литров. Но старик утер тонкие губы

локтем и вернул квас владельцу.

— Раньше в таких термосах соус гарум хранили. Потрясающая была гадость: тухлая макрель вперемешку с тухлыми потрохами той же макрели. Обожали ее римляне, вот и вымерли. Я надеюсь, что у человечества хватит ума больше никогда не изобретать соус гарум. Греческий огонь тоже вот совершенно зря второй раз изобрели. Напалм называется.

— Видел по телевизору, — ответил Веденей, отрываясь в свою очередь от термоса, — русичи при коммунизме за него американцев ругали...

— Ты про коммунизм не очень-то, — буркнул Вергизов, — сам понимаешь, император...

— Знаю, знаю, учили меня. Не такой уж я зеленый, Мирон Павлович.

Вергизов постучал невероятно длинными пальцами по столу. «А рука-то киммерийская», — подумал Веденей. У него у самого была такая же. Народное объяснение того, почему у половины киммерийцев руки именно такие, было малоправдоподобным, — но другого объяснения не было вовсе. Древние предки, уходя отсюда, откуда их несла нелегкая во времена не то двенадцатой, не то тринадцатой фараонской династии, могли взять с собой очень мало пожитков и припасов, и ввели в обычай: съедать в день ровно столько пищи, сколько вместится в пригоршне. Осев на берегах теплого и безопасно далекого Рифея, киммерийцы обычай долго хранили. Но изобильный рыбой и всяким речным зверьем Рифей, ягоды и орехи, которых и тундра, и тайга давали невпроворот, довели людей до того, что у младенцев стали увеличиваться руки, чуть не вдвое против прежнего. Мастеровитые киммерийцы важно шутили, что большому куску рот радуется, а большой руке — дело.

Старец, похоже, приготовился к длинной речи. И заговорил.

— Гипофет, ты идешь в Россию. К брошенным селеньям, к бедным городам, к грязным рекам. Предки русичей еще не знали железа, а вы, затворившись в Киммерии Рифейской, обрабатывали стальными сверлами мамонтовую кость. Вы унесли с собой тайну минойской азбуки, а пользуетесь ею теперь раз в сто лет, теперь у вас на киммерийском языке разве что на базаре ругаются, когда русских слов не хватает, да еще твои полоумные старухи на нем пророчествуют. Вы были свидетелями гибели величайших царств, но едва ли раз в полвека поднимали голову от токарного станка. Вы остановили время, но хотите знать будущее, хотите насильно вытащить его из бесконечных прорицаний своих Сивилл. Так вот, гипофет, ты увидишь время. Ты увидишь, как оно вскипает, створаживается, гниет, рассыпается в пыль. Ты идешь в страну, где тысячу лет царствует никому не ведомый царь Кавель, и народ всю тысячу лет решает одну-единственную задачу: Кавель убил Кавеля, либо же Кавель Кавеля. Ты увидишь пирамиды, стоящие на острие, возьмешь в руки неподвижную стрелу Зенона, постучишь по панцирю Ахилловой черепахи. Ты увидишь тела, лишенные душ, и еще другие тела, населенные множеством душ — как постоянные дворы. Ты дважды и трижды войдешь в одну и ту же воду и прикоснешься к весам, на которых добро и зло отвешивают пудами и золотниками. Ты проследишь путь змеи по траве и станешь выбирать между клепсидами с живой и мертвой водой. Ты увидишь медведей, с рогатинами

идуших добывать шкуру охотника и ужаснешься при виде мышей, питающихся кошками. Ты научишься утолять жажду из источника, бьющего горьким уксусом. Ты поймешь непостижимое и разучишься отличать нож от вилки. Наконец ты, православный человек, увидишь мучения настоящих рогатых чертей, проследишь, как сдирают с них шкуру, вытапливают из них жир, а потроха скармливают лающим чудовищам, — да-да, чертей, виновных лишь в том, что их мучитель не верит ни в Бога, ни в дьявола. Ну, гипофет, ты готов идти дальше? Ты не хочешь домой, в теплую Киммерию?

Веденей за время этого монолога вполне взял себя в руки и ответил сразу.

— Мирон Павлович, вы это всё пятьдесят лет назад моему предшественнику тоже говорили? Слово в слово, или поменяли что-то?

Воцарилось молчание. Вергизов сцепил жилистые пальцы. Было ясно, что никак не ожидал он столь нахального отпора, да еще ответа на вопрос — вопросом. А Веденей оперся о стол, будто собираясь встать, и заговорил так же веско и неторопливо, как до него — Вергизов.

— Мои предки, Мирон Павлович, были гипофетами, толкователями сивиллиных пророчеств, еще в те времена, когда Тверь на Москву войной ходила. Мы кое-чему научились. Да, я православный человек, но я киммериец, я вырос на островах у подножия гор, с которых над нами всей тушей свисает Великий Змей. Он вообще старше человечества, а чего стоит его мудрость — вы мне сами показали. Муки чертей меня не волнуют нимало — особенно если тот, кто их мучит, в них же не верит. Это даже хорошо, что не верит: если вера не способна творить чудеса, то пусть неверие движет горами. Так что крою ваш козырь своим, и, думаю, он сильней: ни в какую вашу Россию я не верю! Именно поэтому понять ее умом — легче алгебры. Срок понадобится, ну, так затем я и вышел в дорогу. Работа как работа. Это на мужского парикмахера, на косторезчика нужно с десяти лет учиться. А на понимающего России — и в тридцать пять не поздно. Управляюсь как-нибудь. — Веденей залпом хлебнул кваса, и чуть не подавился слишком большим глотком.

Как нокаутированный, тяжело откинулся Вергизов к стене. Он медленно мотал своей невероятной головой, явно не зная, что сказать. Потом с трудом пробурчал:

— Вот тебе и гипофет...

— Гипофет! — не без гордости сказал Веденей, — Есмь гипофет! А пошлет Господь сына — и сын гипофетом будет. Сам я сивилл с двенадцати лет слушаю, и не скажу, чтобы совсем ничего в их речах не понимал. Хоть и темные старухи, а не глупее вашего Змея. Кстати, они на том же языке разговаривают. Разве мало пророчеств исполнилось, а? — Ну, исполнилось... — Одно только предсказание о «крысином короле» в Саксонии развязало нам руки, спасло Киммерию: мы заранее знали, что ровно через сто пятьдесят лет умрет Ленин! А канарский осьминог? Мы даже офеней предупредили, что ровно через сто лет будет денежная реформа, мы людям их кровные спасли! А что было с теми, кто нас не слушал? Когда в Венгрии стадами падали коровы и свиньи — не мы ли предупреждали, что ровно через сто пятьдесят лет убьют Джона Кеннеди? Послушали нас, как же... Тополевая тля в Швеции, рыбий мор у юго-запада

Африки, а что через сто лет? Через сто лет ровно — постановление коммунистов о журналах «Звезда» и «Ленинград»! Бойкот московской олимпиады! Нам это все в Киммерионе, может быть, не очень и важно, но уж лучше бы нас слушали! Да, мы — скрывшая себя провинция, но мы вовсе не деревня!

— Ну, пошел, пошел... — попробовал угрюмо отбрыкнуться провожатый, но Веденей, закрепляя плацдарм, ринулся в дальнейшую атаку:

— Не надо нас пугать Россией, хоть мы и связаны с ней только узкой тропкой. Только много ли на Руси троп древнее нашей, Камаринской? Впрочем, мне на пути в Россию даже она не нужна, я кустами пройду, огородами. Не заловят меня, Мирон Павлович, я слово «корова» умею произносить и с двумя «о», и с двумя «а», и с двумя «у», а если нужно, то и с любыми другими звуками!..

Веденей, наконец, выдохся. Долгая, накопленная еще дома обида на весь мир, на Киммерию, на Россию, на городское начальство и ушедшую жену, на глупость сивилл и умничанье Мирона, наконец, нашла выход. Здесь, в лесотундре, никто не посмеет затыкать рот свободному человеку!

— Во зараза, — помолчав, неожиданно мирно сказал Вечный Странник. — Провинция, видишь ли, а не деревня. Был бы из деревни — гордился бы тем, что не из провинции. Ладно, понимай Россию. Только чур: как поймешь — так и мне, друг любезный, что-нибудь объясни. Очень интересно. Если не соврешь, то первым будешь, который... с понятием. Раньше-то в Россию просто верили, тем и обходились.

— А я вот не верю. И точка.

— Зараза! — повторил старик, как-то светлея лицом, если при его внешности такое вообще было возможно. — Слушай, может, и у меня не все остыло?.. — Он пошарил под лавкой, вынул две пыльных бутылки, покачал в руках.

— Кофе с коньяком... Налить бы во что? Веденей протянул руку. — Два надо разделить на два, Мирон Павлович. Как утверждает арифметика, в итоге — один. Означает это, что наливать ни во что не надо. Бутылка вам, бутылка мне. Вы пить из горлышка умеете?

Старец побежденно мотнул головой и отдал бутылку. Веденей ногтем открыл ее и отпил. Питье было холодным, однако...

— Мирон Павлович, это не кофе с коньяком, это коньяк с кофе. Но все равно спасибо, термос горячий, пейте.

— Это не коньяк с кофе, это я кофе так завариваю, — отругнулся старец, — так теперь уже не умеют. Не волнуйся. Такому зубастому, языкастому, как ты, может пригодиться.

Веденей ополовинил бутылку, отставил.

— Не выдохлось, смотри-ка. А вообще-то, Мирон Павлович, из нашего разговора следует, что можно бы вам на меня и не орать.

Старик ответил на старокиммерийском, притом одним длинным словом. Если бы пришлось это слово переводить на современное российское наречие, получился бы матюг на три строки убористого текста. После отмены цензуры любимое чтиво киммерийцев, газетка «Вечерний Киммерион», любила устраивать подобный практикум в родном наречии своим подписчикам. В

принципе речь шла о выделительных органах Великого Змея и возможном с ними совокуплении с использованием того, к кому слово обращено, целиком всем телом и очень глубоко, но точного значения выражения не знал ни Веденей, ни один из тех кто на Киммерионском рынке, сохранившем древнее название «Накушатый», пускал это ругательство вслед вконец обнаглевшему покупателю: клюква ему, видите ли, не в полной мере морозом будланутая, семга ему, видите ли, не миусского засола, точильный камень ему, видите ли, рачьей клешней перешибешь. Веденей вытащил из вшитого под плащом кармана две таёжных галеты — ячмень пополам с кедровым орехом — и одну протянул Мирону. Тот сперва взял, потом отодвинул. Старик хотя и сверкал желтыми зубами, но галету боялся не угрызть.

— Размочите, Мирон Павлович, — сказал Веденей, в который раз откупоривая драгоценный термос. Старик оценил воспитанность гипофета, плеснул кваса в киммерийскую ладонь свою, макнул в него сухарь, потом сжевал, а остаток из пригоршни выпил. Потом спрятал лицо под капюшон.

— Ну, будет. Хочешь, ложишься на лавку. Я посижу, покараулю. Веденей не заставил себя упрашивать. Отхлебнув хозяйского угощения, он свернулся калачиком и через минуту провалился в сон, где нашел себя в мире без очертаний, где лишь раздавались железные голоса: «Вон! Вон!» — но Веденей знал, что к нему эти голоса не относятся, и сон гипофета перешел в тот особый, глубокий, который бывает у человека после прогулки на чистом воздухе и умеренной выпивки, при условии хорошего здоровья, — а оно у Веденей было, иначе никто его в такой тяжкий и вредный поход не отрядил.

Между тем возгласы «Вон! Вон!» никакого отношения к сну не имели, они звучали наяву — тысячью верст северней сердитой головы Великого Змея. Там, в полярной тьме, на льду замерзшей реки Кары, совершалось безобразное избиение. Стая медноперых, железноклювых, двухголовых птиц гнала из Европы в Азию жалкое существо, облаченное в грязный, рваный, когда-то, видимо, кружевной саван. Наконец, существо это — не то вообще призрак — выбралось на азиатский берег реки, — судорожно цепляясь за кочки, оно поползло в тундру. Птицы немедленно прекратили преследование.

— Еще будешь по Европе бродить — на кусочки расклюем к ядрени матери! — гаркнула одна из железноклювых птиц.

— Пойду в Азию! — прошептал призрак, глотая слезы.

Птицы собрались в клин и полетели на юго-запад.

Но до рассвета было еще очень далеко. Спала Великая Русь, спала Киммерия и спал славный город Киммерион, — и чуть ли не все его спящие жители видели в эту ночь один и тот же удивительный сон. Снилось им спортивное состязание в беге. Гаревая дорожка была обычная, крытый стадион тоже: ничего особенного, правда, трибуны пустые и всё как-то темновато. Только вот бегунов на старте всего двое, трусики у них, маечки, кроссовки самые простые, к тому же всё — одинаковое. Побегут — не отличишь. А судья вот необычный. Что-то вроде статуи Свободы с завязанными, как у Фемиды, глазами, — так изображали американское правосудие на карикатурах в журнале «Крокодил» при советской власти. Только вместо факела в руке у Судьи — стартовый пистолет.

А еще знал в этом сне весь Киммерион, что бегуны на старте — это Причина и Следствие. Судья же у них — Судьба Человечества. Грянул выстрел. Причина и Следствие рванули и помчались. Сперва, как и положено законами обогнало Причину. Потом снова произошла смена мест. Снова. Снова. И никто уже из видевших сон не знал — Причина ли впереди Следствия, Следствие ли мчится за Причиной.

Не сегодня начался этот бег, но лишь сегодня бегуны обрели свободу, — если не навеки, то надолго. Теперь Следствие вовсе не означает, что была прежде него какая-то Причина. И Причина вовсе не предвещает, что из-за нее будет Следствие. Силы у них примерно равны, так что будет впереди попеременно то одно, то другое.

И только в глазах рябит у спящих зрителей.

Впрочем, чего только не приснилось киммерийскому народу за тридцать восемь столетий на сорока островах!

В далекой Аргентине — где небо южное сверкает, как опал, естественно — давно покойный местный классик в эту ночь перевернулся в гробу.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 2

Евгений Витковский

II

...у молчания есть своя история, которая его передает.

Эли Визель. Иерусалимский нищий

Недаром в старокиммерийском языке есть особое время: «иносказательное, недостоверное, весьма сомнительное». Историю Киммерии, а особенно города Киммериона, без использования этого времени не расскажешь никак. Поэтому перед повествователем возникают два пути: воспользоваться киммерийским языком (первый вариант), тогда повесть некому будет прочесть, на этом языке только на базаре ругаются да на жертвенниках прорицают. Можно воспользоваться другим языком, например хотя бы вот даже и русским (второй вариант), но тогда все, что будет рассказано, покажется иносказательным, недостоверными и весьма сомнительным, — ну, а поскольку в существовании Киммерии, простирающейся от верховий Камы до верховий Кары, никакого сомнения нет, придется повествователю выбрать третий путь, найденный великим писателем Лукианом в его «Правдивой истории», и, подобно Лукиану, заявить: «Правдиво только то, что все излагаемое мною — вымысел. Это признание должно снять с меня обвинение, тяготеющее над другими, раз я сам признаю, что ни о чем не буду говорить правду». Однако это слова Лукиана, — никак не мои: я лишь сетую на неполноту русского языка, ибо без использования «иносказательного, недостоверного, весьма сомнительного» весь аромат киммерийских берегов улетучивается. Примеры этого «времени», имейся оно в русском языке, сделали бы вполне естественными следующие,

предположим, заявления:

«Жил-был на свете Одиссей Бафометов, родиной его была Итака, что возле города Читы...»

Или:

«Долог путь из Душегубова Московской губернии до Вчерашних Щей на Нижней Волге...»

Выглядит куда как сомнительно и недостоверно, между тем гляньте на карту России, оспорьте достоверность существования Итаки или Душегубова, или заявите, что от него до Вчерашних Щей — ближний свет. Или, когда речь пойдет о Киммерии, напишите по-русски фразу: «К северу от Полночного Перста имеет Рифей постоянный фарватер, но недолго, менее чем через двадцать верст идут Мёбиусы». Поскольку выше было рассказано, что Великий Змей свернулся Мёбиусом, или (нечего к словам цепляться) — Лентой Мёбиуса, то логично предположить, что к северу от самого северного из островов Киммериона, взаправду (но по Лукиану) именуемого «Полночный Перст», пребывает непонятным образом лично и собственной персоной Август Фердинанд Мёбиус, который эту ленту изобрел, а с ним заодно и другой Мёбиус, Карл, изобретший такую важную вещь, как биоценоз (соблюдаемый в Рифее на договорных началах людьми, бобрами, стеллеровыми коровами, рифейскими раками и т. д.), — обитают они там, возможно, вместе с родственниками, близкими друзьями и однофамильцами.

Увы. Не листайте энциклопедии (первый том Большой Киммерийской обещан в будущем году, но главный редактор этой энциклопедии, академик Гаспар Шерош, говорит, что там даже «бэ» только до середины): Мёбиусы, в просторечии Мёбии и даже Мёбы, — это всего лишь многочисленные отмели, полностью бобрифицированные, — точнее, занятые бобрами под летние дачи, — и ясно, из-за того, что фарватер Рифея в отмелях дробится, приходится запасаться лоцманом из числа бобров. Услугу эту бобры оказывают бесплатно, а в виде компенсации люди на бобриные Мёбы ни при какой погоде не лезут. Бобры в Рифее живут более чем привольно, все пространство между юго-восточными островами Киммериона — Горностопуло, Полный Песец и Касторовым — словом, примыкающими к большому острову Бобровое Дерговище — бобрами буквально забито. На Бобровом Дерговище, в двух шагах от главного городского проспекта, есть магазины, есть роддом (для людей) и тут же — чуть ли не крупнейший банк Киммериона, Устричный, — но вот задача на засыпку: поищите в Рифее морских бобров, каланов. Хрена с два их вы тут найдете! Они приплывали больше двух столетий тому назад, просили зеленую карту на жительство, даже подписали какой-то договор с рифейскими раками, — но архонтсовет Киммериона им отказал. Отказал каланам в каланизации. Кастор Фибер, тогдашний выборный от бобров в архонтсовете, наложил вето. Самим места мало. Потому как биоценоз — и никаких каланов.

Так что, когда младший Мёбиус, Карл, изучая устричные банки сотней лет позже, сочинил биоценоз, иначе говоря, сосуществование множества видов, — это всё было не в Киммерии. А если даже в ней, то сведения о событии могли сберечься лишь в предсказаниях киммерийских сивилл, а они записаны на киммерийском языке, а там всё иносказательное, все недостоверное, всё — весьма сомнительное.

А как пересказать вам городские беды, столетиями тянущиеся судебные процессы? Ведь разбирательство то и дело сбивается с русского на киммерийский, и поди пойми что-нибудь, скажем, в деле «Мокий против Соссия», которое началось, по европейскому счету, в 1839 году — из-за довольно дорогого, офенями принесенного ружья, которое ответчик нагло подменил чиновничьей пелериной?.. Вы, дорогой читатель, ничего не поняли? Не переживайте: это обычные издержки перевода с киммерийского на русский. Заранее предупреждаю, что в предлагаемой ныне читательскому вниманию истории о некоторых киммерийских событиях будет понятно не всё. Ибо я — вслед за Лукианом — решил говорить только правду, — а она-то обычно и кажется наглым враньем, выдумкой очевидца и прочее. Что реальней, кстати: вранье очевидца или истина из десятых рук? Различите, если умеете.

В Киммерионе достойны внимания, пожалуй, все сорок островов. И самый северный, где местный Борей обдувает Рифейскую стрелку, и самый южный — Лисий Хвост, на который из России ведет Яшмовая, она же Лисья нора. И самый западный из островов — Земля Святого Витта, сотрясаемая неприятным недугом собственного имени, и самый восточный — Земля Святого Эльма, озаренная круглый год призрачными огнями (тоже своего имени). С этого острова есть переправа на восточный берег Рифея, в Римедиум Прекрасный, что в Киммерионе звучит как «Бутырка» в Москве или «Кресты» в Питере, только еще хуже, ибо Римедиум — это наглухо закрытый монетный двор, где чеканят для внутренних нужд Киммерии мелкую монету — от осьмушки обола (примерно 0.47 общероссийской копейки) до серебряного мёбия, равного общероссийскому золотому полуимпериалу (ровно семь с половиной русских императорских рублей). В мёбии же — двенадцать больших медных лепетов. При киммерийском счете на двойки и дюжины научиться переводить их в русские деньги (в империале — пятнадцать рублей, в рубле — сто копеек — это ж как всё упомянуть?) очень непросто, Но кому надо, тот управляется. Лучше уж считать мёбии, чем их чеканить — говорит древняя киммерийская мудрость. То же, наверное, можно сказать и о лепетах. И об осьмушках обола.

Но до Земли Святого Эльма можно доехать по мостам — их в Киммерионе не перечесть — а на Землю Святого Витта нужно нанимать лодку: остров горячий и трясучий (хотя красивый до нестерпимости, в этом киммерийцы убеждены), мост к нему в здравом уме никто строить не будет. И далеко, и рухнет, — а понтонный мост бобры не разрешат строить. Они даже на лодки согласны только на плоскодонные. Характер у них — у бобров — нагловатый и склочный, но киммерийцы привыкли.

Мостов нет и к некоторым другим островам. К острову Высоковье — там одиноко стоит мужской монастырь Святого Давида Рифейского, семижды

сгоравший дотла, но попечением святого покровителя восстававший из пепла. В прошлый раз строили его из мореного дуба, — сгорел. На этот раз построили его из железного кедра. Пока не горит, но горожане с интересом ждут. Не построены мосты также к одиноко стоящему острову Ничьё-Урочище; еще — к архипелагу из трех островов немного южнее от Урочища, тоже в северо-восточной части Киммериона, острова называются Выпья Хоть, Отставной Нижний и Отставной Верхний, — весь архипелаг отчего-то называют Майорским, хотя населяют его преимущественно члены гильдии лодочников, довольно богатой, ибо из городского транспорта в Киммерионе (кроме единственной линии трамвая) — только лодки, в том числе несколько маршрутных. Нет моста к Европойному Острову, где расположено Новое кладбище; впрочем, там уже давно никого не хоронят, места нет, а пока было — называли остров иначе: Упокойный. Нет, наконец, проезжего моста и к священному Кроличьему острову, с часовней святых Артемия и Уара, где колокол Архонтов Шмель в полночь бьет один раз. Там очень священная могила есть — но о том ниже. Но этот остров от Караморовой стороны отгораживает канал-канавка всего в сажень шириной. Ну, а к северо-западу от Кроличьего расположена та самая Земля Святого Витта, где (кроме бань) похоронены все отцы-основатели Киммерии, и трясет их, бедолаг, уже тридцать восемь столетий — но это в знак того, что им и после смерти за судьбу обретенной на Рифее родины неспокойно.

Вот отсюда приезжий человек и начал бы экскурсию по Киммериону, — если бы в Киммерионе были приезжие люди (есть только захожие, но это офени, а им не до экскурсий). Это кладбище — самое древнее в Киммерии.

В самой возвышенной его части из земли торчит осиновый кол.

Точней, осиновым он считается по традиции, а на самом деле вырезан из цельного рифейского родонита, буро-красного, и покрыт строгой резьбой, имитирующей рисунок осинового коры. С давних пор кол этот мог бы служить часами: двенадцать делений на черных лабрадоровых плитах означают полусуточное деление вяло текущего над Киммерией времени. Надгробие это новое, поставлено взамен прежнего, рухнувшего при особенно сильном подземном толчке, а то, в свою очередь служило заменой чередой еще более древних надгробий в форме квадрата, он же солнечные часы. Таким скромным памятником почтил Киммерион своего основателя, Варвара Конана, некогда уже глубоким старцем приведшего народ в Киммерию Рифейскую.

Праведником Конана посчитать было бы трудно, даже если верить лишь одной двенадцатой части в его широко растиражированной и потому наверняка обросшей враньем биографии, так что набожные люди вольны считать гномон на Земле Святого Витта простым осиновым колом, загнанным в могилу слишком уж часто встающего из земли мертвеца. С другой стороны, краеведы-фанатики могут всегда (если солнце светит, а это, увы, нечасто бывает) здесь узнать — который час. Отец Конана, как известно из его жизнеописания, был мастером по клепсидам, по водяным часам, однако устраивать водяные часы на Земле Святого Витта невозможно, остров трясется от болезни своего имени почти всё время, и клепсида тут показывала бы такое время, которого нет даже

в киммерийском языке — «совершенно недостоверное даже если и настоящее». Впрочем, хотя такого времени нет, мы в нем, дорогой читатель, живем, и я, и ты, и оба мы, никуда из него не вырвемся. Так нам назначено, но об этом мы в другой раз поговорим.

Но, как гласит древняя киммерийская пословица, «как постелишь, так и откликнется, а как аукнется, так и пожнешь». Кол в солнечных часах — даже если он и развалится — восстановить недорого. Впрочем, в воспоминание и в напоминание о клепсидрах папаши Конана на могилу, к колу и на кол, возлагают мочалки, обычные киммерийские, известные в России как «люфа» — их продают при входе на кладбище. А напротив кладбища, один к одному, расположены Термы Святого Витта, самые древние в Киммерии. Идущий в них — признаемся — много чаще мочалку покупает, чем идущий на кладбище, да и посетителей у бань больше. Еще при входе в бани квасом торгуют.

Клюквенным, кедровым, даже высокоалкогольным — на любой вкус. Можно купить и термос, на это вещь дорогая и чаще всего даримая молодоженам на свадьбу в подарок, а такие покупки обычно делают на Елисеевом Поле, в Гостином Ряду.

По ночам, когда бани закрыты, сюда с Кроличьего острова доносится удар колокола — того самого Архонтова Шмеля, что отлит при Евпатии Оксирихе. Для этого удара при часовне трудится пономарь, притом жалование ему платит не церковь, а мэрия. Традиционно складывается это жалование из проклинаемой бобрами Киммерии «железной сотки» — стоимости каждого сотого бревна железного кедра, которое равнодельфинные граждане Киммерии вынуждены отдавать городу вместо налога на бревенную торговлю.

Ну, а если дожидаться утра и с лодочником вернуться на Караморову сторону, перейти через крошечный остров Волотов Пыжик, то с него попадаешь на главный, самый большой остров Киммериона — Елисеево Поле. Остров — как весь город — разделен пополам ведущим с севера на юг главным проспектом, носящим название Подъемный Спуск. Кто ступит однажды на эту улицу, тот больше о значении ее названия не спрашивает. Тут можно сесть на трамвай, идущий — к примеру — на юг, переехать вдоль торговых рядов Елисеево, потом совсем маленький и какой-то лишний остров Серые Волоки, потом попасть на большой Куний остров, а за ним на самый южный, на Лисий Хвост, прямо ко входу в Яшмовую Нору, где стоит гостиница Офенский Двор, сидит Верховный Меняла со своими детьми, внуками, правнуками и всякими снохами, обменивающий русские деньги на киммерийскую мелочь; Впрочем — золотые империялы по всей Киммерии можно использовать и общероссийские, золота Римедиум не чеканит: нет его. Как вход в Яшмовую Пещеру, так и меняльная контора традиционно охраняются городской стражей — не менее чем двумя дедами в шлемах, кирасах и латных рукавицах; вооружением дедам служат протазаны, хотя не всякий дед в силах эти допотопные доспехи носить — он их и поднять-то не силах, так что дежурят стражники по теплой погоде чаще всего в исподнем.

Оружие обычно пылится в караулке.

По уровню преступности Киммерион занимает в мире две тысячи восемьсот

восемьдесят восьмое место.

Прочее расскажется ниже, — само по себе.

гений Витковский. Земля святого Витта. Часть 3

Евгений Витковский

III

Самолет летит,
Крылья стерлися.
А вы не ждали нас,
А мы приперлися.
Частушка

Солнце уже напекло дедам-стражам шлемы, латные рукавицы и кирасы и — когда они он всего напеченного привычно избавились — лысины. Деда привычно травили байки, покуривали самосад, поглядывали на темный вход в Яшмовую пещеру — в день по нему из Внешней Руси приходило порой до десятка офеней из общего числа существующих двух или трех тысяч; хотя все друг друга более или менее знали в лицо, полагалось соблюсти обычаи, обменяться ритуальными фразами, помочь дойти до гостиницы, пожелать славных обменов и торговель. Как-никак никакой какой-никакой дороги в Киммерион для офеней не было, имелась лишь эта, секретная. А если что на свете и могло произойти интересного, то нынче — только в Киммерии, только тут. Оно и началось — за целую декаду лет до того, как гипофет Веденей отправился умом постигать Россию; а надо вам напомнить, что в киммерийской декаде, — которую правильной было бы назыввть додекадой, но в Киммерии правильность иная, — двенадцать лет, да не в каждой, бывают ведь и високосные декады, но не о них речь сейчас, ибо речью приходится пользоваться русской, а без киммерийского «весьма сомнительного но так уж и быть допустимого» времени и аналогичного падежа («обломного») объяснить, как в декаде уместается то двенадцать лет, то тринадцать, никак не возможно. Из полутьмы Яшмовой Норы донеслось сперва: «Ну, милая! Ну, еще! Ну, потерпи!» — а потом вышли прямо к караульным дедам на обозрение две женщины, одетые по-крестьянски, молодые, хорошие собой; одна была, похоже, татарской нации, другая — неведомо какой: нос вздернутый, волос черный, рост небольшой, и вся из себя, как любят говорить киммерийские ходоки по женскому делу, «с воздушной начинкой». Эти две женщины вели под руки третью, большую, тяжелую, на последнем месяце беременности — если не на последнем дне. Мысль о том, что баба того гляди родит, возникла у киммерийских стражей сразу же, — однако никакой инструкции ни один из стражей на этот счет не припомнил: спокон веков из Яшмовой Норы никто, кроме офеней, не появлялся, а те все были мужики. Первая мысль стражей была: «Повитуху!..», вторая была: «Ну, м-мля, послал Рифей-батюшка оказию!..», а третьей мысли не воспоследовало, ибо за женщинами из Норы вышел

благообразный длиннородый старец, оглянулся кругом добрыми очами, и все сомнения местных старцев упредил, произнеся старинный офенский пароль — «гасло» — по которому допуск в город разрешался:

— А что, весь Киммерион выстроен, все ли закончено, все ли обустроено?

— Нет, нет, много еще строить, куда там! — хором ответили деда, отринув мысль о ржавых табельных протазанах и ветхих арбалетах, валяющихся к тому же в караулке. Древнее поверье гласило, что город не должен быть достроен никогда. А уж если будет достроен, то сведет Великого Змея страшная судорога, разломится дно Рифея, уйдет под него Киммерия. А если еще не достроен — ничего такого, понятно, не предполагается. Так что Киммерион вовеки недостроен: полноправные бобры возводят все новые и новые плотины, каменщики кладут новые дома взамен пострадавших от выветривания и водной эрозии — точильный камень, он же основной строительный материал Киммерии, и тот за тридцать восемь столетий крошится. Словом, взять с жителей недостроенного города нечего, живите дальше, все живите, сколько бы вас тут, киммерийцев, ни народилось.

А новый киммериец в эти минуты явно собирался это сделать. Согласно незыблемым установлениям Минойского кодекса, каждый, кто родился в Киммерии, получал право на прописку в ней и жильё, на медицинский полис и на пенсионное обеспечение, даже на право голосовать на выборах архонтов, даже на право быть избранным в архонты. От врат Яшмовой Норы до гостиницы «Офенский Двор» было рукой подать, там имелся хороший медпункт и медбрат-костоправ с дипломом киммерийского медучилища Св.

Пантелеймона, что на Хилерной набережной, — но вот опытной повитухи там, понятно, не было, таковая офеням, которые, надо еще раз напомнить, всегда мужики — была как-то без надобности. Большой роддом имелся на соседнем острове, именуемом Бобровое Дерговище, — однако пришлецы в такую даль роженицу вести побоялись. Старец объяснил, что он сам достаточно опытный акушер с дореволюционным стажем, роды отлично примет не только что в медпункте, но даже в караулке, — была бы только горячая вода, сухое место и пара чистых простыней. Стало быть, годился и «Офенский Двор», младший из дедов повел гостей куда полагалось, а старший остался при Норе размышлять: что за путников Святая Лукерья, покровительница Киммериона, привела нынче в город — аккуратно в их дневное дежурство.

Рожать гостя принялась сразу, как улеглась в медпункте на россомашью шкуру; роды были долгими и непростыми, — успели добрые люди и повитуху привести с Дерговища; та попыталась старика-гинеколога из медпункта выгнать. Однако старец был не робкого десятка, не хилой дюжины, повитуху вытолкал, роды к вечеру благополучно принял. Повитуха оказалась бабой обидчивой, уйдя, пустила слух, что младенец, если и выживет, то будет очень слабым, а потому, кто добра крещеным людям желает, пусть первым делом зовет на «Офенский Двор» попа! Не ровен час, умрет младенец некрещеным, позор будет не только на весь Лисий Хвост — еще, глядишь, в «Вечернем Киммерионе» пропечатают! Оставленный не у дел медбрат мигом слетал в ближнюю церковь Стефана Пермского, где служил иеромонах отец Аполлос,

истинный строгих правил киммериец, в чьих длинных-предлинных пальцах малыш казался еще меньше, чем был на самом деле.

Гостья, молодая мать, сильно ослабла, спрашивать у нее об имени, которое она хотела бы дать сыну, не стоило, да и не имел привычки суровый иеромонах ни с кем советоваться. Он глянул в святцы, как положено, на три дня вперед, и выбрал из множества празднуемых в тот день святых Павла: имя, ныне во всей стране особо чтимое по высокополитическим причинам. Новокрещеный Павел, вовсе не такой слабенький, как бубнила молва, был возвращен матери и пришедшим с ней в Киммерию гостям. Крестными отцом и матерью, по старому обычаю, в Киммерии могли быть лишь киммерийцы, — стали ими для малыша подвернувшиеся под длиннопалую руку отца Аполлоса стражник Яшмовой Норы Кириакий Лонтрыга и повариха «Офенского Двора» Василиса Ябедова.

Василиса, женщина благолепная — в два киммерийских обхвата! — вплыла к оклемавшейся роженице и предьявила ей сморщенную мордочку новорожденного.

— А ну скажи, — почти пропела повариха, — скажи: Паша! Пашенька! Павел! Павлуша! Павлинька!

Роженица заорала не своим голосом; в прихожей кто-то сразу пустил слух, что, мол, второй идет, двойня будет, рано отца-иеромонаха отпустили, не вернуть ли? Роженица сомлела, повариха тоже испугалась, но уронила новорожденного лишь на собственный необъятный живот, скоренько отступила в другой покой, где напустилась на нее женщина-татарка; старец-лекарь, шепча одними губами общепонятные русские слова, занялся приведением в чувство молодой мамашки. — Ты почему его Павлом назвала? — прямо спросила татарка. Повариха ничуть не смутилась.

— Батюшка нарек! По святцам нарек! Воля батюшки — святая воля! В святцах на двенадцатое, батюшка сказывал, целых двадцать семь имен есть! Аникий, Евлалий, Ефрем, Иоанникий, Сармат, Фантин, Филик... Зато, кабы молодая-то девочку принесла, на двенадцатое ни одного нормального женского имени нет, была бы у тебя Прасковья, у нас Прасковья несчастливой считается... А батюшка у нас — святой человек, вот, молод пока, а в года войдет — главным батюшкой во всем городе будет! Так что ты не очень-то, косоглазая!.. — Косоглазая плевать хотела на выпады киммерийских расистов, она неуверенно обвела глазами столпившуюся публику из числа бездельничающей обслуги, обреченно присела на лавку.

— А я ведь знала... — прошептала она.

— Ну, а если знала, — припечатала Василиса, тогда чего базаришь?

— Да она-то Алешей хотела назвать...

— Батюшке видней, и кончим на том. Как, первородка она? Молоко будет, или на кормилицу заявку писать?

— Будет, будет молоко, не надо кормилицу... — пробормотала татарка и удалилась в комнату роженицы. Из-под двери пополз тяжкий запах нашатыря и еще чего-то едкого.

«Вечерний Киммерион» в тот же день сообщил о появлении на свет первого за

многие сотни лет киммерийца некоренного происхождения, — точнее, о появлении на свет младенца, считающегося киммерийцем по священному праву «крови и почвы», — а закон этот, учрежденный еще основателями города, освятили своим благословением (языческим, впрочем — время тогда было такое) такие прославленные люди, как Конан, прозванный Варваром и другие варвары. Часы на его могиле Конана в миг появления на свет юного Павла-киммерийца давно перешли за полдень.

О великий и довольно могучий русский язык, как же несовершенен ты, когда приходится повествовать о делах Киммерии! Сколь недостает в нем «сомнительно-последовательного наклонения», чтобы поведать о том, как через несколько дней тот же «Вечерний Киммерион» опубликовал подборку читательских писем: событий в Киммерионе никогда не бывает особо много, понятно, что появление на свет некиммерийского киммерийца обратило на себя внимание. По какому адресу посылать подарки новорожденному? Не выберет ли себе новорожденный профессию офени? Правда ли, что батюшка нарек его нецерковным именем Щап? Любит ли шейки рифейских раков? Как оценивает шансы бегунов Танзании на будущих олимпийских играх? Что думает о последнем предсказании Киммерийской сивиллы, опубликованном в приложении к газете от первого сентября? Примет ли участие...

Наутро мэрия взбеленилась. Ребенку недели нет, у матери молоко только-только пришло, ее бы на Дерговище в отдельной палате держать и анализы делать, а «Вечорка» морочит голову олимпийскими щапами! Редактору дали строгий выговор с последним предупреждением, после чего следующая оплошность сулила ему дальнюю дорогу в любой из двух северных Миусов, где только и дел культурному человеку, что делать ставки на нелегальных рачьих боях и бегах. В свою очередь, Аполлос подал жалобу в епископальный совет: газета заявила что он, иеромонах, в таинстве крещения использовал нецерковное имя. Словом, «Вечорка» получила дюжину повесток; обеспечилась скандалами на полгода вперед, тираж ее поднялся на три процента за счет розничной продажи, но зато малыш, а заодно и члены его семьи, сразу получили прописку в Киммерионе, на Караморовой стороне. Там, глядя фасадом на расположенную за протокой Землю Святого Витта, стоял крепкий одноэтажный особняк древнего старца-камнереза, давно вдового и вышедшего на пенсию Романа Подселенцева. Дети его выросли и жили отдельно, с Романом оставалась лишь внучка-сирота, засидевшаяся в девках Гликерия Касьяновна, обихаживала деда, но в шестнадцати комнатах не управлялась.

Указом архонта половина комнат в доме с выходами на Скрытопереломный переулок и на набережную отходила в съём семье «нового киммерийца», а квартплату, хоть и небольшую, мэрия взялась платить сама — семгой, лососиной, сигом, если понадобится — то и точильным камнем на подправку стен. Вместо пушных товаров завезли на Романову половину двора восемь саженой березовых дров. Отопление в Киммерионе почти везде было центральное за счет мощного горячего ключа на Банном острове (где бань, кстати, никогда не было), — но Роман любил коротать долгие остатки своих дней у камина. Свободных денег на дрова дети Роману не выделяли, внуки не

дарили, а пенсий от архонтсовета и гильдии камнерезов хватало только на пропитание. Старый камнерез почел новых жильцов даром Божьим, потому что в «Вечернем Киммерионе» целую страницу занимали объявления «Сдаю», а под рубрикой «Сниму» не печаталось почти ничего. Меньше всего старец догадывался, что жильцами он обязан звучанию фамилии, выловленной секретарем архонта в телефонном справочнике: он был старейший в городе Подселенцев.

Киммерийский язык отягощен множеством глагольных форм не просто так: дело в том, что само время идет в Киммерии не плавно. Войдет, к примеру, офеня из Внешней Руси (она же в данном месте — Герцогство Коми) в Яшмовую, или, по-киммерийски, Лисью Нору, а там возьмет курс на выход, на Лисий Хвост. А по дороге залюбуется красотами самосветящегося грота «Миллион Белых Коз», подремлет на высоких сталагмитовых табуретках в «Колоде Колод», помедлит, пересекая «Заветную Углекислую» — глядишь, и набежит ко дню другой день, там и третий, и получится, что шел он пещерой тридцать часов, а вышел — протекло трижды тридцать дней. Офени к этому привыкли, а вот семья «нового киммерийца» Павла Павловича того не предвидела, вошла в пещеру весной, вышла — осенью, получалось, что носила мамаша своего малыша под сердцем вместо девяти месяцев — двенадцать; кто, скажите на милость, признал бы в Москве такого сына наследником? Но то в Москве, а Киммерион умел объяснить подобные вещи просто и по-киммерийски. Донька, Нинка и почтенный старец Федор Кузьмич вселились в дом к камнерезу на правах опекунов новорожденного, Тонька — на правах уважаемой матушки, о том были выданы документы на двух языках, с печатями и подписями, с левого нижнего угла надгрызенные бобровыми зубами, — так подписывались заседавшие в архонтсовете бобры и предполагалось, что этим надгрызанием выражают они одобрение. Дом старика Романа ожил, а младенец оказался еще и мастером орать — на всю Саксонскую. Даже с противоположного берега, с Земли Святого Витта, сказывали, в тихую погоду слышать. И все только умилялись.

Через несколько месяцев где-то во Внешней Руси имели место большие празднования: то ли генеральный секретарь наконец-то усоп и был под зубчатым забором обронен в сиротскую могилу, не то, что более правдоподобно, отпраздновали на Москве первую годовщину коронации ныне здравствующего и процветающего монарха, про которого в народе даже анекдотов не слагали, ибо любили; сожалели только, что царь все не женится никак, и нет у державы наследника. На этот счет жильцы Подселенцева думали по-своему, но их мнение ни до чьего сведения не доводилось.

Более всех по-своему думала об этом, как и о чем угодно другом отдельно и вместе взятом, пришла женщина с татарскими чертами лица, которую звали то Ниной, то Нинухой, то вовсе Нинелью; стоило старой деве Гликерии завести беседу про неженатость царя, Нинель-Нинуха сразу из общей гостиной выходила. Такая гостиная была в доме Подселенцева одна, в ней стоял громадный японский телевизор с видеоманитофоном, купленный детьми и внуками в складчину по случаю Романова восьмидесятишестилетия. Эту дату —

семь дюжин, или, по-киммерийски, декад, считали в Киммерии очень большим событием: когда делали на нее подарки, то не жалели денег на дорогие офенские товары. Товары эти бывали очень даже кусачими, ни один офеня больше двух, ну, трех подобных телевизоров за одну ходку из Внешней Руси принести не взялся бы. А ведь приходилось такие товары тащить на своем горбу от Кимр на Урал, — телевизоры эти. Брать товар на полпути офени брезговали. Кимры, да еще далекий и таинственный Арясин Тверской губернии служили для офеней кладезями товаров. Там имелись кружевные и штиблетные промыслы, там лабазы местных барыг ломились от бесподобной электроники. Жаль только, что из-за помех, вызываемых магнитной активностью Великого Змея, в Киммерии даже с параболической антенной ловилось едва-едва тридцать-сорок телеканалов. Поскольку все каналы сообщали о юбилее коронации и, как сговорившись, молчали о похоронах генсека, понятно, что в нашем повествовании раздвоившаяся история Внешней Руси ни о какой советской власти не помнила вовсе. Новейшие историки (не одни лишь киммерийские, тех и было-то неясно сколько при домике-музее царя Петра Алексеевича), притом не только холуи Новых Русичей, утверждали, что никакой советской власти не было вовсе никогда, как не было ни Древней Греции, ни Римской Империи, как не было Будды, Христа, Наполеона, не было махдизма, марксизма, масонства и вообще никогда ничего не было и сейчас тоже нет.

А вот японский телевизор был. Иногда Гликерия ловила по нему передачу на новогреческом языке, но его ни дед Роман, ни Гликерия, ни жильцы-подселенцы не понимали. Только Фёдор Кузьмич обмолвился, что его младший брат на этом языке любил говорить «калас, калас», — наверное, это слово означало «хорошо». На древнегреческом передач не было вовсе, не было их и на древнеегипетском, и даже на киммерийском не было. Приходилось всё смотреть на русском, — точнее, не смотреть, а слушать, и не на русском, а на языке Новых Русичей, который в Киммерии понимали не все, — а кто и понимал, то не всё.

И потянулись киммерийские дни, для разнообразия перемежаемые киммерийскими ночами.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 4

Евгений Витковский

IV

Осенью число краж увеличивается.
В.Ф.Трахтенберг. Блатная музыка

От Саксонской набережной до Кроличьего острова было почти две версты, но над спокойной водой, особенно тихими и всё еще не холодными ночами, удар колокола Архонтов Шмель долетал весьма гулко. Домовладелец Роман,

заслышав «бам-м!», считал, что настало время почивать. Для Тоньки это был сигнал к очередному кормлению маленького Паши. Для Нинели и Дони — сигнал помочь Тоне. Гликерия этого сигнала, скорей всего, не слышала, она не отрывала глаз от экрана, где шел очередной сериал о жизни Св. Варвары. А что думал Федор Кузьмич, обитавший в угловой комнате с видом на улицу Открытопереломный Канал, никому не известно. Комнату он выбрал себе самую дальнюю от покоев хозяина; кроме «доброго утра» они друг другу, кажется, ничего не говорили. Хотя владела ими общая страсть, оба были азартными любителями пасьянсов, только разных, хозяин до бесконечности раскладывал в тридцать две карты «царство женщин», Федор Кузьмич, напротив, любил метать совсем несложный «эгоист», иногда для душевного разнообразия раскладывая «ссылку».

Семеро в доме: пятеро жильцов, двое хозяев; удар Шмеля в полночь — сутки прочь; новогоднее выступление императора с обращением ко всем православным и ко всем иностранцам — год долой, деревянная крыса прыгнула на смену водяному кабану, двадцать девятое февраля — вот и високосная квадрига умчалась с бумажки в сто тысяч на золотую монету в пять импералов, вот и весна на носу, вот-вот пойдет лед на Рифее, северная страна Киммерия, но тепло в ней подземное, вот и выдаются оттепели уже в марте, ну, а для стариков март — время тяжелое, вот и слег нынешним мартом в самом начале Великого Поста домовладелец Роман Подселенцев с приступом вегетососудистой дистонии. Районная неотложка с Караморовой стороны, впрочем, ничего серьезного у старика не нашла, дала прогноз, что к Пасхе оклемается. Уход за больным был хороший. И надо ж! Именно в такой мартовский день в парадную дверь дома, со стороны Саксонской набережной, грубо постучали чем-то тяжелым.

Постоянных гостей в доме на Саксонской было немного, и те все знали, что вход со стороны Скрытопереломного переулочка, через кухню, в дневное время только на крючок прикрыт. Самым постоянным гостем в доме Подселенцева стала крестная матушка Павлика, повариха «Офенского дома» Василиса Ябедова, с помощью батюшки Аполлоса разглядевшая в святцах, что имя «Павел» празднуется в году аж сорок раз. По такому случаю она намекнула постояльцам-офеням, что крестник у нее особенный, — не какой-нибудь «Астерий» четырехразовый, а Павел с сорока днями ангела; в феврале — только один раз, зато в марте — целых шесть! Ну, офени повариху любили, подарки для крестника всегда находились, а вместе с Василисой норовил прийти и ее кум, крестный отец мальчика, Кириакий Лонтрыга. У него подарки тоже бывали, но все в доме знали, что интересуют Кириакия всего более разноцветные настойки на разных ягодах, учинять которые Гликерия Касьяновна была превеликая мастерица. Но хоть и шесть раз Павел в марте именинник, да еще три раза в апреле — не крестные же отец с матерью грохочут в дверь со стороны набережной!.. Хотя — смотря какой важности дело. Гликерия, а с ней спокойствия ради Нинель и Доня, пошли снимать с парадной двери щеколду, — вообще-то этим входом не пользовались, но Доня в боковое окно приметила, что ломаются с набережной в дом городские стражники. Неужто

Кириакий?.. Решили всё же открыть — не ровен час, плюнут стражи киммерийской свободы на киммерийскую приватность и неприкосновенность жилища, высадят двери, потом отремонтируют.

Дверь, впрочем, успела треснуть: стучали в нее большим каменным бревном. Когда посбивали с крыльца недотаявший лед, увидели жильцы подселенцевского дома гостей во всей красе: шестерых дюжих стражников из центрального городского отделения с Елисеева Поля, в парадной форме, — кираса, ментик, клешня рифейского рака в петлице слева и всё прочее, только что церемониальные алебарды с собою не прихватили, — а у ног их, прямо на каменных плитах крыльца, лежал молодой парень, мальчишка еще, с разбитым носом и диким страхом в глазах.

— Выкуп головы! — хором сказали стражники.

Бабы переглянулись. Никакой головы они не заказывали, на продажу никаких голов в доме не было. Однако взгляд Гликерии упал на каменный таран, которым стражники только что стучали в дверь. Видеть она в последнее время стала лучше, природная близорукость немного компенсировалась возрастной дальновзоркостью; присмотрелась Гликерия к дубине, качнулась и схватилась за косяк. Работу своего деда-камнереза она признала сразу.

— Романа Миныча Подселенцева работа? — осведомился старший страж, кособородый и косоглазый мужик, на котором форма сидела как на корове придворный мундир.

— Романа Миныча, давняя, для Святого Витта погоста... признала Гликерия, — А что? Роман Миныч с двупозапрошлого лета из дому не выходит, почто резное с погоста уволокли?..

— Это ему теперь отвечать, за что и почто! — грозно бухнул косой стражник, — Постановлением архонтсовета Киммериона выдаем головою сего колокрада, сквернителя и прочая — истинному владельцу имущества.

— Какой дедушка владелец? Это он в подарок городу на могилу Конана Варвара, помяни его Святая Варвара в своих молитвах, так что не собственник дедушка, он только чешуйки резал... Он, Господи прости, уж декаду как ваяло в руки не берет, старый стал. Какой он владелец?

— Декаду? — деловито ответил косой, доставая блокнот. — Вот и вора вам на декаду сдаем в услужение. — Так что распишитесь. Вот, вот: «Сим расписываюсь в получении головы колокрада Варфоломея, злостно скравшего кол и семь жертвенных мочал с погоста на Земле Святого Витта. Быв сей Варфоломей, постоянно прописанный на Витковских выселках, дом гипофета Хладимира Иммера, пойман при Офенском Доме на Лисьем Хвосте, за попытку сбыть честным офеням тот кол и те мочала по дем... дем... дем-пиговово... дем-пин-говой и святотатной цене, но сдан теми честными офенями стражам Яшмовой Норы, а те препроводили его в ближайшее вязилице, где тот Варфоломей, быв солёною ивою бит по ляжкам, сознался, что ради личного обогащения упер кол с могилы Конана Варвара и вплавь переправил на Лисий Хвост, и Минойского кодекса согласно ответствен по статье сто тридцать пятой как гробокрад, по сто сорок пятой — как спекулянт отечественными ценными художественностями в особо крупных масштабах, ибо не один кол скрал, но и

люфу, к могиле туристами возложенную, — а потому подлежит суду архонтсовета. Архонтсовет же постановил, что как в бесплатной рабочей силе у города потребности нет, то выдать Варфоломея-вора головою на декаду в услужение работами самыми что ни на есть черными странноприимцу Роману Минычу Подселенцеву, камнерезу, тот краденый кол изваявшему. Буде ни сам Подселенцев, ни его родня, ни его постояльцы того Варфоломея-вора в услужение не примут, бить вора супротив Римедиума на Земле Святого Эльма дюжинами дюжин кнутов...»

— Нет-нет-нет! — запричитала сердобольная Гликерия, знавшая, что такое «эльмов кнут», что его и дюжины ударов человеку не вынести, калекой на полудюжине станешь и сам в Римедиум захочешь, — Нет-нет-нет! Самый раз нам в дому черноработник, у нас дрова неколотые, коза недоенная...

— Как недоенная? — всколыхнулась Нинель, — Сама ты недоенная! Я с утра, по-твоему, чем Тоньку поила? — Нинель осеклась, сообразив, что, кажется, потащила из избы лишний сор, и присоединилась к Гликерии, — Охти, охти! Коза нынче доенная, а позавчера, и вчера, и завтра наоборот! И дрова неколотые! И вьюшку некому открывать-закрывать, а с тяжелым ухватом у горячей печи и вовсе не управисси!

— Ну ладно, «охти управисси» теперь, получи головою вора, да смотри, чтоб он у тебя на Витковские Выселки деру не дал! — косому стражу, видать, надоело слушать бабью болтовню и теперь не терпелось сбить арестованного. Что палач на Святом Эльме без работы нынче останется, то даже хорошо: косою стражник часто играл с ним в домино и, несмотря на умелое косоглазие, всегда проигрывал. Не иначе как палачу помогал какой-то демон, покровитель заик (а палач стал заикой после того, как по приговору суда стал пороть стеллерова быка Лаврентия, а тот, хотя и собирался подчиниться воле суда, рефлекторно дал палачу сдачи). Знаменит палач был не только зверскими повадками, но и тепличным хозяйством: в свете огней Святого Эльма он по десять-двенадцать раз снимал у себя на огороде урожай настурций и тюльпанов и торговал ими у всех трех городских кладбищ, плюнув на издевательства соседей по цветочному ряду: «Опять Магистрианыч кнутовища не прополол, вот и перебивается с незабудки на ландыш». Словом, оставить заику без работы косому было приятно — а вот не играй в домино слишком хорошо. Рукоприкладство косоглазый считал собственной работой.

— А установка памятника в таком разе назад — за ваш счет! — рявкнул косою, впихнул в парадный подъезд подселенцевского дома и кол, и битого Варфоломея, дождался, чтобы двери затворились, отдал своей команде приказ на киммерийском, используя «совершенно ультимативный императив», и удалился прочь на юг по Саксонской, к лодочной переправе, — прикарманив, между прочим, украденные преступником мочала: он их сейчас намеревался использовать в славных банях на Земле Святого Витта. Весна, а по весне краж мало, а люфа как раз дорогая, не накуписси! Гликерия в приемке головы преступника расписалась — всё, дело закрыто. Айда, говоря по-киммерийски, по баням.

Гликерия наскоро объяснила жиличкам, что парень этот в хозяйстве лишним не

будет, она его немного, ну совсем чуть-чуть, знала: приходился Варфоломей младшим братом гипофету Веденею. Гипофет — должность наследная, передается по прямой мужской линии, так что, не ровен час, валяется сейчас у их ног в крови и соплях возможный будущий толкователь пророчеств Киммерийской сивиллы. Лет ему — Гликерия заглянула в полученную бумагу — пятнадцать годов. Украл — Гликерия еще раз глянула в бумагу — надгробие с могилы Конана Варвара Основателя, а еще — семь люф.

— Ну, и где люфы? — грозно спросила Нинель. Увы, ни одной люфы вместе с Варфоломеем и колом стражники не оставили.

— Ук...гали... — пролепетал разбитыми губами Варфоломей. — Я ук'г...ал а они пг'и...сво...хи'и.

— Ну вот что, — собралась с мыслями Нинель, — как ты теперь в этом доме прислуга до первой жалобы — читал указ? — и не хочешь в Римедиум, то прими участь как есть. Дело твое молодое. Задница твоя заживет, харя тоже. А ну подай, Доня, квасу горячего, да позови Федора Кузьмича — тут, кажись, шов-другой наложить надо, рассадили парню щеку от макушки до пасти, клочок из брови выдрали, не знаю чего еще переломали.

Шестипудового мальчонку с трудом перенесли в гостиную, где быстро собравшийся с кипячеными инструментами Федор Кузьмич оборудовал операционную; щадя стародевичество Гликерии, велел ей сидеть к столу спиной, а телевизор включить на полную мощность: больной, глядишь, орать начнет, и в таком положении вряд ли это будут молитвы телемученице, святой Варваре, такие будут слова, каких незамужней Гликерии слушать не положено. Гликерия подчинилась, но воплей от парня не дождалась, терпеливый оказался ворюга. Сжав зубы, вытерпел он и прилаживание лубка на обе сломанные руки, и бинт на все три сломанных ребра, и почти без наркоза наложенные ему два десятка швов — и все остальное, не самое приятное. Видавший многие виды Федор Кузьмич что-то бормотал сквозь зубы, ассистировавшая Доня только охала.

— Вот что, бабы, — сказал Федор Кузьмич, сворачивая с рук резину, — может и будет парень дрова колоть, козу доить, но это еще не скоро. А пока что имеем, бабоньки, пациента с множественными переломами, рваными ранами и повреждениями. На дыбу не поднимали, спасибо Минойскому кодексу, — значит, могилу он не раскапывал. Сидеть при нем несколько дней придется круглосуточно. Я спать пошел, я больше двуз лет таких операций не делал. Всё. Нинель убрала звук у телевизора, подошла к заштопанному парню и ласково потыкала в единственную неразбитую щеку.

— Так тебе, падла вороватая, и надо... Но так-то зачем? Так ведь и вовсе порешить можно. Ох, даже побить в России не умеют.

— Как раз умеют, — ответила Гликерия, — это здесь, в Киммерии, не умеют. Здесь редко бьют. У нас преступлений мало. И зачем он дедушкин-то кол украл? Кол — семь пуд, а парнишка сам столько, поди, не весит.

Пациент попробовал что-то сказать, но Нинель властно закрыла ему ладонью заштопанный рот.

— Взя-ли!

На простынях новопобитый Варфоломей перенесен был в пыльную спальню и уложен на кровать, на которой две с половиной киммерийских декады лет отдал Богу душу отец Гликерии, Касиян Романыч, хвативший с похмелья стакан нашатырного спирта. Кроме кровати, в комнате стояли высокие напольные часы с маятником, а еще было много пыли, которую аккуратная Доня за полчаса истребила метлой и влажной тряпкой.

Есть Варфоломей не мог, дышал тоже с трудом. Шаркающей походкой посетил недобровольного гостя и обворованный — не Конан-Варвар, конечно, а сам камнерез Роман. Увидев многочисленные синяки и швы на лице парня, старец позеленел и спешно вышел. Гликерия объяснила, что дед у нее закоренелый противленец непротивлению; насилия, пусть полученного по Минойскому кодексу, никак одобрять не станет. «Но козу он доить уже скоро сможет», — добавила Гликерия; из дел, которые хочешь не хочешь нужно делать в доме, именно дойка козы, кривой на один глаз, хромой на левую заднюю ногу ОхROMEишны, почему-то была всем решительно не по сердцу. Да и вправду ОхROMEишна характером была не подарок, кусать любила представителей человеческого рода за ухо, явственно бляя при этом: «Мммщуу!»

Ночью у парня был дикий жар. Федор Кузьмич смерил ему температуру, градусник сразу встряхнул, никому ничего не сказавши. Однако шесть пудов не по-мальчишески мускулистого тела Варфоломея сдаваться не желали, к утру парень весь лежал в холодном поту, бредил и норовил сорвать повязки. Обе руки его, сломанные выше запястий, Федор Кузьмич зафиксировал в отщепленные от кухонной скамьи лубки, из антисептиков в доме Романа имелся только круто заваренный шалфей. Федор Кузьмич уселся за обеденный стол, достал пачку рецептурных бланков допотопного вида, но с печатями «Доктор ;еодоръ Кузьмичъ Чулвинъ» — и бисерным почерком заполнил десяток. В аптеку велел собираться Гликерии, идти-то было три дома по Скрытопереломному и Каменной-Точильной на угол Аптечной и Фонарной, но, чтоб лишних вопросов не задавали, он посылал туда коренную уроженку Киммериона. Та отсутствовала полчаса, пришла с полными руками и без единого рецепта, чем старик был недоволен, но на ворчание времени не имелось, у парня снова начинался жар, раны требовали вторичной обработки. «Сквозь строй они его прогнали, что ли?.. Ироды...»

Варфоломей во время вторичной обработки орал так, что, если б от его воплей Конан-Варвар проснулся и встал из оскверненной могилы, никто бы не удивился. Кожи на спине у парня в общем-то не было, не говоря о коже, расположенной по туловищу ниже — от той осталось одно воспоминание. Но Федор Кузьмич, приговаривая — «А челюсть не поломали? Ну и радуйся... А яйца не оттоптали? Скажи спасибо... А ноги целы?.. Помолись святым заступникам...» — знай себе поливал Варфоломеевы раны какой-то невероятно зловонной жидкостью, — от такого запаха даже ОхROMEишна во дворе недовольно забляла.

Назначенный подсобной прислугой парень превратился в доме в центр внимания. Однажды дежурным при нем добровольно просидел маявшийся бессонницей старец Роман. «Знал бы, что тебе такое сотворят, я б заявил, что

кол-то тебе в подарок отдал...» — Тогда б меня, дедушка, за люфу били...» — «За люфу-у-у?...» Под утро старец, от ярости мотая головой, пошел писать жалобу архонту и приказал внучке сразу же ее отнести по адресу. Через несколько часов в доме раздался телефонный звонок, секретарша, кирия Валентина, предупредила, что с мастером Романом будет говорить лично архонт Иаков Логофор. Резчик прошаркал к телефону и, не дав архонту произнести даже вступительной фразы, обложил его тридцатиэтажным загибом на старокиммерийском, используя и «только что прошедшее, весьма совершенное и окончательное» наклонение глагола, и «родительское-задушевное», и «дубильно-вяжущее», благо есть в базарном наречии и такое, когда же киммерийских слов старцу не хватило, он перешел на богатейший запас русских выражений, используя такие, что даже Тонька прыснула в кулак и своему маленькому сыну закрыла уши: научиться, конечно, но лучше попозже. Потом старик слушал архонта, потом дополнил свое мнение, потом снова, потом опять. «Вот хотя бы!» — рявкнул Роман напоследок и швырнул трубку. Не прошло и двух часов, как к подъезду со стороны Саксонской прибыли три «черных ворона» киммерийской сборки, из каждого дюжие молодцы Архонтовой Гвардии выбросили по паре давешних блюстителей порядка, однако уже без кирас, без ментиков, а клешни киммерийских раков были оторваны с отворотов вместе с мясом.

— Осуждены трибуналом, выдаются головой сроком на декаду лично в распоряжение его высокородия Романа Подселенцева! — гаркнул опрятный капитан с тремя рачьими клешнями на отворотах. Роман, тяжело опираясь на костяную трость, стоял на крыльце с непокрытой головой, свой чин обербергауптмана, дававший право на «высокородие», он и сам почти уже забыл. Арестованных, словно тюки, свалили к его ногам.

— Жить в подполе будут, — хрипло сказал камнерез. — Первый год — и в ручных кандалах, и в ножных. Потом оставим ножные, ручные снимем по поведению. А Яшке передайте, что в следующий раз я его самого в подпол на цепь посажу! Пороты, кстати?

— Никак нет, ваше высокородие... не успели! Если позволите, мы сейчас, прямо здесь... Или во дворике? — Не надо здесь. Во дворик их — и там по сто солёных, чтоб кожа сошла. Будут орать — добавить. Справятся твои?

— Служу Киммерии! — весело кликнул капитан, приказав нести бывших стражей на экзекуцию: за злоупотребление служебным положением Минойский кодекс карал нещадно, до смертной казни вплоть.

— Упреются! Шестерым сто солёных — не комар гикнул! — подал с крыльца по соседству сосед-лодочник, у которого сегодня, видимо, был выходной. Капитан только что зубами на него не шелкнул — не любил лишних свидетелей. Но Саксонская набережная — что деревня: все знают всех.

— А ты, Коровин, помалкивай! Опять на тебя бобры жалобу нагрызли — веслом колышешь без плавности! Опять, небось, старухе Кармоди прицеливаешься по хвосту заехать! Ты гляди, а то живо тебя с лицензии... — капитан еще поразорялся немного, потом пошел присматривать за экзекуцией. А сосед остался молчать на своем крыльце. Его прошлое было запятнано, бобры

его невзлюбили сильно, но и он бобрам отвечал тем же.

— Я и помалкиваю, — произнес сосед тогда, когда капитан уже наверняка не мог слышать ответа, — я помолчу-помолчу, да и перестану. Как решу перестать, так и перестану. — Сосед с удовольствием слушал вопли, разносившиеся с подселенцевского двора до самой Земли Святого Витта. Не каждый день увидишь, как полудюжину недавних блюстителей порядка впихивают в ворота, при этом быстро сдирая с них штаны для грядущей порки. Не каждый день! А дни у лодочника проходили однообразно, и об этом еще предстоит поведать в должное время.

Вой злоупотребителей растянулся надолго: шесть сотен соленых в один час не влупишь. Женщины с малышом на коляске-каталке, покуда всё это кончится, удалились в сторону Кроличьего острова. Еще одна женщина, ставшая в доме Подселенцева кем-то вроде экономки (не покушаясь ни в коей мере на старшинство хозяйской внучки), подсчитывала на пальцах:

— Варфоломей в проходную... В подполе шестеро, это ясно... Да я, да хозяин, да Федор Кузьмич... Доня да Тоня, Павлик с ними... Касьяновна особливо... Семеро выданных, подселенных еще пятеро, да хозяев двое — четырнадцать, а комнат шестнадцать всего — где поместимся? Хотя нет, эти шестеро в подполе и в кандалах, так что им особливые покои выделять пока не надо... Хозяин об одному углу, как всегда, Федор Кузьмич об другому... я с Доней, да Тоня с Павликом, еще две в прихожей, ну, Варфоломейку в катух при кухне... Нет, есть еще пока место, если новых выданных головой не скоро завезут... Только следить, чтобы поротых в подвале как надо приковали, прочно да уютно, отопление там центральное... Телефон? Не позволит хозяин телефон убивцам ставить, надо ж такое над парнишкой учинить... Ну, кормить их, ясное дело, нужно: собольи тушки на рынке давеча видала, империал шесть пудов, местные брезгают, а убивцев самое то что надо соболятиной кормить помалу с клюквою, с куздряникою, с бокряникою моченою... На курбан-байрам... Тьфу, на Ису-пророка им ёлку, поди, прикажут, а я б им не ёлку, я б им шкуру с задов спустила, да что это я, шкуру-то им с задов уж почитай седьмую спустили — пора их целебностями пользоваться... Федор Кузьмич!

Покуда Тоня с Доней полторы версты до Кроличьего, да столько же обратно, не торопясь, прогуляли, все злоупотребители были благополучно выпороты, в подпол отнесены бесчувственно, целебными отварами обработаны — но так, чтобы — как попросил хозяин дома — зажить-то зажило, да никаких им обезболиваний, Варфоломейке они кости тоже не под наркозом ломали. Наутро капитан из районного отделения, что на улице Сорока Одного Комиссара, угол Кислотравленного, пришел с инспекцией, долго шуршал и матерился в погребе, где вповалку лежали на дерюгах шестеро коррумпированных, потом устало вылез по стремянке и присел на кухне с хозяйкой-Гликерьей, с домоправительницей-Нинкой да с лекарем Федором Кузьмичом по стопочке выпить, потому как глава дома соснуть прилег.

— Истинные бугаи! — одобрительно говорил капитан, натирая солью краешек стопки, — его по мясам, по мясам, по фунту с половинки, извините, с каждой сняли, а он в упрямстве сугубствует! Говорит, чтоб тебе, Варух, в Едикуль

сесть! Это меня — в Едикуль? К змеедам?.. Да я за такое от себя добавлю! Я ему еще пять горячих, объясняю, что я не сам в капитаны себя произвел, а я по Дарвину в них произошел — за выживание, значит, боролся, вот и выжил, а он, бугай, только воровать умеет, да и то плохо, а капитан я в полном соответствии, — захотел бы в архимагиры произойти, и в них бы произошел!.. Зябко ты, Гликерья, настойку шучишь! Небось, клюкву из-под мамонтова зуба кладешь? — Бокрянику... — зарделась Гликерья, — у Свилевой Тропки знатная, а мне для жильцов с рынка всё фунт-другой в подарок да передадут. Бокряника — ягода злая, докуда ее морозом не будланет, никак в перегонное класть нельзя. Ну, я уж соблюдаю...

— Знатно соблюдаешь! — крикнул капитан, масляно глянул на Гликерью (которой был моложе самое малое лет на пятнадцать), и надолго вышел вон из нашего повествования.

— Всё учтено могучим ураганом, — подытожил Федор Кузьмич, печально, хотя без сочувствия поглядывая на люк, ведущий в подпол с шестью выданными головой рабами, — Архимагир — это, надо думать, по-здешнему — шеф-повар. Кажется, здешние шеф-повара любят готовить отбивные.

— Дедушка осудил! — строго отрезала Гликерья.

— А я не возражаю. Только лечить этих... дубоедов, что ли? — лечить их все едино мне... — Федор Кузьмич вздохнул и пошел собирать мази. Тоня и младшая компаньонка привезли с прогулки юного Павлика. Гликерия Касьяновна включила телевизор.

— Хорошо, хоть не по пятому разряду осудили, — буркнул Федор Кузьмич, берясь за скобу люка. Гликерия заинтересовалась, про Святую Варвару нынче было еще не скоро.

— А по пятому вовсе бы шкуру сняли. Пятый разряд государственных преступлений — составление тайных обществ. После такого приговора, хозяйюшка, моя помощь не требуется. — Лекарь со вздохом открыл люк, зажег свечу и удалился в подпол, из которого доносились воюющие и хнычущие звуки вперемешку с российскими и киммерийскими матюгами в «убедительном, отнюдь не сослагательном» наклонении со всеми бесконечными оттенками императивов, какие только в силах измыслить мозги бывших стражей закона, только что получивших в общей сумме шесть сотен соленых плетей и на ближайшие двенадцать лет обреченных славными статьями Минойского кодекса быть домашними рабами далеко не самого доброго в Киммерии камнереза.

Год на дворе стоял разнообразный, — точнее, на разных дворах стояли разные годы. А поскольку с набережной стороны со времен государя Петра Великого дом Романа Подселенцева был оборонен доской «Свободен от постоя» — то и год в этом доме тоже не стоял никакой. Был не год, а время. Время Святой Варвары — для Гликерии. Время сына Павлика — для Тони. Время Нинели — для Дони. Время юности — для Варфоломея. Время старости — для Романа. Время скорби — для шестерых выпоротых. Время ожидания будущего — для Павлика.

А для Федора Кузьмича времени не было. Его время давно утекло в северный

океан вместе с водами сибирской реки Чулвин, по которой он взял себе фамилию. Но одного Федор Кузьмич отрицать бы не стал: хотя время нынче и отсутствует, но делает оно это как-то очень необычно. Не так, как всегда и раньше. А так, как теперь и потом. Иносказательно, недостоверно и весьма сомнительно. Киммерийское время, никак иначе.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 5

Евгений Витковский

V

... хотя свобода есть драгоценнейший дар творца, но она может легко перейти в анархию, ежели не обставлена в настоящем уплатой оброков, а в будущем — взносом выкупных платежей.

Михаил Салтыков-Щедрин. Убежище Монрепо

Если выйти с крыльца дома Романа Подселенцева на Саксонскую набережную, и пойти на юг, вверх по течению Рифея, то можно время от времени касаться пальцами парапета, сложенного из точильного камня, можно трогать мягкие веточки вечнозеленой киммерийской туи, которой набережная обсажена. Мостов тут нет, одни лишь переправы устроены для тех, кто хочет на Земле Святого Витта помыться да поклониться важным могилам. Слева останутся переулки Скрытопереломный, Четыре Ступеньки и Давешний, а в конце набережной откроется квартал зелени, огороженный прекрасной кованой решеткой: Роцца Марьи. Посреди роцци — пруд, облицованный все тем же точильным камнем, — в том пруду, говорят, лет тому назад сотни с две какая-то Марья, очень бедная, от возвышенных чувств утопилась. Насчет этой Марьи в Киммерионе собран, издан и рекомендован для изучения в пятом классе гимназии целый сборник легенд.

На берегу пруда — городская достопримечательность: палеолитная статуя Венеры Киммерийской. Статуей ее считают только уроженцы Киммериона, на сторонний взгляд это булыжник булыжником, слегка сужающийся кверху, — в полтора человеческих роста. Саксонская Набережная за Роццей заворачивает к востоку и приобретает название Скоттской; возле Венеры стоят скамеечки и песочницы, досужие киммерийцы, отпустив деток играть, могут через протоку созерцать на юге, на Кроличьем острове, дивную шатровую часовню Артемия и Уара, где в полночь раздается удар колокола. Вот по этой набережной, в этот садик и водили женщины гулять самого младшего жильца подселенцевского дома — некоренного киммерийца Павла.

Киммерион — большой город: если сесть в трамвай, заворачивающий кольцо на самом севере города, в сотне сажен от Рифейской стрелки на острове Полночный Перст, и ехать на юг, через Моржовый остров, через Медвежий, по набережной Банной Земли и в центр, на Елисеево Поле, и дальше, дальше на юг, тем путем, что уже был описан выше — то всего полверсты не доедешь до

самой южной точки Киммериона, до выложенной точильным камнем набережной со старинным, никому не понятным названием Обрат. Длина такого пути с севера на юг — тридцать пять верст с киммерийским гаком. Гак в Киммерии из-за ворочаний Великого Змея — величина переменная, поэтому европейскими единицами измерения Киммерион не обчислишь, удобен для его обмера только киммерийский салтык, а в нем даже количество аршин в разные дни — разное. Для простых же киммерийцев Гак — имя собственное, так называется площадь перед Обратом, на которой складывают выменянные у бобров бревна железного кедра и других дорогих деревьев; Обрат — то самое место, где наваливается всеми своими громадными водами на Киммерион Рифей-батюшка, именно сюда приводят на обмен и на продажу брёвна бобры, существа по киммерийским законам полногражданственные и, хотя молчаливые, но любители склок и сутяжничества редкостные. На их салтык Гак чересчур велик. На простой салтык, на человеческий — на нем повернуться негде. Настоящих чудес в городе немного, но — есть. К примеру, главная улица города, вдоль которой проложена единственная трамвайная линия, зачарована. Хоть с юга на север по ней иди, хоть с севера на юг, а всё время будешь подниматься в гору. Даже если через улицу по подземному переходу пойдешь (а их на одном Елисеевом Поле с десятком, и чем только в этих переходах не торгуют!) — все равно будешь не идти, а взбираться. Оттого именуется эта улица с древнейших времен Подъемный Спуск, говорят, зачарование случилось с ней еще в те времена, когда никаких киммерийцев в Киммерии не было. Жил, рассказывают, тут какой-то Ель Лизей Полеватель, не то Полисей, не то Поросей, словом, темного леса ягода, «стоял пастухом уховским, по горе хождаете, главу свою ниже плеч ношаше, да прииде некто, его заклаше, власы на огне сожже, а тело на древе повеси» — словом, тот еще гусь был, ничего про него не известно толком, но вечное заклятие на Подъемный Спуск легло — это точно известно — из-за него.

Другое чудо Киммерии вполне мирское: это сила, которую имеют здесь гильдии, или, по-старинному, профсоюзы. Даже самая малая и самая слабая из киммерийских гильдий защищена тысячью законов, пользуется тысячью привилегий. Взять, к примеру, киммерийских оружейников, вместе с лодочниками населяющих на северо-востоке города три острова — Выпью Хоть, Самопальный и Пищальный; вместе же эти три острова чаще именуют Майорскими, или Отставными. Гильдия оттого малочисленна, что работают оружейники лишь на внутренний рынок Киммерии, потому что местного оружия, даже столового ножа, офеня с собой во Внешнюю Русь не возьмет из чистого суеверия. Впрочем, по специальным заказам занимаются оружейники еще и сборкой автомобилей; «Волга», к примеру, собирается из деталей, которые офеня за три ходки по винтику да по железке приносит из Внешней Руси через Яшмовую Нору; в Киммерии такой автомобиль получает название «Рифей» и ездит при помощи древесного спирта — бензин в Киммерию никто таскать не стал бы, — так что автомобилей в городе немного. Вообще киммерийцы такого транспорта не любят, то ли дело трамвай, велосипед, плоскодонка, рикша, самокат. Однако и оружейники — хоть их и немного

совсем — имеют своего представителя в архонтсовете, и пенсии своим старикам и инвалидам платят исправно, и свадьбы-похороны обеспечивают — не бедней, скажем, чем богатейшие гильдии камнерезов, гранильщиков, рыбных солельщиков, ледовщиков, стражников, мытарей, — да мало ли в Киммерии богатых гильдий.

Бедными называют в Киммерии не те гильдии, что бедны деньгами (эту беду архонтсовет всегда решит и по потребностям недостающие начеканит), а те, что малочислены. К примеру, гильдию коннозаводчиков, труженников Конного Завода, уместившегося на крохотном острове Волотов Пыжик. На весь Киммерион — две сотни лошадей, да столько же в остальной Киммерии, и все одной породы — рифейской. Больше ее нигде в мире нет, и хорошо, что нет: растащили бы местных каурок по зоопаркам. Вид у них больно уж необычный, молодые офени порой даже не сразу понимают, что за животное такое. Но словами рифейскую каурку не опишешь — видеть надо. Говорят, что прилита в них кровь стеллеровой коровы (не то быка), но это, всего вероятней, досужие бабьи рассказы.

А меновая торговля у Обрата кипит всю пять дней в неделю, ее активность немного спадает лишь в субботу, потому что менялы, киммерийские евреи, о работе слышать не хотят и уходят в синагогу, — да еще по воскресеньям, потому что киммерийцы почти все люди православные, хотя блюдут обе недели, и обычную в семь дней, и киммерийскую в двенадцать. Бобры никаких выходных не признают и считают, что бездельники-люди выходные от природной своей лени напридумывали.

От бобров пользы в городе много, но из-за них же много и воспрещений. Все каналы и протоки юго-восточного Киммериона, набережные островов Касторового, Горностопуло и Неближного (последний чаще именуют по-народному — Полный Песец) плотно заселены бобрами. Но главное их пристанище, конечно, длинный остров Бобровое Дерговище, лежащий к северо-востоку от Лисьего Хвоста. Все набережные тут оборудованы под бобринные нужды, здесь бобры покупают, продают и меняются, здесь они почти полные хозяева. Искусством сплавлять из верховий Рифея тяжелые, тонущие в воде стволы железного кедра, кроме бобров, не владеет никто. Бобры, поддерживая ствол, подгоняют его к Обрату, а там меняют на мятную жвачку, на вьетнамские вяленые бананы, картофельные и манговые чипсы, на переплеты классиков марксизма-ленинизма и другую вкусную целлюлозу, на закуску же всегда просят дать хоть немного засахаренных каштанов, — на этом лакомстве в бобровых хатках у малышни давно крыша поехала.

А железный кедр идет у киммерийских резчиков и на экспорт — на молясины, и для себя — на штучную мебель, на игрушки; режут из него и народный музыкальный инструмент, киммерийскую лиру, на ней в зимние вечера местные мастера и мастерицы бряцать любят. Ну, а бобры на древесине железного кедра пребольшие бабки лихо заколачивают. Держат в лапах торговлишку этим товаром два семейства: Мак-Грегори, побогаче, и Кармоди, победней, потому что помногочисленней. У обоих семейств есть конторы в деловой части острова Миноева Земля, есть виллы к северу от города, на Мёбиусах, куда люди не

ездят, потому как бобры в Киммерии, как и все прочие граждане, имеют право на частную жизнь.

С Миноевой Земли — пешком на Лососиное Сосье, оттуда тем же транспортом к сердцу Киммерии, острову Архонтова София, туда, где Архонтсовет и всё городское выборное начальство прозябает. Потом — к северу на остров с загадочным названием Важнейшее Место, а потом к востоку, на Замочную Насквозь, где раньше делали знаменитые на всю Внешнюю Русь амбарные замки; промысел этот нынче зачах, почти весь остров засадили торчковыми туями, в теплое время тут, как и в Роще Марьи, детишек выгуливают. Прямо из парка — горбатый пешеходный мостик на остров Безвыходный, тот самый, на котором вот уж сколько столетий прорицают на базарном киммерийском наречии местные сивиллы. Раньше тут был еще и малый собор Святого Витта, но его по ветхости еще при Евпатии Оксиринхе разобрали: негоже при языческой курильне церковь содержать, но и древний жертвенник гасить тоже негоже, вот и осталась на память от собора единственная улица острова — Витковские Выселки, одним лишь общим названием да святым покровителем связанная с банно-кладбищенским островом Земля Святого Витта. Испокон веков на Витковских Выселках живут и сами сивиллы, и гипофеты, прорицательского бреда толкователи; есть тут и лавки, торгующие сопутствующими товарами, от курений и цветочков рифейской ели, их приносят в жертву сивиллам, до спутниковых телефонов, их киммерийцы покупают как сувениры. Великий Змей, позволяя киммерийцам смотреть чуть ли не всё мировое телевидение, к мировой телефонной сети их не допускает. А может, и допускает, но из Киммерии всё равно звонить во Внешнюю Русь некому: офени брезгают, а единственный киммериец во Внешней Руси, консул Спиридон Комарзин, аккредитованный в городе Арясине на углу улиц 25 октября и 7 ноября, имеет на телефоны аллергию. Ну, а все новости можно найти и в телевизоре, и в городской вечерней газете.

Совсем ни для кого не новость, что уже много последних месяцев чаще других ходил к сивилле просить прорицаний городской палач, цветовод Илиан Магистрианч, уже упоминавшийся выше заика. Ох, и трясло же его, когда в первый раз пришел он к молодому гипофету Веденею заказывать оракульскую речь после того, как ускользнул из его палачьих рук младший брат гипофета, пойманный на мелком воровстве Варфоломей! Дернул же Илиана черт за язык — при народе брякнуть насчет того, как славно поработает он над шкурой пашенка из гипофетовой семьи! Но внес палач в кассу положенные три империаля, еще гипофету два (это ж тридцать целковых!) на чай оставил. Веденей ухом не повел, деньги взял, серу и кориандр под треножником возжег, помог старухе-сивилле на него взобраться, стал дожидаться прорицания. Старуха синела и задыхалась, но молчала, молчала. Лишь когда дым загустел настолько, что и сам Илиан побоялся, что рухнет, — или же запрорицает на неведомом наречии вместо сивиллы, — старуха выкрикнула:

— С миром иди, костолом! Зародятся тебе кнутовища!..

Веденей плеснул на огонь ягодного квасу, предложил начать толкование. Палач, однако, буркнул, что и так все ясно, поднялся и побрел прочь через Каменную

Корму, Напамять и Говядин к себе, на Землю Святого Эльма, где располагался застенок, единственный в Киммерионе, а также цветочные теплицы Илиана, основной источник его дохода. «Кнутовище тебе зародись!» — так кричали на базаре палачу острые на язык киммерийцы, когда казалась им непомерной его цена на тюльпаны или настурции. Гипофет после ухода Илиана вписал чаевые в налоговую декларацию, прочие деньги сунул в сейф до приезда инкассатора с Миноевой Земли.

Веденей сам не знал — любит он младшего брата или нет. Симптомы kleptomании проявлялись у Варфоломея с детства, его лечили, но на психованный учет не ставили: болезнь была какая-то для Киммериона не местная, не своя. Поставили бы на учет — оказался бы парень на весь город единственным легальным kleptomаном, а ко всему единственному в городе относились ревностно: единственные — это Великий Змей, Вечный Странник Мирон Вергизов, ну, еще архонт, епископ, да, еще граф Сувор Палинский, вот, пожалуй, и всё, что может быть в Киммерии единственным. Сивиллы — и те не единственные, сменяются по старости, да и у гипофета всегда сменщик есть. Веденей сам лишь недавно вышел из учеников, когда отец его преставился в очень преклонных годах. Забот о младшем брате легло на плечи Веденея немало, поэтому он был только рад, что после неудачной кражи непутевый парень на несколько лет оказался приписан к хорошему дому, к многолюдной семье некогда знаменитого в городе старика-камнереза. Ну, а что стражники-таможенники, чуть брата не убившие, попали в подпол того же дома, в традиционное киммерийское рабство с ограниченной ответственностью, так это уже и вовсе настоящая удача. Брат проучен — может, за ум возьмется. А кто переусердствовал, проучая — тот тоже бобром-кандибобером на рынок не вылезет. По-умному вышло, хотя и случайно. Словом, по-киммерийски. По-русски, словом.

Впрочем, визит Роману Минычу Подселенцеву в Вербное Воскресенье Веденей решил нанести. Зная, что в доме прописан знаменитый младенец, зашел гипофет на тот рынок, что на острове Петров Дом, и купил три десятка киммерийских игрушек — вырезанных из железного кедра бобров, бобрих и бобренят. Как раз уложился в Илиановы чаевые — неприятные деньги, а ребенку — утеха. Весили игрушки, правда, не меньше чугунных, но такие в городе общеприняты.

Веденей шел сквозь базар, стряхивая с широких плеч руки многочисленных вербовщиков. По традиции, на Вербу в Киммерионе происходит вербовка наемных рабочих, поварих, кухарок и всех других, кто работает без защиты гильдии, сам на себя, — в этот же день происходит и годовой расчет, а отсюда происходит (хоть и конец Великого Поста, и все люди православные, и так далее) неизбежная пьянка. Так что с веселого базара хотелось поскорей уйти; Веденей и на работе ежедневно нюхал многое неприятное, перегар в том числе. Такая вот слабость у сивилл с годами из-за вредного их производства вырабатывается, ничего не поделаешь. Однако большой пук вербных веточек с сережками гипофет с базара унес.

К дому камнереза он подошел вежливо, не с парадного крыльца, а со Скрытопереломного переулка. Длинным, в полтора раза длинней московского-

питерского, киммерийским пальцем нажал на звонок. Дверь отворила широкая в кости, восточного происхождения женщина в засыпанном мукой переднике. Веденей угодил на кухню, где жар и пар висели чуть ли не такие же, как на работе, возле сивилл, — но пахло не серой, а чем-то печеным и весьма дорогим, ибо Киммерия спокон веков вынуждена ввозить пшеницу — берега Рифея теплые, но вызревает на них только ячмень, да и того немного. Веденей унюхал, что пекутся обычные для вербного дня пироги ни с чем. Отчетливо пахло тут и рыбой; пост в доме, конечно, соблюдали, но плоть свою не слишком-то морили. Если уж позволено в этот день потребление растительного масла и рыбы, чего б не потребить? Веденей протянул женщине вербу, даже не подумав, что есть на свете иные вероисповедания, кроме православного.

— Ты к Роману Минычу. И к брату.

— Я ко всем. Братец мой, недоумок, на кладбище напрокудил. Так что простите, всех зашел поздравить, да маленькому вербный гостинец вот принес! — Женщина приняла мешок с деревянными бобрами, но сразу согнулась под его тяжестью: во Внешней Руси игрушки весят меньше. Веденей извинился, но татарка помочь ей не позволила.

— Это ты меня извини, — опережая реплику гипофета, сказала она. — Замечательные ваши бобры, они Павлику понравятся. Он скоро играть в них будет, сильный он будет, скоро... И соловей запоеет... Ой, да что это я тут болтаю, проходи. Варфоломей твой выздоравливает, срослись кости уже. Следов не будет, только шрамы на спине останутся...

Веденей приобалдел: он-то знал, как разговаривают люди, умеющие видеть будущее. Эта женщина умела лучше всех, кого он в жизни знал. Но зато совершенно не умела этого скрывать. Поднял гипофет голову, осмотрелся и произнес неожиданно для себя самого:

— Эхо у вас тут красивое — потолки высокие!

Татарка усмехнулась, будущее предсказывать перестала. Веденей, порываясь помочь нести мешок с бобрами, пошел за ней в глубь дома, — Варфоломей лежал в северном крыле. В каждой комнате стояли связки вербы, пахло пирогами и жженой туевой смолой.

— Русский праздник, но хороший праздник, — сказала татарка, — иди, иди, он уже скоро вставать сможет.

— Красивое у вас эхо, — невпопад повторил Веденей, вступая в комнату брата. Тот лежал, укрытый до подбородка, силился сделать вид, что спит. Этой встречи он боялся смертельно — с тех самых пор, как попался на неумелой краже Конанова кола.

— Эй, колокрад, просыпайся, брат пришел, сейчас пить-есть пора! — сказала татарка и оставила братьев наедине. Варфоломей робко открыл полглаза.

— Бить не буду, — сказал Веденей, — тебе твое уже выдали. Что теперь с тобой делать? Илиан перед всем городом в дурни записался — раскатал губу гипофетово семя в батоги... Только ты не радуйся, хвалить тебя не за что. В общем, буду просить, чтоб держали тебя здесь кухонным мужиком и на улицу не выпускали. Как можно дольше.

— Мне вставать еще нельзя, — промычал Варфоломей.

— Скоро будет можно. Вставать. Но больше ничего. Найди на себя управу, мне ж стыд за тебя на весь рынок! Твое счастье, что хозяин тебя головой принял, не то быть бы тебе в Римедиуме! А это, знаешь ли, не Ялта, даже не Миусы... Дурак ты, Варя, и шутки твои дурацкие. Нашел что воровать. Ты б еще Венеру из Роши украл!

— Я пробовал — не дотащил...

Веденей расхохотался.

— Так это ты ее поворотил? А в «сплетнице» умники — «Новый подземный толчок на Земле Святого Витта! Повернулась статуя Венеры Киммерийской!» Видал?

— Мне с глаза только вчера повязку сняли, газет тут не читают... Телевизор одна хозяйка смотрит, ничего больше...

Варфоломей врал: повязку с пришибленного глаза у него Федор Кузьмич вот уже неделю как снял. И газету-сплетницу, «Вечерний Киммерион» с упомянутым заголовком он тоже видел. И Венеру в садике — еще до визита на могилу Конана-Варвара — не один час ворочал, даже с места сдвинул, но понял, что тащить ее через полгорода к офенской гостинице сил ему никак не хватит. Ну, а Римедиумом в Киммерионе пугали и детей, и взрослых. И даже, говорят, бобров — но на этот счет, во избежание межрасовой розни, киммерийская пресса ничего официально не сообщала.

Брата своего Веденей пугал Римедиумом с детства, но не особенно помогало. Варфоломея утешало, что еще ранее первой кражи, на которой он попался, десятка три прошли безнаказанно. Мешок жертвенной серы, упертый у брата, до сих пор был надежно спрятан на Выселках. Одна беда, что никому, кроме сивилл и гипофетов, такая сера задаром не нужна, а старший брат украденное вряд ли стал бы выкупать — скорей отвесил бы затрещину, наплевав, что младший силою давно его превзошел.

— А мешок серы мог бы у меня и не воровать. Всё одно никому больше не нужна. Даже на порох не годится. Интересно, Варька, тебе что, всё на свете украсть хочется?

— Не всё, — оживился и мечтательно сощурился выздоравливающий, — но иногда очень хочется. Чтобы большое. Колокол с Кроличьего острова, к примеру. Или камин у архонта. Или русскую печь. Или железное бревно... Особенно бревно, только чтобы очень большое. Большое, оно... крупное. А крупное... крупное всегда спереть хочется, потому что оно большое. Весь этот монолог Веденей слышал не раз и не два, но покушение на многотонную Венеру его слегка поразило. Эту бы силищу — да к чему путному!

— Что ж ты у меня ни одной сивиллы не упер? Бывают крупные, жертвенник гнется...

— А на фига, — скучно спросил Варфоломей, — тебе новую определяют, а куда я ее, старую бабу, дену? Была б она каменная. Или чугунная!

— Ты его не слушай, — сказала возникшая в комнате татарка, — возрастное это у него. Как заматереет и женится, то есть женится он уже потом, а сперва у него дочка уже будет... Он, в общем, не будет воровать, перестанет, я тебе точно

говорю. Ты ему тогда верь. А сейчас ты мне верь, я точно говорю.

Веденей не сомневался, что точно, — он знал, эта женщина действительно видит будущее. Значит, все дело в подростковом, так сказать, созревании, и пора парню, говоря со всей киммерийской стыдливостью, становится мужчиной.

— Уже скоро, — сказала Нинель в ответ на мысли Веденея, — а вот насчет чтобы с хозяевами и с нами откушать? Хозяйка Гликерия приглашает. Стол постный, но рыбку припасли. Пирог с рыбой даже домовая любит. Особенный пирог. Не отказывайся, все равно не откажешься.

— А мне пирог? — оживился Варфоломей.

— И тебе пирог. Тебе два пирога. Оба с розгами. Да лежи ты, недоросток! Федор Кузьмич тебе горчичник тогда знаешь куда?

Варфоломей знал и не бунтовал.

Вербная трапеза в доме Подселенцева удалась по первому разряду, даже старик-хозяин не удержался и прежде гостей выполз в столовую на запахи. Политый кедровым маслом пирог с рифейской зубаткой занимал всю середину стола.

Мочености, солености, квашености стояли вперемешку с припущенным, припеченным и потомленным. Женщины вели себя за столом строго, старики-мужчины еще строже. Тоня кормила кроху-Павлика чем-то особливим, наверняка тоже праздничным. Красивая Доня постреливала глазами на видного собой гипофета. Гликерия терпела и не включала телевизор, хотя сегодня опять крутили про Святую Варвару. Все восьмеро, считая малыша, наконец, устроились за киммерийским столом — квадратным, со скругленными углами.

— Эта моя речь, — сказал старик-хозяин, поднимая стопку, — наверное, эта моя речь будет историческая. Я сегодня хочу выпить исторически.

Старец-камнерез ненадолго умолк, со значением покачивая во всё еще сильных пальцах стопку настойки на бокрянике, морозом будланутой. Питьё было горьким, мужским, но именно оно посверкивало в стопках у всех собравшихся за столом, лишь Гликерия по стародевичеству налила себе на доньшко морошковой подслащенной, ярко-желтой. Уровень напитка в стопках, впрочем, был разный — от налитых всклянь у Романа Миньча и Федора Кузьмича до нескольких символических капель перед Антониной. Варфоломей лежал в постели, но дверь из столовой к нему была распахнута, и стопку ему тоже отнесли полную, и слушал он своего хозяина с величайшим уважением, с таким, какое мог испытывать лишь к человеку, изготовлявшему всю жизнь большие и тяжелые вещи, — такие, которые украсть хочется.

— Я поднимаю этот наш первый главный тост, — медленно и веско заговорил хозяин дома, — за единую справедливость. А в чем заключается единая справедливость? В том, чтобы исправить все ошибки, допущенные прежде нас. А какая главная ошибка портит людям жизнь в последние века? Это та ошибка, что самое главное в нашей жизни, видите ли — свобода, равенство, братство. Вот! Это целых три ошибки, никаких таких вещей вместе взятых быть не может. Свобода? Ну, о свободе потом. Равенство? Какое такое равенство? Если я, к примеру, согласен быть равным, к примеру, с бобром Мак-Грегором или вот к примеру даже Кармоди, то вовсе не уверен я, что хочу равенства... с миусским

раком, если в нем даже триста пудов! А если я по старости и по глупости даже вдруг на такое соглашусь, и такого равенства захочу, то захочет ли этого равенства с ним, с этим раком, бобёр Мак-Грегор? Или чего уж, вот к примеру, даже бобер Кармоди? Никогда он на такое равенство не согласится и не пойдет! Не поплывет! Мы, конечно, этих раков едим, бобры же в основном нет, но не нужно такого равенства ни мне, ни вам, гости дорогие, ни стеллерову сильному быку, ни работающему бобру, ни даже раку его не нужно, — если равенство, то получается, это я одно лето его на отмели паси, а другое — он меня? Помилуй Бог, как государь благородный светлейший граф Палинский говаривает! Так что никакого, разьедрить его в клешню, равенства никому не надобно! Ну, а свобода...

Роман умолк, мертвая тишина повисла над столом, даже маленький Павлик, похоже, слушал историческую речь Подселенцева о ложности идей не слишком-то великой Французской революции, притом именно малыш был с хозяином дома в главных его антидемократических тезисах особенно согласен.

— Ну, насчет свободы и говорить долго ни к чему. Вон она где, настоящая свобода! — старец двинул свободным локтем в сторону кухни, где имелся люк в подпол. — Вот она! Шестеро богатырей, лбов-амбалов, не при дите сказать, камень долбят за тяжелое преступление. Какая им свобода? А с другой стороны, не прими я их к себе в подпол, откажись я их туда посадить — им тут же положен Римедиум, пары свинцовые, ртутные, никаких праздников, даже вода горячая мерками, потому как топлива мало, а даровая только со Святого Витта да с Банной Земли, с другого конца света! А ежели, скажем, не в Римедиум, так куда им на белом свете в Киммерии? К змеекусам, прости Господи, в Триед, где лба никто не перекрестит? В пустые Миусы? К бобрам на Мёбиусы разве... Киммерийцы за столом грохнули со смеху от этой затертой шутки, пришлые тоже засмеялись: им картина того, как сдают шестерых преступных таможенников в услужение на подводные дачи, как поселяют их в бобриные хатки и заставляют грызть богатым бобрам ёлки к обеду, тоже показалась забавной. Впрочем, по случаю Вербного Воскресения женщины в подпол спустили рабам харчи вполне директорские, не чета бобриной целлюлозе.

— Словом, свобода вещь не совсем плохая, но только тогда, когда она в дело употребимая. А в жизни нашей свободы нужно... Ну вот столько, и хватит! — Подселенцев поднял стопку и ногтем показал у доньшка, сколько именно, — Так что правильных слов тут всего только одно: братство! Такое, как у нас вот за столом сегодня, во славу Вербного воскресения!

Старик еще выше поднял стопку — и опрокинул ее содержимое себе в горло. Чокаться в Киммерии было со времен Лукерьи не принято. Выпили и прочие. Доня закашлялась, больно злая бокряника ягода всё-таки. Гликерия понимающе подвинула к ней графин с морошковой, но та во все глаза глядела на гипофета, не до морошковой ей было.

Дальше зависло молчание, стук ножей и чавканье отмечающих Вербу лишь усиливали его: все правильно сказал хозяин. Веденей ел огромный кусок пирога и размышлял, кому придется говорить ответный тост — гостю, то есть ему, или второму старику, пришлому из Внешней Руси. Выпало второе. Федор Кузьмич

утерся салфеткой и поднял стопку.

— Я тоже поднимаю тост, — начал он, — за то, чтобы все допущенные прежде ошибки были исправлены. Исправление порчи — главнейшее дело, это давно сказано у китайцев в «Книге перемен». И, хотя Россия — не Китай, но Киммерия — это все-таки Россия, и это хорошо. Очень отраднo узнать, что прапрадедушка Петр Алексеевич сюда приехал, взял на глаз град Киммерион — и на пустом месте для себя воздвиг похожий. Не его вина, что там город — не как здесь, его... устеречь некому. И рыба... хуже. Но был тот город столицей, больше двух столетий был. И можно только завидовать, что Киммерион непрерывно был и поныне остался неизменной столицей Киммерии — уже тридцать восемь столетий. Поэтому смело можно выпить за славное будущее Киммериона, Киммерии и всей Российской империи!

Старик, еще посредине своего тоста вставший, возвышался над столом с рюмкой в высоко поднятой крепкой руке. Гипофет почувствовал, что ради такого торжественного тоста и ему тоже встать полагается.

— Этот тост я принимаю, — сказал Подселенцев, медленно поднимаясь, — этот тост, я считаю, будет исторический.

Встали даже женщины. И выпили с большой торжественностью, хотя от бокрянники сводило скулы — такую водку залпом не пьют, ее только пробуют, жалко ведь губить красоту хозяйкиной работы одним халком! Но Гликерия, хотя сама и пила другое, кажется, была довольна, что плоды ее трудов исчезают в животах гостей, — она только жалела, что никто из многочисленных дядьев, теток и двоюродных к отцу-деду на Вербу не зашел. На Пасху, конечно, придут, но вот и на Вербу можно бы. Пользуясь тем, что гости жуют, хозяйка ушла на кухню и извлекла из печи главное блюдо стола — вербную кашу. С помощью Дони внесла чугуны в столовую и дозволила помощнице разложить по тарелкам нечто: гречневая каша, перемешанная с немалым количеством вербных почек, была обильно полита деревянным маслом.

— Разнообразная нынче верба! — изрек захмелевший Веденей, отведав каши. Вкуса он не чувствовал, всё отшибала бокрянниковая горечь. От него, от третьего за столом мужчины, ждали тоста, и он заговорил, используя немалый ораторский дар, развитый в толкованиях сивиллиного бреда. Он рассказывал, какой нынче прекрасный на острове Петров Дом вербный базар. Как продают там и иву, и ветлу, и лозу, и брезину, и молокитник, и шелюгу, и ломашник, и вязинник, и кузовницу, и краснотал, и белотал, и синетал, и чернотал, и даже привозимые из далекого Арясина армянские финики, сиречь опять-таки вербу, — и всё это означает древний, любимый киммерийцами праздник, о котором Святая Лукерья Киммерийская, — по преданию, конечно, — сказала: «Не та вера правее, которая мучит, а та вера правее, которую мучат!» Славный это праздник киммерийского плодородия, когда всё кипит и трется в Рифее, — сумасшедшая рыба, случается, даже икру не в сроки мечет, это как раз и называется «трется», — пирог с рифейской зубаткой у хозяйки прямо как вербный базар, отменный, а каша прямо как пирог, — а еще выпьем в память того, как несли древние киммерийцы на Урал со своей древнейшей родины вербные семена и саженцы, потому как без воды киммериец — никуда, а где

верба, там вода, — а когда роняли они семена на дорогу, то вербы вымахивали, к примеру, как у евреев на реках Вавилонских, на такую вербу, она же ива и прочее, не только разные смычковые и щипковые инструменты повесить бы можно, а и рояль ничего себе; вот и продают на Петрове ДOME всё вербное, кроме засахаренных каштанов, потому что каштаны, сколькоё их ни тащат офени на Лисий Хвост, все идут бобрам в обмен на железное дерево кедр... Постояльцы и хозяйева согласно кивали и неторопливо ели, — нашел на Веденея стих безостановочного говорения, ну и пусть говорит: под такие речи и пьется легко, и закусывается душевно. А Веденея тем временем несло дальше, он отчего-то пустился рассказывать о чудесах островка Прыжок Лосося, расположенного в сотне верст к северу от Мёбиусов, бобриных дач, по пути к Миусам, рачьим пастбищам. На острове этом вечно идут дожди, но непростые, а неприятные, хотя пречудные: выпадают там дожди не из воды, а из всего, даже из каменных статуй, — а вот недавно шел дождь из самых разнообразных российских удостоверений личности, с грамот времен Петра Великого начиная и до билетов покойной Коммунистической Партии Советского Союза, но об этом дожде узнали случайно, потому что ближе всех к Прыжку Лосося обитают бобры, они про дождь провели и всю выпавшую целлюлозу погрызли, одно осталось временное водительское удостоверение Хохрякова Геннадия Павловича...

Гипофет окончательно заговорился, каша у него в тарелке стыла и огорчала Доню. Настойка меняла в стопке цвет, сгущаясь оттенком к донцу. Веденей закашлялся, взял рюмку, а куда он ее пил, глава дома со значением произнес: — Да, важная ягода — хохряника.

По-киммерийски Роман опрокинул стопку дном вверх, поставил на тарелку и поднялся: пейте-ешьте, гости, без меня, ваше дело молодое, а я отдыхать пошел, мое дело стариковское. Болтливую эстафету у Веденея перехватили женщины: все они как одна позавчера видели — напился сосед Коровин в стельку, небогоугодно это, нет, — весло в Рифей упустил, бобры на Мёбиях поймали, городовой отвезли и жалобу архонту подали, городовой к Коровину пришел, а тот в сенях без порток лежит и «Сме-ело мы в бой пошли» орёт, но тут из гильдии лодочников пришли и с городовым сцепились, увезли Коровина на экспертизу и доказали, что он трезвый, это ж каким маслом и какое колесо надо мазать, чтоб такую справку сделать?.. Нить разговора уплыла от Веденея, да и Господь с ней, с нитью.

Он попил и поел, бобренятами одарил малыша, некоренного киммерийца Пашу, и брата тоже проведаль. С черноволосой девушкой за столом он тоже наперемигивался, да вот ушла она куда-то. Он не хотел больше слушать нытье Варфоломея, требующего «себе в рюмку». Его раздражали глухие стуки в подполе подселенцевского дома, — видать, местный барабашка расходился, — и жутко хотелось домой, на Витковские Выселки. Гипофет встал, откланялся, татарка проводила его до дверей, которыми он вошел в кухню.

— Повидаешь ты мир, парень, повидаешь. Ни во что верить не будешь, в том сила твоя главная скажется. Три дочки у тебя вырастут, хорошие девки будут, и племянниц две, тоже хорошие будут, ох, жизнь тебе парень такое покажет... —

бормотала Нинель, слушая удаляющиеся шаги Веденя.

По набережной прошел наряд стражников, задержался у крыльца соседа-лодочника, что-то спросил. Тот вяло ответил. Стражники повторили вопрос. Лодочник, кажется, вконец дошел.

— Да не болен я! Не пьян! Что пристаєте — ясно сказано в справке — периблеспис у меня... Что? Да, да, это грусть, которая с человеком бывает при виде помешанных... Никого я из вас не обзываю! Кроме вас помешанных за день насмотрелся, возил до обеда, потом лодку сменщику оставил... А куда хотите, туда звоните. На экспертизу? Везите сию минуту...

На этой фразе стражники оставили лодочника в покое и пошли дальше — сшибать калым с менее защищенных бедолаг. Нинели было жаль соседа-лодочника. Она-то знала, какие беды ему еще предстоят. Но, как всегда, молчала; бесполезно людям про их будущее рассказывать. Оно и так наступит, а если рассказать — то либо не поверят, расстроятся, — либо поверят, тогда расстроятся еще больше. Ни к чему людям знать будущее. Находилась она уже по дорогам России, наговорила людям, чего с ними будет — нешто кто слушал? Хватит с них ненужного знания. Им бы с обыкновенным-то управиться, что в Киммерии, что на Руси.

А сосед остался на крыльце, долго-долго сидел он, глядя через протоку на немногочисленные ночные огни Земли Святого Витта. Потом удостоверился, что бояться больше нечего, выудил из сеней заранее припрятанную бутылку и сделал из горлышка длинный глоток. С начальством в лодочной гильдии у него был уговор: как уйдет стража — досчитай до десяти тысяч, медленно. Если никто не вернулся — делай до утра что хочешь. Отчего до десяти тысяч, а не до шести или до двенадцати — сосед не спрашивал. Он уже давно ни с кем не спорил. Ибо кроме гильдии, профсоюза по-старинному если, его, Астерия Миноевича Коровина, защищать было некому. Даже в праздники.

В угловой комнате многолюдного подселенцевского дома зажегся свет. В соседней, у Нинели, погас. Она знала, что нынче пасьянс у Федора Кузьмича сойдется, а потому настроение завтра с утра будет лучше обычного.

гений Витковский. Земля святого Витта. Часть 6

Евгений Витковский

VI

Сделаем худо, а поправим еще хуже.

Николай Лесков. Некуда

Темна древность киммерийская, но не древнее Киммерия, но не древней и не темней она, нежели ее древняя столица — воздвигнутый на сорока островах град Киммерион. Среди же иных, младших городов Киммерии самым славным, — хотя и нельзя констатировать, что слава эта такая добрая, — уже который век числится еретический город Триед, стоящий близ двупроточного озера Мурло. Двупроточным озеро считается потому, что впадает в него небольшая, но

бурная речка Селезень, — слово это, надо заметить, женского рода, — она же из озера неведомым образом и вытекает. По левой стороне, вдоль каменистого берега, текут воды Рифея из великой реки в озеро, а по правой стороне текут воды Мурла обратно в Рифей. При впадении Селезни в Рифей — оно же и выпадение — стоит малая, уютная деревенька Нежность-на-Селезни. Переправа через Селезень, чтоб излевой Нежности в Правую добираться, была, понятное дело, лодочная. Место селезенского переправщика требовало немалого искусства: река со старинным левосторонним течением никакого «островка безопасности» на своей середине для удобства людей не образовывала, в этом месте переправляющаяся лодка сперва на мгновение застывала, а потом приходила в безостановочное вращение. В Рифей лодку не сносило: левая сторона Селезни влекла посудину в озеро. А в озеро посудина уплыть опять же не могла, правое течение реки неудержимо подталкивало лодку в Рифей. Лишь самые умелые из лодочников могли обойтись одним элегантным оборотом и доставить пассажиров излевой Нежности в Правую. Таких лодочников ценили, зарабатывали они что твой мастер-чертожилник. Особенно потому, что была Селезень в высшей степени бобрифицирована. Киммерийские учителя арифметики никогда для учеников даже задач не сочиняли — таких, чтоб «в бассейн по одной трубе», «из бассейна по другой трубе», — перед ними всегда был образец нелогичного озера, из которого вытекает — и в которое притом и втекает тоже. Простая киммерийская задача такого рода должна была начинаться следующими словами: «А что, ребятки, будет, ежели вдруг прогневаётся старший наш Рифей-батюшка, да и матушка наша младшая Селезень тоже прогневаётся, и потечёт по левой стороне матушки в прелюбезное наше Мурло да в пять раз более водицы, нежели из него следом по правой стороне вытечет?» Составлять такие задачи тоже полагалось с превеликой смекалкой, помня многие факторы: в частности, восточный берег Мурла почти весь упирался в вертикальный обрыв Уральского хребта, да так, что кой-какая часть озерных вод вообще находилась в Азии, — а в двух верстах над озером в виде то ли ласточкиного, то ли орлиного гнезда нависал прославленный замок графа Суворова Васильевича Палинского, где он с незапамятных времен изволил проживать с единственным камердинером, и откуда нередко для закаливания здоровья совершал прыжки в серединку озера, неизменно «солдатиком», выделявая при этом различные фигуры артикула и восхищенно вопя во время полета: «Помилуй Бог! Помилуй Бог!» Потом граф выныривал, по-собачьи выгробал на берег, по-собачьи же отряхивался, быстро-быстро к себе в замок по спиралью вьющейся тропочке возбегал, насухо растирался грубым полотенцем, а в завершение всего еще непременно кричал петухом. Две версты, конечно, высота немалая, но неумелый учитель — бывали такие случаи — мог сочинить и такую задачу, в которой Мурло, раздобрев от разгневанных вод Рифея, поднялось бы до самого замка — а там, глядишь, переплеснулось бы и через замок, облизало бы брюхо самого Великого Змея, ну, а там... Неизвестно, что было бы «а там», потому что за подобную задачку незадачливый задачедатель скоренько отправился бы на Миусы, раков пасти, если не прямо в Римедиум — чеканить осьмушки и другие мелкие лепты для

нужд внутрикиммерийского рынка. Словом, несмотря на соблазнительный сюжет, подаваемый существованием реки, текущей как «туда», так и «сюда», в школах он любовью не пользовался, — притом как раз со стороны учителей. Ученикам же было куда интересней травить друг другу байки про то, как вот устроил бы такой-то вот разнелюбимый Харламбий Тезеич неправильную контрольную про озеро, тамошние бобры на него бы настучали — и двинул бы Тезеич... Ну, туда бы, куда ни один киммериец в здравом уме двигать не намерен.

А Селезень была ко всему тому еще и бобриной вотчиной. Плотину на ней, понятно, ни один сумасшедший бобер заложить не пробовал, разнесло бы плотину слева налево, на берег да в озеро, а справа направо, на берег да в Рифей-батюшку, — но служила Селезень бобриным семьям — и Кармоди, и Мак-Грегорам, и даже захудалым озерным О'Брайенам — излюбленной променадой: особенно любили толкаться в двутечной реке бобриные старушенции, как всех трех основных родов, так и вовсе безродные. И хотя переправа у Нежности была единственным местом, где плоскодонным лодкам дозволялось нарушать спокойствие бобриной перспективы, старушенции взять этого в толк не могли, — а что более вероятно — не хотели. Оттого, бывало, доходило и до беды.

Лет более десяти тому назад процветал на переправе молодой, весьма искусный лодочник, уроженец Лисьего Хвоста — Астерий Миноевич Коровин, в молодости красавец и выпивоха, в зрелые же годы превратившийся в «аведькогдабылкрасавца», да еще из-за приключившейся с ним однажды беды прозванный недругами «Гондол Гондолыч». Случилась с ним такая незадача по делу житейскому, хотя, что для Киммерии большая редкость, очень пьяному. А уж что всего обидней — сам-то Астерий был трезвей миусского рака на выпасе. Получилось так: женился какой-то корзинщик излевой Нежности на корзинщице из Правой, то ли наоборот, но это не важно; свадьба была широкая, киммерийская, с двумя пудами арясинских кружев, через обручальные кольца пропущенных, с венчанием в Киммерионе, на острове Великий Поклёп, катанием на трамвае с Лисьего хвоста до Рифейской Стрелки и обратно, — а это все ж таки тридцать пять верст в один конец, в другой конец, в обратный, конечно, меньше, ибо, Хвоста не доезжая, сошли нежностевские поезжане с трамвая у Миноевой Земли, добрались до переправы на Земле Святого Эльма, и поехали на лодках пропивать жениха невесте сразу и в Правую, и в Левую Нежность. Традиция пропивания именно жениха была не киммерийской, завели ее триедские сектанты без году неделя (киммерийская, впрочем, неделя, в которой двенадцать дней), но в Нежностях она прижилась: до Триеда можно было излевой посуху за день дойти, а до Киммериона — хоть и меньше часа — нужно было плыть по реке, набитой красной рыбой, сплавленным железным кедром и вечно качающими права бобрами — по Рифею-батюшке.

Свадьба гудела и гремела, вот уж невеста побежала сквозь кусты от жениха, вот уж и догнать бы ему ее, да увернуться, да побежать бы от нее самому, чтоб догнала и всякое положенное матриархатными обычаями Триеда над ним бы учинила, — но тут жених по тому самому очень уж пьяному делу все перепутал,

да и полез не в очередь на колокольню рифейским соловьем свистать, не подумав, что никакой колокольни ни в Правой, ни влевой Нежностях отродясь не бывало.

Прочие гости на свадьбе оказались не трезвей жениха и все как один на колокольню за ним полезли — то ли свистать возжелали единым соловьиным бульканьем, клыканьем и пленканьем, то ли просто хотели жениха с колокольни снимать, то ли еще чего другого хотели, а то и всего сразу. Некоторые приезжие киммерионцы с Верхнего Эльма, Хвоста и Дерговища в ужасе протрезвели и заголосили, глядя на то, как мужская половина Нежностей с малой примесью женской половины лезет прямо под облака по никогда и никем не построенной колокольне, да к тому же еще цокает, присвистывает, дудки разные изображает — словом, пробует свою соловьиную силу. Лезли они так, лезли, но поскольку путь их нигде окончиться не мог (ну, отродясь не было там колокольни, хоть убей!), то в конце концов одной кучей на голосащих эльмовцев и хвостян так и осыпались; поверх же кучи уселся мягким на мягкое никак не пострадавший жених, уже всю рассвиставшийся и расщелкавшийся.

Понять произошедшее взялся бы не всякий киммериец, внешний русич и вообще бы голову сломал: как это вот можно взять да и навеститься с колокольни, которой никогда не было, — да глядишь и не будет никогда. Но на западном берегу Рифея, выше Римедиума, еще не к такому нежностевские поселяне привыкли, — да и нам бы, читатель, привыкнуть пора, наглядевшись на речку Селезень, где вода течет сразу и туда, и обратно. Потому нечего осуждать Астерия Коровина, жившего той порой в Нежности-на-Селезни исключительно ради крепкого и немалого заработка, — повел Астерий себя в тот раз неправильно. Только-только расплзлась куча мала гостей, ставших жертвой любви к народным обычаям соловьиных свистаний, как решил перевозчик наиболее побитым гостям излевой Нежности (а беда приключилась в Правой) помочь, отвезти через речку домой, чтоб вправили то, что вывихнуто, наложили гипс или что другое на все, что поломано, а кому совсем плохо — везли бы того прямо к дежурному батюшке на Верхнего Святого Эльма (чтобы, не приведи Господи...). Но, как случается и на Руси, и в Киммерии, проявил избыточное рвение, отягченное отсутствием умения. Впрочем, у кого нашлось бы умение не только загрузить лодку двумя дюжинами частью орущих от боли, частью и вообще сомлевших от побитости, да и от перепитости левых нежностян, не только потом доставить их к противоположной пристани, — но как во время переправы не въехать рулевым веслом по затылку никакой прогуливающейся вдоль речной перспективы бобриной старушечки?

Через полчаса после описанных событий к бобриному травмопункту между островами Горностопуло и Касторовым приплыла толпа старух-бобрих, под все подмышки поддерживавшая одну, самую, кажется, древнюю из всех бобриху: на темени ее красовалась изрядная рваная рана. Старухи грозно щерили от природы красные зубищи и всем своим видом говорили: «Отстоим наших лучших, наших драгоценнейших и возлюбленнейших матриархов! Даешь эмбарго на поставку железного кедра в Киммерион! Долой угнетателей, развративших бобровую молодежь сладенькими каштанами!» Пострадавшая,

как назло, оказалась из богатых Мак-Грегоров, к тому же такая стервища, что гнев прочих бобров проистекал, похоже, не из того события, что лодочник ее веслом угостил, а из того, что не прибил ее сразу и вчистую, — тогда, быть может, сошла бы эта беда за несчастный случай. Но — увы! — крепкая оказалась перечница. Старуху обслужили, вынули из ее раны две киммерийских пяди Астериева весла, отвезли домой и принесли извинения от имени архонта. Ну, а карьере Коровина вместе с длинным заработком на перевозе через двуснастную Селезень пришел конец.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 7

Евгений Витковский

VII

Другая нелепость — будто я, Астерий, узник.

Х.Л. Борхес. Дом Астерия

Киммериец без работы не останется — такая традиция за тридцать восемь столетий сложилась сама по себе. Киммериец-лодочник не останется без работы тем более, мостов в Киммерионе много, но не чересчур, некоторые острова иначе как вплавь недостижимы вовсе: Высоковье, к примеру, где монастырь Святого Давида Рифейского, покровителя офеней, — или остров Ничье Урочище, или еще некоторые, к которым мосты строить или ни к чему, или дорого, или вовсе невозможно. Никогда и никто не пробовал строить мост к Земле Святого Витта, хотя добираться туда нужно часто и многим: банные дела у одних, исторически-почитательные для визита на знаменитое кладбище — у других, а очень часто у одного итого же посетителя Земли Святого Витта оба этих дела сочетаются, — ежедневно ездит на остров еще и три десятка торговцев мылом, другие три десятка торговцев мочалом-люфой да и много еще кто, — а собственной лодкой для переправы городская гильдия лодочников никому здесь пользоваться не позволит: с монопольными делами в Киммерионе издревле строго. На своей лодке хочешь плавать — катайся на топкий западный берег Рифея по ягоды: по клюкву там, по бруснику, по бокрянику. Это — пожалуйста, там на переправах постоянные лодки держать нет выгоды, хотя гильдия квасоваров, бывает, за ягодой спецрейсы фрахтует. Гильдия лодочников в Киммерионе хоть и не из самых богатых, не из самых прославленных, да только поди обойдись без нее на сорока островах, — так что она своих членов бережет и трудоустраивает. А Коровин был самым что ни на есть облажавшимся членом. При его-то мастерстве! С хлебной Селезни!.. Так вот и попал Астерий Миноевич на Саксонскую набережную. Место здесь было тоже хлебное, но, стыдливо говоря, средней хлебности. Переправ с Караморовой стороны на Землю Святого Витта существовало три, да еще была четвертая, со стороны острова с непонятным даже для киммерийского слуха названием Мох-Лох, но та не очень регулярно работала. Астерий временно

подменил знаменитого алкаша Доя Доича, управлявшегося на средней из трех переправ (называлась она «линия Саксонская-Баннопокойная»), но уже через три киммерийские недели временная прихворнутость Доя Доича сменилась вечным здоровьем на Сверхновом Кладбище северней Римедиума; и то правда, что нельзя катар нижних и верхних дыхательных путей лечить кедровым скипидаром внутрижелудочно. Вечная память Дую Доичу, холостому алкашу. Гильдия добилась, что и переправа его, и даже большой, старый дом на Саксонской перешли к Астерию.

Жизнь Астерия стала весьма монотонной, отчего он страдал. Никому не требовалось его виртуозное мастерство, Рифей-батюшка тѣк себе да тѣк, очень притом неторопливо, на север, к далеким Миусам, — для Астерия, когда он в пятом часу утра выходил на Саксонскую, тѣк великий Рифей слева направо. К шестому часу приходили первые пассажиры — костоправы, брюхоправы, шайкодары, полотенщики, сухопарники, спиномои, ядрогреи и самые разные другие люди, кому собственно при банях на Земле Святого Витта, вечно сотрясаемой, селиться было не с руки, — там жили только истопники да смотрители кладбища, поголовно бобыли да бобылки, с тем различием, что при банях — помоложе, а при кладбище — постарше, к тяжелому банному труду уже непригодные. За четверть часа в лодку Астерия набивались положенные две дюжины пассажиров, и лодка торопливо отчаливала. За перевоз своих членов гильдия киммерионских банщиков платила гильдии киммерионских лодочников; именно эти деньги, существовавшие исключительно в безналичном виде (а бухгалтерские дела в Киммерии стали вполне современными лет эдак за тысячу до того, как озабоченный фактом открытия Америки Леонардо да Винчи поручил своему приятелю Луке Паччиоли изобрести «двойную бухгалтерию»), оплачивали Астерию аренду дома на Саксонской, коммунальные услуги и даже — буде Коровин внезапно бы сдурел и решил жениться — 50 % стоимости устройства свадьбы; остаток шел в пенсионный фонд и еще в другой фонд со страшеньким названием «Предусмотренные ритуальные расходы».

До половины восьмого, по праздникам до восьми, Астерий возил с Караморовой стороны на Святого Витта рабочий люд, обратно шел порожняком. С полвосьмого, по праздникам с восьми, начиналась у него работа на свой карман. Из-за сложения общерусской недели, в которой семь дней, и которая важна для Киммериона лишь потому, что блюсти ее велят и Державствующая Православная Церковь, и московское телевидение, без которого сериалов про житие Святой Варвары не увидишь, с киммерийской неделей, которую киммерийцы блюдут так же, как дышат воздухом, день на день у Астерия не приходился, то больше было у него пассажиров, то меньше, постоянными клиентами числил он лишь немногих, кто привык мыться по старинке, «по-древнему» — через два дня на третий. Платили пассажиры все одинаково — киммерийский пятак, он же обол, он же три с тремя четвертями копейки на московские деньги.

После обеда, который для Астерия состоял из кедровой галеты под семь глотков брусничного квасу, помытый народ желал вернуться в город, и оболочки сыпались в карман на фартуке лодочника одинаковыми пригоршнями: двадцать четыре

обола составляли девяносто общероссийских копеек; десять ездов — девять рублей, ну, а сто ездов — девяносто рублей, или шесть имперялов на московские же. Только никаких ста ездов с восьми утра до восьми вечера с Караморовой на Святого Вита накатать невозможно, даже если не обедать и времени на погрузку-выгрузку пассажиров не тратить. На самом деле за это время получалось у Астерия много если два имперяла, а по-киммерийски — сорок восемь лепт, или лепетов, они же — четыре мёбия, в просторечии — мёба. Из этих денег три четверти нужно было отдать опять-таки гильдии, в страховой фонд, в фонд медицинского обслуживания офеней, в фонд сотрудничества гильдий и еще в какие-то фонды, названиями которых лодочник не загружал свою память. Он знал, что пол-имперяла в день худо-бедно останутся в кармане чистыми, — не чета, конечно, заработкам на Селезни, да и вообще на содержание семьи кому б таких денег хватило. Но бессемейному Астерию хватало, даже что-то оставалось порой. Раз в киммерийскую неделю лодочник, уговорившись заранее с двумя соседними переправами, брал выходной. Отоспавшись, выходил он на крыльцо, присаживался на ступеньки, откупоривал купленную заранее бутылку мёду двойной сычености, и до самого вечера пил из горлышка, лишь изредка перебрасываясь парой слов с соседями. Справа, через узкий переулок, стоял дом лучшего киммерийского резчика по родониту — Романа Подселенцева, очень оживившийся с тех пор, как появилась в нем дополнительная команда жильцов, которых Астерий всех в лицо выучил лишь на пятый-шестой месяц их тамошнего проживания, — к весне, словом. Здоровался Астерий на всякий случай со всеми: глядишь, будущие клиенты банно-мемориальные, так чтоб ни на какую чужую переправу не ходили бы. Слева жила довольно молодая пара, супруги-художники Коварди, Вера и Басилей, эти вечно пропадали в глубинах дома, рисовали на продажу картины-обманки, такие, на которых лежит вот кедровая шишка, луковица, либо же маузер, а потянешь к ним руку, хватать — и не возьмешь ничего, потому как всё нарисованное. Супруги на крыльцо выходили нечасто, но как раз в лодке у Астерия появлялись регулярно. И в баню их лодочник возил, и на мемориальное кладбище, там Коварди резьбу всякую для своих картинок срисовывали. А за их домом, южней, была неширокая улочка, заканчивавшаяся четырьмя ступеньками, ведшими в глубь Рифея. Это и была пристань, рабочая пристань Астерия. Дальше нее лодочник отлучался редко, даже мытарь гильдии в половине двенадцатого ночи приходил к порогу дома Астерия. С восьми до одиннадцати вечера Астерий тоже работал, но не как утром и не как днем: члены гильдии возвращались домой по служебному проезду, припозднившиеся посетители бань и кладбища платили вдвое против дневной таксы. Эти деньги целиком сдавал Астерий в фонд защиты от возможных стихийных бедствий. И невелика беда, что ни одного серьезного стихийного бедствия лодочник на своем веку не видал. Жалко, что ли, заплатить, чтоб и дальше их не видать? Впрочем, лично для Астерия таковым бедствием вполне могли считаться бобры. Потому что и здесь, на месте работы, максимально удаленном от прежнего — того, что было когда-то на Селезни, насколько сумела сделать гильдия, — бобры не оставляли лодочника в покое: все как один

держали они на него длинный красный зуб.

Гласный выборный от бобрового населения в Киммерионе за первый же год работы Астерия на новом месте передал лично архонту три жалобы на небрежность лодочника. Первые две были однотипны: оный-де Астерий преступно (ясно, что в нетрезвом виде) упустил в Рифей рулевое весло, каковым, свободно (и преступно) неуправляемо поплывшим вниз по течению, был на приватной своей даче близ Второго Мёбия ушиблен престарелый Кармоди (во втором случае — Мак-Грегор), каковое весло и прилагалось в качестве единственного вещественного доказательства; Кармоди же (во втором случае — Мак-Грегор) не мог явиться лично, ибо ушиб его имел столь серьезные последствия, что сделался престарелый бобер-гипертоник нетранспортабелен.

Гильдия заказала независимую экспертизу, и с первой кляузой покончили мигом. Весло оказалось не только не казенное, но было оно вообще выстругано самими бобрами из рифейской липы, редкого дерева-эндемика, за поруб и погрыз какового чуть ли не с времен Евпатия Оксиринха полагался штраф. Во втором, полностью аналогичном случае, весло оказалось натуральное, человечье, но без малейших следов работы лодочника; странно как-то выходило — будто сходил Астерий на Елисеёво Поле, укупил в торговых рядах новое (дорогое — десять мёбиев!) лодочное весло, потом злоумышленно бросил его в Рифей, чтобы сорока верстами ниже по течению, на бобриных дачах, зашибло оно прямо в макушку почтенного гипертоника Мак-Грегора (то ли Кармоди?). Никакой другой вариант не проходил, алиби Астерий имел железное, словно кедр, никуда он со своей переправы в последний месяц не удалялся, и тому три сотни свидетелей, в их числе две бобрихи-бобылки почти вымершего рода Равид-и-Мутон, прижившиеся возле Земли Святого Витта. Скрежеща красными зубами на проклятых ренегатов, кляузники отвели свою жалобу как ошибочную и уплыли куда-то, где мудрые и нетранспортабельные старейшины, надо полагать, вложили исполнителям аж по киммерийские календы за халтурную работу.

Третью жалобу передали в архонтсовет под Пасху. На этот раз пострадавший бобер со всеми справками с Дерговища (о получении им черепно-мозговой травмы от длинного деревянного предмета) с заштопанным на том же Дерговище бритым скальпом, заявился в архонтсовет лично. Но и гильдия не дремала, не зря же она прибирала у своих членов до девяноста процентов доходов; словом, независимая экспертиза на подобный случай была наперед заказана и оплачена. Притом эксперт был многозначительно приглашен с Земли Святого Эльма, восточная переправа с которого напрямик вела в Римедиум, — тонкий намек на то, что если виновен Астерий и бобры смогут этот факт доказать — то поедет он напрямик и до скончания века чеканить мелкую монету, а если не смогут доказать — то есть прецеденты: примерно одного в год (в среднем) бобра с Мёбиусов сама община привозит и просит загнать во все тот же Римедиум на подсобные столярные работы.

Весло было — точно — с переправы Астерия, и такое изношенное, что дивно, как не обломилось раньше об уключину. Одна беда, во всю длину весла

перочинным ножиком кто-то вырезал надпись: ДОЙ ДОИЧ — Я, ВЕСЛОМ ЭТИМ ГР... — тут надпись заворачивала на другую сторону весла — ЕБУ! КТО ТРОНЕТ ВЕСЛО, ТОГО УШИ... — надпись делала еще один поворот — БУ! Документы гильдии продемонстрировали, что данное весло покойный предшественник Астерия по ветхости сдал в гильдию же и взамен получил новое, а старое гильдия продала на жвачку... бобрам. Минойский кодекс предусматривал за подобный подлог немедленную смертную казнь, которую всегда заменяли вечным отсылком в Римедиум. Общерусский императорский кодекс позволял рассмотреть преступление как мошенничество мелкое (если закрыть глаза на очевидную попытку оговора, за что минойский кодекс назначал всё то же самое), с условным сроком наказания и последующей выдачей на поруки. Усталый архонт предложил передать дело в Верховный Киммерийский суд, там могли дать больше, могли дать меньше, а могли вытащить на свет Божий и две первых кляузы, тогда под ответственность попадала вся бобриная община, а за групповуху такого рода чуть ли не всем бобрам мог грозить групповой Римедиум с последующим вечным поражением в гражданских обязанностях, вспомнили бы им все провинности со времен Евпатия, — но тут бритоголовый преступник немедленно пошел в сознанку. Он, Дунстан Мак-Грегор, и только он один... Дальше рассказывать неинтересно. Бобра сплавили в Римедиум, весло поместили в музей из-за того, что как резчик покойный Дой Доич мог вполне именоваться «мастер круга Романа Подселенцева», Астерию в виде компенсации за истрепанные нервы выдали совершенно новое весло и путевку в санаторий возле Триеда, от которой Астерий немедленно отказался, взамен попросил три дня выходных, — каковые тотчас же использовал, пил два дня крепчайшую сладкую, на третий протрезвлялся, на четвертый привычно вышел на работу. Такая вот была жизнь у человека, которого однажды невзлюбили бобры.

Евгений Витковский. Земля святого Витта. Часть 8

Евгений Витковский

VIII

Есть, говорят, и такой догадливый люд, что всё сбивается на том, кто именно кого убил: Каин — Авеля или Авель — Каина.

Аполлон Коринфский. Народная Русь

Гаспар Шерош, глава Академии Киммерийских Наук, прервав на некоторое время бесконечное редактирование многотомного словаря старокиммерийского языка, отдохновения ради вернулся к работе над любимой книгой — «Занимательная Киммерия». Книгу эту он писал урывками, боялся показывать друзьям, прятал рукопись куда мог придумать, но чаще просто носил с собой, имея привычку мельчайшим почерком вносить в нее дополнения столь же часто, сколь часто возникали в его огромной голове новые мысли, а это

происходило с ним почти постоянно.

Особое место среди вопросов, занимавших Гаспара, занимал один (хотя и поразному поставленный): считать киммерийцев народом земледельческим или скотоводческим, оседлым или кочевым, охотничьим или рыбачьим, экспортирующим по преимуществу или же по преимуществу импортирующим, — ну, и еще множество «таким» либо же «сяким». Как ни силился Гаспар разрешить этот вопрос (точней, любой из подобных вопросов) — всё у него получалось не так, как надо, ибо в каждом отдельном случае получался у него всегда только утвердительный ответ. Разве что на вопрос, «кочевым или оседлым» можно было сказать: «прежде кочевым, теперь оседлым». Все-таки тридцать восемь столетий оседлого образа жизни — срок достаточный для того, чтобы объявить киммерийцев оседлыми людьми. Хотя, конечно, до того побывали они — и еще как побывали! — народом кочевым. Иначе откуда бы они взялись на Рифее?

Животноводческим народом киммерийцы явно могли считаться: тут разводили лошадей, коз, овец, — рифейских раков, наконец. Но и земледелие все же кое-какое имело место: в правобережном верховье Рифея почти всегда вызревал ячмень, болотные ягоды росли в окультуренном виде на каждом огороде, а озеро Мурло давало изрядные урожаи морской капусты — под влиянием сектантов из Триеда эта водоросль обходилась в Киммерии без воды и росла на голом камне — не в озере, а над озером. Чем больше занимаются киммерийцы — охотой или рыболовством — Гаспар уж и вовсе не мог ответить, ибо и тем и другим тут занимались напропалую, а ни лесного зверя, ни речной рыбы не убавлялось. К тому же внимательный к городским новостям Гаспар обнаруживал, к примеру, что вроде бы несъедобная соболятина вдруг да становилась предметом постоянного спроса: вывозимые на рынок еженедельно примерно шесть пудов этого постороннего продукта, в прежние годы чаще всего просто уходившего на прокорм рыночным бесхозным собакам, теперь находили покупателя именно как пищевой продукт, специальным разрешением архонта мяснику-соболятнику даже было дозволено занять прилавок в мясном ряду, хоть и последний с дальнего края, — раньше этот одноглазый тип, за что-то переведенный скорняжной гильдией на торговлю отходами, теперь получил право подать прошение о вступлении в гильдию мясников. У Гаспара возникал этнографический вопрос: не следует ли отныне соболя рассматривать как мясного зверя, следовало узнать — не ведет ли кто-нибудь селекцию специальных соболей-бройлеров? А в таком случае не следует ли зачислить соболей, наравне с курами, в домашние животные?

Гаспар — первый за несколько поколений киммерийцев серьезный ученый — отчасти напоминал себе древнеримского остолопа Плиния Старшего, решившего записать всё на свете обо всём, что на свете есть и чего нет, — тем самым прогневавшего каких-то богов и вызвавшего к жизни вулкан Везувий: ничто меньшее Плиния не проняло бы, он, глядишь, выполнил бы замысел, не оставив в дальнейшем никаких дел ни богам, ни людям. Гаспар утешал себя тем, что пишет лишь о Киммерии, ею одной интересуется, да и о ней пишет не всё, да и знает не всё, однако наличие вулканической активности в Киммерии

— прежде всего на Земле Святого Витта — вселяло в его душу тревогу. Однако унять неуёмную тягу к всезнанию Гаспар все равно не мог — и писал книгу за книгой. «Занимательная Киммерия» в этом отношении предоставляла самые широкие возможности: здесь уместно было что угодно, от Великого Змея до соболей-бройлеров. Вдвойне был удобен замысел этой книги тем, что позволял бросить ее на любом месте и отправить в типографию как готовую, — а дальнейшие записи считать материалом для второго издания. Гаспар старался не вспоминать, что пять изданий эта книга уже выдержала, и вторым он на этот раз именует шестое. Так уже было и с третьим, и с четвертым, и с пятым — словом, не раньше киммерийской дюжины позволит он себе признаться, что... впрочем, почему дюжины? А не двух?

В этом был весь Гаспар Шерош.

«МЫСЛЬ — привычно записывал ученый, — бывает, что она есть, а бывает наоборот. Если Судзуки (известный японский городской) утверждает, что «Никакая мысль о мысли не является восточным образом мысли», то не будет ли справедливым утверждение, что каждое отсутствие мысли об отсутствии мысли как раз и является истинно восточным образом мысли?»

Тут Гаспарова мысль зацепляла услышанное утром от дворничихи выражение, деликатно переоформляла его, и бисерный почерк выводил (чтобы потом перенести, куда надо, в алфавитном порядке):

«ИДТИ — «Шел бы та на х... в сапогах-скороходах!» (слышано утром под окнами) Не так ли были посланы наши предки перед тем, как пошли они куда глаза глядят, а пришли — в итоге — в Киммерию?»

Мысль снова перекидывалась на другое.

«ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ — дочь вчера составляла меню матери на день рождения и сказала: «Давай смотреть исходя из шоколадного торта». Не смотрим ли мы из Киммерии на весь остальной мир именно таким образом?»

Гаспар вспоминал, что Киммерия в его книге — все-таки занимательная, и приписывал прямо к шоколадному тарту:

«ПУДОСТЬ ЗАПРОДАВНЯЯ — заброшенная деревня на правом берегу Рифея, почти точно против острова Криль Кракена. Знаменита была при архонте Симеоне Дошлом — давала своими каменоломнями больше точильного камня, чем все прочие в Киммерии, вместе взятые. Длилось так четверть декады (три года), а потом староста деревни был разоблачен — он за бесценнок перекупал уже добытый камень в семи каменоломнях по соседству и сдавал оптовикам в Киммерион как свою, ибо камень из Пудости тогда ценился дороже других. Старосту сослали в Римедиум, Симеон подал в отставку и написал мемуары о том, как староста был разоблачен. Отсюда, видимо, киммерийские выражения:

«сделать кому-либо пудость», «подложить пудость», «пудость на лопате» и т. д.»

Конечно, Шерош очень интересовался и свежими киммерийскими новостями; такое событие, как появление на свет первого за много столетий некоренного киммерийца, не могло пройти мимо его внимания. Жаль, в этом факте пока что не виделось ему ничего занимательного. По крайней мере до тех пор, пока малыш не подрастет и как-то себя не проявит. Гаспар ежедневно искал в «Вечернем Киммерионе» упоминания о необыкновенных вселенцах в Киммерию, и, случалось, кое-что находил, ибо умел видеть то, чего не видел никто, — именно он в свое время уловил частотность рифм в предсказаниях киммерийских сивилл (как выяснилось, с высокой степенью точности каждые пятьдесят лет в них начинали повторяться именно рифмы), и потому немедленно был признан академиком. Смеху ради он не только принял это звание, но когда бобры — видимо, надеясь на его отказ и возможность по этому поводу затеять в дальнейшем склоку — предложили ему принять звание Почетного Бобра — он согласился и на Бобра. В итоге он — единственный человек в Киммерионе! — имел специальный пропуск в подводные дачи на Мёбиусах. Но как-то не было времени туда забираться — столько всего интересного находил Гаспар ежедневно всего лишь по пути на работу, в Академию на острове Петров Дом, за рынком — что остальное время уходило у него на то, чтобы это «всё» всего лишь записать.

Местом работы Гаспара считалась Академия Киммерийских наук, но ни помещения, ни штата, ни хотя бы второго академика она не имела, по какой-то причине ежедневно, соблюдая лишь киммерийскую неделю (чтобы выходных поменьше было), ученый шел из своей казенной квартиры на Академической набережной в рабочий кабинет при Домике Петра Великого — на противоположной стороне острова Петров Дом, три четверти которого занимала рыночная площадь, а на оставшейся четверти умещались два зеленых сквера — один, поближе к дому Гаспара, был разбит вокруг монумента с непонятным постороннему взгляду рисунком, а второй — вокруг Дома царя Петра, где тот провел некоторое время по соглашению с тогдашним архонтом Евпатием Оксирином. Памятник Царю был вполне традиционный, — конная статуя, опирающаяся на одно лишь левое заднее копыто, десница, простертая на север (туда, на Миусы, где раки зимуют, указывал Петр, и это было грозным предупреждением всем врагам Киммерии и России), — однако без всякой надписи: царь в визитной карточке не нуждается. Зато памятник архонту, хотя и представлял собою простой обелиск, имел на себе нечто такое, что всегда грело душу Гаспара: на нем по-старокиммерийски, при помощи почти всеми забытого минойского алфавита (посторонний взгляд воспринимал его как ряд рыбок и птичек, эдакий орнамент, более ничего), стояло: «Благодетелю Рифейскому, пастырю Киммерийскому, славному Евпатию и его Викториям». Викторий у славного архонта было две, жена и дочь, и по материнской линии Гаспар был их потомком. Так что этот сквер, в двух шагах от собственного дома, Гаспар считал как бы запасным кабинетом. Добрая треть лучших мыслей приходила

ему в голову именно здесь.

Старокиммерийский язык Гаспар знал в Киммерии так, как знали его лишь гипофеты, — в чьих записях язык и продолжал свое письменное существование вот уже много столетий, — а минойским пиктографическим письмом владел лучше них. Своё собственное имя он мог записать всего тремя значками (если без отчества, но отчество изобрели как раз русские), нынешний молодой гипофет на своё имя извел бы целую строку, — пока как-то раз Гаспар не показал ему три значка, в которых Веденей Иммер с удивлением распознал свое собственное имя вместе с фамилией. То, что не предназначалось для общего чтения, Гаспар спокойно записывал этими значками — рыбками и птичками — любое, что приходило в голову, притом перемешивая оба языка: к примеру, из рисунка рыбки-медянки, иначе именуемой рифейским ершом, и подпрыгивающего изображения ибиса, которым по-киммерийски обозначалось уточнение, что-то вроде двоеточия, по-киммерийски получалась бессмыслица, а по-русски выходило совсем ясно: «медь»-«ведь». Минойская письменность к тому же давала возможность экономить бумагу. Гаспар не знал, зачем он ее экономит — но приятно было уметь.

Гаспар умел развлечь себя.

Из Оксиринхова сквера был виден угол дома, в котором жил ученый, а ближе располагалась длинная вывеска: «Розенталь и внуки. Ночная починка мебели». Фирма эта была семейной, по многим причинам представляла собою исключение из всех киммерийских правил, уже поэтому по одному она всегда интересовала Гаспара. Прежде всего — второй фирмы с такой специализацией не было на всю Киммерию, и Гаспар не был уверен — есть ли вторая такая вообще. Кроме того, Розентали, что дед, что внуки, были уходцами из евреев, в Киммерии очень немногочисленных, они не соблюдали ни субботы, ни кошрута, но и в выкресты эта семья тоже не подалась, да и вообще разговаривать на темы религии эти бородатые, горбоносые люди с киммерийскими пальцами соглашались с охотой, но ни к какой не примыкали, отшучиваясь тем, что на такое дело у них времени нет — мол, ночью работы много, часто кровати ломаются, да и другая мебель — а днем и не отоспишься. Но и атеистами Розентали себя тоже не признавали, ответ про атеизм у всех был один: «Что я, сумасшедший?» Впрочем, мысль о том, что если человек — атеист, то его лечить срочно надо, была в Киммерии общей. В медучилище Св. Пантелеймона даже обучали — как помочь человеку в случае острого приступа атеизма. Гаспар давно разузнал — как именно, процедуру записал, но запись зашифровал. Очень уж там жестокая процедура предполагалась. И загадочная: предполагалось, что надо быстро-быстро бежать в депо пиявок. А пиявки в Киммерии водятся не в депо, их выпасают, да и не пиявки они тут, а гируды. Простых, русских — нет: офени, что ли, принесут? Любой офеня от такого заказа в ужас придет да разом в монастырь запросится. Тяжелая болезнь атеизм. Впрочем, если бы в такой болезни заподозрили члена по-настоящему сильной гильдии (а гильдия мебельщиков, к которой принадлежали Розентали, была весьма сильной), медику самому пришлось бы обращаться к своему начальству в гильдии медиков, испрашивая прямого приказа. Впрочем, всё это

существовало лишь на бумаге: на памяти живущего поколения в Киммерионе приступов атеизма зарегистрировано не было.

Гаспар приготовился занести что-то на слово «РОЗЕНТАЛЬ», но во внутреннем кармане пиджака зазвонил мобильный телефон. Позвонить могло лишь одно существо, — ибо трудно называть человеком персонажа древнегреческих мифов, ненароком попавшего в Киммерию. Это была небезызвестная старуха по имени Европа, некогда увезенная быком из родной Финикии на Крит, где была сдана царю Астерию, как-то повязанному родством с киммерийскими князьями Миноевичами. Когда древние киммерийцы драпали неведомо откуда на берега Рифея, прихватили с собою и Европу. Лежать бы старухе вместе с прочими отцами-основателями на Земле Святого Витта да разве что вздрагивать вместе со всеми, когда тряхнет, но на свою беду оказалась она долгожительницей. Долго жительствовала Европа, глядя на то, как обрастает каменной застройкой архипелаг посреди Рифея, вкус к жизни то теряла, то вновь обретала, — пока вдруг не заметила, что очень уж зажила на свете. Тогдашние медицинские светила объяснили ей, что это на нее интимная связь особо мощное воздействие оказала. Если хочет она свое земное бытие прекратить — то нужно обращаться к князю, — в те поры еще не вымерла династия, не нужно было мыкаться, подбирая очередного архонта. Князь Миной Миноевич старуху выслушал, почесал бороду, темя и многое другое, и категорически отказался принимать на себя заботу о смерти старухи-Европы. О жизни — пожалуйста! Была старухе немедленно назначена пожизненная жилплощадь (любая, кроме общественных зданий), большая пенсия, равная стоимости ежемесячного прокорма десяти крупных быков, бесплатный проезд на трамвае и многое другое, чего старуха упомнить не могла, — вот, скажем, не помнила она, при князьях ей пожизненный проездной на трамвай вручили, или уже при архонтах?.. Европа жила, жила, не умирала, однако память ее не была рассчитана на такую длинную жизнь; чего требовать от простой финикийской девки, хоть и дочери царя, но ведь царь свою дочь тем же способом мастерит, что и любой другой... Впрочем, и тут давала память Европы сбой. Никак не могла она вспомнить — уже клонировали детишек, когда бык ее увез, или нет еще? Или, если б клонировали, зачем тогда бык ее украл? Или бык её вообще по какой другой надобности украл?.. Ничего-то не помнила старуха Европа, полностью совпадая этой своей неспособностью помнить со своею тёзкою, ну, той, по которой раньше призрак бродил, а теперь его выгнали. Европа попросила разрешения на проживание в бобровой хатке под Уральским хребтом, в гроте озера Мурло, прямо под замком графа Палинского, и разрешение это получила. Она вселилась в грот и неделями спала, изредка просыпалась и начинала рассказывать свои сны приглядывавшим за ней озерным бобрам О'Брайенам. Семь или восемь поколений бобры старуху терпеливо слушали, а потом взмолились: пусть дадут другого слухача. Раньше службой слухача при Европе карали триедских контрабандистов, потом некоторое время её вовсе никто не слушал, а позже кто-то из офеней занес в Киммерион игрушку — мобильный телефон. Гаспар по доброй воле охотно согласился выслушивать сны Европы, из-за чего горожане лишь зауважали его еще больше: самопожертвование

считалось у киммерийцев великой добродетелью.

— Сплю я, понимаешь, сплю, мешки золота во сне вижу и дочку, Федору Миноевну. А хочет она, понимаешь, — это во сне, понятно, — хочет она замуж, и требует от меня, старухи, чтоб я не меньше чем быка ей нашла, да еще чтобы бык еще тот был бугай, никак не меньше, а то ей радости супружеские задаром не нужны. Федора, говорю, да уж честная ли ты? Я говорит, честная: если хочешь, отчет тебе писать буду на каждого мужика, да и слепки снимать могу в особо удачных случаях, торговать будет можно, редко, конечно, но попадаются очень выдающиеся светлейшие графы и князья... Те еще бугаи, говорит, мать, с тобою мне не тягаться, всех, понятно, не переброешь, но надо к этому как к сверкающей цели, чтоб не было мучительно больно за бесцельно пропитые роги... А то останешься бодатая, все-то тебе и радости, что телят потом пасти. Открываю я карты, что она сдала — гляжу, ну прямо девятерная приперла, потому как ход мой. Ну, объявляю: «Девять седьмых!» А надо мной мои гаврики только смеются; глянь, говорят, в масть, она у тебя вся синяя. Я гляжу — и правда, девятерная мне пришла, да только масть не красная и не черная, а синяя, и где у людей жлуди нарисованы, либо же там подковы, у меня — кукиши! Синие! Представляешь — туз, гляжу, козырный мне пришел, да только он — синий, кукиш посредине! Я виду ни ногой не подаю, карты сдали — так играем. Ход, говорю, мой. Они спорить не могут. Ну, решила я свои взятки отобрать, хожу в туза фигового — куда им деться? Они свои мелкие фигурки тоже сбрасывают. Я тогда я им короля фигового бросаю, марьяж у меня полный да вальяж при параде, они тоже скидают, но гляжу — кончились фигурки. Беру вторую взятку, готовлюсь им бабу фиговую, каменную, запузырить, так Ипполитка, подлюга, берет от злобищи канделябр и на меня идет: убивать значит, за мой законный выигрыш. Я тоже за жирандоль, и парирую. Подходит тогда рефери, говорит — брек. Ну, разошлись. Мне мой тренер полотенце в морду мокрое, а я уже чувствую — даже руль не поверну, на первом же серпантине врежусь. Сдаваться хочу, а он мне шепчет: мол, «феррари» что за машина, с тобою ли тягаться. Я усы подкрутила — кураж вернулся, ну, говорю, по новой давай — тащи еще дюжину — того быть не может, чтоб нас да на светлом пиве чужесра... чужесранец перепил. И пью. Но он тоже силен, бродяга, бежит к своему букмекеру — кричит: даю полтысячи мазу, гну, да вот еще гляди — утка, не фырчи, что карта фоска, важно, что синяя, ну, Бельмондо так Бельмондо — мне какая разница. Поспала еще, проспала, но дальше уж совсем какая-то чепуха.

Гаспар аккуратно записал очередной «СОН ЕВРОПЫ», не слыша в трубке гудков отбоя, отключил её: старуха опять уснула прямо у телефона. Сюжетными сны Европы не бывали никогда. Это был настоящий, бесконечный сон ее разума — породил он, по известному закону художника Гойи, чудовищ. Но в прежние времена эти чудовища влетали в одно бобриное ухо, в другое вылетали. Теперь, когда Гаспар заносил их на бумагу, чудовища обретали самое долговечное из известных человеку бессмертий — письменное, точней, писчебумажное. Книгами и школьными принадлежностями в Киммерионе торговали одни те же лавки, принадлежавшие небольшой, но цепкой бумажной

гильдии, как и мастерская по ручному производству бумаги, в том числе с водяными знаками, как и небольшой полиграфкомбинат, — и, конечно, гильдия эта давно приняла Гаспара Шероша в свои Действительные Члены, — он, как всегда, был не против. Во всех изданиях «Занимательной Киммерии» глава «Сны Европы» была наименее читаемой. Киммерийцы уже начинали сожалеть, что эту старую дуру с собой притащили. Могла бы и на Крите, или там на Кипре остаться — мало ли чья она родственница. Но выгнать ее было невозможно, киммерийское гражданство ей даровали еще князья, — а как известно, архонт за князя не отвечает, при этом лишит гражданства никого без повода не может. Пока «Сны Европы» занимали лишь малую главку в знаменитой книге Гаспара, ее читатели в основном пропускали, не читали. Но и не изымали. Гаспару было разрешено много такого, за что с известного стеллерова быка Лаврентия, к примеру, шкуру бы спустили.

«ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ» — бисерным почерком нацарапал Гаспар, а дальше пошел рисовать рыбок и птичек, тема была очень скользкая. «Надо бы понять, есть ли единое вероисповедание у бобров. Православными они быть не захотят, евреи их своими не признают, в триедские сектанты идут не от хорошей жизни, а бобры в Киммерии живут очень неплохо, даже безродные: за шкуру свою им у нас бояться нечего. Читать они как будто не умеют (хотя гласный в архонтсовете умеет наверняка), однако почему они так часто интересуются, кто кого убил — Кавель Кавеля, либо Кавель Кавеля? Это же не киммерийский вопрос, а русский — ради этого вопроса люди у Киммерии молясины покупают, на этом вопросе вся наша экономика стоит, нам не до него — покуда на молясины спрос есть. А спрос растет с каждым годом, офени даже стали на грыжу иногда жаловаться, а этого не было раньше. Впрочем, при Евпатии никто себе трех японских телевизоров за одну ходку тоже представить не мог. Раньше офеня что к нам тащил? Кофе. Чай. Муку на куличи. Изюм-коринку на глаза печеным жаворонкам. От нас — пушные товары шли. Семга. Лососина. Сиг. Ну, еще точильный камень. Безделушки резные. А теперь — одни молясины, да еще сами с рисунками приходят. Косторезы разбогатели. Предлагают мне звание Почетного Костореза. Приму: термос дадут бесплатный, из мамонтового бивня. Буду с ним на работу ходить, чтобы квас всегда горячий... Но все-таки: зачем бобрам знать: Кавель Кавеля, или наоборот?»

Гаспар Шерош, единственный в Киммерии Почетный Бобер, не знал ответа на этот вопрос. Не знали его и простые бобры, не почетные. Знали бы — не спрашивали бы. А во Внешней Руси с тем же вопросом мыкались не бобры, а люди. Ответа не предвиделось (хотя верующие знали, что по пророчеству ответ будет обретен внезапно, как «Дзын-нь!»). Спрос на молясины рос. Всё более высокими куличами могли похвастать на Пасху киммерийские хозяйки.

Гаспар достал из кармана два крашеных яйца — синее и желтое. Перекрестился, ударил одним яйцом об другое. Желтое треснуло. Гаспар очистил его, съел и снова перекрестился, а скорлупу спрятал — не забыть положить под иконы, как жена велела. Так в Киммерии делали всю пасхальную неделю. Жаль, запить было пока нечем — в Почетные Косторезы Гаспара обещали принять только на Красной Горке.

«Как время-то летит!» — подумал Гаспар, разглядывая двух золотых рыбок на монументе Евпатия Оксирина. Именно золотой рыбкой в минойском слоговом алфавите записывалось слово «Виктория». Ну, а их у Евпатия было две. Длинным свистком из верхней форточка размышления Гаспара были прерваны: жена ждала его к ужину. С грустью сложил академик записки. Как же много всего еще не было записано! Если бы старуха Европа не тратила свою жизнь на сны — она, быть может, успела бы кое-что записать. Но дура она старая, эта Европа.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 9

Евгений Витковский

IX

Владыко мой! К чему сии доносы? Что в них завертывать?
Николай Лесков. Соборяне

— Вам давно не говорили, что вы старый дурак?

Анатолий Маркович Ивнинг, уже скоро пятый год бессменно управлявшийся с делами Его Императорского Величества Личной Канцелярии, обращался с этой фразой к своему платному confidentу уже третий раз за аудиенцию, так что Хохряков мог ответить точно: последний раз старым дураком его назвали минут тому назад десять, одна-две плюс-минус.

— И в этом словосочетании слово «старый» прошу не считать оскорбительным, это лишь констатация вашего трудового стажа на поприще, которое указано вторым словом.

Они беседовали в кремлевском кабинете Ивнинга, единственном месте, где стояла чудовищно дорогая глушилка для подслушивающих аппаратов. В России таких и не делали, их собирали креолы вручную в Ново-Архангельске при дворе царя Иоакима. Само собой, для Старшего Друга, для России, там делали все самое лучшее. Но почти все глушилки государь забрал в личные покои.

Ивнингу досталась только одна, да и ту, видимо, могли в любой миг отнять. Новые люди, которыми окружил себя государь, тоже хотели всевозможной защиты. Государь следил за тем, чтобы они были хорошо защищены, — конечно, от всех, кроме самого государя. А какая может быть защита от верховного дьяка Кремлевского приказа, он же управляющий государевыми делами? Впрочем, данный разговор до поры до времени был секретом даже от государя. Неизвестно ведь еще, что из всего этого выйдет.

Уже семь лет прошло с коронации, уже отпраздновал весь мир сорокалетие Белого Царя, но не светило даже малой надежды на то, что государь подарит стране законного наследника. Ибо жениться он хотел на одной-единственной женщине, и только эту женщину ни секретные службы, ни личная сеть агентов Ивнинга найти не могли. Что хуже всего — это точно известный факт, что когда она пропала, то носила она под сердцем сына царя, до рождения всего-то месяц

с чем-то, кажется, оставался. Ну, наследник получился бы «привенчаный», однако со времен Петра Алексеевича ничего плохого в таком наследовании никому не виделось: привенчанная дочь Петра, Елисавета, и по сей день числилась в народе большой любимицей, упокой Господи ее любвеобильную душу, а другая дочь, Анна, была матерью Петра Третьего, родного дедушки государя Александра Павловича, который один только и обеспечил нынешний престол России законным владельцем. Ну, проживет нынешний государь даже еще сорок лет. Даже пятьдесят. А потом что? Опять самозванцы? Самозванки на роль «временно отсутствующей невесты» царя, княжны Антонины, появлялись регулярно. Однако государь даже не уделял им внимания, все женщины делились для него на две категории — «невеста», будущая императрица, мать наследника, будущего императора Павла III Антонина — и прочие, причем для выяснения «подлинная» очередная Антонина или нет, всего-то и нужно было снять телефонную трубку и спросить. Нет, вовсе не царя спросить, а спросить Горация Игоревича; неизменно получить «Анатолий Маркович, что вы меня всё от дела отрываете? Не даёте играть... Нет, вовсе не Антонина...» Ивнинг с грустью отключал связь. Ну что стоит человеку, видящему будущее, просто и ясно сказать: где потенциальная императрица? Знает ведь небось... И ведь во что играет? Или на чем играет? Даже этого знать не положено, потому как прямой приказ царя имеется: «Гораций Игоревич мне сказал всё, что мне нужно. А вам — всё, что нужно вам. Так что не предиктора спрашивайте, а Тоню мне найдите. Где? А вот где есть она, уважаемый, там и найдите...» Ивнинг хорошо знал, что такие приказы государя, да и всей его семьи, исполняются всегда. И еще вчера он понятия не имел о том, как такой приказ исполнить. Сейчас начинала маячить кое-какая надежда. Не очень ясная. Но те кусочки, что принес Хохряков, кое-какую надежду сулили. Хотя какую?..

— И вот, Геннадий Павлович, мы с вами приехали туда, откуда начинали. Вы принесли нечто. А где вы это нечто взяли — объяснить не можете.

— Отчего же! — не в первый раз, видимо, отбрыкнулся собеседник, — Все мое казино, все казино имени великого Федора Михайловича Достоевского, может подтвердить... Весь партком...

Ивнинг вынул из ларца на столе большой бильярдный шар: старинный, кремового цвета, под мамонтовую кость, и подбросил на ладони.

— А шаров вы покупаете за один раз — шестьсот. Или все-таки восемьсот? Кто, скажите, в вашем казино за последний месяц крупней всех продулся?

— Его высокопревосходительство генерал-губернатор Южной Армении... Прилетал из Новой Урфы...

Ивнинг слегка поперхнулся. В эти дела он предпочитал не лезть — он вообще, как всякий нормальный гей, то есть по-русски — голубой, был пацифистом. Разницы между двумя вариантами ислама он не понимал, и в толк не мог взять, почему западный вариант такового признан в Империи чуть ли не второй, «резервной» государственной религией, тогда как восточный — анафематствован всеми мыслимыми способами. А вот следствие по делу о бильярдных шарах передоверить было никому нельзя. Если только всё это не

страшно премудрая подделка, похоже, впервые имелся какой-то пригодный к оперативной разработке след пропавшей Антонины.

Следов на стежках-дорожках нынешней Российской Империи было слишком много, никакая виртуальная гончая, мифическая Виля-Баскервиля не унюхала бы на них след одного отдельно взятого человека. Чего только не случилось в мире и в России со времен коронации императора! Орбитальная станция «Москва-сортировочная» уже третий год висела в небе на геостационарной орбите, и год назад император лично на ней побывал в сопровождении канцлера. Император лично написал курс русской истории для шестого класса российских гимназий. Император ввел закон о всеобщем и полном альтернативном высшем образовании. Император одобрил постройку подвесного моста через Берингов пролив. Император ликвидировал статус Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Паульбурга (бывшего Кенигсберга) как городов, превратил их в города-спутники Великой Москвы, — как и орбитальную станцию («Москва-Орбитальная»), — собирался проделать то же самое еще с десятком городов. Император то, император сё...

А совсем недавно, вопреки всякой логике, царь даровал независимость Армянскому Царству. Два дня весь мир гадал на кофейной гуще, что бы это означало, а на третий день генерал-полковник Аракелян уже стоял в Эль-Кувейте в приемной у растерянного шейха с грамотами, гарантирующими маленькому государству полную защиту и от персов, и от иракцев, ибо ровно половина — западная и, конечно большая половина — бывшего Ирана теперь именовалась Южной Арменией. Аракелян спешил заверить, что никаких претензий к кувейтским мусульманам (разумеется, только к суннитам) ни один человек во всей Федерации Всех Армений претензий иметь не будет вовеки. Сперва никто ничего не понял, но спутники всяких промышленно-переработанных держав подтвердили: ни Турция, ни Ирак, ни Кувейт больше не имеют общей границы с Ираном. Ибо граничат они с новым государством — Южной Арменией, расположившейся на большей половине Западного Ирана, со столицей в древнем армянском городе Исфагане, — и с Западной Арменией, которая, в свою очередь с юга защищает границы Священной Армении. Ирану, так и быть, пока позволили существовать в границах восточней Исфагана и Йезда. Все иранское побережье Персидского залива называлось теперь Армянским. А залив предполагалось с общего согласия российского императора и царя Южно-Армянского Аршалуйса Первого переименовать в Армянский. Столицей новорожденной Западной Армении ко всеобщему ужасу оказался Трапезунд, мимоходом откушенный у Турции, — но это, как выяснилось, временная мера, лишь до тех пор, пока древняя столица Армении — Ани — не будет перестроена в современный сейсмоустойчивый город. Еще через два часа Аршалуйс Первый присягнул на верность Российскому императору и вернулся в Москву (не из Трапезунда вообще-то, а всего лишь с подмосковной дачи, но это мелкие детали). Царь Западной Армении Грант Первый находился на пути в Трапезунд, и от него никто ничего хорошего не ждал, ибо никто не знал, кто он такой. А император милостиво разрешил недовразумленным персам (проживающим на территории Южной и Западной Армении) пока что

пользоваться армянским алфавитом. Пока. Пока для персидского наречия не будет сложена правильная кириллица...

«Тегераном больше, Тегераном меньше...» — кошмарные эти слова принадлежали кому-то из южноамериканских президентов, в том смысле, что, мол, далеко эта страна и не нас касается границами. В самом же Тегеране фраза звучала страшненько. Куда девалось полстраны? — спрашивали себя шах и его правительство. «Ты еси муж сотворивый сие!» — грозно рывкали на него из Парижа духовные лидеры запрещенных разновидностей ислама. А как дело было осенью, то спустя неделю Норвежский Нобелевский комитет присудил русскому царю свою премию, а царь пожертвовал ее на восстановление разрушенного Тегерана. Ужас подобного жеста дошел до народов лишь тогда, когда со спутников проверили и убедились: Тегеран цел. Пока что. Но уже есть фонд на его восстановление... Ну, а духовное управление персидскими мусульманами правильного толка было теперь размещено в уездном городе Касимове Рязанской губернии. Император ведал, что творил, делая именно такое забытое Аллахом место, как Касимов, духовным центром персидских суннитов. Царь — историк: это знают все. А кто еще не знает — «Тегераном больше, Тегераном меньше...» Нет, ничего не подумайте, но мало ли какие бывают... стихийные бедствия.

Южная Армения признала себя ассоциированной автономией Российской Империи. Западная тоже, хотя позже. Северная, «Священная», почему-то осталась независимым государством. Притом нейтральным, лихие газетчики немедленно назвали ее «Закавказская Швейцария». «Гораздо лучше!» — откомментировал русский царь. Но отдохнуть в Армению пока что так и не приехал: ни в Священную, ни какую другую. Отдыхать царь ездил в какое-то село на Брянщине, а чаще проводил одинокие дни в пустом мемориальном особняке в Староконюшенном переулке, где под ветками старой латании установил скошенную глыбу светлого мрамора, на ней же написал золотом: «Здесь я был счастлив». Поглядел на этот камушек с неделю, матернулся, велел убрать к чертовой матери — пошлятина! И сфотографирует еще какая-нибудь сволочь... В особняк никого не пускали. Но Анатолий Маркович слишком хорошо знал — что такое мокрые от слез щеки железного императора, прошедшего час-другой в этом доме. Иногда царь даже напивался там. Впрочем, через день-другой, получив от Ивнинга SOS, прилетал из дружественного Ново-Архангельска седеющий царь Иоаким, и император на какое-то время обретал душевный покой. Не было покоя одному Анатолию Марковичу Ивнингу; он обязан был найти царскую... м-м-м, невесту.

Спасало только то, что придворный предиктор, младший брат ректора Императорской Кулинарной Академии, искать Антонину велел, но с нахождением — не торопил. Царю он явно сказал на этот счет что-то такое, чего Ивнинг не знал, но путем некоторой экстраполяции дьяк понял, что если уж сам царь не знает, где его наследник, то покусители на здоровье наследника (и жизнь, пронеси Господи!) уж и подавно ничего не знают. Или же предиктор сказал что-нибудь другое. Или вообще ничего не сказал... Но меры-то принимать надо?

Царь в последние годы творил на Руси иной раз вещи как бы безобидные, но совершенно непонятные. Мало того, что он запретил всю живопись художника Репина и приравнял ее к в уголовном кодексе к сексуальной эксплуатации малолетних, он давно убрал с Белорусской площади памятник б. великому, б. пролетарскому б. генералиссимусу всея советския литературы, но теперь перелил его в памятник своему собственному любимому писателю, точнее, писательнице — Тэффи. «А фер-то кё мне было с ним делать? Смотреть противно» — только и отрезюмировал царь. Лишь потом репортеры обнаружили, что царь умудрился перелить не простой памятник, а памятник из розового гранита. На ближайшем брифинге временный представитель царя, темнокожий краснобай из Вест-Индии, сообщил, что таинствами вуду давно освоено переливание гранитных форм одна в другую. В данный момент изучается вопрос о переливке известной горы Казбек в иные, более совершенные, более удобные для туризма формы. На вершине горы Казбек предполагается установить гранитный памятник известному подвижнику и просветителю Российской империи, ее Вразумителю, известному в народе как Старец Федор Кузьмич.

Когда в мире «Тегераном больше, Тегераном меньше», Восточному Ирану оставлен только узенький выход в море через Белуджистан, послы трех десятков важнейших государств уже подобрали себе особняки под посольства в Трапезунде и даже в Исфагане — пусть русский царь делает со своим Казбеком что хочет, пусть хоть вовсе скомкает его и выбросит, ведь не курит! Ивнингу было не до того. Но вот мелочи, мелочи — из них кое-что путное могло сложиться. Как вот, например, из обрывков, числом одиннадцать, неизвестной газеты «Вечерний Ким...» (остаток названия утрачен), в которые оказались завернуты бильярдные шары из мамонтовой кости, закупленные столичным казино имени Достоевского, хозяином которого числился купец первой гильдии, член партии с тридцатилетним стажем Геннадий Павлович Хохряков. Именно его обозвал старым дураком Ивнинг трижды в последние полчаса, и собирался еще обозвать, чтобы... чтобы не был таким старым дураком, чертов дурак старый.

Бильярдные столы в этом казино большой роли не играли, бильярдный зал выполнял роль курительной комнаты, куда можно зайти на часок перед тем, как пересечь за «любишь-не-любишь», а потом если есть еще что проигрывать — можно идти с Зал Славы Достоевского, ставить на черное и красное, даже еще на какое-нибудь, если таковое отыщется, — все одно уйдешь из казино без копейки. Именно этим было славно в Москве казино имени Достоевского. В нем не выигрывал никто и никогда — поэтому посетители валили в него валом. Даже Гиннес бесплатно поставлял в него свой бессмертный черный напиток: ну не лестно ли потом иметь право написать на этикетке: «Наше пиво пьют у Достоевского!» Народ пил — и, понятно, проигрывал еще больше.

— Так вот, два обрывка газеты из доставленных вами одиннадцати — бесполезны, это одно и то же, стопку одинаковых газет разорвали разом и завернули шары. Из девяти других большинство отдает неумной мистификацией, однако на двух обрывках имеются куски рубрики «На родных

островах». И выходит так, что «на родных островах», в доме известного камнереза Романа Подсе... — фамилия оборвана — живет, воспитывается и пребывает в добром здравии известный всему городу знаменитый ребенок по имени Павел, чья мать, Антонина, тоже неизменно пребывает в добром здравии. Ребенок растет нормально и обнаруживает любовь к засахаренным каштанам. Из чего анонимный читатель делает вывод, что это может подорвать добрые отношения с... — убить вас надо, с кем? Дальше нет ни слова! Сволочь, сволочь, сволочь!

Ивнинг сорвался на крик. Он стоял, опираясь кончиками пальцев на стол (о том, что это киммерийская поза вежливости, знать он не мог) и на одну ногу (вторая была короче, оттого он как аист ее слегка поджимал). Предиктор уже сказал ему по поводу упомянутой в газете Антонины: «Да, да, та самая. Чего волнуетесь? Чего играть мешаете?» — и отключил связь.

— Значит, имеем: в городе Ким... живет невеста императора Антонина и его будущий законный наследник, император Павел Павлович, растет нормально и любит засахаренные каштаны! И после этого вы утверждаете, что в вашем казино никто не выигрывает?

— Никто... — честно прошептал Хохряков. — Выиграть можно, но это очень дурная примета, и выигрыш немедленно следует проиграть, все так и поступают...

— А на бильярде? — Бильярд — олимпийский вид спорта... У нас только для отдыха... При буфете, там курить можно...

— А что, в других местах курить нельзя?

— У нас везде курить можно, милости просим, засахаренные каштаны всегда есть, из Парижа спецрейсами доставляем... — отчаявшийся Хохряков полировал лысину носовым платком так, словно занимался шлифовкой крупного драгоценного камня.

— Генуг трепаться, как говорит радиостанция «Голос Слободжанщины». Где вы покупаете эти шары? Откуда газета? Если ответите на эти вопросы, выйдете из кабинета просто так. Если нет — то выйдете несколько иначе. Не просто так. Под креслом Хохрякова раздалось журчание. На черном паркете стала собираться дымящаяся лужица. Анатолий Маркович Ивнинг был известен как человек, совершенно лишенный сентиментальности: он слишком за многое отвечал, от хорошего настроения каждого из членов Августейшей семьи до здоровья одиннадцати черных морских коньков, которых царь держал в своих аквариумах вместо общепринятых золотых рыбок. К рыбкам был приставлен специальный главный гиппокампис России, знаменитый Николай Васильевич, которого западные рейтинги неизбежно включали в десятку самых влиятельных людей России. Не царь, конечно, не канцлер, не предиктор, не Ивнинг и не митрополит Крылатский и Свибловский Фотий Второй. Эти пятеро всегда первые. Вторые пять зависят от поставленных перед прессой задач. А задачи ставят люди разные, когда Ивнинг, когда канцлер, а когда и сам император. У секретаря совета по проблемам экономической рациональности — своя пресса. И свое царство, экономическое, в него никто не лезет. Но Боже мой, какие же ему приходится давать взятки, чтобы не попасть ни в один рейтинг! Король

молочных, король пивных и винно-коньячных... Чуть ли не владелец контрольного пакета акций американской корпорации «Макрохард»... Хохол чертов... Антисемит проклятый, морда его жидовская — даже в его службах никто не знает ни про какой «Ким...» Нет бы порадеть своим же!.. Знай дарит ежегодно царю на день рождения морского конька — и оба довольны. А за нелегальное разведение морских коньков в уголовном кодексе статья есть.

Тьфу!.. Ненавижу бильярд ваш и вообще всю дурь игроцкую!

Все эти мысли строчкой пулеметной очереди пронеслись между ушами Ивнинга, — серого вещества там было все-таки немало, иначе не усидел бы он за последние шесть лет в своем кресле.

— Я готов купить все имеющиеся шары на бильярдном рынке! Оплатить из личных денег... Достоевского! Возможно, мы найдем иные фрагменты газеты «Вечерний Ким»! — Хохряков почти сполз с кресла, почти стоял на коленях.

— Да провалитесь вы с «Вечерним»! Мне наследник нужен!

— ВАМ ?

Человек, произнесший последнее слово, неслышно вышел из-за гардины, скрывавшей одну из бесчисленных потайных дверей Кремля. Человек был редковолос, курнос, лоб его был высок и немного морщинист. Одет человек был в костюм для верховой езды, хотя кроме любимого бронированного мерседеса он никогда и ни на чем не ездил.

— Это не вам нужен наследник. Это мне нужен наследник. Приятно, любезнейший, что вы все-таки нашли его. А вам наследник совсем ни к чему. Даже мне не нужен ваш наследник. Вы мне и так годитесь.

Ивнинг стоял по стойке смирно, руки по швам. Хохряков — тоже. Однако из-за того, что давно сполз с кресла, по стойке смирно он стоял на четвереньках, задрав голову к внезапно появившемуся императору. Тот, в свою очередь, подошел к столу, небрежно бросил на него тонкую книгу в черном коленкоровом переплете, сделал шаг в сторону.

— Ознакомьтесь, Толик. Вам будет очень полезно узнать, какое дерьмо работает в качестве осведомителей в вашей конторе. И примите меры, чтобы никаких больше бильярдных притонов бардачного типа.

Император столь же неслышно вышел — правда, через основную дверь.

Ошарашенный Ивнинг прочел заглавие книги. «Занимательная Киммерия». Ах, вот что такое «Ким...»! Получается — «Вечерний Киммерия...» или как-то так, это потом. Ивнинг ногой нажал на кнопку под столом. Гвардейцы появились немедленно.

— Камера десять, — распорядился он, не глядя на Хохрякова. — И пригласите... дознавателей.

Когда воющего Хохрякова увели, Ивнинг включил микрофон. Пресс-секретарь довольно долго не появлялся, потом кратким гудком дал знать, что готов принять официальное сообщение для прессы.

— Такого-то... какое там сегодня, проставьте. Известное казино имени Достоевского сегодня ожидает новых гостей. Новый директор и владелец казино, генерал-губернатор Змеиногорска Порфирий Гордеевич Каламабарда лично надеется, что никогда более репутация этого заведения не будет

запятнана сомнительной славой дома, «где разбиваются сердца» и где никто не выигрывает. Конец сообщения.

В кабинете появился новый гость — точней, трое. Первым был знаменитый Николай Васильевич, двое других были простыми рабочими. Под руководством гиппокамписта они внесли и установили на письменный стол Ивнинга высокий аквариум, в центре которого шахматной фигуркой висел черный морской конек. — Подарок Его Величества, — почтительно сказал гиппокампирист. Рабочие вышли. Морской конек не двигался.

Ивнинг потрясенно переступил с длинной ноги на короткую.

Евгений Витковский. Земля святого Вита. Часть 10

Евгений Витковский

Х

Помни, всё хорошо, пока не становится плохо.

Эрнест Хемингуэй. Райский сад

В дверь на кухне постучали: четыре одинаковых удара. У того, кто сейчас стучался в дом Подселенцева, похоже, была незаурядная нервная система. Доня все же для спокойствия приоткрыла не дверь, а разговорное окошко. Беседы не последовало: в щель вбросили кусочек картона с надписью по-русски:

ПОЛ ГЕНДЕР
СЕКСОПАТОЛОГ

Доня прыснула в кулак. Ну и гость пошел нынче!

— Вы подождите, я узнаю, — крикнула она в окошко и побежала узнавать у старших — к кому такой странный гость. Хотя за прошедшие годы каких только в доме гостей не перебивало!.. Старшими — из числа «вольных» обитателей дома на Саксонской, понятно — для нее были все, кроме очень юного Павлика. Но и гость, надо думать, пожаловал не к нему. В гостиной Доня нос к носу столкнулась с Федором Кузьмичом и обрадовалась: пришел врач к врачу. Федор Кузьмич на визитку и смотреть не стал, сказал просто:

— А что, зови. Мало ли какое дело у человека. Нужды разные бывают. Проводи ко мне, в угловую.

Гость, впущенный Доней, был для киммерийца невысок, даже просто низок был гость — на вершок, много на два выше Дони, — маленького роста киммерийцы встречаются очень редко, надо сказать. Словно для того, чтобы казаться выше, он носил нигде уже давно не модную прическу ёжиком, к тому же имел нос пяточком, а под носом имел аккуратную щеточку усов, и лишь пальцы выдавали в нем киммерийца. Доня затворила за гостем дверь в покои Федора Кузьмича и невероятным усилием погнала себя на кухню: просто ужас как хотелось подслушивать.

— Рад познакомиться, — сказал обитатель комнаты, даже не делая попыток приподняться от столика с неоконченным пасьянсом, — Рад буду узнать, чем могу быть полезен. И рад киммерийскому прогрессу: я не знал, что здесь есть сексопатологи. Присаживайтесь.

Гость присел и по местному обычаю положил кончики пальцев на край стола. Он не удивился, что хозяин комнаты не стал знакомиться с его визитной карточкой, ясно — определил профессию гостя по внешности. Гендер понял, что перед ним — настоящий аристократ, может быть, даже князь или граф. А они видят многое — и насквозь.

— Также рад, почтенный доктор Чулвин. Но вы ошибаетесь: в Киммерии нет сексопатологов. Гильдия медиков Киммерии теперь утверждает, что сексопатология в Киммерии бесполезна, ибо среди киммерийцев нет сексуальных патологий. Мне предложено в двухнедельный срок найти себе работу по истинно-полезной специальности, в противном случае я буду лишен диплома училища Святого Пантелеймона и потеряю право на медицинскую практику. Насколько мне удалось установить, одним только вашим занятиям медициной — при том, что вы в гильдии не состоите — никто не смеет препятствовать. Я хотел бы узнать: не нужен ли вам ассистент. Санитар. В принципе — кто угодно.

Федор Кузьмич очень заинтересовался.

— То есть как это нет сексуальных патологий? Все женщины довольны, все мужчины в порядке, воспитание подростков происходит само по себе — и никаких патологий? Тут же населения тысяч сто пятьдесят!

— Больше двухсот. Но Консилиум Святого Пантелеймона провел экспертизу и установил, что моя специализация не требуется.

— А раньше требовалась?

— Раньше не проводили экспертизу.

— Так ведь, извините, можно и зубных врачей отменить!

Гость грустно посмотрел на хозяина комнаты — даже сидя он мог смотреть на него только на него «снизу вверх».

— Можно. В Киммерии не существует кариеса, если вы не знаете. У киммерийцев нет зубного камня. Бывают травмы и требуются протезы — это случается, так что дантистам пока ничто не грозит. А при моей специализации в случае травмы редко что помогает.

— А импотенция? Возрастная? А фригидность?..

— Увы, ничего этого в Киммерии нет. Все мелкие недомогания, — половая простуда, например — легко устраняются банщиками на Земле Святого Витта. Так что я безработный, почтенный доктор. И пришел проситься на любую работу.

В глазах гостя увидел Федор Кузьмич столь неподдельное отчаяние, что понял — больше вопросов можно не задавать. Но, памятуя, что в Киммерии профессии передаются по наследству, все же решил кое-что узнать.

— А по рождению вы какой гильдии, к какой профессии?.. Простите, ведь сексопатолог — обычно еврей? А вы разве...

— Увы, никак не еврей. Евреи в Киммерии — сильная гильдия, но медициной

они не занимаются. Никогда. А по поводу профессии имею сообщить, — с достоинством сообщил гость, — что и матушка моя покойная, и батюшка, ныне на почетной пенсии — всю жизнь были потомственными сексопатологами. Предвижу, что вас это удивит. К сожалению, логику здесь я тоже найти хотел бы, да не имею права: во главе Почетного Совета Святого Пантелеймона стоит как раз мой батюшка. Именно ему принадлежит идея упразднения сексопатологии. И тут он выражает свое профессиональное мнение. Уверяю вас, он специалист высшего класса. Был. Увы. Был. А теперь он уже не практик, он идеолог.

Гость умолк.

— Но формально-то должен быть повод! Нет заболеваний — а ну как будут?..

— пробормотал Федор Кузьмич.

— В том-то всё и дело, — покраснел гость, что было странно при его профессии, — к сожалению, Минойский кодекс наказывает смертной казнью...

— гость собрался с духом и выпалил — за составление приворотных зелий. Ну, и отворотных тоже. В древнейшей истории киммерийцев уже были случаи...

Приворотное зелье действует неизбирательно, кто выпьет — на кого первого глянет... Ну, ясно, во времена князей иной раз получались, ну...

непредусмотренные результаты, незапланированные наследники престола, к примеру... И даже хуже...

Федор Кузьмич тут же почел все вопросы исчерпанными. Он-то думал, что покинул должность лепилы навсегда, — но вот, выходит, и в Киммерии нужно бывает человеку дать перекантоваться. Подумал и быстро нашел вариант.

— Коллега Гендер, — сказал он тоном консилиума, — скажите, знакома ли вам технология... введения в пищу неких социальных групп чего-нибудь, скажем, наподобие брома?

Гость наклонился вперед.

— Я... согласен работать с бромом. Но... хочу предупредить, что мой отец решил упразднить сексологию так таковую... в силу чисто астрологических причин. Дело в том, что вот уже месяц, как телевидение демонстрирует неопознанный летающий объект, известный под названием Хрустальный Звон. Вы слышали об этом?

— Слышал, видел... Красиво как будто, но, знаете, радуга она тоже красивая. По-моему, атмосферное явление, да и все так считают.

— Кое-кто считает, но не астрологи, не знатоки искусства «Фэн Шуй», не мой, наконец, батюшка, который на старости лет в себе все эти занятия объединяет.

Кстати, Москва на Хрустальный Звон тоже отреагировала: приступила к чеканке золотых монет достоинством в шестьдесят и девяносто рублей.

Киммерийская гильдия врачей решила, что не должна оставаться в стороне, и... вот.

Федор Кузьмич все понял. Сейчас он смотрел на гостя так, словно предстояла трудная нейрохирургическая операция.

— И в Совете принято решение...

— Оставить вас без работы. Ничего, дорогой Пол, у меня вы будете пахать как грек на водокачке.

Гендер взял себя в руки и попытался понять — как такое возможно. Он никогда не видел никого, кто пахал бы на водокачке.

Воцарилось молчание. Нужно тут отвлечься и рассказать, что такое Хрустальный Звон — сенсация эта, будучи ежедневной, занимала теперь в выпусках новостей места не больше, чем подвиги советских космонавтов, то есть почти никакого.

Когда Звон, тогда еще никакого названия не имевший, появился на высоте полутора верст над землей где-то на полпути из Вятки в Казань, он поразил воображение всех, кто его видел, сверкал, как огромная крющонница, и медленно вращался. Радары регистрировали его по-разному: половина — как объект материальный, половина — вообще отрицала его существование. Кому-то внутри шара мерещились наярывающие на лирах ангелы, кому-то казалось, что это просто мыльный пузырь, который к тому же вот-вот лопнет, а кто-то утверждал, что это похоже сразу на джакузи, полет ласточки, гренки с сыром, танец живота и случку племенных лошадей. Однако все слышали исходящий от шара звон, все сходились на том, что этот звон — хрустальный, и на третий-четвертый день Хрустальный Звон стало именем собственным. Впрочем, к этому времени шар уже переместился и висел почти точно над Владивостоком. Потом Звон исчез, и лишь спутниковое наблюдение обнаружило его над Северным Ледовитым океаном, в районе Желоба Святой Анны.

Там Хрустальный Звон пробыл недолго, его поклонники только-только собрались в полярную экспедицию, когда шар мгновенно переместился туда, куда по доброй воле вообще-то никто бы не двинул: он завис на обычной своей высоте немного восточней Среднеколымска. Именно в это время ушлые газетчики заметили, что Хрустальный Звон не покидает пределов Российской империи. Что Звон и доказал очень скоро, переместившись к Туруханску, следом — смутил своим появлением рыбаков, ловивших пескарей (ничего другого по императорскому закону там они ловить не имели права) в реке Медведице близ Царицына-Волгоградского, опять вернулся в Сибирь и зазвенел над рекой Бирюсой (кто-то даже расслышал в его звоне шлягер шестидесятих годов), рванул к Архангельску, потом — к Охотску на берегу одноименного моря, после чего неожиданно сызнова попал на первые полосы газет, ибо вернулся на изначальное место между Вяткой и Казанью, и вновь совершенно точно стал воспроизводить начальный маршрут, в котором даже не особо ученые люди насчитали девять точек зависания.

Очутившись в точке зависания, особенно в начальной, шар чуть сильнее обычного вспыхивал и переливался, и в этот миг что-то похожее на звон слышала не только вся Россия, но — по слухам — и такие города, как Урга, Ашхабад, Вильна, Киев и Карасу-Базар в Икарии; кто-то (может быть, по самовнушению) слышал Хрустальный Звон и в Америке. Кто слышал Хрустальный Звон, тот немедленно проникался думами о России, начинал о ней чуть ли не тосковать — даже если сидел посреди России в собственном доме. Из Туруханска Звон был ясно виден и слышен в Мирном и в Остяковске-Вогульске, да и в Томске тоже, звон над Медведицей доносился до Ростова и Астрахани, здесь он был особенно силен, даже обитатели Челябинска что-то

такое слышали, звон «изначальной точки» (между Казанью и Вяткой) слышен был и Москве, и Воронежу, и так далее, и так далее, и так далее. Питер считал своим звон архангельский. Россия уже привыкла к Хрустальному Звону и ничего, кроме моды на цифру «9», заметного в жизни России он не оставил — к Хрустальному Звону просто привыкли. Впрочем, всем, кто думал о Звоне или видел его, начинало казаться, что он находится во всех девяти точках его зависания, длившегося то чуть меньше трех суток, то чуть больше. Впрочем, «звонопоклонники», конечно, возникли не только в России, но и во всем мире. Ни над какой другой страной, кроме России, ничего подобного не висело. Над Киммерией Звон не появлялся, никто его тут не слышал, а видели киммерийцы хрустальный шар лишь по телевидению. «Мало ли чего еще есть на белом свете! Глядишь, еще и не то удумают!» — решал рядовой киммериец, поглядев на изображение Звона — и возвращался к повседневным делам. Новость, принесенная Гендером в дом Подселенцева, была первой реакцией Киммерии на неслышный ей Звон.

— Я готов... вкалывать. — сказал жрец упраздненной науки, по-волчьи отводя голову в сторону и вниз. — Но прошу учесть, я очень далеко живу: на Великом Поклепе. Так что дорога на службу будет у меня занимать... много времени, доходов у меня сейчас никаких, частный транспорт для меня — недоступная роскошь, если возможно, учтите.

Федор Кузьмич задумался.

— А семья у вас?

— У меня нет семьи. Не сложилось. С отцом отношений не поддерживаю. В нашем роду уже много поколений женитьбы происходят... трудно. Словом, семьи у меня нет.

— Почему бы сексопатологу не завести семью? Что тут трудного? Вас же родили как-то.

Гендер чуть покраснел.

— Мой отец женился на моей матери... по приговору архонта.

— А чем же, простите, провинился ваш батюшка?

— Увы, имело место тяжелое преступление... Его совершила моя матушка. Она составила приворотное зелье... и злоупотребила им. Она продала его моему батюшке. Очень дорого. А прислал его к ней за приворотным зельем архонт... по постановлению медицинской гильдии. Ее тогда возглавлял мой дедушка. Отец моего отца, если это сколько-нибудь интересно. Дед был очень озабочен тем, что отец злоупотребляет возможностями своей профессии, причем ежедневно...

За дверью громко хрюкнули: Доня, кажется, подслушивала. Федор Кузьмич очень громко и очень недовольно откашлялся. Хрюк прекратился, но из этого еще ничего не следовало.

— «Но человека человек... послал...» м-м, к архонту? Не помню дальше.

Впрочем, если вы холостяк-одиночка, думаю, жилье для вас найдется. По крайней мере в рабочие дни ночевать вы здесь сможете. У вас тут в аптеках бром по рецепту?

— Само собой... Нельзя же его так просто продавать, совсем рождаемость

исчезнет. Киммерийцы — трудоголики!..

— То-то и нет сексопатологии... Впрочем, не верю я, не верю. Доня! Ты сегодня хотела приготовить помешанную свинину!.. — в коридоре послышался стук Дониных сабо, а Федор Кузьмич улыбнулся уголками рта. — Это хороший рецепт, только хлопотный. Мелко нарезанная свинина с мелко нарезанным орляком, все время нужно помешивать — получается вкусно. Я надеюсь, вы не вегетарианец. Для начала, коллега, я выпишу недельную порцию брома. У нас в подвале, извольте ли видеть, шестеро бугаев с негашеной сексуальной энергией. Давайте начнем их энергию гасить. Вас я оформлю при них... хлеборезом. Нет, лучше баландером. Или лучше, может быть, бромочерпием? А, где наша не пропадала. Оформлю вас на все три ставки. Разработайте рецептуру сочетания кормовой соболятины с моченой ягодой на шестерых. Средний вес кормимого — пять с половиной пудов живого веса. Кстати, забыл спросить, вы не вегетарианец?

Гендер грустно усмехнулся.

— Увы, от бедности последнее время даже антивегетарианец. Я даже не член гильдии, никакой. Вегетарианцы у нас — это лишь богатые граждане. Бобры. Евреи. Евреи в Киммерионе — богатая, сильная гильдия, у них меняльные конторы, все синхронное толмаческое дело в их руках, глухонемое и другое. Впрочем, если вы примете меня на работу, у меня возникнет право вступить в гильдию наймитов. Архонт уже объявил о ее создании, сейчас идет работа над уставом.

— Наймитов?

— Понимаю вас, — грустно улыбнулся Гендер, — в России это ругательство, а в Киммерии — старинное, простое слово. Наемный чернорабочий, ничего больше. А вы сможете выписать бром? Кстати, напоминаю о несовместимости с це-два-аш-пять-о-аш.

— Аш два о с несоленой соболятиной им, а не це два! Итак, для начала три литра. Если не примут по одному рецепту — обратимся к хозяину дома. Он — к архонту обратится. Не завидую тогда аптекарю. И последите, коллега, чтобы рецепт вам вернули. Я бесплатных автографов не раздаю. А потом, как бром получите — приходите ко мне. Составим этим лбам сбаланди...

сбалансированную баланду с высоким содержанием брома, а не то они друг друга... Это, впрочем, по вашей основной профессии. Минойский кодекс, помнится, ничего интересного — кроме порки — за содомию по обоюдному согласию не назначает.

— О да. Но это — киммерийская порка! Мастера на Земле Святого Эльма отнюдь не одни настурции выращивают. Так вы позволяете мне подать прошение о вступлении в гильдию наймитов?

— Если угодно. Но сперва купите бром, деньги вам на кухне выдадут. Гость умиротворенно отправился на Аптекарскую, взяв в обнимку трехлитровую банку с неотмытой этикеткой «Огурчики малосольные парниковые киммерийские». Женщины собрались на кухне вокруг Федора Кузьмича — узнать, что за новый жилец в доме. Пришел со двора и Варфоломей — с утра он был занят щипанием на лучину железного полена, — дерево железного кедра

загорается с трудом, но уж когда разгорится — как сто двадцать свечей горит, и — в отличие от электролампочки — не скоро выгорает.

— Придется принять, — коротко сказал Федор Кузьмич, и все поняли: да, придется. — Считайте, что спасаете врача-вредителя.

Гликерия мелко закрестилась.

— Тю на тебя! — сказал старец, — Его родной отец со свету сживает. А он сам — врач. Теперь за нашими идиотами ходить в подполе будет. Харчи отработает, а поселить его... Нин, две комнаты ведь пустых были!

— И есть пустые, — отозвалась Нинель, — только может мы второй катух откроем? Стоит заколоченный при кухне сто тридцать лет, зачем пустой стоит? Пусть человек живет, если говоришь, что хороший... а я знаю, хороший. Ну, будет, будет...

— Какой второй катух? — обалдела Гликерия — у нас только один, при кухне, там Варька спит. Нету другого!

— Есть, хозяйшюка. Там топчан стоит и рухлядь Мины Миноича, твоего прадедушки лежать будет, когда откроем...

— Да как ты можешь знать-то?

— Я не могу знать, я знаю. Словом, Варфоломейка, ты у нас один не хилый, подвинь-ка поленья!

Повинуясь инструкциям Нинели, Варфоломей уперся ногами в стену, головой в полуторосаженную поленницу — и напрягся. Поленница аккуратно поехала вправо, обнажая ничем не примечательный кусок стены. Нинель обстукала на ней прямоугольник и показала, где отбить штукатурку, не забыв добавить, что когда «новый въедет, всё заштукатуришь». К удивлению всех, кроме Нинели (и Варфоломея — он давно знал, кто тут больше всех знает, в нем текла кровь гипофета) — обнажилась плотно заделанная дверь.

— Статочный был резчик прадедушка!.. с благоговением сказала Гликерия, разглядывая золотую рыбку, глотающую тюльпан, — на двери вместо замочной скважины был выгравирован именно такой знак. — Красиво рисовал!

— Он не рисовал, тётя Гликерия, — сказал Варфоломей смущенно, — это по-минойски написано «обеденный перерыв».

— Тогда тем более открывай, — сказала Нинель, — пообедали, хватит. Только стену, стену, дурень, не свороти, да нет, не своротишь... Стой!..

Но было уже поздно — рубаха на спине Варфоломея лопнула чуть ли не крест-накрест (во мускулы-то!), а большая деревянная дверь в стене кухни открылась. Из темного провала дохнуло столетней пылью. Нинель первая осторожно заглянула в темноту.

— Всё правильно. У вас что тогда, архонт сухой закон ввести хотел?

Гликерия не знала, но с порога кухни подал голос новый участник событий — хозяин дома, папаша которого, так уж получалось, и замуровал эту дверь.

— Архонт Паносий Шпигельпек. Отец, помню, его без матерной секвенции даже помянуть не мог. Целый месяц у власти был. Как сейчас помню — произнесет отец, что про бывшего архонта думает — и тут же под образа, на молитву, грех сквернословия замаливать. Случалось и по дюжине разов на дню, и больше. Папаша как раз и был среди горожан, когда архонта с чина повергали,

он его до переправы на Римедиум сопровождал, а то бы толпа его вовсе растерзала. Чего захотел: с одиннадцати до двух по карточкам, а потом и без карточки ни рюмки. А чего его ограничивать, зелье-то, когда в каждом доме змеевик, да хозяйки настойки сами делают. Дурак был архонт, один разговор. Все уж и забыли про него.

Покуда Роман произносил речь, Нинель с трудом выволокла из темноты опечатанный старинным сургучом мамонтовый бивень. Варфоломей, как единственный и нестарый глазами, и киммерийской азбуке обученный, разобрал по складам:

— «Двойное миусское. Каморий Кью... Кьюлебьяка и правнуки»...

— О... Да-а-а... Это о-о!.. — выразил свои чувства хозяин, — Давно и фирмы этой нет, и не знаю, есть ли у кого в погребе... Если не стухлось, это мы на Троицу! А еще есть, милая? — Старец, приволакивая ноги, ринулся к проему. Нинель тащила второй бивень с теми же рыбками-птичками, которые давно когда-то сделал своей эмблемой не такой уж позабытый, как выясняется, винокур Каморий Кулебьяка. Варфоломей вытащил третий бивень. В каждый входило пол-амфоры, по-русски что-то около двадцати литров. Всего бивней с печатями нашлось шесть, — Мина Подселенцев, как всякий нормальный человек, считал на дюжины. Ничего больше, кроме пыли, в каморке не было, кровать тут вполне помещалась, оставалось место для шкафа и столика — катух был побольше того, что отдали Варфоломейке. В полу обретенной комнаты имелось еще нечто: квадратный чугунный люк явно вёл в подпол, к шести уютно и прочно прикованным таможенникам.

— Это прекрасно, — подытожил Федор Кузьмич, — это прекрасно. Только окно размуровать нужно. Куда оно выходить будет, Нин?

— В коридор... — растерянно ответила татарка. Всем как-то стало жаль нового жильца, у Варфоломея катух был меньше, но окно выходило во двор.

Четыре удара в дверь возвестили о возвращении Гендера. Он стоял на пороге в обнимку с трехлитровой банкой, до краев полной кроваво-красной жидкостью, между мизинцем и ладонью левой руки были зажаты не востребованные рецепты: подпись доктора Чулвина в аптеке уважали.

— Но четыре мы продадим! — возгласила Гликерия, не глядя на гостя, видимо, как итог каких-то своих мыслей. Нин, почему нынче на рынке термос такой самогонки?

— Импералов двести, наверное. А то и более. Никогда не видела. Деньги у нас пока есть, не хватит — продадим по одному. Тащи к нам, Фоломейка, негоже в кухне такое добро держать. Да погоди ты, пылица же, Доня оботрет!

Электричество провести — раз... Кровать новую... Шкафчик, нет, шкаф, стул из гостиной возьмем... Не окормить бы доктора соболятиной, поганая она, говорят, я на рынке слыхала, даже продавец говорил...

— Не тревожьтесь, барышня, — мирно сказал Гендер, — я могу есть даже сырую ежатику, она в моей, увы, бывшей профессии чудесно работала как лекарство.

— Чтобы возыметь?.. — с интересом спросил Федор Кузьмич.

— Как раз наоборот, доктор, чтобы спустить лишний пар...

— Доня! — скомандовал Федор Кузьмич, — первый же термос мы не продаем, а меняем. На две тысячи освежеванных, потрошенных ежей, надо дать объявление в газету...

— Эва! — возмущился Подселенцев, — На две? На шесть, не меньше! Если, конечно, сектанты из Триеда их всех не извели... Я объявление по телефону продиктую, у вас не примут... — и хозяин удалился с кухни в гостиную, в сторону допотопного телефонного аппарата.

— Ежи едят змей, а триедцы сами змееды. Так что сектанты вам ежей сами привезут. И мало просите — такое вино еще дороже. — откомментировал Гендер, отверзание неведомой комнаты прошло мимо его внимания — он решил, что хозяева просто кое-что решили переставить в доме, а уж заодно и продать избыточные продукты. О том, что малолетний некоренной киммериец «здоров и избыточествует», газета сообщала не реже, чем раз в неделю. — Доктор, я тут кое-что придумал насчет брома... Необходим баланс — нужно, чтобы они не впали в катаlepsию, однако бром обязан свое действие проявлять в полной мере, не вступая в кумулятивный контакт со специфическими гормонами, присущими сырой ежатиной.

— Словом, чтобы было хорошо раньше, чем станет плохо... — пробормотал лепила, закрываясь с помощником в своей комнате. Пасьянс так и пришлось убрать неоконченным — если на него что и было загадано, то ответа узнать доктору не пришлось. — Итак, коллега, для начала введем норму брома, учитывая реакцию тушеной соболятины на соболятину относительно свежую, с учетом коэффициента сырой ежатины...

Святая Варвара в отключенном телевизоре, наверное, заткнула уши и зажмурилась. Не любила она таких ученых слов. И ее почитатели тоже их не любили.

Какой такой коэффициент ежатины?

А над Русью плавал Хрустальный Звон.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 11

Евгений Витковский

XI

Никто не хочет заниматься классической филологией: слишком опасно.
Андрей Столяров. Некто Бонапарт

Доне, признаться, многие мужчины нравились, причем в одних ей нравилось одно, а в других другое, а третьих — то, что в них не было ни того, ни другого, — но Пол ей понравился больше прочих, понравилась даже его привычка сперва на все спрашивать разрешения, краснеть при этом, а особенного привычка носить крахмальный белый халат. Пол принес его с Великого Поклепа вместе со своими пожитками, вместившимися в три корзины; сам стирал его, крахмалил, сам сушил, гладил, утром и вечером отправляясь

кормить нерадивых рабов бромистой соболятиной. Он аккуратно надевал халат перед зеркалом возле своего выходящего в коридор окна, долго поправлял складочки и воротник, лишь потом брался за кастрюлю. Как действовало созерцание белого халата на бывших таможенников — неизвестно, но Дону пленяло безотказно.

Федор Кузьмич говорил, что нового работника с прежней службы поперли, вот он теперь и пристроился кормилой к подселенцевским рабам. Гендер сам стряпал для них неслыханное, страшно пахнущее варево, сам что-то в их еду добавлял, сам дважды в день вниз топал по лестнице в подпол. Первые три-четыре дня рабы чего-то там ревели и жрать не хотели, но Пол только добавлял в старую еду немного крошеной ежатины и еще темно-красной жидкости из банки — и с той же кастрюлей опять лез в подпол. Со второго раза, с третьего — рабы оставляли кастрюлю пустой. Раньше туда ходила Нинель с Варфоломеем, теперь Пол брал с собою паренька-богатыря, а Нинель вовсе посещать рабов перестала, пообещав, что «скоро много разного будет, будет им...» Доня не расслышала — то ли «дедушка», то ли «девушка». Доня ожидала — ну, чего-нибудь. Она с самых первых сознательных мгновений жизни знала, что Нинель слов на ветер не бросает.

В своем катухе Гендер развел немислимую чистоту. Стены, пол и потолок он отскоблил крупным песком и наждаком. Выделенный ему старый стол постоянно застилал свежей газетой; за неимением скатерти, взять хозяйскую он почему-то отказался, — впрочем, посуду он тоже держал собственную, а именно — графин с кипяченой водой. Возле двери, изнутри, укрепил он в своем катухе карманное зеркальце — смотрелся в него по утрам, прежде чем выйти к прочим обитателям подселенцевских хором. Узкая койка, которую он выбрал из числа предложенных, всегда была застелена с солдатской точностью — сто двадцать восемь квадратиков одеяла налицо, прочие подвернуты. Что было в его комнате странно, так это то, что среди пожитков почти не оказалось ни одной книги; Гендер признался Доне, что читать никогда не любил, потому что дело это долгое и только отнимает время, — но, несмотря на это, стихи он любил.

В уголке, на тумбочке, Гендер приладил доску, к ней привинтил микроскоп, спиртовки и несколько рядов пробирок на проволоке — тут была его лаборатория. Гендер всерьез изучал организмы подопечных шести бывших таможенников рабов: некогда кособородого, нынче бритого экс-капитана Овосина, двоюродных братьев экс-рядовых Листвяжных, а также экс-рядовых Запятого, Сырцова и Забралова.

Шестеро рабов, брошенных на декаду — то есть на двенадцать лет — в подпол к Роману Подселенцеву, не могли ждать досрочного освобождения ни при каких обстоятельствах, включая возможное прощение со стороны Романа, — тогда предстояла бы отправка в Римедиум, где, по слухам, никто столько не живет, вредное это место для жизни. Даже умри Роман (что в его возрасте никто не расценил бы как неожиданное событие) — рабы просто перешли бы по наследству к его старшему сыну Дидиму, а у того только и власти было, что отказаться от них в пользу младшего брата своего Захара, притом у каждого из

братьев имелось по четверке взрослых сыновей плюс множество внуков мужеска пола. Каждый мог делать с рабами что хочет (даже убить, хотя за это Минойский кодекс грозил огромным штрафом), кроме одного — дать свободу. Приговор архонта не мог отменить даже сам архонт, его не мог отменить архонтов преемник, — теоретически его мог отменить российский император, предкам которого Киммерия присягнула как вассальная волость. Но что-то никогда не доходили руки у российских императоров до киммерийских прошений. Да и слать куда? Консулу Киммерии в Арясине для вручения лично... При мысли о таком прошении даже в потемках подвала на Саксонской набережной помывшись смеялся. Иногда — громко, если со стола посылали что-нибудь минимально хмельное. Чаще — тихо. Еще чаще — молча, про себя. Как только главные раны зажили, руки-ноги с кандалами пообвыклись, а желудки приспособились к поганой жратве, которую стряпали на кухне Подселенцева рабам не иначе как из мороженой соболятины с моченой ягодой, хозяин приказал обычное: «Рабам — работать». Работу камнерез подобрал для них именно что рабскую: бить баклуши. Притом из железного кедра их бить, чисто бить, чтоб резчик потом из каждой мог цельную фигурку вырезать, — замахвающегося на брата молотом безликого Кавеля, или вставшего на дыбы моржа, или задравшую две угрожающих лапы медведицу. А резать дерево железного кедра, вытачивать железную баклушу, было невозможно даже стальным тесаком. Требовался тесак деревянный, из того же кедра, и так сложились в подполе обязанности, что на то, чтобы вырезать одну баклушу на сдачу хозяину в счет урока, требовался целый деревянный нож — а его точить приходилось самим, стоимость этой (пошедшей на изготовление ножа) баклуши целиком погашалось тем, что другую баклушу удавалось хозяину все-таки сдать, получалось так на так, план по баклушезаготовкам неизменно стоял на месте. Но все-таки кормили, следили за чистотой в подполе, а другой раз можно было — издали, правда — и под юбку ненароком глянуть кому-нибудь из спускавшихся в подпол женщин. Хоть и темень, нарушаемая лампочками над рабочими верстаками (пятнадцать ватт, перегорит — сдашь две баклуши сверх плана), а все равно какое-то развлечение. Впрочем, телевизор у рабов тоже был, но черно-белый, в напоминание о рабском состоянии на все ближайшие годы. Его смотрели. Но на время передач про Святую Варвару телевизор по приказу Романа рабам отключали. В напоминание о том же. Про подписание двусторонних соглашений, про визит президента к императору — это пожалуйста. Даже про подвиги комиссара Мыгрового, подпольная кликуха — «Жюв» — если угодно, там все время кого-нибудь сажают, так что вреда нет. Но никакой Варвары.

Рабы, памятуя русско-киммерийскую пословицу, по которой не следует зарекаться ни от тюрьмы, ни от сумы, ни от чумы, ни от кумы, ни от хурмы — не очень-то и роптали, зная свою вину. Конечно, наказание казалось им жестоким до нелепости, рабский труд — жестоким надругательством над их высочайшей таможенной квалификацией. И все время вспоминались проклятые семь люф, из-за которых их преступление чуть ли не удвоилось, согласно минойскому кодексу. Всего же было жальче то, что навевали эти люфы — семь

куцых люф на шестерых здоровых мужиков — воспоминания о термах на Земле Святого Витта, до которых было рукой подать, да только вот — рука-то, нога-то, она, вишь, в кандалах, да еще прикованная.

А тут еще топот над головой. С трудом разузнали рабы, что во всей Руси — новость. Сказывали (Доня позволяла себе перекинуться с рабами парой слов, когда Гендеру помогала), что царь ударил над Москвой в Царь-Колокол, и это, только это, ничто как именно это, вдруг умножило Хрустальный Звон. Звон тут же переместился и завис над Москвой, но сразу пришли сообщения, что такие же, хоть и поменьше, возникли над Екатеринбургом, Челябинском, Красноярском, Иркутском, Магаданом, Владивостоком, Хабаровском, Якутском — а чуть позже и в Европе, над Архангельском, Нижним Новгородом, Астраханью, — и, наконец, над Петербургом. Все Звоны были подобны Великому, зависшему над Москвой и, сказывали, рассеялась яко дым перед лицом Творца чья-то неведомая киммерийцам грозная дума, — отчего дума может иметь такое значение — рабы в толк взять не могли. В Киммерии то ли с нетерпением, то ли с боязнью ждали, что и над ним — несмотря на ограждение Великого Змея — тоже зависнет Хрустальный Звон. Но тот всё никак не зависал, да еще пустил кто-то слух, что Киммериион сам по себе как раз Хрустальный Звон и есть.

Говорили, что странные дела творятся в России: мусор собирается в могучие кучки и сам по себе на помойку выметается, дым от огня не уходит, а рассасывается, дурные мысли как-то превращаются в благостные, и даже головы дурные из всероссийской столицы куда-то улетают, ушами помахивая, — впрочем, в Киммерии всё это отозвалось лишь неким волшебным эхом. Звон присутствовал тоже, но до слуха рабов не доносился: это звенели московские золотые монеты в шесть импералов, — девяносто рублей по-русски, — офени стали приносить в Киммерию и покупать на них самые дорогие молясины, даже такие, которые простой человек в одиночку от пола не оторвет. Купив три-четыре двухпудовых чуда киммерийской работы (яшмовая подставка, серебряные молоты Кавелей, вся отделка — мамонтовая кость), офеня уходил во Внешнюю Русь, очень быстро возвращался налегке — всей-то поклажи мешок муки в четыре-пять пудов (это — святое!) да импералы в кошеле на поясе — и все опять по новой.

Первой разбогатела и вышла в знатные по такому случаю гильдия свещелеев. Офени считали, что деньги — грех вынужденный, и потому каждую осьмушку обола, каждую русскую полкопейку вкладывали в свечи, иногда пудовые, которые ставили в киммерийских церквях Святой Лукерье Киммерийской, Святому Ионе Чердынскому, Святому Давиду Рифейскому, а если кто хворал или силами слабел, то и просто Святому Пантелеймону. Русскому золоту в Киммерии всегда оказывалось большое уважение: чего только не извлекала из берегов Рифея многоумелая киммерийская братия, а вот золота здесь своего не было. Потому как запретил государь Петр Алексеевич в Киммерии быть своему золоту. И все тут.

(Но тут нужно сделать отступление. Выглянул я — когда эту самую главу писал — из окна, и гляжу — над самым моим домом тоже висит Хрустальный Звон. А

живу я на последнем этаже. Так что хоть Звон, может, по всемирным масштабам и небольшой, но точно, что Хрустальный, а главное — близко висит и... не простой Звон, а... Здоровенный. Здоровенный Хрустальный Звон. И точь в точь такой, как его по телевизору показывают, хотя, каюсь, я телевизора вот уж лет тридцать как не смотрю. Но глянул — понял — не ошибешься. Вылитый, словом. И не одна это хрустальная сфера вовсе, а девять. Одна в другой. Вращаются и, разьедрить их в разные части мест, хрустально звонят. И понял я тут — это Музыка Сфер. А когда ее слышишь — значит, покой всюду. И полная гармония. Протер я виски одеколоном «Любимый аромат императрицы», бывшая «Красная Москва», и понял — не нужно мне ни о чем тревожиться, а пора делом заниматься, пора дальше писать про Киммерию, про детство царя Павла Третьего, про полное отсутствие на Руси законной императрицы и про возможное покушение на похищение... Тьфу, я, кажется, уже вперед слишком забегаю).

Однако в Киммерион офени занесли золотых девяносторублевигов пока еще совсем немного, две-три сотни, и в широкое обращение монета, на которую — на одну! — можно было купить на рынке для прохарчения рабов никак не меньше, чем тридцать шесть пудов соболятины, по-новорусски — больше, чем полтонны, а набьют ли охотники всей гильдией столько поганого мяса за зиму? — в широкое, словом, обращение эта монета едва ли могла попасть. И если какой звон и доносился из Верхнего Мира до бывших таможенников, то никак не звон московского золота. Хотя звон Царь-Колокола в Кремле по телевизору показывали. Гликерия тогда телевизор на полную мощность врубила, Федор Кузьмич прослезился, Нинель забормотала что-то обычное, но словно бы эдак с лица сбледнула, — а Роман Подселенцев послушал, послушал и веско сказал: — Я считаю, этот вот звон... этот вот звон, он будет исторический.

Ну, а рабы в подвале тем временем занимались обычной любимой работой — той, которую ведут все рабы во всех подвалах мира; если напрямую сказать, то вели они подкоп. Бывшие таможенники, давно уже перепилив удобные кандалы, вели себя осторожно: наострились передвигаться в пределах подвала и быстро возвращаться на места своего прикова, — когда смещался люк и вполне выздоровевший Варфоломей тащил обед — проклятую соболятину. Бывшие таможенники, нынешние рабы, Минойский кодекс знали наизусть и помнили, с какими частями тела должен проститься преступник, пойманный на одном лишь умыслении бегства. «Дело — наказуемо, мысль — вдвое насупротив дела!» — утверждал Кодекс в русском переводе, не менявшемся со времен Евпатия Оксирина. Попавшийся на попытке к бегству преступник рисковал разве что головой. Попавшийся на мечтах о побеге — максимально долгой смертью под пыткой. Все шестеро знали палача Илиана Магистрианыча лично и не сомневались, что он таковую обеспечить каждому из них вполне в силах. Палач и без того тосковал по настоящей работе: как правило преступник либо не доходил до его рук, либо сразу черной лодкой бывал отправляем на монетный двор, в Римедиум. Немногие выпоротые Илианом на всю жизнь начинали ненавидеть любые мыслимые цветы, — запах киммерийских настурций неизменно сопровождал палача, а их засахаренные семена (в

принципе — настоящий деликатес) шли в Киммерионе не к детям, а только к бобрам, к бобрам, к ним одним, хотя даже их не защищал Минойский кодекс от Минойского возмездия.

Но харчи с подселенцевской кухни, первое время вызывавшие у рабов ярость и тошноту, постепенно стали казаться съедобными, к тому же не ограничивались количеством, и соболятину с моченой ягодой через полгода после водворения в рабы ели без отвращения. Пища была все-таки мясная, дающая силы, а они рабам требовались — и для кедровых баклушей, и для сверления точильного камня, на прочном фундаменте из коего стоял дом Подселенцева. Направление подкопа было взято на юг, в переулочек: однажды ночью выскочить из подвала, переправиться к Мурлу, скрыться у сектантов. Другой свободы в Киммерии найти было невозможно, разве что таиться в северо-восточной киммерийской тайге, где бьют соболей и росомах, — и где жрать придется всю жизнь опять-таки соболятину: так стоит ли туда свободу долбить? Ну, а если — из Киммерии во Внешнюю Русь? Лучше уж в Римедиум. Клаустрофилия — неотъемлемое качество киммерийца, такое же, как длинные пальцы или как любовь к горячему клюквенному квасу. Рабы знали, что сектанты едят змей и поклоняются тройной букве «Е» в слове «ЗМЕЕЕд». Еще слышали рабы, что беглых сектанты приставляют к уходу за плантациями сухопроизрастающей морской капусты. Словом, не к теще на блины готовились драть рабы. Но не драть было выше их сил. По всем правилам они вели подкоп, собираясь убежать. А уж куда, а уж потом что — это все дело десятое.

Рабы долбили. Долбили ножи для баклуш, баклуши и подкоп. Стуку получалось много, бывшие таможенники полагали, что старцам, бабам да поротому мальцу-силачу и в голову не придет, что долбят они долотами из железного кедрового камня плиту, на которой стоит дом. Сомнения вызвал новый жилец, которого раб Ставр Запятой припомнил, узнал в нем лекаря по мужской слабости, к которому его некогда жена посылала, да он не пошел, — вот и бросила его жена, сама ушла к лабазнику на Дерговище... С появлением этого жильца рабы на время насторожились, но поняли вскоре, что он тут вроде как за прислугу — интерес у них к надсмотрщику прошел. Увлеченные долбежкой, не заметили они, что соболятина при нем чем-то другим пованивать стала. Отчего-то стало у них теперь на душе спокойней, теперь они точно знали — просверлят они ход в переулочек, убегут на край света киммерийского, станут сектантами, переженятся на бабах-змееедках и прочих жизненных услад сподобятся. Но ход шел небыстро — очень твердый, сволочь, точильный камень. Никак больше чем полфунта от кормежки до кормежки не выберешь. А больше чем в четыре руки долбить было никак нельзя — Кодекс, вишь, не простой, Минойский-то кодекс. Пол Гендер тем временем окончательно прижился в доме. Обедал он за общим столом, язык общий легко находил со всеми, чувствовал на себе повышенное внимание юной Дони, но сам благоговел перед негласной царицей дома — матерью некоренного киммерийца Павла, Антониной. Женщина это была видная, несколько дородная, не самой первой молодости, но именно в ней наметанный глаз сексопатолога безотказно распознал настоящую, подлинную женщину. Она целыми днями возилась с маленьким сыном, до девяти месяцев,

говорят, кормила его грудью, потом пошла напропалую зачитывать сказками Пушкина, баснями Крылова и прочей детской классикой, какую надали малышу добрые киммерийские граждане в первые же дни его жизни. Хотя бы раз в день поклониться малышу, принесшему в дом Подселенцева нежданное благосостояние, ходили почти все обитатели дома — а уж Нинель, та и вовсе жила в проходной комнате, ведущей к Антонине и малышу, — разве что не спала поперек порога. Варфоломей тянул на себе всю тяжелую работу по дому, притом без видимых усилий, кроме того — ходил раз в неделю с Гликерией на рынок, на Петров Дом, и притаскивал свежей провизии и прочего столько, сколько требовалось. Он тоже очень любил малыша. А старцы — хозяин и доктор — так просто в нем души не чаяли. Но, ясно, каждый на свой манер. Гендер завел — чтобы не скучать, да и чтоб квалификации не терять — «истории болезни» на всех шестерых, заточенных в подполе. Вообще-то изучать их он права не имел, как не имел права, согласно минойскому кодексу, трогать никакую чужую вещь. Согласно этому кодексу хозяин имел право даже резать свою вещь на части, а чужую даже потрогать без разрешения владельца не мог (не то — плати зверский штраф). Куда уж там брать у этих вещей анализы! Однако Гендер отчаянно не хотел терять квалификацию, тем более что все рабы Романа Подселенцева (кроме Варфоломея, на рабское положение которого давно и дружно закрывались глаза) по меркам добродетельного Киммериона выглядели ублюдками. Упомянутый выше Ставр Запятой подозревался в нелегальной перекупке у охотников северо-западной Киммерии горностаевых шкурок, — именно на эти шкурки, точнее, на разноцветные, подобранные в тон кончики хвостов, имелся спрос у триедских сектантов. Зосима Овосин, бывший капитан таможенников, страдал недержанием спермы, фантазии и мочи, быть бы ему натуральным пациентом Гендера, кабы Гендер был врачом, а не наймитом. Герасим Иваныч Листвяжный и его двоюродный брат Редедя Шайбович Листвяжный подозревались в грехе рукоблудного шулерства — оба были известны как заядлые игроки «в пальцы» — или, по-старинному говоря, в «мору». У шулеров половая сфера никогда не отлажена, — это Гендер знал из учебника, написанного собственным прадедом. Тимофей Забралов страдал гусиной кожей, куриной слепотой и утиной желтухой. Наконец, самый злой из преступников, нанесший в свое время чуть ли не все увечья богатырю Варфоломею, был похожий на лису Матвей Сырцов, он маялся особой дурью, сивилломанией, и неоднократно бывал пойман на разговорах о том, какие мощные, наверное, какие сахарные бабы эти самые старые сивиллы. Все как один они были интересны Гендеру с научной стороны, видать, чуяли это — и поэтому, видимо, разговаривать с ним отказывались. Но Гендер не унывал: прикупил кое-какое оборудование, испросил у хозяев разрешения и раскопегарил в своем катухе обширный цикл исследований. Увы, ходили по нужде все рабы в общую парашу, и отделить кал Герасима Листвяжного от мочи Тимофея Забралова Пол пока никак не мог. Но был уверен, что вскоре научится. А не вскоре, так все равно научится. Не этому, так чему другому. Посадили рабов сюда не на день и не два. Впрочем, сколь ни трудно было Гендеру приказать что бы то ни было чужим

рабам, в целях науки следовало попытаться. Рабы принадлежали старцу Роману, а наниматель бывшего сексопатолога, ныне наймита, был Федор Кузьмич — все-таки негласный личный врач Подселенцева. И нужно-то было Гендеру совсем немного, требовалось каждого раба принудить справлять нужду в свое ведро. И повод имелся: как-никак уже много месяцев подполовых рабов поили бромом, а узнать о результатах, об усвояемости брома или же об его бесполезности полагалось. Кроме того, не мог понять Гендер и того, отчего на дне каждой параши оказывалось столько минерального осадка, — как если б рабам добавляли в едиво не бром, а мелко размолотый песчаник. Подсушив немного этого порошка и взяв с собой истории болезни (которые именовал киммерийско-греческим словом анамнезы), наймит отправился к Федору Кузьмичу.

Застал он лекаря за утренним пасьянсом. Лекарь выслушал, взгромоздил на носочки «для близи» и надолго уставился в предъявленные предметы, точней — только в один, в порошок минерального происхождения. Потом щелкнул языком и поднял лицо.

— Коллега, вам все ясно или вам не все ясно? — тихо сказал он.

— Боюсь, что пока ничего...

— Ну да, вы... Вы «Графа Монтекристо» читали?

— В школе проходил...

— Так уж и в школе?

Гендер смутился. Он не помнил. Он, может быть, и не проходил. И не читал вовсе. У него с литературой, историей и подобными науками всегда было плохо. Он биолог, лекарь какой-никакой...

Федор Кузьмич встал. Гендер, хоть и должен был привыкнуть, но в очередной раз удивился: старик, если не горбился, был выше него на две головы. А если горбился — только на одну. Сейчас он стоял как генерал, принимающий парад.

— Коллега, это же измельченный точильный камень! А поскольку баклуши бьют в подвале деревом об дерево, и стружку сдают — значит, камень — природный!

Гендер все еще не понимал. Федор Кузьмич заорал шепотом:

— Коллега, так называемые рабы, они же ваши пациенты, роют подкоп!

Гендер долго запрягал, но быстро ехал: врубившись в ситуацию, он первым делом прислушался. Обычный стук из подпола действительно слышен не был. Так что же, выходит, сбежали? Или просто здесь не слышно?

— Вызвать из отделения?.. Побег по минойскому кодексу — верная смертная казнь. А я... хотел бы сохранить работу.

Федор Кузьмич выдвинул ящик стола, чем-то щелкнул, что-то в самой глубине сдвинул и один за другим извлек оттуда четыре очень маленьких револьвера старой киммерийской конструкции «Кумай Второй» — с вращающимся барабаном, на тридцать две плюс одна пули. Гендер даже и не стал ломать голову — откуда такое. Он тоже оттрубил свой год на миусских пастбищах, где такие револьверы служат табельным оружием.

— Вам... Варфоломею... Мне и... ну, в запасе будет. Зовите Варфоломея.

Боюсь, его сила понадобится. Очень похоже, что у нас будет сегодня...

варфоломеевский день.

Варфоломея нашли во дворе у дров, Гликерию отправили к деду, Нинель приставили было стеречь Антонину, но она сказала, что это «потом», а она будет где все, Павлику пока что ничего не грозит. Доня быстро собирала всё, что может понадобиться — прежде всего веревки. Варфоломей, полыхая праведным гневом, теребил револьвер, но полагался, видимо, скорее на любимую дубину — не тяжелую, пуда два всего, но прикладистую, хорошо уравновешенную, которую смастерил, когда руки у него уже зажили, а тройной перелом бедра ходить еще не позволял. В душе Варфоломей знал, что когда-нибудь вложит своим истязателям по первое число. Гипофеты злопамятны, хотя это качество не похвальное. А дубинка, кстати, входит у гипофета в число повседневных принадлежностей: такое Сивилла порой напорорицает, что без дубинки с клиентом никак не управишься.

Когда все встали вокруг люка в полу, настал миг — словно тихий рифейский ангел пролетел. Доня одной рукой обнимала огромную кастрюлю с холодной соболятиной, на тот случай, если никакого подкопа нет и рабы мирно бьют кедровые баклуши, а другой придерживала связки веревок, в основном свежеснятых бельевых — и прочих, какие нашлись. Нинель всем своим видом выражала одну мысль: «Ждите худшего». Видать, нужно было всё-таки тащить и кастрюлю, и веревки — вещи как будто взаимоисключающие. Варфоломей гладил пальцами дубинку и невольно облизывался. Гендер прижимал к груди фонарь.

Федор Кузьмич перекрестился.

— Господи, благослови!

Варфоломей рывком поднял квадратную крышку люка; Гендер сделал шаг вниз, светя перед собой мощным киммерийским фонарем из числа тех, что ставили в Киммерионе вместо фар на автомобили; называли эти фонари выразительно — «дракулий глаз». Через две ступеньки остановился.

— Никого! Сбежали! — бросил Гендер ожидающим сверху и опрометью кинулся вниз по лестнице, за ним поспешил Варфоломей, следом — Доня с ворохами веревок, за ней без спешки, сгорбившись и пребывая в обычном полутрансе, спускалась Нинель, что первоначально не планировалось. Но она знала, что делала, и никто с ней не спорил, никогда. Федор Кузьмич перекрестился еще раз и тоже шагнул вниз.

«Дракулий глаз» выхватил из темноты то самое, во что непременно вступил бы человек, несущий перед собой кастрюлю с обедом: полную до краев парашу, передвинутую сюда специально для того, кто вечером придет с ненавистной соболятиной, — а также распиленные и в спешке брошенные кандалы: видимо, продолбив дорогу на свободу, рабы дали драпа немедленно. А это значит — в любое время с тех пор, как вчера вечером их кормили. А прошло с той поры уже часов пятнадцать. Кошмар, да и только.

Шагов через двадцать, миновав невыключенный телевизор, с экрана которого невероятно толстый человек что-то уверенно обещал новым народам российской империи, Пол и Варфоломей обнаружили дыру в стене, тесную, один человек с трудом боком протиснется. Гендер нырнул туда сразу; следом

полез Варфоломей. Он долго сопел, богатырские мышцы не желали сокращаться — но в конце концов протиснулся. Спустя минуту в проломе опять показалась голова Гендера. Глаза у него были круглые.

— Там... Там другой подвал! — только и выдохнул он. — Где мы? Где мы?

— Под переулком! — отозвался Варфоломей, лучше других ориентировавшийся в пространствах Саксонской набережной. — Чей же тут подвал?

— Соседа. Лодочника. — сказала словно откуда-то издалека Нинель. — Астерия Миноича. Того, который на крыльце торчит, бывает. Когда тебя, Фоломейка, битого привезли, он торчал.

— Так что ж, он им помогал? — зло спросил Варфоломей.

Доня хихикнула. Нашла, называется, время и место.

— Так, — сказал из темноты Федор Кузьмич, — мы под переулком. А как у того дома оказался подвал под мостовой?

— Замурованный он, подвал — сказала Нинель. Гендер покрутил головой — до него теперь доходило куда быстрее, чем раньше.

— Так сбежали они или нет? Если подвал замурованный, то эти сволочи и уйти никуда не могли! Да уберите вы револьвер, меня... намочите! — заорал Гендер на Федора Кузьмича. Пол не помнил нужных слов, вся необходимая лексика вылетела как-то сразу из головы. Федор Кузьмич пожал плечами и нехотя спрятал револьвер.

— Там — лабиринт... Запечатанный... — прошептала Нинель, неожиданно повернулась и пошла прочь. «Упрежу хозяев, чтоб не звали ментов...» — донеслось из темноты. Видимо, ничем больше помочь пророчица пока что не могла.

Гендер, убедившись, что моток веревки обеспечивает ему путь едва ли не до южного конца набережной, ринулся в лабиринт — скрипя зубами и чувствуя непонятную ему в самом себе, непривычную, от ног к голове поднимающуюся холодную ярость. В конце концов, почему всё и всегда против него? Сперва ему навязали профессию по наследству, потом ее лишили — и притом не кто-нибудь, а родной ополоумевший отец. Он сломал свою гордость и стал членом последней в Киммерии гильдии, ниже которой только рабы. Так и рабы, за которыми он приставлен ходить, их кал-мочу исследовать, посмели от него бежать, посмели отнять у него последнюю работу! В памяти всплыли строки из учебника по сексопатологии, сочиненного его прадедушкой, Мафусаилом Гендером, — там имелись воистину грозные выражения:

— Руки вверх, курвины выблевоны! — по мнению прадедушки, в его времена от таких слов половострадающие должны были обмирать как кролики под змеиным взглядом. Пол внезапно ощутил, что заклинание помогает по крайней мере ему самому: — Сдавайтесь, гниды! Монтекристи драные, стоять! Лежать! Мордой к стене!

Ярость не мешала ему видеть стену, в которую упирался ход, а дальше можно было идти хоть налево, хоть направо. Гендер обернулся к спутнику.

— Умеешь читать следы?

Варфоломей опустился на четвереньки и долго ползал носом по сплошной

плите пола, — весь туннель был выдолблен в монолите острова Караморова Сторона, в сплошном точильном камне. Следов на древней пыли было множество, все явно принадлежали беглым рабам.

— Дядя Пол, — робко сказал Варфоломей, — все шестеро тут бегали. Куда кто — не пойму. По следам выходит, что направо убежали... потом вернулись, побежали налево, а потом пошли бегать по одному — туда, сюда. И долго бегали. Совсем недавно последний раз.

— Значит, никуда не убежали. Значит, все тут. Давай, канат разматывай. Ты направо пойдешь, я — налево. Все время старайся касаться боком... ну, рукой — левой стены. А я буду — правой. Авдотья Артемьевна, отпускайте канат, мы пошли гадов м-м-м... рататать!

От своего «взрослого» имени Доня покраснела в темноте, и быстро стала исполнять приказ. Хорошо, что веревочек набрала невпроворот. А вдруг мало будет?

Гендер тем временем по-врачебному аккуратно крался вдоль левой стены, очень скоро свернувшей еще раз налево, оставляя при этом возможность перейти направо, в другой коридор. Камень лабиринта был истоптан босыми подошвами беглых рабов что там, что сям — поэтому идти было тоже всё равно куда. И пока что везде было зловеще тихо. Гендер решил, что это неправильно, что пора опять действовать по учебнику:

— Сдавайся, выbleвон курвин! — рявкнул он, стреляя наугад в новый коридор. Руку страшно дернуло. Пуля, рикошета, щелкнула несколько раз, но, кажется, никого не поразила. — Ку... сдавайся... кублевон выблин!

Эхо, кажется, красивое было не только в доме у Подселенцева — оно и тут было ничего себе. Многократно повторенное, неведомое доселе ни русскому, ни киммерийскому языку ругательство пошло блуждать по коридорам лабиринта. Гендер про лабиринты не знал ничего, кроме того, что выйти из них очень трудно. Значит, не ушли! Гендер выстрелил еще раз, опять послушал эхо, ответом на выстрел была страшная матерщина, прилетевшая из другого коридора, однако в ней Гендер сразу распознал свой собственный загиб: эхо совершило круг и вернулось. Кажется, в эту сторону идти не стоило. Гендер представил себе, как Варфоломей отбивается от шести озверевших рабов в одиночку — и рванул назад, к пролому в стене, перехватил веревку, ведущую к Варфоломею, побежал в правый коридор. Собственный канат его, много раз намотанный на туловище, теперь мешал чрезвычайно, из-за него бежать приходилось, вращаясь вокруг собственной оси.

Между тем Варфоломей ушел очень далеко, и слышно его не было; если б не натянутый канат, обвязанный вокруг мощной груди парня, Гендер давно не знал бы, куда идти. Коридоры раздваивались через каждые три-четыре сажени, к тому же вели то вверх, то вниз, выписывали круги и спирали, временами уводя на очень большую глубину, — а пол, как подтверждал луч «дракульего глаза», был истоптан весь — именно босыми стопами рабов. Впрочем, шум откуда-то доносился, но слишком звучное эхо не давало возможности определить — что за шум, откуда. В шуме этом почему-то все время слышалось Гендеру подозрительное чавканье, Гендер надеялся, что это просто шлепанье босых ног

по воде, например, а не подлинное чавканье. Он свернул куда-то в стотысячный, по самым скромной прикидке, раз — и нос к носу столкнулся с кем-то.

Убедившись кратким движением руки, что противник существенно меньше Варфоломея, Пол следующим движением вознамерился дать беглому рабу в морду. Однако противник ускользнул, притом вбок и вверх, из-за проклятого эха Пол не разобрал, куда именно. Неведомо каким по счету чувством Пол знал, что попался ему лисовидный Матвей Сырцов, палач-садист, недомерок и подонок, чье наиболее мерзкое дерьмо без всякого сепаратора выделялось в каждой порции анализа из общей параша, — а выделять его Пол научился после того, как у Сырцова случился пятидневный запор и по приказу Федора Кузьмича пришлось варить для сволоча драгоценное льняное семя.

— Не уйдешь! Знакомая мне твоя харя... узнаю тебя по анализу, по говну узнаю! — не заботясь о логике, рывкнул Гендер, бросаясь в погоню.

Потенциальная жертва улепетывала босыми ногами, наймит-сексопатолог уже изобретал мысленно «запрещенные приемы» (скажем, вцепиться в яйца, или там застрелить прямо в лоб, едва ли его фантазия могла изобрести что-нибудь еще более запрещенное). Веревка, к счастью, пока что не кончалась. И направление, кажется, взял он правильное: кто-то впереди пыхтел. Истощенный страстью к старым и полоумным бабам организм Сырцова рано или поздно должен был капитулировать перед злостью и отчаянием экс-врача. Наконец, Гендер этого кого-то догнал и, презрев непривычное ему по работе огнестрельное оружие, треснул беглеца по башке фонарем, тяжелым, как все киммерийское, изготавливаемое на века.

И услышал хруст. Очень такой нехороший хруст, отвратительный: врачом не надо быть, чтобы представить себе, как трещит раскальваемая черепушка. Но времени на эмоции не было: Гендер на всякий случай врезал по тому же месту еще раз и еще раз. Фонарь меж тем и не думал гаснуть; удара после десятого Гендер догадался посветить им на то, что бьет (после такой атаки это едва ли мог быть кто). Так и есть. Сырцов. Звездец ему. А вот не вожделей к сивиллам. Последнюю фразу Гендер, видимо, произнес вслух. Кто-то тем временем подобрал фонарь и пытался посветить ему в лицо. Пол, не выпустивший жертву, напряжился — и запустил обмякшей жертвой в нового противника.

— Хрь-рь-пх-х-х-х — прозвучало в гулком воздухе лабиринта, фонарь метнулся, кажется, взлетел под потолок а потом громко врезался в еще чей-то череп, — на этот раз просто с треском. Делался «дракулий глаз» на совесть, из тяжелого рифейского железа, похожего на метеоритное, разбить его нельзя было не только об человеческую голову, но и об точильный камень.

— Три! Пол Антихович, уже три готовенькие! — раздался ликующий вопль Варфоломея. Пол, потирая ушибленный копчик, подобрал ноги и прислонился спиной к стене, потом дотянулся до «дракульего глаза».

— Ты третьим, часом, не меня ли считаешь? По моему счету так только один, если ты своего пополам не разорвал.

Варфоломей ничего не сказал, но откуда-то из под него раздалось слабое хрипение. Варфоломей — ногой, кажется — ударил во что-то мягкое. Хрипение перешло в писк. Писк в плач. Плач — в жалкое хныканье.

— Ну так почему три, Варфоломейка?

— Вроде я еще кого-то зашиб, дядя Пол...

— А ты на нем не сидишь?

— Я... на людях не сижу, дядя Пол...

— А на чем ты сидишь?

— На этой... На полу я сижу, дядя Пол.

Гендера внезапно разобрал истерический смех. Держась за живот, он поднял «дракулий глаз» и высветил на полу лабиринта лежащего в совершенно немислимой для живого человека позе Сырцова, а выше по коридору — экс-капитана Овосина, вроде бы не дохлого. Затем Пол направил луч на Варфоломея, и тут ему стало не то что смешно — скорей жутко. Ибо парень был обмотан не только собственной, но в значительной мере и его, Гендера, более толстой веревкой. Даже если верить на слово Варфоломею насчет третьего раба, еще трое необезвреженных болтались где-то в лабиринте, а стало быть могли спокойно выскочить, напасть на беззащитных женщин, тогда как Пол и Варфоломей были привязаны друг к другу и еще к изрядному куску лабиринта. Пола охватил новый приступ отчаяния.

— Стой тут и не трожь их, если шевелиться не будут! Дернутя — сразу в темя!

А я пойду дальше. — С этими словами Пол решительно скинул с себя канат, схватил «дракулий глаз» и ринулся в первый попавшийся коридор. Там было, как и везде, темно, но, сорвавшись с привязи, Пол почувствовал себя намного свободней. С воплем «Убью!» мчался он версту или две, потом «глаз» выхватил из темноты фигуру.

— Руки вверх, выbleвон курвин...

— Дядя Пол, это я...

Пол сел на пол.

— Я что ж, по кругу? Ну нет, выbleвоны... — Пол вскочил, помчался в обратную сторону, минут через десять налетел на Варфоломея снова и опомнился. Выбрав новый коридор он рванул туда — уже без воплей. Коридор поделился надвое: один путь вел вниз, второй — вверх, притом еще и сворачивал сразу вправо, а там Гендер, кажется, уже был... Пол кинулся налево. Коридор снова разделился. Пол снова метнулся налево. В туннеле было отнюдь не пусто, кроме истоптанного босыми ногами пола попадались куски дерева и камня, крупные кости, едва ли не человеческие, но Гендеру было сейчас не до древних покойников. Для разнообразия он свернул направо, но после того — опять все время налево, налево, налево, и еще раз налево. Так продолжалось довольно долго, покуда туннель не кончился тупиком. Пол сделал поворот на сто восемьдесят и побежал вновь, стараясь не наступать на свои следы. Внезапно туннель расширился, «дракулий глаз» выхватил из тьмы большое помещение, а посредине него — какую-то кривую колонну, с виду напоминавшую «Венеру Киммерийскую» в Роце Марьи, только повыше. У подножия статуи стоял, скрестив руки на груди, человек на два аршина выше Пола и на столько же шире в плечах. Впрочем, он просвечивал, и у ног его на просвет была видна кучка ворочающихся тел.

«Отдавай мои семь люф!.. Семь люф!..» — колоколом отозвалось в мозгах Пола.

Пол тряхнул головой, великан исчез, осталась только слегка обтесанная каменная глыба, да у ее подножия — копошащиеся тела.

— Бля-а-а-а... — протянул Пол, на миг забыв о недоловленных рабах. Перед ним возвышалась явная пара к палеолитной «Венере Киммерийской», взгляд его живо распознавал в бесформенном камне статую, притом мужскую, с чем-то длинным, сексуально нацеленным вперед и вверх, — часом уж не «Аполлон» ли «Киммерийский»? Высота потолка тут, в центре лабиринта, была неопределима: направлять вверх свой единственный фонарь Пол боялся, а проклятое красивое эхо мешало всем иным способам оценить пространство. Луч фонаря скользнул в ноги статуи, там на чем-то вроде гипертрофированного большого пальца лежал в беспомощности перекрученный, пузом вверх, головой и ногами вниз, известный Ставр Запятой и тихо выл, а братья Листвяжные, кажется, норовили подвергнуть его средневековой пытке, выламывая Ставровы ноги и голову одновременно, хотя в разные стороны.

— Ты куда нас завел?

— Сюда...

— А теперь мы куда?

— Да-а-а-а... — впрочем, это было уже эхо.

Пол собрался с силами, мыслями и впечатлениями, подошел к измотанным многочасовой побеге рабам и быстро вырубил всех троих тычками сапога в темечко.

— Пять. Или шесть?.. — спросил Гендер у статуи, но та молчала. — Далек он не мог уйти, у него желтуха. Гепатит у него хронический... Хронический гепатит. Утиный и гусиный. — Отчего-то мысль о том, что необезвреженным в недрах лабиринта бродит наиболее хворый из рабов, доставляла наймиту некоторое спокойствие. Он посветил «глазом» на сомлевшего, оказавшегося Редедей, хотел наступить на откинутую безвольно в сторону кисть руки, и вдруг пожалел: пальцы-то у раба были все-таки киммерийские. А ведь коль об этом побеге, он же подкоп, не докладывать — если только уже не доложили — то, глядишь, через одиннадцать с чем-то (или восемь без чего-то? — в наймитах Пол перестал следить за календарем) лет будет этот курвин выблевон опять вольным киммерийцем. Чего ж ему пальцы-то ломать без надобности?

Да еще имя у него такое киммерийское, коренное — Редедя. Пол за всю жизнь многих Редедей знал, кого-то даже лечил, один даже ему запомнился, потому что фамилия у него была довольно красивая — Гаврилов. Впрочем, тот Редедя Гаврилов давно спит мирным сном на Сверхновом кладбище, будучи зашиблен в Южных Каменоломнях, куда попал десятником по жалобе бобров на умысление против них шкурное... А этот вот Редедя, раб Листвяжный, валялся сейчас в ногах у наймита Гендера.

Из темноты вылез Варфоломей, он нес на руках Матвея, видимо, конченого, а гепатитника гнал перед собою тычками; весь торс парня был обмотан веревкой, оборванный конец которой парень зажал в зубах. Первой мыслью Пола было: «Поймал-таки гепатитного!» Второй его мыслью было, что веревки, ведущие к выходу из лабиринта, оборвались у них обоих. Но третья мысль успокоила, и ее он высказал вслух:

— Ничего, револьверы почти полные... В крайнем случае расстрелять можно... лишние патроны. А найдут нас и так. Варфоломейка, тут статуя стоит! И призрак ко мне выходил. Думаю — Конан-варвар лично! Варфоломей засиял.

— Статуя?.. Тяжелая? Крупная?

— Сам смотри.

Гендер осмотрел приведенных Варфоломеем пленных, гепатитнику добавил по темечку, свалил всех в общую кучу, потом перевел луч на статую.

— Ух ты... Вылитый дедушка Роман, только с веслом! Пудов, поди ж ты, с тысячу!..

— Охренел ты, Варфоломейка, в нем их десяток или два. А вот скажи, куда нам теперь с этой навозной кучей?

В куче что-то заурчало, потом сказало удушенным голосом:

— Нету выхода отсюда, нету! И вы с нами сгниете! Кто в лабиринт вошел, тот из него не выходит!

— А ты, значит, взял да и вошел, чтоб не выйти? — Гендер профессионально призвал на помощь иронию, хотя похолодел — Вот вас мы тут оставим. А сами уйдем. Это вы — как хотите. Сами сюда дорогу продолбили, сами выдалбливайтесь.

— Ладно, дурни, сейчас выведу... — сказал из темноты голос Нинели — Пятеро пусть между вами ползут, а вы за мной идите. Шестого Фоломейка пусть несет, похоронить надо... однако надо. Надо... Пошли назад, из этого места другого выхода нет, сто лет как замурован сюда вход. Двести лет... Не помню. Ты дедушку с веслом не трожь, Фоломейка... Потом его отнесешь. В нем ценность большая. В тебе сила большая. Обе вовсе без пользы...

Дорога в Подселенцевский подвал оказалась на диво короткой — меньше, чем занял бы путь по набережной от крыльца дома камнереза до Роши Марьи, — Нинель в темноте знала прямую дорогу. У Пола отваливались ноги — он-то набегал много верст. Варфоломей то и дело наступал то на руку, то на ногу кому-нибудь из рабов, в мыслях у него была одна лишь «тяжелая и крупная» статуя. Что думали рабы — неизвестно, однако по одному пролезли в продолбленное ими же отверстие. К удивлению Пола, никто никакой полиции не вызвал. В подполе, освещенном всеми переносными светильниками, какие нашлись в доме, стоял Федор Кузьмич, разложивший перед собою на каменном столе хирургический инструментарий. Доня была уже в белом халате, — ее, видать, назначили ассистировать.

— Вижу, пациентов поубавилось... — сказал Федор Кузьмич, выворачивая веко Сырцову. — Штраф хозяину платить придется. Шесть раз тысячу восьмушек обола. Это двадцать восемь целковых с мелочью, если на царские считать. Два империаля. Если не хотят почтенные... господа рабы ехать в Римедиум, то, скажем... придется баклушами?

— Придется... — угрюмо промычал Овосин, и сразу после этого взвыл: в его разорванную щеку хирург чего-то плеснул.

— Самообслуживание, однако — пробормотал Федор Кузьмич, — так что ты там, Нинель, про нового царя говорила?..

— Ничего я не говорила, — сказала Нинель, уходя по лестнице вверх, в подвале ее помощь больше не требовалась. — Я пошла, пошла. Пеленок шелковых купить надо Павлику, вот я что говорила. Офени, бывает, приносят. То есть джинсы, я сказать хотела. Тьфу, каких пеленок... Четыре уж года, как не нужны, вырос-то Павлик как быстро... А штраф завтра заплатим, квитанцию в городской банк на архонтсовет. «Раб, одна штука, истреблен полностью за неуважение к архонту, к царю и прочая». Заодно пеленки куплю. Ох, да какие пеленки, что они все в голову лезут, Павлик давно на горшок просится. Велосипед двухколесный, лодку там... Бедный лодочник, полы ему все поломают...

Бормотания Нинели, как обычно, никто не слушал. Гендер и Варфоломей, привалившись друг к другу спинами, тяжело отдыхали: ответственный это труд, нелегкий — отлавливать беглых рабов. Варфоломей подремывал, мечтая о новой тяжелой статуе. Пол Гендер чистил оружие — на всякий случай. Оперлируемые без наркоза, битые, ломаные и рваные рабы вопили. Но никто их не слушал за пределами дома Подселенцева. Орут рабы — ну и пусть орут. С жиру, значит, бесятся.

гений Витковский. Земля святого Витта. Часть 12

Евгений Витковский

XII

Великого дня Христова не знаю и по приметам гадаю: Великий пост христианский бывает раньше мусульманского байрама на 9 или 10 дней <...> Месяц март пошел, и я заговел в неделю с мусульманами, говел месяц <...> Нет Бога, кроме Аллаха.

Афанасий Никитин. Хождение за три моря

Пресловутое шило в мешке, которое традиционно считается трудным для утаивания, занимает в смысле трудности засекречивания лишь второе место: куда трудней скрыть новость в Киммерионе, где все спокон веков знают всех. Не по злomu умыслу обмолвилась Гликерия с соседями о том, что в подселенцевском подвале теперь статуя есть. Древняя и вся красивая такая, «Дедушка Аполлон с веслом Киммерийский». Не сообразила старая дева, что соседи у нее, живущие следом за Астерием-лодочником Вера и Басилей Коварди, отнюдь не просто мужик да баба, а два художника, члены Гильдии Художников, небольшой по меркам Киммерии, меньше ста человек, но зверски влиятельной (попробуй без утверждения Худсоветом Гильдии вырезать новую молясину, даже если делаешь копию придуманной во Внешней Руси — живо лицензию аннулирует Архонтсовет). Словом, попросились художники посмотреть на «Дедушку».

Разрешения полагалось просить у Романа, как пожизненного владельца дома над подполом, к которому примыкал подвал-лабиринт, где нашли «Дедушку»,

— поскольку из того подвала, даром что находился он уже чуть ли не под домом самих Коварди, выхода никуда не имелось. Роман поначалу сделал великую глупость и согласия на экскурсию не дал: не хотел демонстрировать пятерых битых рабов, хотя штраф за шестого, убитого, покорно уплатил и квитанцию за убийство к семейным документам спрятал. Любопытствующие супруги разложили перед собою на огромном столе, с двух сторон которого свои «обманки» рисовали, масштабный план острова Караморова сторона, и подсчитали, что если вход в тот, другой, древний подвал где и есть — то только в подполе размещенного между «живописным» особняком Коварди и «камнерезным» — Подселенцева, в «лодочном» особняке, где нынче скучно жил Астерий Миноевич Коровин. Поскольку Астерий чиниться не стал и убедительно продемонстрировал, что подвал в его доме, наверное, есть, но замурован в незапамятные годы, ибо запечатан печатью такого древнего архонта, что и сами Коварди с маху назвать его не смогли. Пришлось супругам обращаться в Киммерийскую Академию, где по изготовленному ими слепку Гаспар Шерош определил, что замурован вход в подземелье повелением архонта Икария Абоминариста, жившего в середине российского пятнадцатого века и известного тем, что все свое архонтство он только и делал, что налагал заклęcia, проклятия, запреты, епитимьи и отлучения (за что однажды был кем-то утоплен, но Коварди дальше слушать не стали, — впрочем, Гаспар не обиделся, его почти никто до конца не дослушивал). Коварди рванули на Архонтову Софию, в Совет Гильдий — и предъявили свои вычисления. Получалось, что под всем кварталом, от Скрытопереломного переуллка до самой Роши Марьи, имеется историческое подземелье, в которое вход закрыт более пятисот лет тому назад. Так не пора ли дверь туда открыть? Гильдия лодочников, владевшая — так получилось — эксклюзивным правом на доступ в оное подземелье, наострила уши и тут же сочинила историю о том, что прекрасно знает она про таковое помещение, но это ее гильдийная собственность. Гильдии художников и камнерезов немедля встали на дыбы и потребовали раздела подвала на части, согласно размещению под принадлежащими ей особняками. Лодочники были сильной гильдией, любой другой отдельно взятой они бы попротиводействовали, но тут были как минимум две объединившихся против нее гильдии, — а подвал мог простираться еще южнее, а там, за узенькой улочкой Четыре Ступеньки, находился особняк «Хилиогон», то бишь «тысячеугольный», где жил ни много, ни мало — сам Назар Эрекци, глава совета гильдии Сборщиков. С некоторых пор гильдия эта, управлявшая сборщиками молясин, стала почти столь же сильна в Киммерионе, как, к примеру, евреи: одни решали вопрос об обмене русских денег на киммерийские, другие — о сборке множества частей молясины у двух десятков гильдий в одну, которую только и согласен был унести из Киммериона офеня. Словом, скорей стоило гильдии лодочников выплыть на Рифейский на простор и всей дружно утопиться, чем ссориться со Сборщиками, к которым, ясное дело, бросятся на помощь Художники и Камнерезы, если они, Лодочники, будут дальше артачиться. В тот же день, поздно вечером, оформив Астерию специальный наряд, повелевавший

проплыть вокруг Киммериона в темноте, на предмет дальнейшего выявления опасных мест, где могут быть задеты по башке досточтимые Бобры, — а там поэтому плавать нельзя и предстоит установить специальные буи, — в присутствии руководства всех заинтересованных гильдий, печать Абоминариста-Проклинальщика была взломана, вход в лабиринт — открыт. После чего вся комиссия торжественно в подвал спустилась, разбрелась в разные стороны и, понятное дело, в полном составе заблудилась. Через недолгое время — хотя уже сильно за полночь — из-под пола в доме засидевшихся за своей живописью Коварди стали доноситься чьи-то приглушенные вопли. Дверь в Дом Астерия оказалась заперта изнутри, но вопли слышались и со стороны набережной. Коварди, не щадя кулаков, заколошматили в дверь дома Романа, не без основания полагая, что коварный лабиринт заглотал кого-то, кто теперь выбраться не может, а вход в тот подвал, проломный вход, имеется лишь из подпола Романа (снятие печатей от Коварди, понятно, засекретили). Дверь со стороны набережной по зимнему времен была закрыта наглухо, сонная Доня высунулась из черного хода, позвала соседей на кухню. Тут тоже были слышны крики, но, наученная заранее Нинелью, Доня сообщила художникам, что «рабы с жиру бесятся». Коварди заподозрили, что дело не так уж просто, пусть бы бесились рабы в подполе Романа, но что делают они в лабиринте, под домом, расположенным за добрых сто саженой к югу? Доня — опять-таки по заранее данному Нинелью указанию — лезть в подпол ночью отказалась, будить тоже никого не захотела, терпит дело до утра. Так и слушали вопли из подпола супруги Коварди до самого рассвета. Слушали их также Пол и Варфоломей, сидя за фанерным щитом, выкрашенным под цвет точильного камня; этим щитом с вечера Нинель приказала закрыть вход в лабиринт со стороны рабского подвала на тот случай, чтоб никакое начальство, набредя на пробитую рабами дыру к свободе, таковою не воспользовалось в обратном направлении.

К утру вернулся Астерий — злой, как хорошо прогретый аллигатор. Он утратил счет затылкам бобров, которых задел веслом в эту сложную ночь. Получалось, что охранные отбобривательные буи придется выставить по всему периметру. Хотя бобров предупредили о нынешнем плавании Астерия, что каждый пострадавший решением архонтсовета заранее считается виновным в своей беде и лишен возможности пожаловаться — Астерий не сомневался, что не резцом, так клыком бобры подкопаться под него найдут возможность. Обнаружив свой дом запертым, но подвал — взломанным, Астерий немедленно позвонил в отделение на улицу Сорок первого комиссара. Оттуда приехал срочный наряд, осмотрел место взлома, в полном составе спустился по новооткрытой лестнице в лабиринт, где немедленно и заблудился. Просидев у входа час, другой и никого назад не дождавшись, Астерий вызвал новый наряд, а сам со страху выпил полштофа бокряниковой. В результате приехавший на Саксонскую новый наряд полиции, вместо того, чтобы пуститься на поиски первого, арестовал пьяного Астерия за вызов в нетрезвом виде городской стражи, и отвез его в КПЗ. Лишь ближе к полудню, когда Астерий тихо спал на нарах, забили тревогу и на Архонтовой Софии, и в отделении. Перед домом Астерия стояла

небольшая толпа, и дверь в дом, похоже, скоро взломали бы, но — потом свидетели подтверждали — появился перед дверью этой человек росту в пять аршин, красоты неписаной, и приказал толпе разойтись к родителям женского пола. Громко приказал, а потом исчез. Толпа временно разошлась, но даже явление Конана-варвара на этот раз воздействия не возымело. Группа личных архонтовых гвардейцев проникла в дом Астерия, нашла дорогу в подвал, единым порывом рванула туда спасать пропавших киммерийских граждан, и через самое короткое время заблудилась точно так же, как и все ее предшественники.

Наверное, сбежавшиеся со всех сторон на Архонтову Софию бобры с жалобами подвигли бы Иакова Логофора и на дальнейшее бесполезное расходование человеческих ресурсов Киммериона (а вот не суйся один архонт туда, куда другой входить запретил! — говорили потом в народе), но сжалилась над заблудшим народом всезнающая Нинель. Она велела Полу и Варфоломею маскировочный щит убрать, взяла «дракулий глаз» и отправилась в лабиринт, спасать по одному воющих от ужаса жертв любопытства, служебного рвения и жадности. К вечеру все без малого пятьдесят ополоумевших от страха пострадавших оказались на свободе. Кроме Астерия, который все еще спал на нарах и, как всегда, оставался последним пострадавшим.

Ближе к вечеру центр событий переместился на остров Архонтова София, непосредственно в архонтсовет: там, на паркете необъятного фойе, был разложен столь же необъятный план Саксонской набережной, по которому осторожно ползали супруги Коварди, медленно нанося на него возможные границы подвала под домом Астерия Коровина. По краешку плана мягко прогуливался лично Назар Эрекци, всем своим видом являя оскорбленную невинность и демонстрируя решительное намерение доказать, что никто не имеет никаких прав на подвал его собственного дома. Увы, уже после получаса рисования и штрихования стало ясно, что лабиринт может располагаться где угодно, но только не под его домом; лабиринт представлял из себя нечто вроде положенной набок цифры восемь, она же символ бесконечности, имел несколько уровней, но дом Назара находился точнехонько там, где располагалась серединка восьмерки — и чуть западней. На свои подвалы Назар имел все права. Но Лабиринт не представлял из себя его подвала — он брезгливо изгибался, словно к дому Назара ему и прикоснуться было противно. Однако Назар не зря стоял во главе одной из самых сильных гильдий — он внимательно присмотрелся к плану Лабиринта и пошел прямо к архонту. По его мысли, Лабиринт, как сооружение как минимум равное древностью собственно Киммериону, не мог принадлежать никому, как никому не принадлежат, к примеру, Рифейская Стрелка или Подъемный Спуск. Архонту мысль понравилась, но пока, до составления подробного плана Лабиринта и решения Совета Гильдий о его принадлежности, Иаков Логофор принял твердое решение: подвал отремонтировать и наглухо опечатать. Дело шло к поздней ночи, а в ночное время за такую работу никто, кроме фирмы «Розенталь и внуки. Ночной ремонт мебели» — той, что на острове Петров Дом — категорически не брался. Розентали, с которыми поговорил по телефону лично

архонт, заказ приняли, но больше одного работника уделить не могли — даже и для столь близкого к их фирме места, как Саксонская набережная. Архонту было делать нечего, он авансом списал все недоплаченные за прошлый месяц налоги с фирмы, а взамен из дверей фирмы на Петровом Доме вышел, перешел по пешеходному мостику на Караморову сторону и через сорок минут был возле дома Астерия Фавий Секундович Розенталь, человек мастеровитый даже по киммерийским меркам.

Он двигался неторопливо, ибо катил за собой пятиколесную платформу с грузом немалого веса, — мало ли что в городе ломается ночами, нужно ко всему быть готовым, любые инструменты иметь под рукой, запчасти и еще кое-что.

«Кое-что» представляло собою сегодня колоссальную катушку колючей проволоки, которую Розентали монопольно производили для внутренних нужд Киммерии, но требовалась она очень редко, — защита сокрытой внутри Великого Змея страны обеспечивалась самим Змеем, а внутри страны, на берегах Рифея, почти ничто не нужно было огораживать. Последний раз по требованию поселян огородили место падения с никогда не бывшей колокольни. Да и то зачем? А на всякий случай.

Перекативши платформу через пешеходный мост, Фавий оказался на Караморовой Стороне, на Бесценной набережной, и мог идти дальше двумя путями, даже тремя: налево на Каменную-Точильную, направо в Скрытопереломный — и всех делов. Другой путь был чуть длинней, но не такой извилистый: Через Сложнопереломный переулок, Открытопереломный (почему-то не переулок, а Канал, но к такому названию за тридцать столетий все как-то привыкли) — выйти на Саксонскую. Но ночной воздух был свеж, путь недалек, а Фавий утомлен, и он выбрал третий путь, вдоль набережных, Бесценной, Дремучей — и Саксонской. Он любил родную реку, воздух от нее шел ночной и чистый, ибо давно известно, что «чуден Рифей в любую погоду, когда вольно и плавно...» — и так далее, хотя там классик, кажется, название реки проставил неправильное.

Звали его не Фавий, а Флавий, но звук «л» в семье Розенталей не выговаривал никто. В силу же того, что в святцах (в любых притом, кроме глупых) есть оба имени, Флавий-Фавий отзывался на оба. Сейчас его никто не окликал, да и вообще его не окликали почти никогда, ибо работал мастер Розенталь всегда ночью. Днем он сладко отсыпался на верстаке, отключив все телефоны, вечером вставал, телефоны включал, съедал сырой капустный лист (один, не больше) и готов был к ночной починке мебели. Мебелью в Киммерии именовалось что угодно: даже свернутые Варфоломеем Венеру и Конанов кол пришлось ставить на прежние места ему. Ну, а Лабиринт предстояло не только поставить на старое место, но и обезвредить. Фавий ни одного лабиринта в жизни не обезвреживал, он слово-то такое слышал третий раз в жизни, но сегодняшнюю работу считал заведомо легкой.

Он шел, катя свою платформу вдоль набережной, и обеими ноздрями, жмурясь от удовольствия, втягивал сырой запах рифейской воды, дальних бань на Земле Святого Витта, чистых (и не очень) киммерийских тел, бобриных шкур, мокрого лодочного дерева, запах древности, запах языческой святости. В окнах по левую

руку не горело ни огня, хотя сибирский обычай закрываться ставнями в Киммерионе соблюдал только палач Илиан, прочие грабителей не опасались, да и сквозняков тоже. Киммерион мирно спал в ожидании полуночного удара колокола на Кроличьем острове. Розенталь однажды чинил там лестницу в часовне Артемия и Уара: не особо трезвый звонарь ударил в колокол слишком сильно, сверзился со стремянки, поломал стремянку и, кажется, ногу (или руку), а также часть ограды Того, Кто Пришел. Чинить — кроме ноги (или руки?) все пришлось Розенталю, стремянка заняла пять минут, ограда — всю ночь до рассвета. Тот, Кто Пришел был похоронен здесь сто тридцать приблизительно лет тому назад, и с тех пор никто не осмелился назвать его близ могилы по имени. Лишь на расстоянии версты-другой от этого места, только шепотом, сознавались киммерийцы в том, что похоронен в этой часовне сам государь Всея Руси Александр Павлович, а если не он, то святой старец Федор Кузьмич, все же иные могилы упомянутых лиц — а их немало во Внешней Руси — фальшивые. Ну, почти все. Может быть, еще только две или три — подлинные. Но не больше.

Впрочем, до удара колокола было еще полчаса. За парашетом Фавию слышалось привычное шлепанье хвостами по воде, — многие бобры тоже предпочитали ночной образ жизни. В принципе их вотчиной считался противоположный конец Киммериона, юго-восточный, здесь же был запад, скорей даже северо-запад. На самой набережной не было ни души; издали Фавий заметил огонек в угловом окне, глядящем сразу на набережную и на Открытопереломный Канал: не иначе как известный всему городу господин Чулвин раскладывал очередной пасьянс. Но сегодня Розенталю был наряд не в этот дом, а в следующий — в дом лодочника Астерия Коровина. Надлежало еще и «не вызывать ажиотажа среди населения». Фавий надеялся, что пустая улица хоть как-то соответствует такому требованию. Впрочем, захотят — все равно придерутся. Но едва ли. Кто им по ночам тогда кровати ремонтировать будет? Удивительно были устроены мозги Фавия: время суток он определял по принципу «светло-темно», а все остальное игнорировал: и день недели, и месяц, и год. По работе ему все это не требовалось. Есть день: это когда спать. Есть ночь: это когда работать. Когда Розенталю кто-то рассказал, что рожден он, Фавий, день в день на десять лет позже императора, Фавий только плечами пожал: ну и что? С этим — к родителям. Это их заслуга. А в газете — ни-ни. И огорченный репортер «Вечернего Киммериона» убрался восвояси. Сейчас — Фавий утром чуял — ночь. Значит — работа. Где? А вот она, работа. Вот он, — дом Астерия. Дверь была прикрыта и вроде бы заперта. На крыльце сидел огромный, плохо освещенный и, кажется, полупрозрачный человек. «Призрак» — равнодушно подумал Розенталь. «Конан-варвар, что ли? А вроде бы я кол ему на могиле прочно установил...»

Некоторое время призрак и Фавий друг друга рассматривали.

«Умеешь клепсидры чинить?» — услышал в собственной голове Розенталь гулкую мысль Конана.

— Смотря какие, — ответил он вслух. — Надо посмотреть.

«Она там, внизу. Не надо ее ремонтировать. Обещаешь?»

— Ну? — привычно ответил Розенталь. Призрак не понял.

«Обещаешь?»

— Ну?

«Обещаешь или нет?» — призрак начинал сердиться.

— Ну, обещаю, — нехотя сказал Розенталь. Вообще-то такое обещание противоречило принципам фирмы. Но в инструкциях форму общения с призраками как-то упустили. Фавий засомневался: а хорошо ли он установил кол на могиле Конана? Прочно ли? Если прочно, чего тогда работать мешает, с вопросами пристаёт? И вдруг вспомнил — еще в школе он узнал от соседки по парте формулу на все случаи жизни:

— Слушай, а какое сегодня число?

Формула была могучая: не зря Розанель Чердак, которая Розенталю ее сообщила, теперь вышла в большие меховщицы на Елисеевом Поле. Если Конан и знал ответ, то через миг тот потерял значение: вдалеке на юге гулко ударил Архонтов Шмель. Один раз, как всегда. Призрак неодобрительно глянул на Фавия и исчез. Вход в дом Астерия был свободен.

С реки тянуло зимним ветром; в этом году Рифей не замерз вовсе. Розенталь понял, что до полудня, до времени своего обычного вставания из-под солнечных часов, Конан залег в могилу, под каменный, увешанный жертвенными мочалами кол. Пора было ремонтировать Лабиринт.

Пальцы у Фавия даже по киммерийским меркам были непомерно длинными и тонкими. Мизинцем он воспользовался как отмычкой, засунул в замочную скважину, согнул последний сустав — и дверь открылась. Прямо в прихожей, напротив входа, зияла дверь в погреб, в тот самый Лабиринт — распахнутая настежь. С усилием Фавий втопил в дом платформу с инструментами и запчастями.

— Скажите девушки подружке вашей, — как всегда за работой, тихо запел Фавий, — что я объелся гурьевскою кашей... — сгрузив с платформы колючую проволоку, он сменил мелодию: — Запах ромашковый! Запах шалфея! Катятся тихие волны Рифея! Сделать, что велено, должен теперь я! Санта Лукерья! Санта Лукерья!..

Песен Фавий знал много, но до конца не помнил ни одной, а чаще вообще помнил только одну-две строки. Притом обладал он приятным лирическим тенором; наверное, его потрясло бы известие, что какая-нибудь провинциальная — Кемеровская, к примеру — филармония за такой голос оторвала бы его вместе со всеми киммерийскими руками и определила высшие возможные ставки и надбавки. Но Фавия вполне устраивала и нынешняя профессия. Сейчас он переделся в рабочий синий халат и рассовывал по карманам инструменты, необходимые, по его мнению, при ремонте любой мебели, особенно такой древней, как Лабиринт.

— Я спросил у ясеня... Где мой клю-у-учик га-аечный...

Ключ нашелся быстро. Теперь требовались пассатижи. Без них с колючей проволокой не очень поработаешь.

— Пассатижа, пассатижа! Что же ты мне изменяешь?... Я пою не для престижа, впрочем, ты об этом знаешь, вот ты где ты, пассатижа, где же дрель... Опустела

без тебя моя артель...

Наконец, основные инструменты под самый разнообразный песенный репертуар были собраны в карманы. Фавий ухнул и вступил в темноту.

— А где мне взять такую гирю!.. — пел он, втягивая колючую проволоку в Лабиринт, — Чтоб жуть брала в сиянье дня! И чтоб никто ее не стырил, поскольку гиря — у меня!

Гиря, точнее, здоровенный кистень — на случай встречи с лишними людьми — на поясе у Фавия висела. Имелся у него и «Кумай Второй» с неразменными тридцатью тремя красавицами, хотя Фавий едва ли был способен пустить их в дело, — в крайнем случае, выстрелил бы в потолок, в пол, — да и гирей постарался бы только пригрозить. Однако живых существ нынче Лабиринт не предьявлял. Проволока разматывалась по бесконечным коридорам, каждые шесть вершков сворачиваясь в злую колючку: отныне и надолго бегать за так просто никто по Лабиринту не имел права, ибо архонт повелел сделать Лабиринт непригодным для пустопорожнего провозждения в нем драгоценного времени. Иной раз Фавий пересекал проволоку по второму и по третьему разу, радостно перепрыгивал ее, тянул дальше и пел:

— На тебе сошелся комом первый блин!..

Лабиринт уводил то вверх, то вниз, но Фавию было плевать: он просто заполнял проволокой каждый коридор, где таковой еще не было.

— Я хотел бы повернуть за перегиб, чтоб найти за перегибом белый гриб...

— Блин-н-н... Г-хр-р-рип... — отвечало Фавию эхо. Но он еще не такие эхи слышивал. Фирма Розенталей не зря была ночная и срочная. Вообще-то он уже хотел бы перекусить, кочерыжка, завернутая в оленью замшу, для такого случая торчала из нагрудного кармана, но работы было слишком много. Он тянул и тянул проволоку.

— Крутится, вертится... белая чайка! Медной горы сюда лазит хозяйка! Эх... да не верю я в эти поверья! — Фавий даже застыл на миг и выдал крещендо на весь лабиринт: — Санта Лукерья! Санта Лукерья!

Он стоял прямо перед «Дедушкой с веслом».

Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом Фавий зажмурился, помотал головой и снова взгляделся в изваяние. Луч фонаря в его руке дрогнул.

— Статуя мне кивнула!.. — произнес он сценическим шепотом, впрочем, несколько осипшим. — Значит, тут будет проволока в три ряда, а то

понапрутся... Гуаны всякие! — Флавий немедленно осуществил задуманное.

Потом огляделся и увидел, что не обтянут проволокой лишь один из входов в зал «Дедушки». Туда Розенталь и пошел, распевая:

— Поговори ж хоть ты со мной, товарищ Парамонова!.. Гру...зинка, грузинка, грузинка моя! В саду ягода-а... а-армянка, лезгинка моя! Живет моя монада!.. У самого крыльца! Кормить ее не надо, но ей нужна маца!..

Относительно скоро он пришел к пролому в стене. Об этой гадости он был предупрежден, ее предстояло замуровать отдельно, но сперва Розенталь решил заглянуть в соседний подвал: мало ли чего. Тем более, что оттуда доносились стоны.

Пел Розенталь с душой, слух у него был наследственный (по ночам нередко

приходилось ведь и рояли настраивать), однако в пении его не доставало, как обычно, звука «л». Покровительница Киммерии, Святая Лукерья, в его произношении лишалась первоначальной буквы. Но от этого звучало даже еще красивей.

Фавий, пройдя «тропой Нинели» (названия он, понятно, не знал, да и не было у этой тропы никакого названия) — пришел к пролому в стене, ведущему во владения Подселенцева. Природная сухощавость позволила ему преодолеть дыру без напряжения. С тревогой осмотрел Фавий новое помещение, включенный телевизор, а потом — проволоку. Ее оставалось аршин с двенадцать, не более. Как раз дотянуть до телевизора. Что Фавий и сделал. И обнаружил, что весь ночной наряд выполнил. Теперь бы вот кто расписался только, что работа принята. Фавий осмотрелся. На топчанах, связанные по всем конечностям меховыми, куньими, что ли, а то и соболиными бинтами, лежали пятеро. Все стонали. Матерились. Но явно при этом глубоко спали. С таких подпись не получишь. Ну и как теперь? Фавий посмотрел в потолок. И не ошибся.

Под потолком, на верхних ступеньках лестницы, сидели трое. Посредине — благообразный старец с весьма круглой бородой. Слева от него — двадцати, нет, меньше, лет парень с такой мускулатурой, что хоть прямо на олимпийские игры, выступать в метании бильярдного стола на дальность. А слева — человек постарше и поменьше, но зато в белом халате. Врач. Фавий смутился. — Вы извините... Я тут пел.

— Хорошо поешь, — задумчиво сказал старик, — и песни все какие-то необычные. Не из телевизора.

— Мне бы тут в квитанции расписался кто — наряд закрыть... — Фавий совсем смутился.

— А давай, — сказал старик. Рука его непонятным образом удлинилась, указательный палец ее тронул какое-то место на протянутой Фавием бумажке, — Вот, всё. И за песни спасибо.

Фавий поглядел на документ. В нем все осталось как было, но внизу появились новые слова:

«Симъ удостовѣрено, что ;авій сынъ Секундовъ работаль и п;ль вельми изрядно. ;еодоръ Кузьмичъ».

Фавий даже и прочесть такое мог с трудом, не то, чтобы в это поверить. Увидев его сомнения, мускулистый парень спустился вниз (он руку удлинять, видимо, не умел) и быстро-быстро нацарапал ниже еще одну строчку. Но тут Фавий не понял уж вовсе ничего: рыбка, птичка, птичка, птичка, козлик. Это еще что такое?

— На родном языке не читаешь? — с грустью сказал парень. — Тут написано: работа выполнена в присутствии трех заказчиков.

— А козлик?

Парень досадливо глянул на верхнюю ступеньку лестницы.

— Федор Кузьмич, мне целых пять козлов рисовать или одного хватит?

— А ты нарисуй ладошку сверху. Пальцы растопыренные. Диакритический знак: козлик в пятой степени.

Тут покраснел Варфоломей. Как же он забыл такой простой способ записи? Не зря брат его все к Гаспару гонит: учись, мол, родному языку. «Отсижу и пойду!» — решил Варфоломей твердо.

Третий наблюдающий, тот, что в халате, тоже решил расписаться. «Dictum factum» — гласила его приписка. Тут Фавий ничего не понял, но догадался, что все это надо завтра же... ночью! — показать Гаспару. Тот рядом живет, тот всегда все растолкует.

— Ну, я пошел... — сказал Фавий, как обычно, оставляя звук «л» в подразумевании. Кажется, все тут были его работой довольны. Перебирая пальцами еще маслянистую колючую проволоку, Фавий удалился в темень. Из лабиринта донеслось:

— Санта Укерья!.. Са-а-а-нта... У-укерья!..

вгений Витковский. Земля святого Витта. Часть 13

Евгений Витковский

XIII

Орлиный нос, брови как у русских, хищный взор, волосы художественные, по плечам. Небритость, но не густая борода, также кустики на подбородке и на щеках. Усы вислые.

Умберто Эко. Маятник Фуко

Кто бы подумал, что у него такое простое имя — Борис Тюриков. И кто, глядя на его лицо, определил бы его национальность: сравнительно темнокожий, горбоносый, но при этом — начинающий седесть блондин. Кто подумал бы, что его тонкие, без лепных-рельефных бицепсов руки легко взваливают на спину шестипудовую пару мешков, с которыми предстоит топтать не одну тысячу верст. Кто подумал бы, что этот интеллигент с вечным прищуром — настоящий офеня, с тридцатилетним стажем ходьбы от Лисьего Хвоста до Кимр и Арясина и обратно. Конечно, никто бы не подумал. Но все основные Стражи Норы, да и покупатели во Внешней Руси об этом знали. Среди почти трех тысяч русских офеней он был такой один. Никто не опасался, что от него можно ждать чего-нибудь неожиданного. Его терпели именно за необычную манеру торговли: чуть ли не единственный из офеней, он торговал прочим, иначе говоря — не молясинами. Он закупал в Киммерионе резные шахматы, бильярдные шары и кии, комплекты «костей» для игры в домино и в мацзян, резные веера, ожерелья, очелья, браслеты декоративные и для часов, булавки для галстука и для девичьей косы, словом, все, что продолжал по старой памяти производить на экспорт город — даже чесалки для спины в форме длинной птичьей лапы и портсигары, приспособленные для хранения хоть бутербродов, хоть зубочисток. Борис в одиночку насыщал этими киммерийскими товарами рынок Внешней

Руси, но зато его мешки порою бывали потяжелей, чем у простых офеней, привычно несущих в одну сторону — молясины, в другую — японские телевизоры и пшеничную муку.

Родом он был из Архангельска, там по сей день оставалась у него кое-какая четвероюродная родня с той же фамилией, вроде бы происходящей от старого слова, означавшего не то «сумку», не то «мешок». Когда услышал он зов в душе (в ранней юности по такому зову кто в монастырь идет, кто в бандиты, кто в генералы, кто в офени), то первые собственноручно сшитые мешки сам назвал «тюриками». Ноги сами повели его сперва за пшеничной мукой, которой не очень-то просто было в те годы укупить пять пудов, а потом — по невидной Камаринской тропке на юго-восток, тем самым путем, каким за почти три столетия до него по пьяному делу вполне случайно проехал государь Петр Алексеевич. Как и всех иных юных, впервые пришедших в Киммерион без гасла, иначе говоря, не зная пароля, усадили его на Лисьем Хвосте под четырехстороннюю перекрестную беседу и допрашивали — как положено в таких случаях — таможенник, священник, мирянин и офеня; последний, как всегда, был избран просто — старший по возрасту из оказавшихся в Киммерионе в тот день. Допрос велся непрерывно и вголодную, трижды двенадцать часов, по истечении какового Борис и был единогласно опознан как настоящий новый офеня, получил из специально существующего для таких случаев резерва выплату киммерийскими деньгами за принесенную муку, и отпущен с миром: знакомиться с городом, закупать товар, отдыхать понемногу перед уходом во Внешнюю Русь с молясинами.

И все было буднично, лишь одним удивил таможенников Борис, когда предъявил укупленное для досмотра. Он не взял не только молясин, не взял даже семги или лососины, не взял ни пушных товаров, ни даже точильного камня. Он набрал восемь пудов безделушек, как называли в Киммерионе эти товары, что годами пылились в лабазах на Елисеевом Поле и редко-редко расходились по очень низким ценам среди собственно киммерийцев. Нечего удивляться, что и Борису они достались за бесценок, хотя иные были сработаны декады три-четыре лет тому назад, да вот с тех пор так и не нашли покупателя. Но свод таможенных правил никак экспорт подобных товаров не ограничивал — столетиями выносили офени из Киммериона именно такое и такому подобное — задолго до того, как все было вытеснено молясинами. Стражники посоветовались с офенями, потом с резчиками и торговцами, и неожиданно бодро выдумку Бориса одобрили. Потому как нечего неходовому товару пылиться. Все одно из уже готовых вееров молясину не сделаешь, а сделаешь, так офени побрезгуют. А тут мамонтовая кость, рыбий зуб, кованое серебро. Пусть берет, пусть несет. Бориса проводили с наказом: непременно идти в город Арясин, да закупить там кружев. Мука — мукой (телевизоры тогда уже были, но далеко не японские — и моды на них особенной не имелось), а дочку замуж ведь и не отдашь без двух пудов арясинских кружев! А уж если к Мачехиным подход найдет, да у них кружева покупать станет — пусть тогда хоть все веера унесет из Киммерии, все бильярдные шары. В Киммерии прохладно и так, а шары по столу катать ни у кого времени нет.

Как ни рассуждай, был Борис Тюриков настоящим офеней, а поскольку первые годы своих трудов посвятил он тому, что утаскивал у купцов по дешевке откровенно залежавшийся товар, то за спиной дали ему вполне безобидную кличку «Санитар». Желавших последовать его примеру за все тридцать лет больше не появлялось, простой офеня твердо знал: молясины в Россию носить и богоугодней, и доходней. Настолько доходней, что иной раз чуть не в каждую церковь Киммериона можно свечу в полпуда поставить, да и на монастырь Святого Давида Рифейского кое-что пожертвовать. А уж насчет богоугодней — простым же глазом видно, как мало молясин в России, как лихо распродают самодельные — что уж говорить о настоящих киммерийских!

Однако Борис был не так-то прост (хотя не будь он достаточно прост — не признали бы его в свое время офеней). После удачного похода он, конечно, ставил свечи, даже дорогие, подолгу молился и просил отпущения главного своего греха, греха стяжательства, но киммерийские батюшки, привыкшие, что все как один офени именно этот грех свой считают главным (надо-то вот ведь задаром бы ходить! да ног таскать не будешь!..) пропускали покаяние Бориса мимо ушей и без епитимьи все грехи ему отпускали. А кто-то из лабазников, заказывая на Бориса и Глеба молебен во здравие раба Божьего Бориса, с потрохами выдал себя коллегам, и те при очередном визите непростого офени старались его к себе тоже зазвать. Если Борис еще не загрузил свои четырехпудовые тюрики, а лабазник не ломил цену, как Собакевич за мертвую душу, лежалый товар немедленно менял владельца. С годами Борис даже мог не платить всех денег, ему верили в долг, ибо первое, что он делал при следующем приходе в Киммерию — это долги возвращал. Безукоризненная честность Бориса вошла в поговорку (нечестных офеней нет в природе, но простому того не втюхаешь, что возьмет Борис, простому подавай молясин, молясин, молясин и ничего больше); с него никогда не просили дорого: на дорогой товар Борис лишь грустно глядел и с четырьмя «о» выговаривал: «Дорогонько...» В итоге через какое-то время товар дешевел, Борис слезно благодарил купца за уступку в цене, и товар покидал Киммерию. Куда сбывает он веера и шахматы — никого не интересовало, как-то влез в Арьсине Борис к семье Мачехиных в доверие, и таскал в Киммерию пудами именно их кружева. Пшеничную муку приносил. Вьетнамские вяленые бананы — первостатейный товар для дальнейшего обмена у бобров. Словом, деньгами Тюриков ворочал огромными, хотя русских с собой не имел обычно никаких, разве что копейки. А киммерийские, полученные за свой добротный товар, до осьмушки обола оставлял в Киммерии, весь неистраченный остаток неукоснительно жертвует на церковь.

Ангел с тюриками за спиной (вместо крыльев) был Борис, да и только. И никто, кроме лабазников, им не интересовался в Киммерии. Интересовался им только Гаспар Шерош, но по природной робости никогда не рискнул бы почетный академик (а также косторез, лодочник, мясник, банщик, бобер и многое другое) пойти с вопросами к совсем незнакомому ему офене. Да к тому же Борис всегда бывал такой занятой — не в пример академику, чаще посиживавшему в скверике и бисерным почерком записывавшему разные праздные мысли. Притом всё, что касалось необычного офени, заносил Гаспар в записи при

помощи минойской пиктографии, ее (да и то с трудом) могли бы прочесть лишь гипофеты. Словом, ничего опасного внимания за все тридцать лет Борис Тюриков не привлек. Да и зачем бы? Офеня как офеня, их три тысячи. А что покупает не то, что все остальные — молодец, да и только.

Впрочем, Гаспар так не считал. Давно в записной книжке у него значилось:

«ТЮРИКОВ — офеня, который не хочет торговать молясинами. Оборот товара — вдвое выше обычного офенского. Покупает резную продукцию, приносит кружева и прочий дефицит. Если он в Киммерионе выполняет роль бактериофага, то...»

Дольше пока не было ничего: академик так ничего и не мог выяснить. Ни на грош не обладая даром ясновидения, Гаспар просто нутром чувствовал, что ЛИШНИЙ какой-то человек в Киммерии этот офеня, не вписывается он в общую картину древнего Рифейского Убежища, из какой-то другой истории это человек. Неправильный, неестественный офеня, место ему не здесь, а в какой-нибудь апокрифической литературе, где главный положительный герой — Иуда; сгодился бы и советский шпионский роман, даже южноамериканская новелла с подкопами под Вавилон, словом, где угодно, только не здесь. Офеня — всегда камаринский мужик (потому что всю жизнь ходит по Камаринской дороге). А Тюриков — мужик, но почему-то не камаринский. Впрочем, такие головоломки жизнь подсовывала Гаспару ежедневно, еженощно.

Он весьма часто страдал бессонницей и бродил по безлюдному в ночное время, хорошо освещенному Киммериону, лишь он один мог увидеть, как некий достойный пристального внимания человек наносит визит в дом некоего другого человека, по каким-либо причинам достойного внимания. Только Гаспар мог пронаблюдать, как с полупустым мешком за левым плечом однажды вошел офеня Борис Тюриков на крыльцо к Илиану Магистрианычу, палачу-цветоводу. Увидев такое в третьем часу ночи, Гаспар сперва не захотел глазам верить, потом — захотел, но понял, что на роль топтуна под окнами президент академии наук никак не годится. Гаспар поскорей удалился с Земли Святого Эльма, ничего дожидаться не стал, хотя славная мудрость «крепче знаешь — меньше спишь» была в самый раз для него (он старался знать больше, как можно больше, оттого и спал с годами всё меньше и меньше) — знать слишком много он не опасался. Поэтому, придя домой, увиденное всё точно записал, на всякий случай использовав самый древний, даже гипофетам почти непонятный вариант минойской азбуки — клинописную вязь. Постороннему взгляду эти строки показались бы чередой кусающих друг друга за хвосты бегемотов. Или еще чем, но никак не буквами.

В музее при Доме Петра один пергамент такой вязью был исписан, и никто, кроме Гаспара, целиком прочесть его не мог. Но даже он в этот пергамент не углублялся, это была всего лишь одна из довольно многочисленных копий Минойского Кодекса, который ни в оригинале, ни в каноническом переводе печатному станку предан не был. Древность начального свода киммерийских законов определению не поддавалась, лишь известно было то, что на берега

Рифея киммерийцы пришли с уже весьма истрепанной копией допотопного оригинала. С тех пор в кодексе ничего не меняли, только перевели на современный язык, но и оригинал на всякий случай тоже хранили. Кодекс был невелик, всего триста уголовных преступлений без всяких подпунктов предусматривал руководящий документ Минойского судопроизводства. Притом над некоторыми статьями кодекса киммерийцы давно и в открытую потешались; статья 138 выглядела так: «А ежели какой мужик со своей овцой согрешит, выпороть того мужика примерно, овцу тож». Статья 139: «А ежели какой мужик со своей свиньей согрешит, выпороть того мужика примерно, свинью тож». Статья 140: «А ежели какой мужик со своей коровой согрешит, выпороть того мужика примерно, корову тож». Насчет коровы, заметим, статья имелась, бык был пропущен, зато статьи 141 и 142 радовали киммерийцев (особенно в минуты нетрезвого досуга) так: «А ежели кто с кобылой своей согрешит, тому наказания никакого, а кобыле задать овсу вдвое супротив обычного», — и соответственно: «А ежели кто с жеребцом своим согрешит, тому наказания никакого, да только покормить обоих досыта». Статей, предусматривающих совокупление с росмахой, рысью, медведем, куницей, соболем, горностаем и другой прочей чисто киммерийской живностью в кодексе не было, видать, не водилась эта живность в тех краях, где составлялся кодекс. Однако на все подобные случаи имелась грозная статья за номером 300: «А ежели кто еще какое преступление учинит, что выше не предусмотрено, тому смерть, либо же, по размышлению, простить того вовсе, но на оный случай впредь не ссылаться». Таким образом, минойское уголовное право не было прецедентарным и полностью сходилось в этом с обычным уголовным кодексом Российской Империи.

Ни слова не было в Кодексе и об офенях. Их польза, даже необходимость в экономике Киммерии была самоочевидна, но неужто за тридцать восемь столетий, протекших между островами Киммериона, никогда не нарушали они писаную часть Минойского кодекса? Отчего же, нарушали. И по статье 35 (пьяная драка с членовредительством), и по статье 72 (повреждение общественной собственности), и по статье 155 (человекоубийство простое, неумышленное) — за долгие столетия всё такое в истории Киммериона было, и всегда суд архонта находил возможность примирить Минойский кодекс с уголовным. В единственном известном истории случае, когда офеня убил киммерийца (попросил того пособить мешок с товарами поднять, не удержал, уронил восемь пудов товаров на немолодого приказчика, тот и отдай Богу душу), по-минойски его приговорили к штрафу, обязали уплатить в казну гильдии камнерезов ведро серебра, — тогда на Руси рубль с бакенбардыстым царем густо ходил — да и простили по трехсотой минойской. Кажется, таково было самое серьезное преступление из числа известных среди офеней, и то помнили о нем больше потому, что офеня тот, оказавшись долгожителем, полвека сдавал все новые и новые ведра серебра в казну камнерезной гильдии, а помереть умудрился в Киммерионе, и хоронила гильдия человекоубивца с таким почетом, что не совсем прилично все это как-то вышло перед народом. А с другой стороны — какое право у Киммерии судить минойским кодексом

хоть одного офеню, если среди них никогда не было и, видимо, не может быть ни одного киммерийца? Были случаи, что престарелый офеня просил разрешения дожить остаток дней в Киммерии. Всегда такое разрешение давали, монастырь Святого Давида Рифейского для них даже кельи в резерве держал. Но бывало это редко, чаще офеня заканчивал свой торговый путь на Камаринской дороге: останавливался, сбрасывал мешки, оборачивался на восток, к Уралу, осенял себя двойным офенским крестом — и падал навсегда, лицом в сторону Киммериона. Через какое-то время братья-офени находили его, тут же, у дороги хоронили и заравнивали место так, чтоб ни бугорка не оставалось, а товар из его мешков прибавляли к своему — так повелось уж, такой сложился обычай. За тридцать восемь столетий, если бы над каждым офеней оставляли хоть малый бугорок, обозначилась бы Камаринская дорога что твое шоссе. Офени были для Киммерии неким органом общения с внешним миром, рукой, — отпадет одна, отрастет другая. Но если б кто пустил слух, что намерены офени объединиться в гильдию, в Киммерии даже смеяться бы не стали: глупо, невозможно и... никогда этого не будет. Поэтому Почетным Бобром был Гаспар Шерош, а вот почетным офеней — нет. И почетным Палачом — тоже нет, ибо нет такой гильдии. Визит странного офени к обыкновенному палачу-цветоводу именно поэтому заслуживал внимания. Гаспар до утра придумывал — какой товар мог понадобиться офене у палача. Конечно, это могли быть засахаренные семена настурций, — но они шли только бобрам и никому больше, на этот счет имелся указ архонта, бобры имели право объявить забастовку... Едва ли. Очень уж тяжкое преступление. Мог ли офеня взять подобный грех на душу?

Гаспар так ничего и не придумал. Иначе, чем за товаром, офеня к киммерийцу в дом не входил никогда. Случаев известных не было. Гаспар не выпался совершенно, с утра пошел на любимую скамеечку в скверик к монументу Евпатию и его Викториям. И продолжал думать. И все без пользы, хоть иди к Илиану да спрашивай напрямую. Но Гаспар был робок, и в конце концов принял обычное для сомневающегося киммерийца решение: сходить к Сивилле. Благо с нынешним молодым гипофетом отношения у него складывались вполне доверительные. И Витковские Выселки — недалеко.

Сивилла сейчас при треножнике состояла на диво дряхлая, потрясающе сумасшедшая, известная всему городу еще по тем временам, когда держала в кулаке пусть маленький, но важный рынок на острове Волотов Пыжик; рынок, возле конского завода, обслуживал в основном лошадиные нужды, на чем его «мамаша» однажды и погорела — проклятые умники отдали на анализ колбасу! Приговор был короткий: «На декаду — в сивиллы!» Что самое скверное — очень бездарна была она поэтически, строку прорицания сложить не могла правильно, и уставал гипофет Веденей, ее пророчества не только толкуя, но и редактируя.

Сейчас сивилла сидела в своем углу, похоже, подремывала, а гипофет писал что-то минойскими значками в амбарной книге. Когда Гаспар, наклонившись, чтобы не удариться о притолоку, вошел в помещение оракула, Веденей покраснел, вскочил и разве что не заорал «Ваше величество!..» К счастью

(больше для Гаспара — тот просто умер бы от такого приветствия) — не заорал. Гипофет и академик пересели за кофейный столик, весь их разговор, как обычно, шел по-киммерийски, поэтому значительную его часть в русском переводе воспроизвести невозможно, увы, как было много раз уже сказано, нет в русском языке подозрительно-обаятельного наклонения никаких глаголов, даже модальных; нет псевдоимперативных форм настоящего времени, позволяющих заподозрить человека в самых грязных делах, ничуть его даже за глаза не обижая; нет виртуальной формы множественного числа для существительных неопределенно-травестийного рода, даже самого этого рода нет. Словом, много чего нет. Но оттого в обиходной речи киммерийский язык и не используется (кроме ругани), что в нем для простого человека слишком много чего есть. И приходится просить у читателя прощения уж в который раз. Мало кириллицы для выражения чувств души. Латиницы тоже мало. Даже иероглифы никакие не помогут. Интуиция нужна, лишь с ее помощью кое-что еще можно понять в воспроизводимом ниже переложении этого разговора на русский язык конца двадцатого века, не знающий даже «царственного императива».

— Киммерион? — для вежливости осведомился Веденей.

— Рифей. Бобры. Настурции. Офени. Великий Змей. Арясинские кружева, — ответил Гаспар. — Офеня. Настурции. Земля Святого Эльма. Римедиум Прекрасный. Граф Сувор Васильевич Палинский. Офеня. Золотой дождь. Мамонт... в посудной лавке.

Веденей с сомнением покачал головой.

— Киммерион... — пробормотал он.

— Увы. Караморова сторона. Наследник престола. Необходимо помнить.

История не простит. А предпринять ничего нельзя, не могу пока ничего придумать — две последние фразы академик произнес по-русски, с большой грустью.

— Киммерион... — неизвестно на каком языке и совсем растерянно сказал Веденей.

— Кроме вас, Веденей Хладимирович, мне подозрениями делиться не с кем, — ответил академик по-киммерийски всего двумя словами, по-русски звучащими совершенно неприлично. В своем углу заворочалась и издала ряд неопределенных вздохов дряхлая сивилла.

— Наверное, следует спросить... — с все растущей тревогой сказал гипофет.

— За счет города. Имеется резерв на такой случай. А отчет только в конце июня. То есть почти через квартал. Да я и за свой счет...

— Отчего же, я тоже могу...

— Киммерион! — с пафосом возгласил гипофет, и академик не стал больше спорить.

Гипофет расставил жертвенник, достал обычное: серу, кориандр. Дубинку отложил — не такой посетитель. Зато извлек порошок размолотых шляпок лилового мухомора, перышки гуся, сошедшего с ума на почве вожделения к яблокам (еще при жизни: самофарширование всегда считалось в Киммерии страшной приметой), семена лотоса, печень рифейского осьминога и — на

кончике охотничьего ножа — махорку.

Тут же возникло затруднение. Сивилла, сволочь старая, дышала таким перегаром, что сесть на жертвенник самостоятельно не могла. Гипофет и академик с трудом донесли ее туда и усадили, а для устойчивости Веденей еще пропустил у нее под мышками ремень, закрепленный в блоке у потолка, — не первый раз такое с дурой случалось. Веденей зажег серу и стал поочередно добавлять компоненты. Через самое короткое время сивилла заблевала все вокруг, академик засмутился, но Веденей его успокоил: это пророчество наружу рвется и путь расчищает. Заодно бросил сверху немного поташа. Не помогло. Добавил селитру, марганцовку, шлифовальный порошок «миусский бальзам». Сивилла все блевала. Гипофет отчаялся, достал банку с нашатырем и сунул ей прямо под нос.

Сивилла закатила глаза, стала синеть. Потом заговорила.

— Быстры как волны рифейские песни да пляски! Восемь бильярдных шаров — боль головная для вас. Ухо царево прочло... Запретить бы офеням вовеки нашу газету в куски для упаковки кромсать! Поздно. Учти, академик, живешь в интересное время! Будет чего записать!.. Изверги, дайте опохмелиться...

Переломавши все законы элегического дистиха, сивилла окончательно сомлела. Веденей, забыв о ней, смотрел на академика. Губы его сжались в нитку. Так же выглядел и академик.

— Киммерион!.. — сказал на этот раз именно он. Что в переводе на простой русский язык могло бы приблизительно означать: «Ну, что ж, теперь мы хотя бы предупреждены». И добавил по-русски: — Я, пожалуй, посету архонта. А вам, Веденей Хладимирович, придется взять отгул. Вам нужно навестить брата. Непременно нужно. Варфоломей Хладимирович все-таки несовершеннолетний. А он, — академик грозно сверкнул очками, — кажется, вскоре собирается жениться. По минойским законам он не может этого делать без согласия старшего в семье. Статья двести пятая.

— Дайте опохмелиться! — подозрительно ясным голосом заканючила сивилла. Академик и гипофет, не сговариваясь, синхронно плюнули на золу жертвенника.

— Пусть попробует без моего согласия, — сказал Веденей. Я его... в сивиллы упеку.

— Киммерион! — попробовал успокоить гипофета академик. Гипофет огорченно поворошил золу и грустно отозвался:

— Киммерион.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 14

Евгений Витковский

XIV

Геракл преследовал их своими стрелами и убил целую массу. Остальные же покинули страну и больше никогда не возвращались в нее.

— А паразиты иногда!.. — лязгнула европейская голова. Она нехорошо рассмеялась, показавши все восемьдесят зубов. Азиатская вместо зубов могла предъявить лишь черепаши режущие пластины, и скорбно поджала кожу вокруг клюва.

— Обижаешь. Пример младшим, а?

Двухголовая птица тяжело качнула крыльями, оборачиваясь. Стая, кажется, не слышала их разговора. Все тридцать восемь птиц за медным хвостом главной стимфалиды исполняли свои обязанности, которых было немного: соответствовать и наблюдать. Кого карать, чего терзать, как рвать на части — это все решала главная двуглавая, железноклювая, медноперая гарпия. Впрочем, на слово «гарпия» птицы обижались, именно поэтому так чаще всего обзывала одна голова другую. Трехгранный клин древних чудовищ сейчас летел на север, строго над Уральским хребтом. Справа была Россия. Слева — тоже. Но слева была еще и Москва. А в Москве обитало Верховное Начальство Всех Стимфалид. Хотя, если честно, все стимфалиды стаю над Уралом как раз и составляли. Главный Начальник Начальства был отнюдь не Геракл, хотя человек во множестве отношений выдающийся.

А по правую руку... тьфу, по каждое правое крыло простиралась Азия. В ней уже который год прятался Призрак, периодически забегавший в Европу и, пользуясь известной степенью безнаказанности, мутит разную воду, норовя перекроить границы, преимущественно на Балканах, — в других местах ему просто давали под тазовые кости сапогом. Призрак раздражал нормальных людей несказанно: ветхое его одеяние (и учение — тоже ветхое, мертвое, дурно пахнущее), нудное бормотание, маниакальная страсть «избрать президиум», воспоминания о судьбоносной конференции в неведомом году — и слезы, слезы, которыми он заливал Европу, требуя вернуть «паровозик», иногда «локомотивчик историйки», а чаще — «броневичок» и прочие игрушки маразматика. И находились другие маразматики, избирали президиум — и получалось в точности то, что сейчас отхаркнула над Уральским хребтом Главная Стимфалида: «А паразиты — иногда!» Пора было кончать эту «иногду».

Официально Российская Империя лишит гражданства призрачную ублюдину не могла потому, что нельзя лишит того, чего никогда не было, того, что почти триста миллионов живых людей все-таки имеют. Предикторы от разговоров на эту тему отмахивались: тот, что жил в Америке, сообщал: «Предмет исчерпает себя быстрее, если ничего не делать». Тот, что жил в Южной Африке, предлагал собрать всех призракопоклонников на отдельно взятом острове Колгуеве и дать им возможность построить то, что они хотят построить в своей отдельно взятой партии. Тот предиктор, что обитал в России, бросал трубку со словами: «Не мешайте мне играть». Кажется, первый ответ стоил второго и оба уступали третьему. И тогда Большой Человек, ведающий Нервами Государевыми, призвал Человека Мощного, Повелевающего Самонаводящимися Крылатыми Стимфалидами. Повелеть один человек другому ничего не мог, но — попросил.

Обещано было, что птицы Эту Гадость поищут и при случае расклюют к едрени матери. Но попросил на выполнение год. Больно велика Россия, больно мелка цель. Пришлось соглашаться.

В документах стимфалиды именовались Особым Звеном Патрулирующих Истребителей. Умели они одно: патрулировать границу между Европой и Азией, их племя отрастило две головы (еще неизвестно, справился бы с ними Геракл теперь, — в тот раз у них по две головы не было), одна глядела в Азию, другая в Европу, и всегда двухголовым птицам было о чем поболтать самим собой, а то и поцапаться; был в их стае — давно, правда — даже один приступ евразийства. Ну, сдали птицу в металлолом, продали за границу, потом, на ней катаясь, одна экс-принцесса навернулась с летальным исходом. Стимфалиды это точно знали. Никуда нельзя вольной стимфалиде с границы Европы с Азией. Из Греции в Колхиду от лишнего шума улететь пришлось, потом с Кавказа — ну, и хватит. Шума стимфалиды не любили. Они с ним боролись. И сами старались лишней раз не шуметь. Впрочем, границу Европы и Азии они стерегли в основном в северной части, лишь изредка совершая пролеты над рекой Урал (бывший Яик, — говорят, скоро опять обратно переименуют) до Каспия — и вновь отбывали на север.

Тот кусок, что расположен между Гирканским и Эвксинским Понтами птицы патрулировать не желали, покуда морям нормальные названия не вернут. Да и воспоминаний о Кавказе с эллинских времен птицы сохранили немало, все — скверные. Шумно там. То ли дело Урал. Слева... Справа... Словом, более-менее и там и там — тихо. Стимфалиды старались следить, чтобы здесь было еще тише. Особенно на самом севере, где горы кончаются и стеречь границу вовсе некому. Ну, и к югу от Чердыни. В промежутке... А в промежутке птицы резко набирали высоту: здесь возлежал вытянутым колечком их старший ровесник, исхудавший Великий Змей, и обнимал милую его сердцу речку, на берегах которой кто-то жил — но тихо жил, и стимфалиды туда не совались. Из области, вокруг которой обернулся змей, одиноко торчал двойной зубец, увенчанный старинным замком. Здесь было запрещено задерживаться, но глянуть туда четырьмя глазами каждая из тридцати девяти стимфалид страстно желала, ибо владелец замка, граф Сувор Палинский, долгожительством решил сравняться и со Змеем, и с ними, медноперыми птицами. Порою птицы видели сухонькую фигурку графа, прыгающую с обрыва вниз, в непроницаемый для зрения туман, — а иной раз удавалось увидеть, как та же фигурка появляется из тумана и бежит вверх, только кудри седые по ветру выются.

Приближения к себе даже на версту Змей не терпел, птицы понимали, что, разинь он пасть, зевни — и летать им по кругу из его пасти да в желудок и дальше через выделительный орган обратно в пасть. Сколько неосторожно летающих существ и предметов отправилось в это вечное путешествие! От полярных сов и гусей — до современных пикирующих истребителей, даже до пары-другой перелетных молясин, которые секта кавелитов-стерховцев использует. И никто никогда не вылетел обратно. Стимфалиды терзались любопытством: почему? И каково там, внутри?.. Но беседовать с ними Змей отказывался. Где-то бродил по земле некий Вечный Странник, умеющий

укрощать Змея. Но общаться со стимфалидами не желал и он. Впрочем, птицы этого Странника побаивались, хватит и тех хозяев, что есть. Но уж от этих никуда не денешься. Москва как-никак. Заглотала даже Великого Змея. И никаким пером ее не прошибешь. Про топор и говорить нечего — это ее собственное любимое оружие. А также письменная принадлежность. Питались птицы, как и в древности, сырой нефтью, которой с азиатской стороны Уральского хребта встречались местами целые озера, человеку то ли не нужные, то ли невидимые. Кое-где нефть была плохая, птицы, страдая метеоризмом, маялись неучитываемой в условиях нормального питания реактивной тягой, вовсе им лишней. Обработанную нефть их желудки не принимали вовсе. Мазут вызывал у них припадок гнездования, стимфалиды клали полные гнезда покрытых медными перьями яиц, но из яиц вылуплялись непонятные гады доэллинической мифологии, и вместо того, чтобы стремиться к небу, они зарывались под Уральский хребет, стараясь залезть под медные горы и устроиться там хозяевами и хозяйками. Свое земное червеподобное потомство вольные стимфалиды глубоко презирали и старались по возможности вообще не размножаться. Но, старайся не старайся, а иной раз и размножишься. Последний раз стимфалиды обильно размножились от безделья: на целый год пришлось уйти им в глубокие пещеры с азиатской стороны Заполярного Урала, и отсиживаться под многосаженой толщей малахита, что было особенно неприятно потому, что именно малахитом ходят под себя их незаконные дети — Хозяева и Хозяйки Медной Горы. Больше прятаться было некуда, небеса в то время безраздельно принадлежали летающему оборотню, монстру по имени Дириозавр, которого стая лишь единожды издалека увидела — и мигом нырнула в окаменевшее дерьмо собственных деток. Ходил страшный слух о том, что это не простой Дириозавр, а лично Зевс Хронович. Но потом Дириозавр куда-то убрался, и стая вернулась к патрулированию. Именно тогда Москва предложила стимфалидам штатную работу в обмен на неограниченное право пользоваться лучшими сортами сырой нефти, причем обязалась в тех местах, где нефти нет, ставить поилки. Великий московский колдун, Начальник Наиболее Сырой Нефти и Природного Газа, взял птиц на работу. Впервые с доэллинических времен стимфалиды пошли на службу. Отдельным пунктом Начальник гарантировал защиту от несанкционированных Гераклов. Совершенно не хотелось птицам с налетанного места из-за чьих-нибудь трещоток куда-нибудь уматывать. Хотя вообще-то были приглашения на Сверхдальний Север, туда, за Северный Полюс, где процветает нынче Гренландская империя... Ну да ладно, пока и тут неплохо. Люди изрыли Уральские горы, взяли все, что смогли увидеть, и почти ушли из этих краев, — не считая, конечно, того куска Рифейского Урала, который обернул своей ленточной тушей одряхлевший Великий Змей. Именно поэтому для древнейших чуд и гад земли здесь был истинный заповедник: живи в свое удовольствие, только носа (хобота, клюва и т. д.) наружу не показывай. Должен же быть на круглой земле угол, куда можно спокойно уползти/улететь/уйти на старости лет, пить нефть, кушать лазурит, размножаться в разумных количествах. И кое-кто из особо древних полагал, что другого места на свете,

кроме захапанного Змеем Рифея, для древних на свете нет, — однако к Рифею змеей почти никого не допускал, вот и толклись они вокруг него, пугая друг друга. Кто бы не испугался: выходишь поздно вечером на шоссе попутную машину поймать, а там уже стоит сторукий, половиной рук голосует. Или летит выше облаков, в стратосфере, взмокшая белая корова, за ней — огромный овод, оба куда-то исчезают почти сразу. Или выползает из дыры в земле престарелая богиня Эрида, специалистка по раздорам, начинает гнилой хурмой кидаться, думает, что это яблоко раздора. Побросает, побросает, обратно уползет, а хурму вороны поклюют и драка между ними начинается. Где-то в пещере под кайфом балдеет сверхдревний бог Гипнос, от которого даже богов в сон тянет, но его уже давно никто не видел: то ли белены объелся, то ли мухоморов, в России еще и не то есть, а может, враки это и нет ни бога, ни мухомора.

Стимфалидам нужен был воздух и простор. И они его получили, в тех границах, в каких требовалось им, и как раз в тех, охрану которых совершенно некому было поручить Империи. Справедливо бы поинтересоваться — зачем Империя должна охранять свою середину. На этот вопрос у государя был ответ: «Я приказал, и надо выполнять». Государь, может быть, не знал, что слово в слово процитировал недоброй памяти Нестора Махно. Но об этих словах помнили разве что в городе Гуляй-Поле, где они были долотом высечены на пьедестале памятника. Памятник поставили на частные пожертвования в первый же год царствования нынешнего царя, теперь уже никто не помнил, что поставлен памятник выдающемуся поэту: царю понравились стихи, которые батяка писал исключительно по-русски. Зачем разрешили стимфалидам летать? Кому какое дело, что так было предсказано. Их зачислили на нефтяное довольствие и медно-железную стаю. Пусть летает. Наверное, однажды пригодится.

Стимфалидам такое положение вполне нравилось. Эти невероятные чудища были самодостаточны: поругаться всегда могла одна голова с другой, но при общении между собой (и в редчайших случаях — с посторонними) птицы говорили парой голов, хором. И вот настал такой день, когда дважды тридцать девять железных глоток единым хором вынуждены были гаркнуть: «Будет исполнено, ваше превосходительство!» Гаркнуть пришлось в ответ на предложение разыскать в Уральских горах хитротазого Призрака, норвящего пробраться в Европу и там бродить вопреки исторической необходимости. И в Москве, и в стае полагали, что искать его специально не надо: так и так попадетса во время патрулирования. А дальше предполагался следующий сценарий: пусть подонок убирается куда хочет, но чтоб в Европу больше не совался. Наелась Европа призрачной каши до отвала, аж рыгать сил нет.

Однако пока что Призрак не попадался. Возможно, что развалился на отдельные кости и зря на него охота идет, но еще возможней, что сидит он где-нибудь в болоте по макушку и новые козни выдумывает: замышляет стачку, стычку или стучалку всенародную. Между тем никто Призрака (в отличие от стимфалид) в штат не оформлял. Рано или поздно вылезет он из болот под Ханты-Мансийском, и обычным своим путем, через Уральское Междозубье в районе истоков Печоры попытается пройти в Европу. Тут его и взять за тазовую кость. В скалах над пропастью Междозубья имелись у стимфалид кое-какие

неприметные ни сверху, ни снизу «гнезда» с некоторым запасом сладкой сырой нефти. Отсюда открывался широкий обзор троп из Европы в Азию; следуя привычке, Старшая Стимфалида улеглась на сторожевое место. Поскольку облюбованная пещера находилась в южном обрыве, лечь пришлось по-особому, переплетя шеи, ибо азиатской голове совершенно не хотелось смотреть в Европу, и наоборот. Настроение у птицы было ниже среднего; из-за сырости в воздухе перья быстро покрывались зеленью и крошились, оба железных клюва нуждались в заточке. Пользуясь случаем, птица положила обе головы на приготовленные московской прислугой бруски, вздохнула, ругнулась на ею же самой позабытом языке и стала елозить клювами по влажному от тающего снега камню.

Несмотря на сытный запах нефти из глубины пещеры, аппетит у птицы так и не проснулся. Последнее время это случалось так часто, что поневоле в обе головы к ней закрадывалась мысль — уж не старость ли это? Она вылупилась из пернатого яйца в южной Греции в те годы, о которых можно сказать лишь то, что медный век был тогда на исходе и начинался железный, оттого и клюв ее был иным, чем оперение. Не очень прочно, зато легко затачивается. Точильного камня здесь, на Урале, вдоволь. Однако — холодно.

Откуда взялось само слово Урал? Лет всего пятьсот прошло, как стали его употреблять. А до того говорили просто Камень. И все вокруг называлось похожими словами, включая тот кусок земли, где не утихала вулканическая деятельность, который обхватил мертвой хваткой Великий Змей: когда-то назывался он Кеми, теперь на греко-славянский манер — Киммерия.

Стимфалида иной раз хотела бы нырнуть под ту скалу, с которой прыгал вниз граф Палинский, и поглядеть — что там творится. Тем более, что располагался замок совершенно незаконно, большая часть его находилась в Азии, но десять аршин главной, «ломберной» гостиной размещалось в Европе, ибо замок висел над обрывом. Змей в этом месте разместил свое тело в дыре, проходящей непосредственно под горой, и получалось, что в его владения вход сверху все-таки есть. Стимфалида знала, что есть в эти владения и подземный, подречный вход из некоей альтернативной Европы. Так что не очень-то строго оберегал Змей свои владения. Но снизу входили на эту территорию лишь коробейники, сверху — вовсе никто не входил, только граф здоровье закаливал и два-три раза в неделю туда упрыгивал. Любопытно, конечно, — но на всякий случай стимфалида убедила себя в том, что ничего интересного там, внизу, нет.

Мог, конечно, там прятаться известный Призрак, тем более что Киммерия вся целиком располагалась в Европе. Но тогда было бы всем плевать на него в Москве — в высшей степени. Киммерия — место закрытое, бродить туда-сюда по нему, из него и вокруг него дано лишь Змееблустителю. Он первый Призрака бы и прищучил. Раскрыл бы пасть Змею, Призрака туда бросил — броди, милый, по кругу. Но у Вечного Странника в Москве начальства не было. Нет пока на него, видать, штатной единицы. Где же Призрак-то? Может, переломал где в тайге кости, да гниет, бедолага, под корягой, болезный, гнида подколотная... Или вовсе угулял во льды? Ищи его теперь от Колгуева до Чугуева... Сволочь.

Птица кончила точить клювы, сполоснула их свежим снегом и придвинулась к обрыву. Зрение у нее было всякое, любую движущуюся в Междозубье букашку она бы отследила... и вот только что отследила. Что-то. Где-то за версту под стимфалидой одинокая фигура топталась, словно исполняла ритуальный танец, или же вино из невидимых гроздьев клюквы выжимала. Это был никак не человек, не Вечный странник, не зверь, не птица, не рыба, не... Не мясо? Да нет, вроде бы мясо. С запахом рыбы. Притом — на такие вещи у стимфалиды нюх был настоящий — очень древнее это было мясо. Тысячи лет было этому мясу. И пахло оно совершенно неприлично. Такой запах стоит в комнате бардака, где много дней идет непрекращающийся трах, а белье не меняют, к этому надо прибавить запах еще другого чего-то подобного, но людей поменять на лошадей — словом, воняло на дне пещеры живое олицетворение случки.

Стимфалида рывком упала с обрыва, более безопасная левая пасть перехватила вонючку поперек того, что с натяжкой могло у вонючки сойти за талию, и вернулась на карниз возле пещеры. Тварь почти не сопротивлялась и шлепнулась на условную задницу там, где была поставлена. За спиной стимфалиды послышалось шевеление: стая заинтересовалась. Но стаю немедленно отослали подальше, добыча никак не могла быть Призраком, ибо ни один призрак так не воняет. Впрочем, на очень глубокое знание всех мировых мифологий птица не претендовала, — а вдруг все-таки вонючие призраки бывают? — поэтому отпустить чудище без выяснения обстоятельств она не собиралась.

Не принадлежи стимфалида к биомифологическому роду, от которого на всей-то Земле осталось тридцать девять особей, она решила бы, что таких существ не может быть. Верхняя половина тела у существа была с одной стороны человеческой, но с другой — это было тело крокодила, из-за такой розни с одной стороны у существа была человеческая рука, с другой — крокодилия лапа, а лицо и вовсе сочетало в себе черты человека и крокодила, и оттого было перекошено. Пасть была скорей человеческой, зубы — определенно крокодильими. Нижняя часть тела представляла собой уж и вовсе издевательство над эстетическими канонами: одна нога была петушиной, другая была... рукой, настоящей волосатой нижней рукой гориллы. У развилки этих конечностей находилось нечто вроде слоновьего хобота, приглядевшись, стимфалида поняла, что размеры роли не играют, но пойманное существо — это самец. Даже наверняка самец. Словом, изловлено: черт знает что. Особые приметы: самец и воняет. Попыток бегству не делает. Ну, и дальше что? Впрочем, четверть природы у существа была птичьей, стимфалида прококотала на курином обычный вопрос: мол, сразу вижу молодца, да из какого ты яйца? Чудище пошевелило... ну, тем, что было у него вроде хобота, а потом скрипело ответило на современном русском:

— Никогда!

«Тоже мне ворон...» — зло подумала стимфалида. Но русский она знала получше, чем курий.

— Даку-у-у-менты!

Чудище пошевелило тем, чем, видимо, шевелило всегда, откашлялось (очень

простужено) и изрекло:

— Токолош. К вашим услугам.

— Чего тут делаешь? Здесь закрытая для полетов зона!

Токолош изумленно вскинул хобот.

— Когда это я летал? Где?

— Ты... четвертьпетух! Значит, покушаешься летать.

Морда Токолоша приобрела очень человеческое выражение.

— Совсем обалдела, да?

Стимфалида смутилась.

— А ты откуда знаешь, что я женщина?

Хобот победно взлетел вверх.

— Это-это-это... я чую! На то и Токолош! Занесен в ярко-красную книгу!.. В спецгруппу...

— Кончай махать... аппаратурой. Приступим к допросу. Какого хрена ошиваешься в закрытом для ошивания районе? Сюда вход разрешен только древним, либо с разрешения Москвы.

— Я? Я-таки древний! Человечество в Африке на свет вылупилось, а я тамошний. Я даже человек на четверть. Бабушка у меня была человекиха. Дедушка крокодил ее догнал. И получилась моя матушка. А дедушка-петух догнал бабушку-гориллу. Получился мой батюшка. А потом батюшка догнал матушку. Ну, и получился Токолош. Мне теперь все равно кого догонять — лишь бы шевелилось. Но в Африке стреляют... и жарко. Теперь все сюда ползут. Мы по дедушке-крокодилу с Великим Змеем пресмыкающиеся родственники. Хочу к нему проситься. Сексуального убежища прошу.

Стимфалида задумалась. Токолош забыл, что по дедушке-петуху он приходится родней и ей, вольной стимфалиде. Получалось, что через этого вонючего она, да и вся ее стая, приходились свойственницами Великому Змею. Интересная новость. Вообще-то и Палинский что-то дольше живет, чем простые люди, со скалы на две версты не прыгающие. И Кракен, древний десятиногий, говорят, где-то в Карском море лежит, в речку Кару втискивается. Притягательны здешние места для древних. И ведь это только те, кого Змей внутрь захваченной им территории явно пускать не хочет! Бродил тут где-то последний Василиск, змееподобный гад, от взгляда которого должны бы все каменеть, но уже давно вот не каменеют: Вечный Странник, говорят, поймал его и неделю держал в зеркальной комнате, тот на себя нагляделся, не то, чтоб окошел или там окаменел, но подагру теперь имеет страшную. Австралийский чудо-юдий Баньип, громадина полупрозрачная, тоже сюда приперся, но этот как холодно — так впадает в спячку, лежит небось в луже где-нибудь и ждет Великого Парникового эффекта, — а дождется, того гляди, Ледникового периода. Словом, все древние тут, некуда им податься, кроме как под бок к Змею. Призрак (тот, что по Европе раньше ходил, воздух портил), значит, тоже тут. Не зря Москва предупреждала, чтобы не путали с Призраком ходячего языческого идола Посвиста (безвредного, кажется), и еще кто-то, вроде на «Э» его фамилия — ну да, Франкенштейн...

— Ты чего делаешь!.. — взвизгнула стимфалида на вонючего, но он свое дело

знал туго и убирать хобот оттуда, куда единожды влез, не был намерен. — Я делаю... природе соответственно. Я... ы... я... ы... о!.. Ну, летай дальше... Возмущенная стимфалида резким движением азиатской головы скинула Токолоша с карниза: внизу больше версты, по другому разу нагличать не будет. Стимфалида не заметила, как ловко развернул он за спиной одинокое петушиное крыло, как изящно спланировал на противоположный карниз, совершенно неприлично облизнулся — и стал спускаться. А стимфалиду обуяла обида. И жажда. Она протянула обе шеи в пещеру и искала бочку. Сунула обе головы в нее и хорошо отхлебнула.

И тут же обе головы вытащила назад. В бочке был чистый мазут. Опять, черт возьми, придется размножаться. Опять пойдут Хозяйки медной горы плодиться с писателями Бажовыми... Яйца пернатые тоже класть больно... Это только Дириозавр мог позволить себе яйцами-болтунами города бомбить. А тут — вишь, Токолоша подослали, мазут подсунули. А Призрака кто ловить будет? Токолошу между тем было плохо. Если после этого дела нет возможности сразу в теплый ил зарыться — лихорадка начинается. Простуда. Пневмония может начаться. Простатит. Стимфалидит инфекционный подхватить можно, а эта болезнь не зря называется еще по-другому — железный триппер. Чем лечить его? Кто лечить будет? Кому на Урале есть дело до старого, доброго, ласкового, африканского Токолоша?..

Токолош плакал крокодилым глазом. Человечий его глаз горел ненавистью. Обезьянья нога-рука дрожала. Лишь петушиная лапа держала Токолоша как надо. Надо искать общий язык с Великим змеем. Иначе — писец Токолошу. Голубой, последний. Где ты, где ты, где ты, Великий Змей?..

Евгений Витковский. Земля святого Витта. Часть 15

Евгений Витковский

XV

Проклятая немогузнайка! Намека, загадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, безтолковка. <...> От немогузнайки много беды!

А.В.Суворов. Три воинские искусства

Азбуку мальчик выучил сам — по географическому атласу киммерийского издания, по размещенной на первых четырех страницах подробной карте Киммерии, а также по занимавшему весь следующий разворот плану города Киммериона. Буквы ему все сказала мать, души в нем не чаявшая, а на бесконечные вопросы о родном городе (на них Антонина ответов не знала) самым подробным образом отвечал дядя Варя, из всех Павликовых дядь самый налюбимейший дядя.

Другие дяди были тоже любимые: дядя Поля и дядя Веда, последний отличался тем, что приносил больше всех подарков. Тёти у Павлика были тоже ничего:

тётя Глаша, тётя Дonya и тётя Нина. Были еще дедушки: дедушка Ромаша и дедушка Федя. И все они в маленьком мире Павлика образовывали (с мамой, конечно) девять планет, крутившихся вокруг него, солнышка ненаглядного по имени Павел Павлович, шести лет от роду. Все, кроме дяди Веди, жили в одном доме с Павликом, и было у них в жизни одно-единственное важное дело: вокруг Павлика танцевать с утра до ночи. Павлик их всех ужасно любил, потому что все они были очень послушные и вели себя почти всегда хорошо. Павлик за это водил их гулять: и по набережной, и в Рощу Марьи, и на бульвар через мост, и в разные другие места, которых они еще не видели и которые нужно было им непременно показать — а то сидят весь день дома, ничего на свете не видят кроме телевизора да кухни. А воздухом дышать надо, а то не вырастешь такой большой и умный, как дядя Варя.

Павлику шел седьмой годик, он уже умел не только читать, но и считать до девяноста. Мама пыталась его учить считать как-то иначе, по пальцам, но этому Павлик обучиться пока не мог. Он даже умножать умел: если трех теть умножить на двух дедушек, получалась половина дюжины. А если прибавить еще трех дядь, маму и два телевизора, день и ночь не выключавшихся в доме — то как раз выходила целая дюжина. И при чем тут пальцы? Да и другие считают только на дюжины. Это Павлик точно знал, всегда и все считали на дюжины и на рынке Петрова Дома, и на маленьком рынке на Пыжике, — на другие рынки старшим было гулять еще рано. И плавать на лодке Павлик им еще тоже не разрешал: рано. На трамвае, когда лето — это пожалуйста. С наступлением теплого времени трамвай превращался для подопечных взрослых, да и для самого Павлика, в развлечение. Целых два часа ехал трамвай на север, на Рифейскую стрелку — и обратно, до остановки «Гостиный двор» на Елисеевом поле. В другую сторону, на юг, Павлик ездить не хотел. Толкотня там, бобров слишком много. А их с любого места на Саксонской и так видать. Ну, рыжие. Зубы у них красные. Каштаны любят и бананы. Так их только дурак не любит. Хотя как-нибудь на досуге Павлик туда, на юг, этим летом собирался наведаться. И к дяде Веди на работу тоже: у него там, правда, дыма много, но все равно маме нужно показать, как правильно отвечать, если спрашиваешь про что завтра будет. А то она все «не знаю» да «не знаю»! Откуда у нее такие привычки взялись? Вот тетю Нину спросишь — она всегда все точно знает. Только тетя Нина косоглазая. Павлик еще не решил, любит он косоглазых или нет. Не решил, любит он, когда холодная вода за шиворот льется — или наоборот, не любит. Не решил, какими дровами он больше любит когда печку топят: кедровыми или березовыми. Но точно решил, что карту Киммерии из всех карт в атласе он любит больше других. Куда до нее Австралии, например! Там и рек-то нет настоящих. А чтоб город стоял на одних только островах — совсем такого в атласе нигде Павлик не нашел. И дедушка Федя подтвердил, что нигде в мире нет такого замечательного города, как Киммерион. Павлик выросал законченным киммерийским патриотом — чтоб не сказать хуже. Рука у него была обыкновенная, русская — ничего страшного. У киммерийцев тоже не у всех пальцы длинные. Смотря какую работу делаешь. Тетя Нина сказала как-то, что Павлику, когда он вырастет, пальцы сгодятся

любые. А тетя Нина знает, что говорит. С этим даже мама согласна, а она такая упрямая: почти никогда и почти ни с чем не согласна. Вон, рабы живут в подполе, а рабам полагается раз в неделю баня и порка. Всегда так было заведено, дядя Ведя сказал, дедушка Роман тоже сказал. Почему их не порют? Надо их пороть. Приглашать порольщика и пороть. Интересно же! Сами бы посмотрели, другим бы рассказали. Когда он, Павлик, большой вырастет, и у него рабы будут, — много рабов! — то он еще других рабов заведет, специальных, чтобы первых пороли. Много и часто. И больно. И долго. Никакой жестокости между тем в характере Павлика не было, основной чертой его, очень радовавшей Федора Кузьмича, была гипертрофированная хозяйственность. Только-только научившись класть нос на парাপет Саксонской набережной, он высказал неудовольствие: вон сколько всего по реке плавает, а где регулировщик, почему светофор не висит? Почему бобыры и лодки плавают вдоль и поперек, а не как на улице, держась правой стороны? Почему дядя Астерий — лодочник, и еще другие дяди есть, которые лодочники, а одеты все по-разному? Надо их в одну форму одеть. Гликерия умилилась, и — как всегда — сдуру проболталась об таком трогательном высказывании киммерийца Павлика кому-то из соседей. Уже через неделю пара гнедых кляч доставила на дом Астерию новую униформу, сшитую из прорезиненной мешковины — и клеенчатую фуражку с острым верхом. На спине лодочника теперь красовалось что-то, похожее на пронзенную стрелой грушу, — это было стилизованное изображение знаменитой статуи «Дедушка с веслом», — статую гильдия лодочников присвоить не могла, но никто не мог ей запретить пользоваться «Дедушкой» как эмблемой. Разговоров об униформе для лодочников «Вечернему Киммериону» хватило на три воскресных номера. Другие гильдии не захотели отставать, появились сперва формы у камнерезов, затем у евреев — и пошло-поехало. Гильдия портных, понятно, очень сильно разбогатела, но в уважаемые все равно не вышла. Потому как не имела собственной униформы, не было у нее времени (да и ткани), чтобы себя обслуживать. «Вечерний Киммерион» между тем заметил, что идея внедрения униформ для гильдий, в одночасье прижившаяся в Киммерии, принадлежит довольно знаменитому мальчику с Саксонской набережной. Газета выступила с инициативой: присудить мальчику за эту идею Минойскую премию. Идея понравилась, ибо за всю последнюю декаду премию присуждать было решительно некому и не за что; в прошлый раз (ровно декаду назад) ее получил Гаспар Шерош за первое издание своей «Занимательной Киммерии» — первой книгой, которую вундеркинд с Саксонской набережной прочел самостоятельно, была как раз эта, — что, конечно, символично. В архонтсовете закипели дебаты, как всегда, глава гильдии сборщиков Назар Эрекци и глава гильдии мытарей Давид Лажавя вцепились друг другу в горло, хотя — когда дело дошло до голосования — каждый из них назло другому проголосовал ЗА присуждение Минойской премии юному Павлу Чулвину, будучи уверен, что противник на то и противник, чтобы голосовать ПРОТИВ. В итоге лауреатом Минойской премии за год от основания Киммериона три тысячи семьсот девяносто пятый стал именно юный Павлик.

Тут возникла некоторая неувязка. Обычная сумма минойской премии составляла семьдесят два мамонтовых бивня. Декаду лет назад Гаспар Шерош эти бивни как принял, так и сложил у себя на дворе в подобие башни-беседки, иногда летом надевал старый красный халат и уходил туда занимательные мысли записывать. Промысловики-бивеньщики, с риском для жизни добывавшие драгоценную кость на неистощимом кладбище мамонтов, отысканном в незапамятные времена в северо-восточной Киммерии, Гаспара за это не уважали: резчикам молясин нужна была кость для резьбы, иногда на рынке цена товара взлетала под небеса, когда очередной раз проносился грозный слух, что «мамонты кончаются» — а Гаспар свою башню продавать не хотел ни в какую, ему в ней хорошо думалось и работалось. А ведь премия складывалась из тех шести бивней в год, что платила гильдия в казну за право пользования кладбищем! Теперь такая же башня должна была воздвигнуться во дворе дома на Саксонской набережной, рядом с поленницей.

Семьдесят два термоса! Сырье для шести сотен молясин! Косторезы, хоть и состояли в одной гильдии со старцем Романом, камнерезом, но в пределах подгильдии не могли даже просить о продаже столь драгоценного материала именно им, а не термосникам, чья главная контора на острове Банная Земля обслуживала преимущественно Землю Святого Витта да лавки свадебных подарков в Гостином Ряду на Елисейевом Поле. Однако решение мог принять лишь опекун мальчика, известный Федор Кузьмич Чулвин, — а тот сказал, что у Павлика своя голова есть. Павлик посоветовался с мамой (которая советовала свалившееся богатство приберечь на черный день) и, не особенно размышляя, дал поручение тете Нине: все бивни продать по одному, тому, кто больше даст. И не продавать больше одного в день. «Вечерний Киммерион», узнав о такой новости, истек типографской краской необычайно яркого, синего, как волны Рифея, цвета: «Истинный киммериец! Простое — всегда гениально!» Ошибку заметили, и на следующие день поместили вариант заголовка: «Истинная коммерция: гениальное — всегда просто!» На Саксонской разницы, напротив, не заметили: там теперь утро начиналось как обычно, а в полдень Павлик объявлял аукцион. Время было летнее, в школу мальчику предстояло идти лишь на будущий год, толкотня приказчиков у парадного подъезда быстро вошла в привычку, и немедленно родился слух, что мамонтовой костью теперь будут торговать только на Саксонской, что будет там особый рынок... Сплетни доносились до редакции газеты, потом разносились по всей Киммерии, потом, как и положено сплетням, гасли, уступая место новым слухам. А ими Киммерион всегда полнился.

Аукцион открывал и проводил всегда Гендер в парадном белом халате с воротником-жабо: такую униформу утвердила для себя гильдия наймитов. Но молотком, специально купленным для такого случая, ударял по железному листу (чтоб громче было) именно Павлик. В иные дни победа бывала за термосниками, но чаще — за косторезами. Один бивень — темно-розовый — купили часовщики, переплатили вдвое, но сказали, что им теперь на год материала хватит. Павлик в честь такого события стукнул по железу целых двенадцать раз. Гильдия обещала, как только мальчик достигнет

совершеннолетия (а это по-киммерийски две декады лет) — его сразу примут в почетные часовщики. Быть почетным часовщиком очень почетно. Это Гаспар Шерош сказал. А его умную книгу «Занимательная Киммерия» Павлик собирался снова прочесть, когда нынешние книги, в доме Подселенцева найденные, чтением окончит. О, это были замечательные книги!

Книг была дюжина с четвертью, а если по-маминому считать, то пятнадцать, впрочем, у одной было оторвано начало, из-за этого на обороте обложки кто-то написал гусиным пером: «Книга акефалическая», Павлик сперва думал, что это название, но дедушка Федя объяснил, что это просто значит — нет у книги начала. По такому случаю книгу эту отложил Павлик до тех пор, пока это начало не отыщется. А пока читал другие.

Иногда он заявлялся к старшим и требовал разъяснения, что это значит: «Аще будет Рождество Христово в среду — зима велика и тепла, весна дождева, жатва добра, пшеницы помалу, вина много, женам мор, старым погуба». Это он вычитал из огромного тома «Записка о днях и часах добрых и злых», и Варфоломей с грехом пополам растолковывал мальчику, что пшеница в Киммерии — это ячмень, вино — это красивая бокряниковая настойка, которую тетя Глаша делает и которую детям пить нельзя, что мор — старинное название рифейского неперелетного аиста, специалиста по приносу детей, а погуба — старинное название рифейской зубатки, рыбы для пирога. Павлик с трудом соглашался во все это верить, но уже через час вылетал в гостиную, требуя телевизор вместе с неинтересной Варварой выключить, а ему немедленно объяснить, что будет, «аще бровь ошую потрепещет, да к тому ж во ухо десное пошумит, бысть на седмый день велику женонеистовству с мужем, муженеистовству со женою» — это как все понимать? Все это, оказывается, возвещено в толстенной книге «Трепетник» И были это еще не худшие из вопросов, ибо все почти книги в доме Романа, по наследству ему от прадедов доставшиеся, имели гадальный характер: «Громник» давал предзнаменования по месяцам о состоянии погоды, будущих болезнях, урожаях и ратях; «Молнияник» точно сообщал, что и в какой день месяца и недели предвещает удар молнии (а главное — какой именно удар!); имелись также книги «Сносудец», «Зелейник», «Разумник», «Куроглашенный» и прочие, столь же мудрые. Надо бы их вовремя от отрока спрятать, да вот... не спрятали, как говорил великий писатель Лесков, «не спопашились».

Павлик любил задавать вопросы и не переносил случаев, когда ответа не получал. Откуда и куда течет Рифей, где Москва, где Канберра, где Ново-Архангельск, где Старо-Сейшельск, почему Россия одна, Германий две, Армений три — это он и по карте разобраться мог. Но вот почему нет живых мамонтов — даже мама не знала. Даже дедушка Федя! А сколько и чего можно купить, если все бивни продать? Ну, если не все, то один? Антонину на большее не хватило, как брякнуть: «Ну, маме — шубу...» Соболья шуба Антонине была немедленно куплена. Павлик ходил по ней босыми ногами и пришел в восторг. Всем тетям — собольи шубы! Всем дядям! Всем дедушкам! К концу второй недели собольи шубы стали униформой дома на Саксонской. А потом было воскресенье, и Коварди стали проситься к Подселенцеву во двор:

порисовать собольи шубы, развешенные на мамонтовых растопыренных бивнях. Когда еще такое невероятие увидишь!

Согласие было дано, художники пришли и долго рисовали — углем, темперой, цветными карандашами. Павлик от художников не отходил, смотрел, как зачарованный на то, что у них получается. Вечером стал приставать к маме, тетям и всем прочим в доме с одним вопросом: «А как рисуют?» На этот неожиданно простой вопрос ответа он получить не мог, покуда тетя Нина не нашлась: «Они рисуют, ты у них и спроси!» Павлик утешился ответом, но проснулся в пять утра и стал требовать, чтобы Коварди немедленно шли к ним во двор, рисовали бивни и шубы и все ему объяснили — как это такое вот берут да и рисуют. Он такое тоже хотел вот так просто брать и рисовать. Мамонтов, шубы, маму, тетю Нину, Канберру и Ново-Архангельск. И Царь-колокол. И Хрустальный Звон.

Характерами супруги-художники были ангелы: через час они уже сидели во дворе у Подселенцева и рисовали, непрерывно отвечая на многие сотни вопросов Павлика. Федор Кузьмич вышел послушать их разговор, через некоторое время отвернулся, возвел очи горе, тайком перекрестился обыкновенным троеперстием — и ушел в свои покои. Тоня глядела на сына в окошко и радовалась. Доня что-то стирала в углу двора, прислушивалась к разговорам художников с малышом и очень огорчалась, что ничего не понимает. Сам малыш то ли не огорчался, то ли все понимал. К полудню он, впрочем, устал, потребовал, чтобы художники ели кашу вместе с ним (они согласились), после этого сам, по доброй воле, отправился спать — с тем, чтобы ближе к вечеру, идти в гости к Коварди в мастерскую.

В мастерскую с Павликом пошел Варфоломей. Парню недавно исполнилось девятнадцать, заматерел он так, что временами смотреть было страшно: в одиночку перетаскал с казенной подводы всю Минойскую премию за четверть часа, потом поднял пустую подводу вместе с охреневшим представителем архонта и так сфотографировался на фоне Земли Святого Витта для газеты. Ходил слух, что Конан-варвар потому больше не появляется на Саксонской в виде привидения, что Варфоломеевой силы боится. Однако умом оставался дядя Варя сущим дитем, регулярно что-нибудь воровал, регулярно тетя Нина спасала его от наказания. Впрочем, ничего не брать в мастерской у Коварди она приказала ему отдельно и трижды. Потому как дураком считать будут круглым. Почему-то эта угроза на Варфоломея действовала.

Дом Коварди стоял на той же Саксонской, сразу за домом лодочной Гильдии, где раньше проживал Дой Доич, а теперь — Астерий Миноич. Боковым окном огромная мастерская Коварди, почти весь дом занимавшая, выходила на улицу с названием Четыре Ступеньки, — в мастерской долгими летними днями было светло чуть не круглые сутки. И вся мастерская была увешана готовыми, но не купленными работами — «обманками». Первое, что сделал Павлик, войдя к ним в мастерскую, это завопил «Ой, персик!» — и, не зная за всю жизнь ни единого отказа, попробовал персик схватить. Тот не дался. Ни со второго раза, ни с третьего. Тогда Павел Павлович поступил наконец-то как настоящий ребенок: шлепнулся на пол и заревел в голос. Впрочем, упаковка вяленых

вьетнамских бананов, врученная Варфоломеем, его не сразу, но утешила.
— Тетя Вера, — спросил Павлик у Коварди, когда банан дожевал, от мечты о персике временно отказался и решил перейти к делам государственного масштаба, — а ты косоглазых любишь?

Басилей, муж Веры, немножко косил, но это мало кто замечал.

— Обожаю, Павлик! — провозгласила Вера, — Косоглазые — очень хорошие люди! — на всякий случай, впрочем, она добавила: — А еще я очень люблю таких, которые не косоглазые. Даже не знаю, кого больше обожаю.

Павлик засомневался.

— А комаров ты тоже рисуешь?

— Я специалист по тараканам, — подал голос Басилей и вытащил небольшую обманку. На картине была изображена другая картина, и на ее золотой рамке сидел слева внизу таракан. Хватать его рукой Павлик не стал, напротив, возмутился:

— Косоглазый... а тараканов зачем рисуешь?

— А кого рисовать надо? — смутился Басилей.

— Мамонтов! — восторженно заорал Павлик, — Великих огромных мамонтов! Много-много-много!..

— Сейчас будут мамонты, — невозмутимо сказал Басилей, ставя маленький загрунтованный холст на подрамник. — Сейчас будет много-много настоящих мамонтов.

Павлику дали высокую табуретку, вместо спинки позади нее разместился обширный дядя Варя. В ближайшие полчаса Павлик только вздыхал и вскрикивал, наблюдая, как невероятно быстрыми штрихами набрасывает Басилей цепочку задранных уши и хоботы, бегущих друг за дружкой кругами и зигзагами мохнатых мамонтов. Размером они были не больше таракана с золотой рамки, но точно так же казалось: протяни руку — схватишь мамонта в кулак. Потом Павлик освоился и стал считать мамонтов. Он заранее заявил Басилею, чтобы больше девяносто тот не рисовал, потому что дальше его считать еще не научили. Вера вела себя тише мышки, от своего мольберта поглядывала на мужа и на гостей, и что-то свое рисовала на квадратике картона.
— Ой, здорово... — наконец произнес Павлик. Ровно девяносто мамонтов взбирались на какую-то невозможную гору, самый передний держал в поднятом хоботе молоток, такой, какой был у самого Павлика для аукционов, — Я скажу тете Нине, чтобы вам обоим шубы подарили! Чтобы зимой вам тепло было. А эта картинка дорогая? — мальчик взял строго деловой тон.

— А эта картинка твоя, — ответил Басилей. — Это последние настоящие огромные девяносто мамонтов, и ты их владелец.

— Точно последние? — подозрительно спросил Павлик — Никому рисовать больше не будешь?

— Точно — последние! — Басилей перекрестился — Не будет больше мамонтов!

— А если я попрошу? — вконец обнаглел Павлик.

— Тогда... Тогда будут мамонты! Но только твои, только столько, сколько ты скажешь! — в Басилее, похоже, кроме художника жил еще и незаурядный

артист.

— Ну тогда ладно, — успокоено сказал Павлик — наконец-то все понятно. А то мама глупая совсем, никак объяснить мне не могла — где мамонты. А мамонты, оказывается — все тут, и все мои. Это очень хорошо. Я очень люблю мамонтов. Моих. И тебя, дядя... Бася. Шубу тебе завтра купят.

Басилей покрыл картину тонким слоем лака и вызвался сам ее отнести в дом к Подселенцеву. Так они и двинулись вдоль набережной: впереди — курносый мальчик шести лет, за ним — сорокалетний бородатый киммериец, в чьих длинных пальцах картинка со стадом мамонтов казалась совсем маленькой, замыкал шествие юноша пудов эдак в семь-восемь весом, гора мышц, и все притом — железные. Вера осталась дома: дорисовывать начатую картинку.

Хорошо, что мальчик на эту картинку не взглянул, не то прибрал бы к рукам и ее. С фотографической точностью запечатлела Вера мужа за мольбертом, мальчика с горящим взором на высокой табуретке и могучего телохранителя мальчика. Удивляло Веру то, что со старшим братом, известным всему городу гипофетом Веденеем, у телохранителя было лишь едва заметное сходство — в профиле, в разрезе глаз. Но выражение глаз было совершенно одинаковое, эти глаза говорили всему миру: «День пройдет — станет вчерашним — и новый день тоже пройдет — зачем, люди, вы хотите знать будущее — вы же в нем живете!» Варфоломей на тройном портрете глазами говорил именно это. Часть подобных мыслей читалась и на лице мальчика. На лице Басилея же читалась одна-единственная, вечная его мысль: «А вот я сейчас как нарисую!..»

Не окончив портрета, Вера завесила его и вышла на набережную: поискать, куда муж делся. Миновав угрюмого Астерия, восседавшего на крыльце казенного жилища с бутылкой в руках, постучалась она к Подселенцевым. С первой же секунды, как отворили ей дверь, поняла: упустила!.. И вправду — голос Басилея доносился из гостиной:

— Ну, разве уж только бокрянниковой... Да не надо, не надо, я дома заем... Ну, только на посошок... С рыбой? У меня жена знатно с рыбой печет...

— Нести его домой ты будешь, — тихо сказала Вера Варфоломею, когда Доня пропустила ее в гостиную. Мальчик и коротышка в белом халате бегали из комнаты в комнату, разыскивая гвозди нужного размера, аукционный молоток уже был взят наизготовку. Картина с девяноста мамонтами предстояло висеть отныне в ногах над кроватью юного Павлика.

Когда картинку все-таки повесили, явился поглядеть на нее и хозяин дома. Он сгибался в поясице и приседал на корточки, цокал языком и щурился, все искал нужный ракурс, кривился, менял одни очки на другие, наконец, шевеля губами, подробно пересчитал мамонтов. И остался доволен. Именно таких мамонтов, как он помнил по годам далекой своей юности, иногда находят на самом севере Киммерии, когда отмерзает кусок заполярной земли. Ну точь в точь таких. Правда, никогда не видел Роман Подселенцев, чтоб держал мамонт в хоботе молоток. Но это — считал Роман — допустимая вольность. В остальном все мамонты — как живые. Хорошая картинка. Воспитательная. Молодец Басилей. Потом старец ушел, и в воздухе повисло ощущение чего-то недосказанного.

— Стареет дед, — со вздохом сказала Гликерия, но тут Роман вернулся.

Поглядев на Варфоломея, в могучих руках которого уже сладко спал принявший свою дозу автор картины, а потом на саму картину, Роман торжественно произнес:

— Я считаю... Я считаю, что вот эта картина... она будет историческая. Она уже историческая.

— Слава тебе, Господи! — не удержалась Гликерия. Но Роман молча удалился к себе.

— Мама, хочешь, я тебе мамонта куплю? — спросил Павлик.

— А ну давай, кто кашу есть будет? — грозно ответила ему тетя Нина, входя с тарелкой, притом сильно ею размахивая: чтоб скорей остыло. Павлик горестно вздохнул. Тут его власть кончалась. Вечерняя каша была штукой посильней всех мамонтов.

Федор Кузьмич вышел в гостиную, посмотрел в окно — Варфоломей бережно нес бесчувственного Басиля, Вера торопливо старалась держаться рядом. За протокой вовсю дымили бани Земли Святого Витта. Киммерийское время шло своим ходом.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 16

Евгений Витковский

XVI

...потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли, да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном встречали, потом Щуку с яиц согнали <...>. Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села <...>.

М.Е.Салтыков-Щедрин. История одного города

Циферблат не светился. Радиоприемник молчал как еретик под пыткой. От пейджера остались мелкие кусочки, он с самого начала был лишний. Компас еще работал, но необычно: стрелка его вращалась против часовой стрелки со скоростью четыре оборота в секунду — приблизительно. Борис помнил откуда-то, что если не очень быстро сказать «двадцать один» — то за это время как раз проходит секунда. Так что из механизмов в его распоряжении были сейчас только незаряженный револьвер и ополоумевший компас.

— Двадцать один, — пробормотал Борис, — двадцать один, двадцать один, двадцать один. Четыре секунды. Ну и что мне толку от четырех секунд?

И вправду: ни четыре секунды, ни рехнувшийся компас, ни банка с хлороформом, ни шприц с раствором пентонала чего-то там умного не могли вывести Бориса из Лабиринта, чье нынешнее состояние было сильно отягчено колючими змеями. Можно было эту проволоку в любом месте перекусить, оборвать, но тогда и последняя надежда выйти из Лабиринта исчезала. Борису было уже не до добычи, ради которой он сюда полез. Не до жестокого

сообщника-цветовода, не до щедрого, хотя коварного заказчика. И с каждым произносимым «двадцать один» становилось только хуже.

— Двадцать один! — громко сказал Борис и сел на пыльный, покатый пол Лабиринта. Где-то впереди, далеко внизу, сильно и неприятно звучал чавк. Проволока туда не вела. Неизвестно почему испоганивший древние пещеры садист на эту часть Лабиринта колючек пожалел. Борис еще раз проклял Бога, Царя, Отечество и другие, менее значительные предметы, немного успокоился и стал размышлять над возможными перспективами своего дальнейшего блуждания в этих неуютных пещерах.

Ему ли было бояться пещер! Тридцативерстный путь через Лисью нору, традиционная офенская дорога в Киммерию, был пройден им чуть ли не тысячу раз. И ведь ни разу не только что не заблудился там — с шагу не сбился! Как войдешь из Руси в Нору — там семь тысяч шагов с малым гаком все вниз, вниз и чуть влево, покуда в углекислую кислоту не уйдешь до пупка, там еще три сотни шагов, входишь в Полугарную пещеру. Там посредине пупырь есть, на нем посидеть можно и сухарей пожевать. Молодые офени, конечно, не жуют, хорохорятся, сразу во второй переход, к Заветной Дырке топают, четыре с гаком тысячи шагов, там пупыря нет, но и углекислота кончается. Там — сталактиты, сталагмиты на мысли неприличные наводят. Вольготно там. Не то, что тут. Там не чавкают хотя бы.

Там знаменитые пещеры есть, но в них не всегда заходить можно, потому как обычно с товаром торопишься, бежишь галопом. Но в другой раз так ноги собьешь, либо так спину наломаешь, необходимый товар таща, что позволишь себе краткий отдых, уйдешь на триста шагов влево, идучи в Киммерион (или вправо — если из него), тогда попадешь в знаменитый Миллион Белых Коз; старые офени говорят, что пещера эта размером в миллион Больших Театров. Нигде, кроме как по телевизору, ни Борис, ни старшие офени Большого Театра не видывали и видывать не могли, ибо по древним заветам нет офеням на Москву пути. Говорят, плохо бывает тому офене, который к Москве пойдет. Говорят, Наполеон был самый что ни на есть корсиканский офеня, зов услышал, да истолковал неправильно, вместо Киммерии пошел на кимбров и кимров, а дальше путь его получился через Москву, — что потом вышло, то все у писателей Лермонтова и Льва Толстого до малых подробностей описано и нет смысла пересказывать. Пересказывать интересно только незаписанное.

Офенские сказки, например, которые офени, изредка встречаясь, друг другу сказывают — и никому больше. Сидят, бывает, двое-трое в Миллионе Белых Коз — и друг другу сказывают. Как, например, и откуда перевелись на Руси богатыри, а пошли вместо них молясины. Как услышала одна девочка в душе зов, поняла его неправильно, ей бы к врачу да в мальчика переделаться, потом за мукою пшеничною да помогай Бог ноги в Киммерию, — а она, дурища, возьми да в милиционеры пойдя, потом за Ахмед-пашу замуж выйди да и сиди шахиней всю жизнь в Ахмедии своей, кукуй с тоски по Киммерии, на роду написанной. Как пошел по Камаринской дороге рак в лаптях... Эх, много сказок у офеней есть, и пещер много в Лисьей Норе, да только здесь, в Лабиринте, не Лисья Нора. Сюда полез офеня Борис Тюриков не по зову, а по жадности.

Трижды девяти киммерийским батюшкам исповедался Борис, что грех стяжательства его тяготит. И почему-то всегда слышал: «Не грех это вовсе, иди с миром, чадо, служи людям». И уверовал Борис, что жадность в себе копить не надо, а надо дать ей выход. Сам отыскал близ городка Богозаводска, который почти у самой Камаринской стоит, представителя Государевой Разведуправы, и спросил: нет ли для честного офени хорошо оплачиваемой службы, — такой, конечно, чтоб душу не погубить, но и такой, чтобы родному карману не обидно. Тут же арестован был Борис, долго и скучно бит, брошен в узилище, но ненадолго. Прилетел из Москвы главный начальник, который сколько уж лет самые лучшие Борисовы шары по бильярду катает, и купил тело Борисово вместе с потрохами и душой. Ласковой речью, горячим кофею, большими деньгами купил. Был Борис по рождению архангелогородец, потому не чай уважал, как иные русские офени, а кофий. Кофий, наилучшая японская «арабика», как раз и нашел путь и к душе Бориса.

Вспомнив про кофий, Борис произнес в сердце своем что-то такое пятиэтажное, что никогда по офенской стыдливости не попало бы к нему на язык. Фляжку-термос с кофею он брать в Лабиринт не стал: заранее глянув на то, как близко, всего через переулок, стоят на Саксонской набережной дома, принадлежащие соответственно камнерезной и лодочной гильдиям, решил Борис, что и подземный путь — как бы ни был он запутан — тоже слишком долог не будет. Теперь-то, вот уже сколько тысяч раз пробормотав «двадцать один», не мог он отделаться от образа большого клубка ниток, притом с узелками, с железными, в который свернут распроклятый, никуда не ведущий Лабиринт.

Никуда? А как же заверения в том, что у Лабиринта есть вход в доме лодочника Астерия, и есть выход в доме камнереза Романа, всего-то трудов, что пройти от входа до выхода, подняться в дом Романа, забрать там спящего по ночному времени мальчика, вкатить ему снотворное, потом вынести мальчика опять через Лабиринт и отнести к цветоводу Илиану Магистриановичу, проживающему на дальнем Острове Святого Эльма. Клятва была дана Борису страшная, что ничего плохого с мальчиком не случится: просто украден этот мальчик у родного отца, а тот с ним увидеться хочет, воспитать его, дать хорошее образование, выучить его на большого начальника либо же на главного архиерея, там уж как сын с отцом условятся. Дело обычное, не хочет мать жить с отцом, умыкнула дитю. А оно, дитё, еще несмышленное было, сказать не умело, как отца любит, как только с ним с одним свою грядущую карьеру строить собирается. В том, что это сын того самого отца, которому будет мальчик в итоге передан живым и здоровым, клялись Борису все трое известных тайным людям нынешних будущеvidцев, — и Клас, и Геррит, и Гораций. Сам Борис с ними не говорил, но в подлинности их слов было ему дано девять страшных клятв. По три на нос. Борис поверил. Ибо чист был душой офеня, страдал только грехом стяжательства, а этот грех был ему многократно и запросто отпускаем киммерийскими батюшками, коих офени почитали почти святыми. В дом Астерия Борис проник без проблем — когда лодочник на дежурстве был; дверь с печатью тоже открыл легко, а колючая проволока не только не мешала — она вела его по Лабиринту не хуже, чем индейская веревка с узелковыми

письменами вела бы североамериканского индейца к заветному скальпу. Сперва Борис даже напевал любимый офенский распев про родную Камаринскую дороженьку. Потом обнаружил, что остановились часы. Погас фонарик. Испортился компас. К третьей-пятой-восьмой (иди знай, какой) версте пути Борис уже знал, что ни один прибор в этом клубке коридоров, уходящих вверх и вниз и во все мыслимые стороны, не работает. Борис встревожился и решил вернуться, но поскользнулся. А встав на ноги и вновь ухватив колючую проволоку, не смог вспомнить — где «вперед», где «назад». Лабиринт в высшей степени точно выполнил свое предназначение: он заблудил в себе незваного гостя, вора как в старинном, так и в новейшем значении этого слова.

И только доносился снизу, из коридоров, в которые проволока вовсе не вела, гнусный протяжный чавк. Петь Борису больше не хотелось. Ему вдруг вспомнился родной Архангельск. Лет тридцать не вспоминался — а тут вдруг... «Не хватало еще «Мама!» заорать», — одернул себя офеня. Не из таких переделок выпутывался. От роты солдат, накурившейся анаши и бросившейся насиловать все, что шевелится, посохом да мешком отбился однажды. Мачехиных уломал, чтоб ему одному, только ему сбывали темные «бальтазаровые» кружева, уж целую декаду на них монополию держал! Из зыбучих песков даже выплыл однажды! Чавка ли после этого бояться? Лабиринта ли?

«Чавка и Лабиринта. Бояться. Именно» — эхом ответил ему внутренний голос. Здешнее многократное эхо пробиралось и в подсознание. И тут, повинувшись не то чьему-то произнесенному приказу, не то наитию, Борис отпустил проволоку и сделал шаг в коридор, никакой проволокой не отмеченный — прямо навстречу сытному и страшному чавку. «Съедят» — равнодушно подумал офеня — и пошел вниз, отбросив малейшие сомнения.

Коридор вел вниз под все более крутым углом, приходилось тормозить носками сапог и придерживаться за стену. По счастью, спуск оказался недолог, словосочетание «двадцать один», отвязаться от которого Борис все еще не мог, произнес он не более тысячи раз, когда спуск резко закончился. Чавк звучал теперь громко и близко. Кроме того, тянуло холодом от близкой воды.

Ледяной рукой Борис полез за пазуху. Там лежала у него, припрятанная для самого черного мига, пачка непромокающих спичек. В России таких нет давно, в Киммерии, при Офенском Дворе, в лавке всегда есть, и недорого. В пачке — двадцать четыре спички. Всего два обола. Одна беда — ни обо что, кроме точильного камня, не зажигаются. Впрочем, в Лабиринте это роли не играло, весь Лабиринт как раз в точильном камне и был выдолблен. Борис выудил спичку из пакетика, чиркнул об стену. Вспыхнула она как бенгальский огонь, и озарила черную, смоляную воду, у самого края которой стоял Борис. В сажени или двух от «берега» в этой воде что-то ворочалось. Не будь Борис офеней, он бы обмочился. Но он был офеней, уже тридцать лет как был.

— Опять кто-то приперся, — сказал низкий женский голос, — Проходной двор, а не Лабиринт. Орут. Поют. Даром что ко мне и дороги-то нет, одна вентиляция — на тебе, все равно приперся. Ну, выкладывай желания. Девять, не больше! — Скажите, куда я попал? — спросил Борис, роняя догоревшую спичку. Сотни

офенских легенд зашевелились в его голове. Что-то такое он когда-то слышал...

— Выполняю первое желание, отвечаю. Ты, дурак Борис, приперся ко мне в Лабиринт, на самое дно. Я — Щука Золотая, тут на яйцах сижу. Кто меня в покое оставит, тот живым от меня уйдет и девять желаний тому исполнится. Одно уже исполнила, в кредит, потому что если меня в покое не оставишь, то живым тебе не быть. Думай над остальными восемью. Если хочешь, там слева от тебя куча костей есть. Можешь на ней посидеть, подумать. Там костей уже большая куча, так что садись аккуратно. Тронешь яйца мои...

— Не трону! — взвизгнул Борис, чиркая новой спичкой. Из озера, противоположный берег которого оказался совсем близко, сверкая потемневшей чешуей, торчала огромная щучья пасть. — Я сюда не попрошайничать пришел! — Ишь, карась-материалист, — смягчилась Щука, — а я тебя не спрашиваю. Первые девять твоих желаний, где и когда ты их ни выскажи, я очень точно выполню. Если меня на яйцах оставишь в покое. Заклятие на тебя я уже... наклала. Знаю, твоя бы воля — ты бы меня в томатном соусе да в собственном соку, да только, любезный — моя, моя сейчас воля. Так что хочешь — говори, хочешь — подожди, подумай, вон тебе куча костей... Может, свет тебе зажечь? — Ты мне его зажжешь и за желание засчитаешь? — сообразил офеня. В торговле с киммерийскими лабазниками он сам такими фокусами неплохо пользовался.

— Ишь ты! Засчитаю, конечно. Но не захочешь света — сиди в темноте. Мне глаза щурить и на спички твои противно.

— Ничего, я в темноте постою... — офеня понял, что держит птицу счастья, точнее, рыбку мечты, непосредственно за хвост. Рыбка, однако, попалась очень скользкая, и терять на фуфу ни единого желания Борис Тюриков не желал. Ни единого вопроса задать было нельзя: отвечая, Щука немедля зачтет ответ за желание. А также назойливо исполнит все следующие восемь его желаний — в частности, наверное, любит она больше других исполнять пожелания типа «Чтоб мне провалиться» и всякие извращения, которые получаются при буквальном истолковании некоторых заковыристых ругательств. Борис уже взял себя в руки: офеня на то и офеня, чтобы готовым быть ко всему. Многие ли своим пльвом из зыбучих песков, скажите, выплывают? А вот он, офеня Борис Тюриков, выплыл.

— Мир, щучочка, мир, — сказал Борис, зажигая третью спичку и прикусывая язык: он чуть не сказал «Ты не волнуйся», а ведь эта шагренева Щука могла зачесть исполнение и такого желания! Борис, как обычно делал в лабазах, перешел на торговую скороговорку:

— Я офеня мирный, съел пирог сырный, тем, чем все офени, торгую боле-мене...

— Ты мне... яйца не морочь! — гаркнула Щука — Я Щука древняя, не таких умников слыхала! Говори скорее!

— А мне чего ж торопиться, я офеня мирный... Ну, ладно. Расскажу я тебе, Щука, сказку за минутку, добавлю прибаутку, желания штука хитрая, их так вот просто не пожелаешь. Знаю, Щука, что ты за штука...

— Не можешь ты знать! Я вдова честная! Все неправда! Сижу на яйцах, как

уговорено! И не смей меня... щукочкой!.. — в голосе Щуки появились слезы. — Хам сухопутный! Клевету на сироту, на вдову! Выкладывай желания! Сию минуту выкладывай! Нам, древним, и без твоих прибауток которую эпоху плохо!

Борис Тюриков лихорадочно соображал: что-то нужно было срочно просить, не то Щука вовсе озверевает и милость сменит на гнев, а что такое ее гнев — вон, костей сколько, экспертиза не требуется. В первую очередь нужно было сматываться из Лабиринта. Щука тем временем еще раз шумно всхлипнула и произрела. Все тем же красивым контральто.

— Ну вот что, офеня: осто... осто... даже не знаю, осто-что-ты-мне! Нужны мне твои шутики-баутки как зайцу пропеллер, я на яйцах сижу! Получи-ка ты, милоч, одно желание бесплатно, не в общий счет: по моему хотению, то есть по Щуки Золотой велению иди — откуда — пришел!

Последняя спичка вырвалась из руки Бориса, и куда-то он полетел, в темноту и вверх. Почему-то примерещился ему заснеженный Архангельск, не виданный с отрочества, подумалось, что окажется он сразу там, и не так уж это будет плохо... Но действительность к мечтам Бориса оказалась глуха. Он стоял на коленях, и за обе плеча его держали пальцы очень знакомого образца. Латные рукавицы Киммерионских стражников Борис Тюриков узнал сразу. Раскрыв глаза, он обнаружил то самое, чего ждал в худшем случае: Щука выбросила его на Саксонскую перед домом Астерия. Стражники столпились вокруг в количестве, явно превышающем обычный городской отряд. Дверь дома Астерия была распахнута настежь, и в нее был виден такой же распахнутый настежь вход в Лабиринт. Щука сдала его властям с потрохами, на месте преступления. Выход оставался единственный.

— Всем разойтись! Хочу... в Миллион Белых Коз!

«Два желания долой!» — раздался у него в ушах оперный щучий хохот. Опять его понесло куда-то, и очнулся он от сильного удара седалищем об сидение. Сидением оказался знакомый надпиленный сталагмит — точно — в пещере Миллион Белых Коз. Было тут почти совсем темно... и очень холодно. В руке же Бориса ничего, кроме пакета со спичками, не наличествовало. Но даже и спички были бесполезны: в этой пещере не было ни куска точильного камня. «Так все девять желаний разойдутся на фуфу...»

Борис подтянул ноги на сталагмит: в пещере было почти морозно. До выхода в Большую Русь он, конечно, по пояс в углекислоте дойдет, только... только там ночевать придется на голой земле, да и вообще — что он теперь такое: беглый офеня? Таких в истории не было. Все, что он теперь может — это идти в Киммерию и каяться, проситься в монастырь Святого Давида Рифейского... Даже если предположить, что двадцать верст до Лисьего Хвоста он каким-либо образом пройдет, то судить-то его будут не за похищение мальчика, а за умысление похищения, это наказание в Минойском кодексе удваивает, и ничего, наверное, кроме смертной казни, там на такой случай не прописано. Однако ж — есть шесть желаний. Можно, во-первых, одним махом попасть на Лисий Хвост, другим махом истребовать, чтобы судьи тебя простили и к прежней работе разрешили вернуться, — стерва-Щука зачтет это за три

желания, но еще три остаются. А как работать по-прежнему, если заказ Внешней Руси не выполнен? Значит, нужно еще и получить мальчика. Остается два — уйдут на то, чтобы мальчика сдать верному цветоводу на Святом Эльме и спокойно к прежним делам вернуться. А?.. За каким тогда, Господи прости, пропеллером он в это дело ввязался? За те же деньги можно было ни в какой Богозаводск не ходить и никаких поручений не брать, торговать шахматами, бильярдными шарами и всем прочим ценным, что в Киммерии есть — а то и на молясины перейти, как все.

Но это с одной стороны. А с другой все ж таки шесть желаний еще есть, и мало ли что на них еще можно вытворить. Чертова Щука, вот ведь ввела в соблазн простого русского офеню! Холодно... И ничего вслух не скажешь теперь — все станет желанием. Впрочем, а если начать о себе говорить в третьем лице? А, была не была!

— Лучшие представители человечества... были бы удовлетворены, если бы офеня Борис Тюриков сейчас же предстал перед снисходительным судом Киммериона! — провозгласил Борис и зажмурился от собственной наглости. И ничего не произошло. Может быть, стало еще холодней. Ну, по крайней мере ясно, что от имени лучших представителей человечества можно теперь говорить что угодно. Впрочем, их мнение не интересно не только Щуке — оно вообще никому не интересно.

Борис сидел на сталагмите и терзался бесплодными, так легко и так дорого исполнимыми желаниями. Одним из них, весьма навязчивым, было пожелание Щуке подавиться собственным хвостом. Но Борис помнил, что и бесплатными желаниями Щука тоже умеет оделять. Что, интересно, она тогда засунет в горло самому Борису? Он думал — что, и ему не хватало фантазии.

Он любил офенский труд, но венцом и апофеозом этого труда считал все-таки деньги. В Арысине, на углу Калашникова и Копытовой, в банке «Иван Копыто» лежала у него очень круглая сумма в золотых империялах. Но совсем не такая круглая, как хотелось Борису. Еще много раз предстояло ему — по давнему замыслу — ходить в Киммерию, закупать у лабазников заваль, приносить на Русь, продавать... ну, хорошо продавать, дальше брать кружева и муку, и топать в Киммерию, где деньги сами со себе появятся, да и другие они, во Внешней Руси хождения не имеют. Впрочем, киммерийское серебро, переплавить... Нет. Овчинка выделки не стоит, тяжелое оно, серебро, а стоит дешевле бильярдных шаров. Офеня на то и офеня, чтобы жить как перекаати-поле, дома своего не иметь, только деньги пересчитывать.

Молясинный вариант Борис отверг сразу. Просто потому, что не разбирался он в этом товаре. Чего ради вот уж полную киммерийскую декаду декад, полтора столетия по-русски, киммерийские мастера на экспорт ничего опричь молясин не работают — такими сложными вопросами он не задавался, он видел, что выгодный это товар, но скупать по бросовой цене шахматы, шары, чесалки для спин и прочее — того супротив не в пример выгодней, и никому об этом знать не надо. Россия хоть и рехнулась на Кавелевой ереси («Кавель Кавеля любил, Кавель Кавеля убил...») — но и в шахматишки тоже поигрывала. И спину почесывала. И солонку на стол хотела резную, и перечницу — помидорчики

там, огурчики в резной костяной вместилище под водочку подать особенно привлекательно... Борис сам себя навел на застольные мысли и понял, что сейчас попросит у Щуки бутерброд. Или хуже — фаршированную Щуку... Борис поплотней обхватил себя руками, больше закутаться ему было не во что. Желать нужно было немедленно. Можно так: прямо в Богозаводск, мальчика в одном мешке, пуд брильянтов в другом... Можно представить, что Щука прибавит бесплатно. Нет. Хотелось: во-первых, тепла и безопасности, ненаказанности за все прежние грехи, чтобы все они были списаны, если не прощены, все равно. Надо надеяться, что это одно желание, а не два. И второе: максимальной близости к большим деньгам вместе с полной свободой ими распоряжаться. А все остальное он уж как-нибудь сам себе устроит. Четыре желания Тюриков при этом оставлял в заначке.

— Щука, рыба ты недобродетельная! — крикнул он на всю пещеру, — Хочу быть в безопасности, где чтобы все мои грехи списаны были! И несметно денег — самых больших, какие здесь есть — чтобы я с ними волен был делать что мне угодно!

Некоторое время ничего не происходило. Борис чувствовал себя сразу как два пушкинских персонажа из сказки о рыбаке и рыбке: во-первых, как старик, во-вторых, как старуха. Неужто отправит к разбитому корыту? Вроде не имеет права, не такой уговор сама предложила. Ну? Ну?

Бориса сильно тряхнуло и ударило всем, что у человека расположено сзади — от затылка до пяток — о что-то жесткое. Борис очутился в лежащем положении, при этом руки и ноги его были мягко, но очень прочно опутаны и связаны, рот — заткнут. Весь он, включая лицо, был прикрыт чем-то вроде рогожи. И то, на чем он лежал, покачивалось. Как лодка. Что-то сволочная Щука опять ему подсунула. Где в Киммерии больше всего денег? Борис думал еще в пещере, что у еврейских менял или в казне у архонта, но везли его едва ли к архонту, совсем невероятно, чтоб к евреям. Что-то он опять попросил неправильно. Может, надо было просить место российского императора? Ну уж нетушки, во всех сказках в придачу к этому делу станешь царем, так тебе бесплатно добавляют и цареубийцу, очень удачливого. Или проказу там с болезнью бешеного Якобса...

Так что же эта распроклятая кандидатка на кошерный стол ему подсунула? — Не трепыхайся. Дотрепыхался. Всё тобою дотрепыхано, теперь иным трепыханиям учись. Не бойсь, не бойсь, и в Римедиуме люди живут. Он, Римедиум, у нас — Прекрасный. Земля в нем — Киммерийская. Незнакомый голос, так получается, принадлежал Черному Лодочнику, перевозчику-инкассатору, доставлявшему в Римедиум — преступников, из Римедиума — свеженачеканенные деньги. Кто-то говорил, что он немой — но, выходит, с кем надо этот немой говорить умел. Левым боком Борис ощутил второго связанного. Значит, в Римедиум везли не его одного. Похоже, к Щуке еще кто-то заходил. То самое место, которым в Киммерии пугали детей, должно было стать отныне местом прозябания экс-офени Бориса Тюрикова. Тепло, безопасно, денег... горы. Единственное, что утешало — это что еще четыре... или три... или два, но не меньше двух! — неиспользованных желаний у него оставалось.

Сосед трепыхнулся. Грозный, незнакомый голос продолжил:

— И ты, Илианка, не рыпайся. Кончены твои настурции, отцвели твои кнутовища. Монету чеканить будешь, намного больше пользы от тебя будет теперь. Ты потерпи, берег скоро. Сгружу — беги хоть на все три стороны. Кроме как в воду. Теперь тебе на родной город только через реку смотреть. Не бойсь.

Борис успокоился. Он из зыбучих песков выплыл. Отсюда тоже как-нибудь уплывет. И со Щукой, долги получивши, тоже разочтется. Может, что и неправильно он сделал, ну, да выправится все как-нибудь. Не затем двадцать семь батюшек отпустили ему грех стяжательства, чтобы сгинул он ни за осьмушку обола, на куче денег сидя. Борис стал молиться святому Давиду Рифейскому. Если кто не знает, так именно этот святой — покровитель офеней, лабазников, скорняков, лудильщиков и чертожилъников, а также кружевниц, которых в Киммерии сроду не было и быть им тут незачем.

Знать бы еще, что-нибудь насчет того, помогает ли он офеням бывшим!.. Разжалованным! Приговоренным к смертной казни, которую заменили на пожизненную ссылку в Римедиум!

Иного пути попасть в Римедиум нет. Значит, Щука все это над ним уже проделала. Ну, Щука, погоди!..

Евгений Витковский. Земля святого Вита.

Часть 17

Евгений Витковский

XVII

Таким образом, соловьи обладают стоимостью рабов и стоят даже дороже той цены, по которой некогда приобретали оруженосца. Я знаю, что белый соловей был продан за 6000 сестерциев.

Плиний Старший. Естественная история, X

— Приговор окончательный, обжалованию не подлежит, в силу этого приведен в исполнение: оба преступника, в соответствии со статьей трехсотой Минойского кодекса, за умышление к похищению ребенка приговорены к смертной казни, она же заменена ссылкой в Римедиум Прекрасный на каторжные работы до скончания времен. Это я прочел. Понятно. Когда ж это все случилось?

Федор Кузьмич отобрал у Пола газету, поискал в ней, потом ткнул пальцем в низ колонки и сказал:

— Выходит, что все это уж неделю с лишним случилось, притом неделю киммерийскую, тому назад. Значит, судили их как-то очень по-тихому. Киммерия осталась без палача, бобры — без настурций, да и с офенями первый раз за всю историю города конфуз. Офеня-преступник у вас, кажется, даже в сказках не фигурирует. Но вы вот еще это почитайте, коллега, почитайте. Боюсь, нам придется принимать меры.

Гендер послушно пробежал глазами заметку о том, что старейший офеня, — значит, старший по возрасту среди тех, что сейчас в Киммерии оказались, — некий Василиск Заквасов, пользуясь неписанными офенскими установлениями, объявил одного Бориса Тюрикова присногреховным, а значит, никогда офенского чина не имевшим, пергамент же о признании его четырьмя свидетелями за истого офеню считать вымышленным, никогда не оформленным на самом деле не существующем и, следовательно, легендарным. Вторая статья, рядом, в несколько менее бредовых терминах, трактовала палача-цветочника Илиана Магистриановича, как растленного деньгомана, лишь потому доселе не уличенного, что не состоял Илиан никогда ни в какой гильдии, и высказывалось предложение: в будущем палачей в какую-либо гильдию определить; в косторезы, мясники, наймиты, либо же евреи или бобры, — решение же о том, в какую именно гильдию взять палачей, передать совету Почетных Членов каждой гильдии. Поскольку в каждой гильдии как-никак имелся Почетный Член. Вот они пусть соберутся, малость посоветуются, да решат, кто есть палач: Мясник, Врач, Еврей, Чертожилник, Скорняк, Наймит, либо же там, хотя и вряд ли, Бобер.

Пол в некотором одурении не заметил, что обе статьи дочитал и углубился в третью, с неожиданным названием «Сколько рек в Киммерионе». Сколько рек в городе, построенном посреди одной-единственной великой реки, сосчитать на клешнях сумел бы даже миусский рак, подняв одну клешню. Однако автор статьи, скрывшийся под очень «бобриным» псевдонимом «Ф. Касторский» считал иначе. Что он считал, осталось Полу неизвестным, потому что Федор Кузьмич газету у него отобрал.

— Коллега, я ведь не в избу-читальню вас пригласил. Павел Павлович сейчас, как обычно, изволят гулять?

— В сопровождении Варфоломея Хладимировича, сегодня аукциона нет, бивней осталось сорок восемь, мальчик их хочет считать сегодня...

— Не «мальчик», а Павел Павлович. Именно его, насколько вы понимаете, собирався похитить этот самый пойманный офеня.

Гендер разинул рот.

— Не падайте в обморок и не спрашивайте, почему я так думаю. Сейчас придет Веденей Хладимирович, он приведет кого-то, кому доверяет. Нина Зияевна тоже с нами посидит. Тонечку потом пригласим, когда что-нибудь решим. Наконец, видимо, и с хозяином дома мы тоже должны будем говорить. Давайте считать, коллега, что проводим консилиум. Вас я попрошу побыть с Тоней и с мальчиком, когда он с прогулки придет. Наш... консилиум — не секрет от вас, но сейчас вы будете нужней... там. Так что с Богом, коллега. Вот, кстати, и Нина Зияевна. Ниночка, садись. Авдотья Артемьевна там гостей пропустит, как? — Пропустит, Федор Кузьмич... — Гендер, не обижаясь, вышел. Наймит всегда наймит, он должен знать свое место и ничего зазорного в этом нет.

Нинель, которую все давно уже звали по имени-отчеству, вошла в комнату старца. Это были, собственно говоря, две комнаты, однако дверь между ними сняли, проем — расширили, лишь занавесили гардиной: туда, за гардину, старец уходил спать, закончив дневные дела, преимущественно медицинские, а кроме

них — пасьянсы. Жизнь его в Киммерионе длилась уже почти семь лет, никаких признаков старения на морщинистом лице, по крайней мере новых, она не прибавила. Едва ли была Киммерия самым тихим и спокойным местом на свете, по крайней мере если судить по «Вечернему Киммериону», так куда ей до Парагвая или штата Вермонт, где никогда и ничего не происходит вовсе. В Киммерии происходило многое, прежде всего — что ни месяц, один-два раза землю города и воды Реки прилично встряхивало припадком вулканической активности, ворочался Великий Змей; приходили неприятные известия с острова Криль Кракена, где не прекращались выпадения тревожных дождей то из дождевых червей, то из каменных статуй; в самом городе творилось недовольство архонтом, засидевшимся на должности; отыскивались древние артефакты, никакими установлениями не предусмотренные, тот же Лабиринт, к примеру; теперь вот некие преступники уличены были в покушении на попытку умышления с целью похищения Павлика. Нинель давно говорила, что такое будет, и защищаться не надо, что само это дело рассосется, но вот потом как раз будет время принимать меры. Вот и выходило, что сейчас — именно такое время. Федор Кузьмич решил собрать военный совет, даже повязку черную на правый глаз навязал: когда-то в давние времена на военном совете одноглазость помогла, чего б ей не помочь и еще раз. Все умные и знающие люди, на помощь которых Федор Кузьмич рассчитывал, вот-вот должны были подойти.

И они подошли. В длинном плаще с капюшоном на случай дождя вошел один посетитель, за ним другой — в старом пальтишке и в кашне шириной в детскую ладошку. Первого в доме давно знали, как-никак родной брат Варфоломея, всему городу известный гипофет. Второй в доме на Саксонской появился впервые, но его тоже все хорошо знали — как-никак единственный в Киммерии академик, президент Академии Киммерийских наук. Кроме хозяина дома, к которому без готового решения соваться не стоило (все одно он его утвердит, поскольку — историческое), все оказались в сборе. Разговор, при всем несовершенстве русского языка, мог идти только на нем, иначе Федор Кузьмич не понял бы и половины, Нинель — трех четвертей, не считая ругательств. Но ругань нынче могла не помочь, если только ею обойтись. Решения предстояло принимать нелегкие. Потому что — как говорит Подселенцев — исторические. А все ли скажешь по-русски?..

— Древнерусская традиция, с нее начнем, такова, — начал Федор Кузьмич, пока что ни на кого специально не глядя. — Царевича до пятнадцати лет не должен видеть никто, ни дворянство, ни народ. А когда пятнадцать лет ему исполняется, его перед народом являют; несут его лучшие люди на плечах и ставят на Лобное место. Для предохранения от самозванцев, которых на Руси всегда много было и нет оснований думать, что станет меньше. Такая вот... традиция.

Федор Кузьмич надолго умолк. Тихо вернулся Гендер. Всем все было ясно. — Значит, еще восемь лет. Сходится с предсказаниями — сказал Веденей. Они с Гаспаром вчера вечером довели Сивиллу до неотложки, да и сами серой надышались, настоем пустырника друг друга отпаивали и померанцевую корочку нюхали. Гаспар достал записную книжку, сверился с записями и тоже

кивнул.

— Ниночка, выдержим? — спросил Федор Кузьмич у Нинели. Та закрыла глаза, обхватила колени и что-то тихо запела без слов, в китайской пентатонной гамме. Мелодия повторилась несколько раз, потом пророчица открыла глаза и посмотрела на старца.

— Граф тебе по чину переподчинен, ты его со службы не увольнял. Вот пусть и бережет царевича. Восемь лет всего... Только прыжкам в воду запрети царевича учить. А остальному пусть учит, здоровья он кому хочешь одолжить от своего может..

— Так я и думал. Снег там долго лежит, но это мы преодолеем, — сказал Федор Кузьмич, снимая с глаза повязку: то ли судьбоносное решение было уже принято, то ли — что вероятней — просто надоело смотреть одним глазом. — А что Мирон туда ходит, это как?

— Мирон за Дед-Мороза вполне сойдет. Камердинер... сейчас лето, в замке тепло, все нужное можно отсюда доставлять, да там и так все есть, а кашу мальчик есть приучен. Ты реши, что с художниками делать! Мальчик-то их к себе потребует!

Федор Кузьмич побарабанил пальцами по столу.

— Проблема... Точно, проблема. А как вообще до Палинского добираться, кто-нибудь знает? Гаспар открыл записную книжку.

— Селезень, — прочел он неспешно, — двупроточная река. Вытекает из озера Мурло, впадает в Рифей. А также вытекает из Рифея, впадает в Мурло. Движение старинное, левостороннее. На берегу Мурла — сектантский город Триед, населения по последней описи одна тысяча двести пятьдесят один житель, из них одна тысяча сто три сказались почитателями тройной буквы «Е». Евреев двое. Иных вероисповеданий не замечено. К тому же городу приписан вовсе дикий человек по имени Дикий Оскар, кроме того известный мужик Ильин, тоже дикий, и еще камердинер его сиятельства графа Суворона Палинского, имя... не записано. Единственным лодочником, никогда не потерпевшим ни одной аварии при плавании по Селезни из Рифея и обратно считается Астерий Миноевич Коровин, ныне разжалованный и смещенный со своего места, проживает по адресу...

— Это ж дед Астерий, сосед! — не выдержал Гендер. Все поглядели на него с укоризной. Гаспара Шероша умные люди не перебивают. А те, кто перебивают — не умные люди. Но Гаспар сам сообразил, что адрес соседа на Саксонской знают и без его записей.

— А к Палинскому... того... ну, разбойники... были когда-нибудь? — любопытствовал Федор Кузьмич. Гаспар перелистнул ползаписной книжки, но на нужное место попал сразу.

— Козьма Федотыч Веревкин. Лето от основания Киммериона... не записано, точную дату потом проверю. Знаменит умением выпивать заветный ковш и в том ковше исчезать. Изловлен графом Сувором Васильевичем при попытке кражи столового серебра и сброшен прямо в озеро, где подобран бобрами и передан почти полностью всеми частями господину Вергизову для дальнейшего употребления, буде таковое возможно. Дальнейшая судьба неизвестна. Потай

Солонеевич Опня, разбойник. Изловлен... извините, бумага стерлась, карандаш плохой попался. Сброшен... Передан... Ну, тут все то же самое. — Гаспар закрыл книжку. Четыре случая за последние почти двести лет. Все четверо пойманы и сброшены. Результат... ну, летальный результат. Две версты лететь, а потом обратно взбегать пока что кроме Палинского никто не умеет.

— Совершенно ненужное умение, — ответил Федор Кузьмич, — кстати, вы, господин академик, упомянули кого-то мне неизвестного. Кто такой дикий мужик Ильин?

Гаспар почему-то смутился. За него ответил гипофет.

— Дикий мужик Ильин, по моим данным, единственный автохтонный житель Киммерии, живет здесь дольше, чем киммерийцы. Является на берегу Рифея при впадении ручья Уй семью верстами выше Селезни и орет. По дальности ото всех прочих возможных мест проживания теоретически числится жителем Триеда. По национальности, возможно, вогул. Но внятных звуков не произносит. Последний раз видан...

— Интересно... Скажите, Веденей Хладимирович, а почему я о нем никогда не слышал?

Веденей наконец-то засмеялся, впервые с тех пор, как пришел к нему на Витковские выселки академик, с тех пор, как говорить ему пришлось больше по-киммерийски, чем по-русски, а занятие это утомительное.

— Вы о нем слышали, Федор Кузьмич. Выражение «Нужен ты мне, как Ильин» знаете? — Любимая ругань Гликерии Касьяновны. Но я не думал...

— Вот именно. Это он и есть. Посмотрите в «Занимательной Киммерии».

Смотреть в книгу в присутствии автора было неловко, но пришлось. Там значилось:

«ИЛЬИН — дикий мужик. Эвфемизм. Употребляется вместо ругательства. Иногда плавает в корыте и гребет ложками. Изображен у Босха на известной картине».

— А зачем он гребет ложками?

Гаспар покраснел.

— Видите ли, Федор Кузьмич... Ильин ведь никому, ну решительно никому не нужен. Ему это не нравится, обратить внимание на себя хочется, ну... он тогда садится в корыто и ложками загребает... Да не надо про него думать, он безвредный, от него даже польза когда-то была, говорят...

— От него еще много вреда будет. Но это потом! Потом! — сказала Нинель, словно бы рассердившись, — Ехать скоро, Федор Кузьмич. Нужно просить хозяина, чтобы через архонта нам соседа с лодкой на два дня предоставил. По этой Селезни кроме соседа никто не проплывет, а он... пониженный в должности из-за того, что его бобры невзлюбили. Архонт на прямой конфликт с бобрами не пойдет, словом... Словом, в городе скоро архонта менять придется. Хотя на этот раз еще сойдет...

Гаспар спрятал записную книжку. Гипофет достал перчатки. Ясно было, что они готовы уходить, но Федор Кузьмич сделал какой-то жест, по которому всем

стало ясно: старик совещание оконченным еще не считает.

— Сегодняшнюю беседу слышали только мы. Направленных микрофонов и прочей гадости в Киммерии пока нет. Но я полагаю, что факт покушения на мальчика, попытки его похищения... даже если судьи знать не знали, что речь идет об... особом мальчике... Словом, в Москве кто-то уже знает, что особый мальчик — здесь. И попытки будут продолжаться. Чего нам ждать? — вопрос был обращен прямо к Нинели.

— Похищений, Федор Кузьмич. Точнее, всяких покушений на похищения. Шантаж тоже будет, стрелять будут, танки-пушки поедут... и не приедут, и всё по дури, по дури — не выйдет ничего. Была щука на яйцах — будет щука под яйцами, змея такая... Ох, не хочу я, Федор Кузьмич, туда глядеть, глаза бы мои не глядели — такой мальчик хороший... Хоть бы пальцы были у него здешние — все бы дольше в Москву не забирала. А заберут, сам себя заберет... Царь Киммерийский.

Последние слова упали — словно булыжник с горы. Нинель замолчала, видом своим являя крайнее истощение. Федор Кузьмич понял, что перегнул палку и отнюдь не старческим голосом заорал:

— Доня! Иди с нашатырем, полотенце мокрое неси! Нине полежать надо, на лоб ей мокрое холодное полотенце положи, на шею горячее, на сердце холодное, на ноги тоже горячее, да горчицей, горчицей его пропитай, чабрецу завари, лимонника выжми, донника накапай, пустырника добавь!..

Выполнить все это в одиночку было очевидным образом невозможно, но Доне еще и не такое иной раз случалось творить, за одними словами она умела в замочную скважину слышать другие. Старец, академик и гипофет остались втроем. И долго смотрели друг на друга.

— Да, — после тягостного размышления сказал Федор Кузьмич. — Это мы решили напрасно. Никакой уверенности у нас в этом быть не может. Хуже того, более чем вероятно уверенность в обратном. Ничего не остается... Вы не возражаете?

Старик закатал рукава и положил жилистые, покрытые редкими седыми волосами руки на стол перед собой — расслабленно, безвольно. Потом руки обрели отдельную жизнь: правая взлетела, указательный палец как револьверное дуло указал на все четыре угла потолка, на окно, на углы стола, потом — на левый и правый глаз старца, после чего левая рука заслонила оба глаза. Федор Кузьмич протянул обе руки перед собой и правой изобразил что-то вроде продления пальцев левой, он предлагал — поскольку боялся прослушивания — перевести разговор на киммерийскую азбуку жестов, язык не менее тайный, чем минойская пиктография. Гаспар удивился, но рукава тоже закатал. Руки Веденея как птицы из клетки выпорхнули из складок плаща и изобразили над столом что-то вроде танца маленьких лебедей: так гипофет выразил свой восторг, что еще и эта секретная знаковая система наконец-то пригодилась.

Мизинец Федора Кузьмича поклевал по столу, как цыпленок, потом совершил спиралеобразное движение очень высоко вверх. Гаспар с сомнением вывернул ладони и потер их тыльными сторонами. Федор Кузьмич парировал простым

указанием в сторону комнат хозяина: хотя путешествие по двуснастной реке Селезни для лодочника Астерия и было запретно, но Подселенцев должен был этот вопрос уладить.

Руки Веденей вновь запорхали. Он погладил воображаемую бороду (признал наличие опасности), затем щелкнул указательным пальцем о внутреннюю часть сустава большого, словно сбрасывая пушинку (ничего, справимся). Потом приложил мизинцы к ушам — попросил извинения, высунул язык (указал на наличие еще одной, более серьезной опасности), потом изобразил нечто вроде завинчиваемого шурупа, ткнул левым указательным между указательным и средним на правой руке, что в сочетании с предыдущим знаком означало — «арбалет». А поскольку потом Веденей погладил себя по лбу и по зубам, никаких сомнений не осталось: при впадении-выпадении Селезни в/из Мурло/Мурла имеется стража бобров, вооруженная арбалетами.

Федор Кузьмич ответил знаком, понятным во всем мире, пошевелил пальцами, слово пробовал качество материи. Да, конечно, от бобров проще всего было откупиться. Потом он последовательно отжал от ладони все пять пальцев на левой руке, держа поднятым указательный палец левой и шевеля левым же мизинцем. Соответственно, цена зависела от того, сколько народу будет в лодке, не считая мальчика (указательный палец) и рулевого (шевелиющийся мизинец). Веденей сложил два мизинца вместе, а потом чиркнул себя по горлу трижды: за Астерия придется платить как за троих, иначе — хана. Федор Кузьмич подумал, ткнул пальцем в грудь себя. Собеседники кивнули.

Вопросительно показал на Веденей, тот помотал головой, затем пальцами нарисовал в воздухе треножник, а над ним — клубы дыма. Он не мог оторваться от гипофетской работы. Гаспар согласно кивнул, положил руки к себе на плечи накрест и поклонился, выражая согласие ехать, но потом переместил на бицепсы, раздвинул на ширину чего-то вроде слоновой ноги — и резко откинул голову назад, выражая вопрос.

Федор Кузьмич только губами сделал «О»: никто Варфоломея и не спросит, поедет как миленький. Но Гаспар обвел рукой вокруг шеи (рабский ошейник) и показал в сторону хозяйской комнаты: как-никак владельцем раба Варфоломея был старец Роман. Веденей улыбнулся и покрутил пальцами у висков: это был вовсе не знак того, что старец рехнулся, этим движением обозначались «пукли» парика, иначе говоря — сам граф Палинский, а его кто ж в Киммерии не уважает? Граф Палинский, наследник породистых столбовых дворян, владел высокогорным замком, торчавшим из тумана, скрывающего Киммерию, столь давно, что казался одним из основателей города, хотя вообще-то его замок располагался вне объема Киммерии, он находился над ней. Но даже Вечный Странник Мирон Вергизов не считал зазорным таскать в замок на собственном горбу ежегодные подарки киммерийцев. Великий Змей позволял Палинскому прыгать через свою спину в озеро и взбегать вверх по тропке в две версты длиной. А что к ношению парика Палинский привержен, так едва ли это самый большой грех на свете.

Тут у Федора Кузьмича заскребли на душе дикие кошки. На его долю выпадала одна из самых неприятных ролей: говорить с Антониной, мамой Павлика, о

необходимости временно расстаться с сыном — во имя его блага и безопасности... Федор Кузьмич пережевывал возможные для такого случая слова и сплевывал, недораспробовав, так очевидна была их непригодность. Впрочем, женщина и есть женщина, надо помнить. Если уж Киммерия перестала быть гарантированно надежным убежищем, то остается лишь замок графа Суворова Палинского. Дальше и надежней места просто нет. Весь последующий разговор Федора Кузьмича с Гаспаром и отчасти с Веденеем, помогавшим изображать особенно сложные знаки то той стороне, то другой, проходил на языке жестов, и его подробное описание заняло бы многие десятки страниц, поэтому разумным представляется поместить ниже сокращенный перевод на русский — насколько такой перевод вообще возможен.

«Господин академик, господин гипофет! О том, что Павлик — наследник российского престола, знаете только вы, — прожестикнул старец, а гости кивнули, — Графа Палинского я поставлю в известность сам. Но в горах — снег. Значит, нужна одежда для мальчика. Скажите, высоко ли котировались на рынках Руси киммерийские соболя в прошлые столетия?»

«Весьма и весьма, — ответил Гаспар, — за десять шкурок киммерийского соболя, битого в глаз дробиною, конечно же, давали те же деньги, что за девять шкурок самого лучшего из российских соболиных кряжей — Минусинского. Кроме того, лишь в Киммерии изредка встречается снежно-белый соболь, раньше за год набиралось на шубу князю или княгине, теперь, конечно, того нет — это ведь сотня шкурок, не меньше. Пальто можно сшить из пяти-шести дюжин, но пальто — одежда не киммерийская. А на экспорт Киммерия мехов больше дюжины дюжин лет не продает, охотничья гильдия у нас не из богатых. Впрочем, вам про соболя все подробно мясничиха-соболятница может рассказать, ведь все запасы соболиного мяса выкупает ваш дом для хозяйственных нужд, собакам приходится есть росомашину, горностаину и прочие несъедобные мяса. Годовое производство горностаия в Киммерии большое, хотя мех этот — чистая показуха. Он даже нафталина не переносит, его хранят, представьте, непременно в мешках синего цвета...»

«Спасибо, коллега, спасибо — отмахнулся Федор Кузьмич — а что, шкурки белого соболя могут найтись в продаже?»

Академик пожал плечами.

«На них спроса нет уже давно, промысел почти не ведется. Если вас интересуют шкурки белого соболя — обращайтесь в контору «Ергак Тимофеевич и его достойные потомки» на Елисейевом Поле, они спокон веков покупают все белые меха».

— Ергак? — вслух удивился Федор Кузьмич. — Это же шуба мехом наружу!

«Это старинная киммерийская скорнячья фамилия, — ответил Гаспар жестами — Ферапонт Ергак участвовал в усмирении змееедов в одна тысяча четыреста семьдесят седьмом году. Предложил уморить сектантов голодом, переистребивши их единственную пищу — змей, а за исполнение того просил у архонта привилегию на торговлю белым металлом, наверное, серебром. Змей Ферапонт Ергак поистреблял много, но не всех, и сектанты тоже вывелись не

все, так что и привилегии получил Ергак более скромные: торговать белым хлебом, белым мясом и белым мехом. Хлеб в Киммерии, сами знаете, ячменный, а мясо белым бывает только у вареной курицы — много не заработаешь. На белое мясо рифейских раков привилегия уже принадлежала Северьяну Бессобакину, прямому предку нынешнего архонта... это, впрочем, неважно. Однако на альбиносных мехах потомки Ферапонта живут неплохо. Кстати, они же ведут торговлю белыми животными, белую кошку, если надо, так только у них...»

«Нет, кошку пока не надо, спасибо. Едва ли понадобится белый слон. Ни к чему в нынешнем положении также белый дракон...» — чтобы изобразить дракона, старцу пришлось выйти из-за стола, встать на одну ногу, вскинуть руки, скрючить пальцы, а потом изобразить ими падающий снег — символ белого цвета. Идея с покупкой для Антонины царской белой шубы нравилась ему все больше, хотя никак не мог придумать старец того, как объяснить матери царевича, что Палинский в свой замок женщин не допускал никогда и наверняка не допустит. Если все пройдет как надо, жить царевич будет в башне в спартанских условиях, а для встреч с матерью спускаться в Триед, скажем, раз в неделю. Да и то опасно.

Вошла Нинель, за ней — Антонина. Обе напоминали львиц, только первая — пострадавшую в схватке и потому притихшую на время, вторая — полную свежих сил, разъяренную. Разговор у них, похоже, не получился. Антонина с самого первого дня знала, что в Киммерии вместе с сыном она лишь время переживает. Потому что в Москве — опасно. Но про то, что и в Киммерии может стать опасно, ей за все годы никто слова не сказал! Эдак она и сама бы могла!.. На столько лет от любимого мужчины!.. Она же мать наследника, почти царица, или нет?.. Или просто Тонька из Ростова Великого, тьфу, никто? Она мать наследника или не мать? Не мать? Не мать? Не мать?..

— То есть как это... То есть как это... Это как это?.. Это здесь-то ненадежно? Тогда где надежно? Я спрашиваю — это как это?

— Что — как, Тоня? Мы полных шесть лет уже торчим на островах, никуда ни разу не ездили. Мальчику нужно где-то бывать, мир смотреть. Киммерия — вовсе не один город. Да ты что, в конце концов, думаешь, что я за него меньше твоего боюсь? Ты — мать, не спорю, но я-то... — Федор Кузьмич страшно закашлялся, сел к столу, потом с трудом произнес: — Я-то все-таки тоже ему... не чужой.

Тоня бросила взгляд на Нинель: та, видимо, что-то сказала не совсем совпадающее со словами старца, и Антонина не знала, кому из святых верить. Гаспар, оказавшись свидетелем не предназначенной для него сцены, смотрел в окно. Веденей смотрел только на пророчицу, не в силах сдержать профессиональный интерес. Нинель находилась в сильнейшем трансе, и едва ли видела присутствующих, хотя переводила взгляд с одного лица на другое, даже Антонина притихла вдруг, услышав то самое бормотание, с которым шесть лет назад увела ее пророчица с подмосковной пьянки, свидетелем чего был только безымянный ручной лось:

— Павел Павлович, Алексей Павлович — зови, зови, беда от мальчика ушла,

что батюшка тебе назвать не дал, большой человек будет батюшка, главный тут человек из ваших... Ну ладно, Иса-пророк великий пророк, кто в это не верит, того в мечеть пускать не надо, а ты ведь и не увидишь, как Павлик мечеть главному городу подарит, добрый Павлик, добрый, добрый, ему имя будет Павел Добрый, потому что подарки любит делать, а дальше больше. Обязательно ему идти за Уральские горы, я ж говорила, три с половиной сажени целых уйти надо за них — и безопасно будет, нельзя ему девять лет перед Уральскими горами быть, можно за горами...

— Она описывает ломберный зал Палинского, — шепнул Шерош, — там стол в двух частях света стоит. — Но Нинель, не слушая его, продолжала:

— В конце мая по здешнему как раз девятое сентября. Ты не бойся документов, они как заяц линять умеют, чтоб на снегу не видать было. Именины у него будут на десятое сентября, на Павла Константинопольского, да ладно, Василиса вон все сорок дней в году с гостинцами приезжает — на трамвай сядет у караван-сарая, до Елисеева поля доедет, а тут пешком недалёко. Беречь надо парня! Белый цвет парню нужен, белый цвет! И тебе нужен белый. Иначе не сбережешь. Иначе с воздуха видать кому не надо видать. Пусть картинки с собой возьмет туда, под белы облака, и художники с тобой катаются пусть, — граф тогда исключение сделает, если женщины обе православные и приходиться будут за руки. Ты Верку-то держи правой рукой за левую, не то она рисовать не сможет... А картины ее денег, денег, больших денег стоят, пока ничего не стоят, а потом ужась дорогие станут, они с мужиком успевать рисовать не будут...

Антонина явно успокоилась: давно она не слыхала этого тихого, гипнотического бормотания Нинели, в прежние годы заставлявшего ее совершать самые противоестественные на первый взгляд поступки, оказывавшиеся спасительными при взгляде втором. Пройдя пешком от Подмосковья до Киммериона, она лишь поначалу восприняла краткое лодочное путешествие по Рифею и Селезни на юг — как трагедию. Никто Павлика не забирает... Никто не забирает... Все будет хорошо... Будет хорошо... Непременно Верку за правую руку... За правую руку...

— Гаспар Пактониевич, — послышался голос Дони из коридора, — Вас к телефону просят. Сказывают, неотложной важности дело. Сказывают, неприятности вас ждут, если...

— Сейчас, — сказал Гаспар, — Я к телефону подойду. Неприятностей не будет. Это моя жена на стол накрывает. Сейчас. Федор Кузьмич, вы сможете подтвердить, что я участвую в неотложном консилиуме?.. — Получив утвердительный кивок, Гаспар печально удалился в гостиную, где намертво был привинчен старинный телефонный аппарат.

Веденей тоже встал. Иной раз и за год стояния на рабочем месте ему не удавалось выловить в воплях сивилл столько точно предсказанного будущего. Его успокаивала мысль — не догадка, а точное, потомственное знание семьи гипофетов в тридцать шестом колене — о том, что сивиллоподобные женщины мыслей читать не умеют, и наоборот. Впрочем, ничего худого он сейчас не думал, кроме того, что из-за несвоевременного появления за обеденным столом Гаспара Шероша, глядишь, погибнет если не человечество, то Киммерия. Один

знающий человек на всю Киммерию, так и над тем начальство. Веденей никогда жену Гаспара не видел, но знал, что вот уже лет тридцать она грозит академику разводом, если он к обеду начнет опаздывать. Киммерия — страна небольшая, все знают всех, и все знают про всех — всё. Или многое, притом чуть ли не всё — лишнее. Веденей между тем не хотел, чтобы пророчица разговаривала в отсутствие академика. Гипофет и академик слышали и видели как бы два разных уровня слов, из понимания которых в совокупности только и можно было что-то выловить вразумительное. Слишком уж оторвалась Киммерия от остального мира. Скоро придется идти во Внешнюю Русь, понять ее, вернуться и привести умы соотечественников в равновесие с Вселенной, — глядишь, обретет Киммерия еще шестьдесят лет покоя. Ну, не покоя, так хоть ясности в мозгах. Прошлый «пониматель» вернулся под Новый сорок девятый год истекающего столетия, — так что до того дня, когда архонт призовет Веденей и скажет: «Иди и пойми!» — есть какое-то время все-таки.

Веденей дождался смущенного академика, вместе с ним откланялся. Академику переулками до его казенной квартиры на Петрове ДOME было минут двадцать, гипофету на дорогу поперек города, если пешком, то не меньше часа. А если лодку нанимать, то с учетом всех извилин и необходимого путешествия вокруг огромного острова Елисеево Поле — вдвое дольше, притом еще и дорого. Гипофет выбрал пеший путь, но сперва-таки проводил торопящегося академика, пользуясь возможностью перебраться несколькими фразами на старокиммерийском.

— Новый-княжич-благополучие-девять-лет? — Веденей использовал сложносоставное слово в благонадеющемся падеже.

— Второго января. Двадцать первого октября. — Гаспар ответил по-русски, и Веденей его не сразу понял. Потом сообразил, что Гаспар всего лишь назвал немногочисленные дни, когда церковь празднует Святых Гаспаров. В обратном переводе на киммерийский получалось: «Чтоб я так жил!» Веденей усмехнулся. Virtuоз академик, да и только! Правильней, конечно, было бы перечислить сорок дней, когда празднуется имя Павла, но... коротка дорога от Саксонской до Академии.

Тем временем старец Федор Кузьмич просил об аудиенции старца Романа Миньча, и аудиенция была ему дана. Патриархи долго совещались, давно уж и стемнело, когда все детали были обговорены и последние неудобства утрясены; лишь после этого, в седьмом часу вечера, выполз Роман в гостиную и снял трубку телефона. Номеров он набирать на любил, накрутил ноль — коммутатор канцелярии архонта — и потребовал в трубку:

— Марусь, позови мне, кто там нынче главный лодочник. Яшку не зови, он глупостей наговорит. Приказывать я сам буду. Я, говорю, приказывать буду! Сам! Вот так-то. Не стрелочник, а лодочник. Главный. Не твое дело зачем. Да, сию минуту, Не бойся, будет как миленький. А где — это ты знать должна. Вот. Ищи. Я жду.

Камнерез надолго замолчал, грустно уставясь на каминную полку, где среди прочих мелочей, вырезанных им в молодые годы, лежала длинная, обкуренная трубка из рифейского родонита. Он уже четверть века не курил, но вид трубки

вызывал смутное желание... все-таки, может быть... да нет, из-за такого пустяка в могилу на Сверхновом? Рано, рано. Вон, оказывается, какой он теперь нужный человек, как пригодились его связи и знакомства. И ведь полдекады целых под одной крышей прожили, а поди ж ты — даже и не догадывался, что малыш — наследник престола! Впрочем, было же пророчество, что единожды будет царь на Москве взят Саксонский! Кто бы подумал, что царя в честь набережной назовут!..

В трубке зашуршало, забасило, загукало. Подселенцев поднял очи горе и вновь заговорил, собеседника совершенно не слушая.

— С утра, значит, Коровин должен подать прямо к дому. Поедет по городу и из города, на Селезень и на озеро, потом назад. Оформись на весь день. Оплата через архонта, по срочной ставке. А я не спрашиваю, какая там ставка, я тебя вообще не спрашиваю. А и не хочу знать. То есть как Матвей? Ты ж умер в пятьдесят восьмом! Нажрался лиловых рыжиков, отравился и умер, не выходили тебя, я сам к тебе на поминки приходил, как сейчас тебя в гробу вижу! Нет, и сейчас тоже в гробу. Тебя, тебя. Ах, внук... Ну, тем более! Тем более в гробу! Слушай, я тебя самого сейчас на весла усажу! Одно весло? Почему одно? Кормовое? Кому на корм, зачем? Ах, рулевое! Тем более. Статую? Приходи да смотри. Видел? Да как я тебе отдать могу ее, не моя же она! Был бы я моложе, сделал бы тебе копию. Нет, если тебе копия нужна — ты б с этого начинал. Только теперь? Да нет, и раньше мог попросить, еще в пятьдесят восьмом, как умер — сразу б и попросил, я на поминках никогда не отказываю, руки у меня тогда замечательные были... А, ну, Дидим пусть режет... А заплатит Яков, из специальных денег. Я ему покажу, как не заплатит! Слушай, язык без костей, трепаться хватит. А? Я тебе не семга на рынке! Не семга, говорю, семга любит торговлю, а я вот не люблю. И попрошу! Как будет нужно, так и попрошу! Он мне сосед, сочтемся. Не обижу. Чай, свои люди, короче. Вот именно! Ну, давно бы так...

Старик устало положил трубку на рычаги.

— Соловей дедушка, ну чисто соловей... — прошептала Гликерия Федору Кузьмичу, — весь монолог старика она слушала как завороженная.

— Что ты, милая, — ответил старец, — соловьев много на свете, хотя и дорогие они птицы, правда, и поют красиво. А дедушка твой мог бы великим политиком стать. Хорошо, что не стал! Каких прекрасных вещей за жизнь понаделал! — Старец показал на полку над камином. Взгляды старцев пересеклись.

— А что, кум, — сказал Подселенцев, неожиданно обращаясь к Федору Кузьмичу по-киммерийски, по-семейному, — Пока там вещи уложат да все длинные дела закончат, не разложить ли нам «Рачий холуй» в четыре руки, такой наш краткий пасьянс, в одиночку два дня занимает, а вдвоем сколько же, а?

От подобных предложений отказываться не следовало никогда, слишком мало радостей было у камнереза в его затянувшейся жизни. Про пасьянс с подобным названием Федор Кузьмич слышал впервые, но вспомнил, что Рачьим Холуем называется отмель в низовьях Рифея, где тот, разделяясь на два рукава, впадает в Кару; на отмели круглый год живут рифейские раки, чью клешню тоже можно

изобразить картами на столе, словом, никаких больших сложностей от пасьянса приглашенный не предвидел. Старцы отдали распоряжения на вечер и ночь, потому что лодку Астерий должен подать к шести утра, когда мальчик еще спать будет, и удалились к Роману раскладывать неслыханный пасьянс в четыре руки. Нинель была занята оцепеневшей от свалившихся новостей Тоней и ее мирно заснувшим после прогулки сыном, так что все сборы свалились на Дону и Варфоломея. Гендер, покормив рабов и приняв у них пять баночек на анализ, присоединился к сборам.

В половине первого, когда Архонтов Шмель давно уже возвестил о наступлении нового дня, Федор Кузьмич вышел от хозяина: «первая клешня» у них сошлась, по этому случаю Роман затребовал графинчик бокряниковой и что-нибудь легкое на закуску. Пришлось будить Гликерию: шкафчик с настойками она блюла замком особой невскрываемости, хотя любителей прикладываться ночью к горлышку в доме не водилось. К часу ночи в доме — кроме Павлика — не спал ни один человек. Федор Кузьмич, прежде чем уйти раскладывать «вторую клешню», строго сказал Гендеру:

— Завтра, Пол Антиохович, к десяти утра идите в контору «Ергак Тимофеевич». Пусть подберут шубы из белого соболя. Мальчику, Тоне, словом, пусть отдадут, сколько есть — мы решим, кому. В горах снег ведь. Вы им не объясняйте, но шубы нам нужны, шубы... Защитного цвета шубы должны быть. Ну, вы понимаете.

Гендер понимал, он еще не такое понимал. Он боялся, что в самом скором времени дому на Саксонской понадобится еще много чего защитного, что белые соболя шубы — только начало. Прикинул в руке на вес родонитовую трубку работы мастера Подселенцева и положил ее назад на полку. Вес его вполне удовлетворил: в случае чего этими пятью фунтами... Да в нужное место под правильным углом... Не таким еще оборонялись. И вот — до сих пор — сходило с рук. На всякий случай Пол Гендер, саксонский наймит, перекрестился офенским крестом, как крестились все киммерийцы, если предчувствовали худое.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 18

Евгений Витковский

XVIII

Бобра б я, пожалуй, съел.

Анджей Сапковский. Кровь эльфов

Город, стоящий на сорока островах, обречен зависеть от своих мостов: каменных, деревянных, цепных, понтонных, проезжих, пешеходных, трамвайных, — последних особенно, ибо, хотя линия трамвайная в Киммерионе всего одна, но длиной она в тридцать пять верст, и без нее с Рифейской стрелки на Лисий Хвост добираться будешь не два с половиной часа, а как бы не два с

половиной дня. В семи местах вползает трамвай на мост и сползает с него, пять мостов из семи сложены прочно, очень давно, еще в княжьи века, из блоков рифейского гранита, привезенного с верховий великой реки. Еще у двух мостов судьба особая.

Чтобы перебраться с главного острова Киммериона, с Елисеева Поля, на другой остров, тоже довольно-таки значительный — Куний, нужно как-то миновать втиснувшийся между ними островок, с незапамятных времен именуемый Серые Волоки. Трамвай первым вагоном въезжая на этот остров, третьим вагоном находится еще на Елисеевом поле, а когда последний вагон съедет с этого моста, то первый уже оказывается посредине горба следующего моста, совсем немного не дотягивая до Куньего берега, до места, знаменитого своим древним названием — Срамная набережная. Два моста на Волоки — северный и южный — никто в Киммерионе не зовет иначе, нежели Сволочь Елисейская и Сволочь Кунья. Кроме пешеходной дорожки и собственно трамвайных путей остров не вмещает на себе почти ничего. Мосты, наведенные высокими горбами, занимают гораздо больше места, чем надо бы, и знающий человек старается ближе к ночи на этих горбах не оказываться.

«Мост» по-старокиммерийски звучит красиво: «колоша». И так сложилось в городе, что немногочисленные городские сомжи (иначе говоря, те, кто «С Определенным Местом Жительства») предпочитают ночевать именно под этими мостами, оттого в городе их зовут «колошарями», или же Сволочью Серой. За второе название, считающееся ругательством, можно по первому разу отделаться штрафом в полмёбия, но на второй раз штраф будет ушестерен, а по третьему разу можно залететь и под конфискацию имущества в пользу оскорбленной гильдии. Ибо бездомных колошарей объединяет гильдия, называемая колошарской: добровольно отказавшись от права голоса в архонтсовете, колошари тем не менее сохранили за собой все прочие права «гильдии бедной».

В полночь ударяет на Кроличьем острове колокол, трамваи останавливаются, дежурные магазины закрываются, и ни один добропорядочный киммериец носа наружу не кажет: трудолюбивый Киммерион ночной жизнью не живет, разве что свадьба у кого, либо медицинская потребность, что в принципе одно и то же. Ни-ни, комендантского часа в городе нет и быть не может, однако по ночным улицам ездит не больше двух десятков машин, столько же пароконных извозчиков, еще той же гильдии два десятка велорикш — а кроме перечисленных только «воронки» ночной стражи. К двум часам ночи исчезают и они, по зимнему времени даже Гаспар Шерош не пойдет бродить дальше сквера между своим домом и Академией. В это время в городе оживает лишь одна гильдия, спящая днем — колошари с Серых Волоков, киммерийская «серая сволочь».

Напрасно Пол Гендер полагал, что гильдия наймитов в совете гильдий — распоследняя: он не учел те многочисленные гильдии, которые от членства в совете отказались давно и прочно. Таковы могильщики, судебные очевидцы, щетинщики, шелушильщики, замазочники, старьевщики, журналисты «Вечернего Киммериона» и колошари. Стороннему слуху такой список кажется

странным, но тот, кто чинит сломанное по ветхости, скупает изношенное, шпарит кипятком свиную шкуру, а потом снимает шерсть, кто имеет дело со всем, что изначально плохо сделано или потрепано и больше не годится в дело — в рукастом и мастерушем Киммерионе последний человек. Ну, конечно речь идет не о мостильщиках, не о точильщиках, не о чеботарях и не об укусниках, не о букинистах и не об антикварах, — все перечисленные просто входят, как подгильдии, кто — к строителям, кто — к дорожникам, кто куда.

Колошари, немногочисленные киммерийские туняядцы, стоят совсем особняком. Ушел от жены и переночевать негде? Иди под мост к колошарям, всегда поймут, дадут выпить и рукавом тулупа — занюхать. С вечера не запасся, а хочется продолжить? Иди к колошарям, у них всегда бутылка-другая не самой худшей перегонки найдется. Душу отвести с кем? Бери бутылку да иди к колошарям, они сочувствовать умеют как никто другой. С другой стороны, что делать бобру, золовку которого обмычал похабными мыками стеллеров бык Лаврентий, переплывая пролив между Миноевой Землей и Бобровым Дерговищем? Берет такой бобер за щеку мёбий или два, и шлепает к колошарям. Дня не пройдет, и сам объявится Лаврентий к Дерговищу, с преотменной вежливостью извинится. Как того колошари киммерионские добиваются — их секрет, и далеко не единственный. Колошарей лучше уважать. Даже почтенные вдовицы со Срамной набережной с ними не ссорятся никогда, хотя со всем остальным городом ссорятся регулярно. Что с них взять... вдовы! Впрочем, у них тоже своя гильдия. И, как ни странно, от представительства в архонтсовете вдовы никогда не отказывались. Харита Щуко, владычица гильдии, хоть зашла объятностью за полтора киммерийских объёма, одиннадцать раз в киммерийскую неделю ездит на Архонтову Софию и выражает мнение. В двенадцатый день нанимает лодку и плывет париться на Землю Святого Витта. И многим другим знаменита Харита со Срамной набережной, что на Куньем острове, слова худого о ее толстоте никто сказать не смеет. И знаменитая в банях мозольная операторша кирия Мавсима никому говорить такого слова не посоветовала бы, хотя она-то со своими инструментами точно никого на свете не боится. И это при том, что одной лишь Мавсиме на весь город дано умение пожары унимать!..

Интересно, что среди людей-колошарей с давнишних пор почти всегда обретались бобер или два, облезлые, безродные либо же принадлежные к свински захиревшему роду Равид-и-Мутон. Безучастные к делам Срамной набережной, робкие и флегматичные — в отличие от наглых сородичей с Обрата и Дерговища — они спали целыми днями в дальних углах под мостами на Волоках, и плевать им было на трамвайный грохот и на малопонятную, чисто киммерийскую угрозу колошарей: «В сивиллы забодаю!» Одно-единственного наказания не опасалась ни одна киммерийская бобриха: в сивиллы их не определяли по неспособности говорить гекзаметрами (а переводить язык жестов в гекзаметры отказывались гипофеты). Опустившиеся равид-и-мутонши могли не бояться здесь и за свои шкуры, — бобровый мех был в Киммерии такое «табу», что лучше уж было содрать кожу с кого-нибудь из стражников Лисьей Норы. С полдюжины стражников, сказывали, однажды

хотели с кого-то из гипофетской семьи шкуру содрать — ан с них самих семь бобровых сняли! Легенда о том событии грела сердца мелкопреступного киммерийского элемента, жившего под мостами на Серых Волоках. Крупные же преступные элементы давно были в Римедиуме.

Из заведения Хариты Щуко, добросердечной вдовы, бывало, гостей выкидывали и среди ночи — если те, к примеру, начинали драку самоварами или требовали, скажем, кочергу для битья по зеркалам, телеэкранам или же головам добродетельных вдовушек-соседушек. Гость в этом случае мог остаться лежать в бесчувственном виде — тогда его подбирал «воронки» городской стражи; мог неудачливый гость попробовать встать и дойти домой, рискуя все тем же «воронком», а мог и уползти под мост, зная, что такой вид услуг, как оказание первой помощи вплоть до опохмеления наутро, колошарями охотно и даже в долг предоставляется; по этой причине среди отцов города у колошарей имелось немало верных друзей. В южном «гараже» моста Куныя Сволочь было оборудовано «теплое депо». Вообще-то Киммерион благодаря подземному теплу город не холодный, но зимней ночью Реомюр может опуститься до минус двадцати, а этого вполне достаточно, чтобы после драки самоварами остыть до той же температуры и самому, на чем земные дела человек может считать законченными. Почти добровольной обязанностью колошарей с давних пор было то, чтоб ни с кем на Срамной набережной такого не приключилось. Хорошо заушья растереть, разжать кочедыком зубы пьяному, положить на язык свежего дерьма прямо из-под курицы (никакое иное сильнее не воняет, кур своих содержать приходится), отследить, чтоб проблевался, промыть ему рожу, дать поспать в тепле да опохмелиться под маринованный огурчик нежностевского засола, либо же под соленый гриб триедского маринования — еженощный труд колошарей. Но до дому они не провожают никого и никогда. Кто под мостом — тот под их защитой. Кто не под мостом — тот, значит, против! И оттуда, видать, пошла древняя киммерийская пословица: «Кто не под мостом — тот против моста!» Иной теории не сумел отыскать Гаспар Шерош, а кроме него никто смысла этих слов не доискивался. И это при том, что почти все посетители вдов Хариты смысл этих слов хоть раз да постигли на собственной шкуре.

Но эта зима выдалась на диво теплая, и Рифей не встал вообще: горячие ключи на Земле Святого Витта и на Банном Острове лишь добавляли тепла к водам, нагретым источниками Верховий. Пешком по льду нельзя было погулять даже за Мёбиями, даже за Крилем Кракена, лишь у Рачьего Холуя лед был тверд, раки на отмели — сонливы, а военно-караульная молодежь в миусских руинах коротала полярную ночь, переходя то с зелья на зернь, то с зерни на зелье. Офени были тихо довольны: теплая зима предвещала землепашцам Верхнего Рифея недород ячменя, соответственно прирастала цена приносимой офенями пшеничной муке, — однако запас молясин в Киммерионе, на которые офени тратили свои мучные деньги, едва ли мог от этого иссякнуть. Да и вообще заметной роли, кроме как на церковные праздники, хлеб в Киммерии никогда не играл. Но, с другой стороны, нешто есть в году день, когда церковь чего-нибудь не праздновала бы? А киммерионцы — даже колошари — почти все люди

глубоко верующие, исконно православные. Три раза в неделю под северный мост, под Елисейскую Сволочь, приходил даже батюшка из церкви Святого Ангела: совершить кой-какие требы, а то просто с мирянами побыть и заглянуть в их души. Но просты и чисты (как правило) киммерийские души. Человечьи. В бобриные не заглянешь.

Утро в Киммерионе, городе мастеровом, — раннее, а в седьмом часу утра после весеннего равноденствия уже почти светло. Тем более во второй день Пресвятой Пасхи, в этом году совпавшей с Презднованием именин святого Давида Рифейского. Лодок, идущих протоками между островами Зачинная Кемь и Елисеево Поле, немного, и ни одна не свернет направо, на юг, там в протоках сплошные бобриные плотины. Плывут эти лодки налево, огибая Миноеву землю, а дальше — сообразно надобности: к Архонтовой Софии, к Зачинной Кемь и малому Еремитному острову, либо же дальше нужно оставить по левую руку острова Неближний, по правую — Миноеву землю, и выходишь прямо к Земле Святого Эльма, а к юго-востоку от нее, заметно правее, в Рифей впадает (из него же выпадает) двуснастная Селезень. Именно такой путь, похоже, собиралась избрать тяжело груженная лодка, подошедшая темным и мокрым апрельским утром под мост Елисейская Сволочь. Тут редко кто задерживался, — рулевой однако же пришвартовался к подобию причала. Освещения не было, но на корме самой лодки болтался солидный и дорогой фонарь, образца «дракулий глаз».

Рулевой, высокий и сухой мужик в прорезиненном балахоне, как и положено, с места не двинулся. Вместо него из лодки вышел юный богатырь с непокрытой головой, тихо свистнул сквозь зубы и сказал, что надо:

— Выдь, кто хотца. Дела есть ба-альшая.

Мост был Елисеев, северный, так что «дела» тут была явно не об выпивке. Значит, требовался «старшой», а он как раз хлебал тюрю по-рифейски, горячий квас с лучком, с крошеной кедровой галетой и влитым в последний миг стаканом водки. От такого блюда человека не отрывают, ибо градусность его падает с каждым мигом, так что вместо старшого к гостям выполз меньшей — что удивительно, не человек, а бобер. При робости бобров-колошарей это было весьма странно, но богатырь несказанно обрадовался. Голос и язык у бобров собственный, человеку этот свист воспроизвести очень трудно, но для общения к услугам киммерийцев, независимо от расы, во все века имелся язык жестов. «Заработать хочешь?» — спросил богатырь.

Бобер недоверчиво потер передние ладошки: кто ж не хочет, но своя шкура каждому дорога, бобру особенно.

Богатырь вынул из-за пояса серебряный мёбий, равный золотому московскому полуимпериалу, семь с полтиной целковых. Деньги для бобра хорошие, но старшой, кажется, уже доел свою тюрю и спешил к причалу. Оказался старшой дикого вида мужиком, и Варфоломей сразу подумал: не Ильин ли перед ним, однако вспомнил, что тот в городе не водится. Впрочем, ложка в руке старшого от завтрака оставалась. Он хлопнул ею бобра по макушке, тот обиженно пискнул и пропал в темноте.

— Гр-р-рхм-мм? — спросил мужик. В переводе фраза не нуждалась, мужик

явно интересовался: «Чего надо?» Варфоломею был нужен не мужик, а как раз бобер, но в обход гильдии киммериец действовать не станет никогда.

— Арендуй помощника мне на день. Бобра. Пусть просто сидит на носу лодки, а вечером назад приедет. Ничего больше. Это, — Варфоломей вынул второй мёбий — мосту, это, — показал он первый, — работнику.

Мужик молчал. То ли сломали ему кайф от тюри, то ли слишком много Варфоломей предлагал за труд проезда бобра, то ли — что тоже возможно — слишком мало. Нынче на мёбий можно было прокормить десяток колошарей, ну, день, не больше: год выдался дорогой. Варфоломей обернулся к спутникам. Федор Кузьмич, восседавший рядом с Антониной, согласно кивнул. Богатырь достал третий, по совету Гаспара начищенный зубным порошком мёбий.

— Еще второй мосту, раз мостов два, — миролюбиво сказал он, и добавил обычное на рынке: — Цена последняя.

Колошарь оглядел неподвижные фигуры в лодке: две женских, две мужских, высокого лодочника, на голове которого торчала остроконечная шапка гильдии, спящего ребенка на руках у женщины. Потом перевел взгляд на богатыря, еще почему-то поглядел вверх. Помедлил, протянул руку, общепонятным жестом неторопливо отогнул сперва два пальца, потом перевернул ладонь и отдельно отогнул мизинец.

«Гони два, с бобром сам договаривайся, ему — один» — гласил жест.

— А говорить не хочешь, брезгаешь? — по-рыночному забрюзжал любивший поторговаться Варфоломей.

«Он глухонемой», — просигналил снова возникший рядом со старшим бобер, — «Он даже слепой, когда выгодно. Чего делать? Мне монету тоже вперед».

Бобер был большой, но старый, выцветшая шкура висела на нем складками, одного переднего резца не хватало. Рулевой тихо засвистел. Перебивая его, засвистел еще и один из мужчин, одновременно освобождая место для бобра на носу лодки. Мужчина свистел по-бобриному на октаву ниже лодочника, долго и подробно поясняя что-то. Ошарашенный бобер плюхнулся в воду и поплыл, куда указали. Старшой удовлетворенно спрятал две серебряных монеты за щеку — даже не как бобер, а как бурундук скорее — и дал отмашку: вали. Рулевой сделал чуть заметное движение веслом, и лодка понеслась на север, огибая застроенную складами длинную и узкую оконечность острова Архонтова София.

Раньше восьми утра в Селезень войти не получалось, очень уж замешкались с погрузкой, да еще Гаспар в последнюю минуту убедительно объяснил, что без бобра плыть никак нельзя в свете мрачных отношений, сложившихся у Астерия с этой расой: в озере несут стражу арбалетчики О'Брайены, которые могут причинить множество неприятностей. Но он умел хорошо свистеть, сам же он указал и место, где нужно искать наемного бобра-ренегата: под Сволочами. Пока что путешественникам везло, во всем, кроме погоды. Тяжелая сырость налипала даже на рулевое весло, а пассажиров лишала минимального комфорта. Выбора, впрочем, не было.

Старый, почти седой бобер, нахохленно устроившийся на носу лодки, замкнулся в себе, и ничего хорошего не ожидал. Высокий и лысый пассажир,

хорошо свистевший на родном языке бобра, посулил возвращение под родной мост нынче же, но знал бобер цену таким обещаниям. Лысый спросил, как его зовут, бобер честно ответил: «Фи!» и все прочие разговоры счел лишними. Никак не прореагировал он и на то, что лодка вышла из города и устремилась к устью/истоку Селезни. Нынче на переправе излевой Нежности в Правую вкалывала лодчица с редким даже для Киммерии именем Ананья Анановна, — видать, в попытках произнести собственное имя с детства ставшая тяжелой заикой. Увидев плывущую в запретную реку лодку Астерия, она заорала от ужаса.

Астерий низким, речным басом возгласил:

— Пропусти миром, Ананья!

— Какая я тебе А... а-на-на-на... — Собственное имя застряло у лодчицы в горле, оно злобно ткнула веслом в воду и мигом упустила управление; лодка закрутилась. Астерий ехидно, никому незаметно ухмыльнулся. Понимая, что человечьи советы тут не помогут, Гаспар тихо засвистел из-за спины бобра. Нежностевцы, которых в закрутившейся лодке было человек шесть, все как один малость кумекали по-бобриному, и поняли, что сейчас произойдет. Однако Астерий пижонски крутанул лодку сперва в одном фарватере, потом в другом, выровнялся и победоносно вошел в Селезень по правильной левой стороне. Ананьину лодку, к счастью, просто снесло в Рифей, пассажиры что-то кричали вслед, и скорей восторженное, чем возмущенное. Проснувшийся Павлик тут же потребовал подарить дяде с веслом дорогую шубу, но тот отказался. Прочие в лодке Астерия тоже его искусство оценили, но по другой причине, педагогической: вся сцена прошла без единого ругательства.

— Слабо, матушка, слабо тебе на моем-то законном месте — пробормотал Астерий. Бобер глянул на него подозрительно, что-то понял, но встречать не стал. Захиревшие бобриные роды всегда были рады досадить и Мак-Грегорам, и Кармоди, и даже не особенно процветавшим озерным О'Брайенам. А этот, наемный к тому же, не без оснований ожидал чаевых.

Федор Кузьмич тем временем давал наставления Павлику, преимущественно в том предмете, как важно уважать родственников, даже дальних:

— Вот, помню, я молодой был, и вдруг получаю письмо: пишет мне дочка троюродного деда, что неладно что-то совсем в королевстве Датском, хочет назад, в Россию. А я, грех такой, все занят был, ответить все собирался — и не успел, померла тетка Катерина... А ведь своя кровь, родная! Ты, Павлуша, следи, чтоб никогда с тобой такой конфузии не случилось...

«Павлушей» мальчик разрешал называть себя лишь Федору Кузьмичу.

— Отец — это отец, дед — дед, дальше прадед и прапрадед. А отец прапрадеда — это по-нашему, по-русски — пращур. Это, помни, самый важный тебе, самый близкий родственник... из мужчин. Ну, правда, кроме родного отца у нас, у православных, есть еще крестный отец, а кроме родной матери — крестная мать. Ты, Павлуша, помнишь, как зовут твою крестную матушку?

— Тетя Вася! — звонко, на всю Селезень, крикнул малыш, которого лодочная прогулка еще не утомила, а потому сильно увлекала.

— Не Вася, а Василиса. Тетя Василиса. А крестного батюшку...

Варфоломей прятал руки в рукава, не потому, что мерз, а потому, что никому пока не хотел демонстрировать маленький, зловещий «Кумай Второй», тридцать две пули в магазине, тридцать третья в стволе. Гаспар держал раскрытой записную книжку и время от времени невероятно быстро записывал что-то бисерным почерком. Нинель покачивалась из стороны в сторону и шептала — одними губами. Федор Кузьмич вовсю болтал с мальчиком. Астерий зорко следил за течением, держась довольно близко к левому берегу. Лишь бобер по имени Фи из захудалого рода Равид-и-Мутон испытывал тревогу, он-то видел, сколько обалделых морд соплеменников, а больше соплеменниц, высовывается из воды и провожает их удивленными, опасно недобрыми взглядами.

Давно перевалило за полдень, больше двадцати верст лодка поднималась к озеру, подгоняемая противоестественным течением. Когда горы совсем придвинулись, а гладь озера раскинулась в сотне саженой по курсу, Астерий резко притормозил.

— Женщины с мальчиком — лечь на дно. Тут озерная стража. — Следом что-то просвистел бобру и тот недовольно встал во весь рост, на задние лапы, — первым лодочник подставлял под арбалеты их кровного родича. С одного взгляда фамилию не распознаешь, а обычай кровной мести у бобров никакому архонту не отменить, нет у людей такой власти.

Арбалетчики, годами дремавшие на входе-выходе Мурла, все-таки проснулись. Их было только двое, арбалетам у них тоже полагалось бы быть поновей, да и самим бы им не вредно уйти на покой. Кармоди и Мак-Грегоров они не любили, но туго помнили две из своих обязанностей: в озеро нельзя никому, потому что граф в него прыгать иногда изволит, зашибить может, и тем более никому не положено пробираться к хатке подскальной узницы, дуры Европы. Стрелять, что ли, не стрелять, что ли? Не сговариваясь, бобры решили стрелять, но — промазать.

Одна стрела в воздухе все-таки пропела слишком близко от лодки, на излете попавши в весло Астерия. Тот мельком глянул: не человеческая, наконецник деревянный, обгрызен бобриными зубами, и сделал знак, по которому Варфоломей встал во весь рост и прицелился из «Кумая» в затылок своему же впередсмотрящему, — в одно мгновение бобер-спутник превратился в бобра-заложника, что дальнейшую стрельбу напрочь исключало, Астерий знал про обычай кровной мести не хуже арбалетчиков.

— И бобру шубу! Соболью... — восторженно заорал мальчик со дна лодки. Но дедушка Федор уговорил повременить: все-таки одна шуба у дяди бобра уже есть, не так разве?

Круглое озеро Мурло не имело в поперечнике и двух верст. Следуя правилам, Астерий плыл вдоль берега, по часовой стрелке, не слишком приближаясь к отвесной скале, под которой, в довольно глубоком гроте, доживала бесконечные свои дни старуха Европа. К счастью, старуха спала, и телефон на груди Гаспара молчал. Наконец, лодка достигла настоящего причала возле будки с единственным окном. Над причалом бледной позолотой светилась надпись «ТРИЕД». Даже всеведущий киммерийский академик прибыл в сектантский

город впервые.

— А тут правда змеи? — боязливо прижимая мальчика к груди, спросила Тоня академика.

— Правда, — ответил Гаспар, перелистнув несколько страниц в записной книжке, — Вот: амфисбена уральская, фарей мурластый, ехидна рифейская, кенхр киммерийский жирный... Только вы не бойтесь их, вы же огурцов не опасаетесь, если в теплицу заходите. Змей тут берегут, разводят, особенно этого их жирного — кенхра. Вот, еще у них какой-то якул деликатесный есть, но это я уж и не знаю, что такое, боюсь, его уже и съели подчистую. Так что если где вы тут змей встретите, то только на рынке или на обеденном столе.

На берег сошли все, кроме бобра и Астерия. Городком и немногочисленными окрестными фермами, без помощи воды, на голом камне выращивающими морскую капусту, управлял некий Тарах Осьмой, сын Онисифора и Манефы, знаменитой змееедицы, — ересиарх, полновластный хозяин более чем тысячи человеческих душ, съевший на своем веку столько змей, сколько обычный человек ни в страшном сне, ни в серпентарии Московского зоопарка не увидит. В ведении Тараха находился и гелиограф — аппарат, без которого общение с замком Палинского, — а до того было несколько верст по вертикальной прямой, — не представлялось осуществимым. Гелиограф был виден с пристани: большое вогнутое металлическое зеркало глядело на восточные скалы с крыши двухэтажного строения.

Привыкший к прямым и простым линиям архитектуры Киммериона, глаз приезжего несколько терялся: каждый карниз и наличник был прихотливо выделан, причем единственной темой орнаментов были два переплетенных змеиных тела. Тут царил культ змей, в остальной Киммерии презираемый. Однако здесь был тот самый монастырь со своим уставом, полезши в который приходилось оный учитывать. Даже тройная буква «Е» над каждой дверью свивалась из трех пар змей. Дорога между домами тоже змеилась.

Лодка, покинутая пассажирами, едва покачивалась на темной воде озера, но то там, то здесь ту же воду скоро стали тревожить бугорки: бобры О'Брайены были встревожены. Отношения между сектантами и метрополией всегда были далеки от безмятежного спокойствия. А про то, что Астерий с почти незапамятных для не очень долго, в сравнении с человеком, живущих бобров изгнан с акватории «Селезень-Мурло», все местное водное население знало от младых резцов.

Покрутившись поблизости, старая бобриха с мехом цвета почти что чернобурой, седой лисы, высунулась и тонко что-то просвистела тощему ренегату, чье присутствие сейчас служило для лодки Астерия охраной. Тощий, хоть и был неполнозубым, ответил длинной руладой, в которой вовсе ни свиста не понимая на бобрином наречии, можно было опознать высокохудожественный семиэтажный матюг. Чернобурая фыркнула и ушла под воду, в ближайшие дни прогуливаться по реке ей не стоило: про немолодых вдов такое, конечно, говорят иногда, но чтобы при всех!.. И неправда это — никогда она ни с каким карасем... Тьфу-ты, расстройство одно.

Академик и старец между тем благополучно отыскали дом Тараха, на чьей крыше сверкал гелиограф, дружно взялись за дверной молоток в форме змеиной

головы и тремя двойными ударами в бронзовую доску попросили разрешения войти. Из открытой в темноту двери тяжело и подозрительно пахло помоями. Однако же в трапезную проводили без лишних вопросов. Вопросы, видимо, должны были возникнуть у гостей при виде хозяина — самого Тараха, пучеглазого мужика с бритой головой и длинными, вислыми, в форме двойных змей закрученными усами. Усы змеились ручьями возле уголков рта и уползали назад, за плечи, под уши, а на затылке были собраны в причудливый клубок. Тарах обедал, он сидел во главе извилистого, как змея, стола, посредине которого высилась колоссальная посуда с прозрачной крышкой; сквозь нее было видно шевеление множества скользких и жирных тел — как и все богатые змееды, ересиарх предпочитал свежую здоровую пищу, а может ли быть пища более свежей, нежели та, которая живая? Перед каждым из тараховских нахлебников — сидело таковых за столом не менее десятка — лежал длинный и тонкий нож для вспарывания змеиного брюха, а также перчатка из асбеста для левой руки и стоял особый бокал, об который, по древней традиции, змеед ударял змею передними ядовитыми зубами, высекая яд прежде, нежели отсечь ей голову, вспороть брюхо, выпотрошить и съесть, в яд обмакивая и на гарнир закусывая сухорастущей морской капустой. Трапеза, судя по еще не слишком загаженному полу и по шевелению в главном блюде, началась недавно.

— Яд-капуста, хозяин-батюшка! — возгласил просвещенный академик, кланяясь Тараху в пояс. Тарах выпучил и без того невпалые глаза, но также по обычаю повернул свой нож ручкой к гостю, приглашая присоединиться, сказал ехидно:

— Капуста-яд, мистр-невеглас!

Гаспар не смутился, среди его званий были почище, чем «магистр-язычник». Он снял плащ и шапку, отыскал на лавке свободное место, после чего неуловимо быстрым движением левой руки без помощи перчатки выловил из-под крышки жирную черную гадину в две ладони длиной, шарахнул о бокал, рассек, содрал шкуру, выпотрошил, откусил кусок, с удовольствием захрустел.

— Отменная кенхр-медянка, отменная — рассеянно приговаривал академик, с подчеркнутым удовольствием доедая первую змею и вытаскивая вторую. Тарах почти одобрительно смотрел на свой исчезающий обед; роста Гаспар был киммерийского и аппетита — тоже. Вторую змею академик, припомнив этикет, правильно, фигурным движением вспорол и внутренности бросил на пол. После сдирания шкуры и отсечения головы осталось не так уж много — на два укуса. Гаспар потянулся за третьей змеей и сразу же — за четвертой. По незаметному приказанию хозяина с кухни принесли второе блюдо змей, ересиарх был доволен соблюдением обычаев и расщедрился.

— Знатно щапление! Леть, чада! — поспешно сказал Тарах, и его нахлебники, точней, как говорили сектанты, образуя слово от названия змеи-медянки, «намедники», взяли за ножи. Трапеза окончилась на удивление быстро. Тарах, проглотив хвост очередной змеи, утерся рукавом и обратился к академику:

— А что, гостюшка, неотравляем еси, или вовсе како?

— Никако, — равнодушно ответил Гаспар, — Да вкусишь, хозяин, от коньячища, что нам из Внешней Руси тащат, вкус един бысть со ядом сим, а

ядение не в пример плотней за трапезою твою. Донележе клубец желвцов сих не поедох, не киммериец еси! Несть аспида аще не для прохарчения...

Тарах еще больше успокоился: гость говорил на почти правильном диалекте, вставляя городские слова лишь там, где им действительно не было аналогов.

Гаспар жмурился от удовольствия в сердце своем: знакомые ему лишь по описаниям из третьих рук обычаи триедцев он, кажется, не нарушил. Теперь, по законам триедцев, он считался вполне своим, ибо съел за столом Тараха больше чем три змеи. Через плечо, мельком, он глянул на мальчика, которого держали за руки Антонина и Федор Кузьмич: Павлик тоже хотел за стол, вовсе не боясь происходящего, но его, к счастью, не пускали. Гаспар мысленно перекрестился и перешел к главному, деловому разговору.

— Потщимся! Обаче неленостию сподвигнемся! Препоясахся, взем гелиограф у руци, да сподобися сиятельный граф новостех, еже емеяху! Да грядет сретати семо! Понеже вем невемо, да их милости издалеча несех, от труда городского да деревеньского внидох, чадо велие, чадо благостние приведох, да нужен милости его во потребах велих!

Тарах засомневался: гость вел себя как настоящий змеед, но просил что-то уж больно много. С помощью гелиографа призвать Палинского, конечно, было возможно, иначе на черта бы вообще вручать змеедам гелиограф, но на памяти живущих использован для этой цели, да и вообще ни для какой, отражатель не был ни разу. Но по размышлении решил, что свои же обычаи нарушать нельзя.

— Ну, возыдем... — сказал он, вставая. Лестница, ведущая на крышу, была приставная, первым по ней полез змеед, напоминавший помолодевшую копию Тараха, — похоже, сын. Следом полез Гаспар, за ним — Федор Кузьмич, сделавший знак Варфоломею и Антонине далее не двигаться. Впрочем, не полезли на крышу и прочие змееды.

Начинало темнеть; снег так и не пошел. Гаспар огляделся. Вогнутый металлический щит на крыше был шириною в сажень. Управлялся он двумя ручками, подведенным к шарнирам опускаемого на него чехла. Удивленный академик констатировал, что зеркало, вопреки нормальному устройству гелиографа, закреплено неподвижно и направлено только вверх, туда, где над облаками размещалось «орлиное гнездо» старого графа. Впрочем, только ли графа? Федор Кузьмич уже дважды ненароком называл его «старым фельдмаршалом». А ненароком ли?

На возвышение перед гелиографом взгромоздился Тарах, за ручки взялся его сын, некоторое время больше не происходило ничего. Затем началось такое, что академик чуть не полез за записной книжкой: неказистый Тарах, торжественно подняв бритую голову прямо к небу, огладил усы и... стал светиться, — не иначе как сказывалась капустно-змеиная диета. Свет ересиарх испускал всей фигурой, он был изжелта-лиловый, довольно противный, но весьма яркий, и стекал в зеркало, где собирался в фокус, чтобы тонким лучом вонзиться в облака. Трижды сияние Тараха гасло, трижды возникало вновь: змееды вызывали Палинского на связь.

— Глас прост: мило десяти, москолудство не лепо имети! — продиктовал академик сообщение, надеясь, что его не слишком отредактируют: кода,

используемого змееедами он не знал, хотя теперь — ишь! — сделался Гаспар еще и змееедом, впрочем, кто его знает, почетным ли, — Елико силою превыше всех, тольма узда коневии правитель есть! Сретай, сретай! Не обижу тебе. — Академик вопросительно глянул на старца — не надо ли чего добавить. Федор Кузьмич благодарно кивнул, помедлил и сказал:

— Подпись: Александр.

Академик слегка дрогнул, ибо понял, но подпись под текстом гелиограммы подтвердил, — с чужим, не съевшим с ним за столом ни одной гадюки, сектант говорить не стал, а Гаспар не затем съел гадюк двойную порцию. Живот, кстати, от этой закуски уже болел основательно. Тарах все светился, помощник все двигал заслонкой, сообщение раз за разом уходило за облака, луч вычерчивал в них вензеля без видимого результата. Смотреть вокруг было почти не на что: выстроившиеся в две улицы вдоль берега домишки триедских обывателей, свинцовая гладь озера, нижняя часть скального обрыва, а выше — сплошной туман. Так что невероятен во всей этой сцене был только лилово-желтый, испускаемый пучеглазым Тарахом свет.

Прошло с четверть часа, и Гаспар уже начал сомневаться в успехе предприятия, когда в воздухе появился новый звук: нечто со страшной скоростью падало с неба чуть ли не прямо на Триед; впрочем, по невозмутимости Тараха Гаспар понял, что им непосредственно едва ли что-нибудь угрожает. Сияя в сгущающихся сумерках серебром, предмет рухнул прямо в центр озера, подняв фонтаны пены, вылетел из воды, вновь плюхнулся, на третий же раз остался на поверхности неподвижной точкой. Воды озера ходили ходуном. Академик видел, как влезает в лодку Астерия выброшенный при сотрясении бобер. Сам лодочник, кажется, ухом не повел.

Между тем было ясно, что его высокопревосходительство граф Сувор Васильевич Палинский вновь совершил свой коронный прыжок в озеро с похабным названием Мурло, и может быть поздравлен с успешным приводнением. Граф быстро, по-собачьи плыл к триедской пристани. Серебром на его голове отливала не седина, как поначалу решил академик, а треуголка. Фельдмаршал ухитрился спрыгнуть с обрыва, не потеряв боевой шляпы. Краем глаза академик заметил, что Федор Кузьмич при виде шляпы этой сплюнул. Палинский выбрался на берег на четвереньках, обстоятельно встряхнулся и, придерживая возле бедра — о Господи! — шпагу, мелкими шажками заспешил к дому Тараха. Тарах между тем ничего не замечал, продолжая купаться в собственном сиянии, а сын его все посылал и посылал в облака сигнальный луч. Гаспар тронул ересиарха за локоть, лоснившийся от змеинового масла: пора было идти встречать гостя.

— Помилуй Бог! — долетело с берега, куда быстрыми шагами удалился Федор Кузьмич. Всего мгновение вглядывался Палинский в лицо старца, потом повалился ему в ноги. Старец что-то властно произнес, но ветер дул в сторону озера, и расслышать не удавалось ничего. Граф медленно встал, отбил несколько поклонов, потом почему-то обежал вокруг старца, снова отбил поклон-другой, ограничась, впрочем, поясными, и лишь после этого, держа треуголку под мышкой, встал перед старцем во фронт.

Палинский был без парика, седые пряди волос липли к темени и вискам, но более всего академик поразился обуви: видимо, по каким-то своим причинам граф прыгнул с обрыва прямо в кавалерийских сапогах, вместе со шпорами. «Хорошо, что не вместе с лошадью», подумал Гаспар, и тут же понял: никакая лошадь такого прыжка не выдержала бы. Безо всякого сомнения два старика были хорошо и очень давно знакомы, и по какой-то причине Палинский слушал слова старца так, как слушает офицер мудрого, опытного генерала, дающего инструкции, как с большей пользой погибнуть во славу Бога, Царя и Отечества. Граф не доставал старцу и до плеча, однако маленьким не казался, было в его фигуре свое величие. Пальцы академика теребили записную книжку, он уже почти решился достать ее — но в этот торжественный миг в нагрудном кармане громко зазвонил телефон: старая дура Европа пробудилась и желала поведать Гаспару очередной бессвязный сон. Гаспар раздраженно включил автоответчик, но что-то из сцены на берегу пропустил: закончив беседу, граф и старец шли прямо к дому Тараха. Тоня судорожно вцепилась в плечи сына, который рвался общаться с незнакомым дядей, прилетевшим с неба.

— ...Буду вдвое лутче! — наконец послышался резкий, высокий голос Палинского. — Истинно радуюсь тому, всюду приспособлял, приспособлю и тут. Полновластие ваше в избенке моей, отрока прияти рад и спорить не смею. Как сказано, так сделано. Помилуй Бог!..

Федор Кузьмич произнес быструю фразу по-французски. Палинский преувеличенно низко кивнул и ответил на том же языке, прибавив что-то по-немецки. Гаспар расслышал и понял, что нынешний английский язык граф преподавать не берется, вот разве что латынь, но камердинер у него именно в аглицком наречии натаскан что твоя кровавая гончая. Федор Кузьмич подошел к Тоне и мягко, но властно взял мальчика за плечи.

— Вот, Павлик. Давай прощайся с мамой, на неделю ты и дядя Варя идете в гости... К дяде Сувору.

— К дяде Суве! — властно поправил мальчик. — А зачем на ботинках колесики?

— Чтобы на лошади ездить. Будешь, Павлуша, учиться ездить на лошади. Давай, прощайся с мамой. Нам ехать пора. Мы с дядей Варей тебя тут оставляем.

Тоня чуть не заголосила, но стоявшая рядом Нинель неожиданно перехватила ее руки в косой замок, развернула лицом к себе и зашептала. Тоня притихла, сгорбилась, присела перед сыном на корточки.

— Слушайся дядю Сувора. Слушайся дядю Варю. Я к тебе приеду... с тетей Верой. С дядей Басей. С тетей Васей... Все к тебе приедем... — губы у нее все-таки дрожали.

— Фельдмаршал, пора! — резко сказал Федор Кузьмич. Варфоломей подхватил мальчика, посадил на плечи и не оборачиваясь зашагал вслед за Палинским по ведущей в горы круговой тропке. Мальчик, вполне веселый, долго махал ручонкой из-за его плеча, дергал Варфоломея за уши, как за рычаги, и орал веселое «Ту-тууу!». Фигуры скоро исчезли в тумане, всем как-то полегчало. Кроме Антонины, которую сильно трясло; академик и Нинель вдвоем

проводили ее к лодке. Гаспар, впрочем, вспомнил еще об одном обычае и вернулся к семье Тараха, вместе с другими — надо отметить, немногочисленными — сектантами, наблюдавшими за сценой на берегу. — К моей яд-капусте пожалуйста добро! Как полезен быти смогу — яд-капуста! Яд-капуста!

— Капуста-яд... — растерянно ответил Тарах. Он, видимо, не ожидал, что Палинский вот так, по первому сиянию, свалится со своего орлиного гнезда, да еще окажется в подчинении у этого... Ну, бородатого. Гаспар пожалел, что секрет сияния пока что так и останется собственностью Тараха, поклонился ересиарху в пояс и сел в лодку вместе со всеми.

Астерий, продолжая путь по часовой стреле, взял курс на Селезень. А внутри у Гаспара что-то шевелилось и просилось наружу тем же путем, каким туда попало. Зная характер озерных О'Брайенов, Гаспар дотерпел до реки, где дополз кое-как до борта и перегнулся над водой. Во имя науки, конечно, он съел бы и не то еще, но желудок академика был не согласен с наукой, притом принципиально. Когда судороги и рези немного прекратились, Гаспар понял, что за левую ногу его держит Федор Кузьмич, а за правую, как ни странно — бобер. Просвистеть ничего в благодарность академик сейчас не мог, да и говорить пока что не мог тоже. Утирая холодный пот с лысины, он отполз в центр лодки. Астерий понимающе кивнул ему и достал из-под банки, на которой сидел, оплетенную бутылку. Бокрянниковый дух распознавался безошибочно, и академик не стал отказываться. Но слезы из глаз полились после первого же глотка: эффект от запивания непереваренной змеятины семидесятиградусным ерофеичем на бокряннике оказался потрясающим. Федор Кузьмич был доволен, даже очень доволен. Годы — они дают себя знать, даже если идут по кругу и ничего особо нового в жизни не случается. Кабы граф со службы в отставку в свое время не подался в здешние палестины, как же, стал бы тогда россиянин Булонский лес на дрова рубить! В Виндзорском парке дрова заготавливать ничем не хуже, опять же Индия не лишняя была бы, — ну, да обошлись без нее и так, теперь русские люди на лето к морю в Южную Армению, в Гамру, ездят, а граф сгодится в гувернеры наследнику, очень даже сгодится, особенно насчет здоровья и закаливания юного организма. Бобер Фи Равид-и-Мутон тоже чувствовал себя и свой захиревший род чуточку отмщенным: как-никак двупроточная променада знатных старух была капитально заблевана непереваренной змеятиной; бобер улыбался, демонстрируя отсутствие переднего резца — и плевать ему было на общественное мнение, а точнее — хотелось бы ему, чтобы мнение это оказалось еще хуже: насколько возможно, настолько и хуже. Воля бы Фи — и Кармоди, и Мак-Грегори все давно чеканили бы... Что там, в Римедиуме чеканят? Бобер потрогал языком полтора мебиа за щекой. Вот это пусть и чеканят. Не то, чтобы бобер слишком любил людей, но просто не видел иного способа насолить собратьям. Пусть заблюют змеятиной все, что эти наглецы понавозводили! На выходе из Селезни встретились сразу две лодки: знакомая — лодка переправщицы Анании опять попала в закрут, а тем временем со стороны Римедиума невероятно быстро проскользила другая — узкая, длинная, черная,

— никакого рулевого в ней как будто и вовсе не было. Лодка шла на юго-запад, она исчезла с глаз долой, и, что касается людей, ничьего внимания не привлекла, а Фи за разговоры о чужих лодках не доплачивали. Да и свистеть без одного резца трудно.

Астерий в сегодняшнем плавании ушиб с десяток бобров, и можно было не сомневаться — завтра же у архонта будет по этому случаю полсотни жалоб. Но ему было начхать. Впервые за долгие годы он пытался понять, но так и не мог: свидетелем чего, собственно говоря, он сегодня стал. В любом случае — видел он такое впервые. Теперь предстояло войти в город, отвезти бобра — к колошарям, академика — к жене, всех прочих — на любимую Саксонскую. Рабочий день кончился.

Тоня сидела посреди лодки, намертво вцепившись в пророчицу, и через плечо смотрела в ту сторону, где остались горы. Жизнь уже изменилась не раз и не два; переменам, похоже, не предвиделось никакого конца. Утешало одно: все семь лет жизни в Киммерии слышала Тоня о графе Суворе Васильевиче Палинском одно только хорошее, разве что поговаривали, что вот больно суров граф Сувор. То ли это просто дети такую скороговорку выдумали?

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 19

Евгений Витковский

XIX

Как от змеи, противницы своей,
Спешат лягушки<...>
Данте. «Ад», песнь IX

Когда лодка инкассатора ударилась о причал, Борис был убежден, что душа его, если и будет выгружена на римедиумский берег, то отдельно от тела, — оно так затекло, что экс-офеня его уже не чувствовал. Образования Тюрикову хватало и на ужасное предположение что, возможно, тела у него уже вовсе нет, а везет инкассатор в круги Римедиума, не дай-то Господи, всего лишь его жалкую, осужденную душу. «А если тела нет, как Щука желания души исполнять будет?» — подумал Борис и успокоился. Какая бы сука Щука ни была, но правила соблюдать обязана, и лишать его тела прежде времени не имеет права. Не имеет!

Скоро Борис осознал, что слух остался при нем, а из других чувств демоны Римедиума сохранили ему еще как минимум обоняние. Сырые ступени причала, на которые он был брошен, резко пахли старым, мокрым, гнилым деревом, до ушей же доносилось мерное шлепанье потревоженной воды. Осязание отсутствовало напрочь. Хотя нет; глаза, оказывается, были чем-то заклеены. Из отсутствия зрения Борис сделал вывод, что глаза у него пока что есть: кто бы стал заклеивать глаза слепому? Долгое забытье, в котором незадачливый щучий гость находился во время лодочной перевозки, не поддавалось измерению. То

ли три часа прошло, то ли три столетия. Рот заклеен. Так что желания вслух не выскажешь. Но, значит, нос свободен — иначе чем бы он дышал? Впрочем, со щуки станется подарить ему жабры, да еще бесплатно. Однако тогда откуда запах? Вроде бы в жабрах обоняние, того, не предусмотрено, или... Борис вконец запутался.

Постепенно он удостоверился, что есть у него еще и затылок, иначе не болел бы так. Видимо, к затылку должна прилагаться и остальная голова. Значит, он до сих пор жив, и уж как-нибудь найдет способ произнести запасные желания, так что не век ему валяться на причале в Римедиуме. Из-за головной боли Тюриков больше всего мучился одним: никак не мог сосчитать, сколько желаний у него в запасе. По одним подсчетам — так целых пять, по другим — два всего. Но, как ни считай, не меньше двух. А если учесть, что обычный рыбий минимум — три, притом из этих трех первые два герой обычно тратит как последний дурак, то положение Бориса Тюрикова на данный момент было обнадеживающим.

Бориса, тело которого давало о себе знать все новыми и новыми болями, подняли с досок и куда-то понесли. Вежливо так понесли, как бобры несут брус железного кедра, прежде чем получить за него манговые чипсы или что там сегодня им нужно. Борис вспомнил козлы, установленные на Обрате в нескольких местах: там от бруса отпиливали кусок, если покупателю почему-либо весь брус был не нужен — или оказывался не по карману. Борису представилось, как его самого кладут на козлы и пилят — от ужаса он замычал, и звук собственного мычания почему-то вернул к действительности. О страшном, пугающем одним лишь названием Римедиуме Прекрасном, увы, Киммериону достоверно было известно ровно столько же, сколько и офеням: вход в него — в один конец, даже мертвецов своих жители монетного двора не то сами хоронят, не то, по другой версии, перерабатывают, не то, по третьей версии, кремируют — а пепел уносят воды Рифея. В Римедиум на черной лодке, заправляет которой решительно неизвестно кто, отправляют слитки металлов, но не много — лишь столько, сколько нужно для чеканки мёбиев, лепетов, оболлов и прочих разменных денег, коим нет хождения нигде, кроме как в Киммерии. Туда же отправляют преступников, приговоренных к смертной казни, привычно замененной вечной ссылкой. Тоже не много, преступность в Киммерии очень низкая, в прочей же Киммерии и вовсе никакая.

Впервые Борис подумал о том, что ни один офеня, кажется, не видел Киммерии дальше столицы. А ведь страна, хоть и очень узкая, но пролегла с юга на север на многие сотни верст: к северу от Рифея — Мёбиусы, бобринские дачи, к северу от Мёбиусов — Криль Кракена, остров дождей, к северу от Криля — Эртей, остров неведомый и страшный, где кто-то приватно живет и просит в гости к нему не жаловать никогда, а еще северней — Миусы и Рачий Холуй, место впадения Рифея в Кару, где молодые и особо здоровые киммерийцы несут альтернативную воинскую повинность, восемнадцать месяцев выпасая стада деликатесных чудовищ, которых Киммерия бережет-то бережет, стережет-то стережет, но и в пищу потребляет тоже охотно, ежели, конечно, не в пост. Борис вспомнил нежные шейки рифейских раков, подаваемые с клюквенным уксусом в столовой гостиницы «Офенский Двор» в дни, когда главной по кухне дежурит

Василиса Ябедова — то есть десять из любых двенадцати дней — и почувствовал слюноотделение. Слюну пришлось проглотить, ибо рот оставался заклеен. «Уши-то почему не заклеили, пластыря пожалели?» — подумал Борис и возблагодарил Всевышнего за то, что не брякнул этой фразы вслух. Уж Щука позаботилась бы.

Тем временем Бориса на что-то положили, точнее — уронили. Довольно грубым образом он был переведен в сидячее положение, прислонен к чему-то спиной, а затем пластырь с глаз сорвали, выдрав при этом изрядную часть красивых, склонных к заламыванию архангелогородских бровей. «Еще на брови желания тратить!.. Так отрастут...» — подумал Борис. Сколько, однако, можно глупостей пожелать — вот, уже дожелался... Борис продрал глаза и обнаружил себя в помещении, похожем на караульню. Прямо перед ним, почти касаясь его пятками, сидел ободранный мужик. В той же позе, что и он, Борис. На мгновение экс-офеня принял мужика за свое отражение в зеркале, но заметил, что лицо у того исполосовано струпьями запекшейся крови, словно недавно побрили чем-то тупым. Орудие бритья стояло невдалеке, закрепленное канатом в стойке, похожей на те, в которые ставят зонтики. Это был топор. Топор палача Илиана. И кроваво побритый мужик с заплывшими от черных синяков глазами, был сам палач Илиан. Экс-палач, надо полагать. Надо полагать, вместе с Борисом осужденный.

Видимо, всему этому предшествовал суд, присяжные, вердикт, осуждение, прошение о замене смертной казни, удовлетворение прошения — без всего этого сюда просто невозможно было попасть. Между тем в памяти Бориса между туманом пещеры «Миллион Белых Коз» и лодкой инкассатора был провал. Киммерийский уголовный суд на расправу был всегда скор, процесс редко занимал больше недели, если не возникало «долгого дела», которое могло тянуться столетиями, и участники такового до отправки в Римедиум просто не доживали. Но как быстро суд ни проходил, он все-таки был, а не помнил Борис об этом ничего. Кусок жизни треклятая Щука так ли, эдак ли, у него конфисковала. Но едва ли стоит просить этот кусок назад, едва ли в этом куске найдутся приятные моменты. Кстати, о приятных моментах: не пора ли хоть какому-нибудь таковому настать? И, словно в ответ на мысли, обрушился на Бориса ушат ледяной воды. Шибануло уксусом, — видимо, так проводилась дезинфекция. Однако тела своего Борис толком еще не ощущал.

— Двое сразу! Прирост населения... — прозвучал голос то ли подростка, то ли женщины.

Что-то зашуршало. Видимо, пачка квитанций. Над Борисом зарокотал резкий, противный голос с едва заметным дефектом речи: вместо звука «в» у говорившего получалось придыхание: так иной раз говорят бородатые люди, выплевывая концы усов. Сквозь ресницы Борис разглядел жуткого, рыжего, со времен Оксирикса, не иначе, не стриженного и не бритого мужика с торчащими, как у зубра, ноздрями. Когда мужик говорил или сопел, то концы усов втягивались в ноздри, создавая самые неожиданные звуковые модуляции.

Второй приемщик, тот, что с тонким голосом, был похож на длинный, вялый, бледный куст сельдерея; именно его голос казался женским.

— Мы разве такое заказывали? — с мукой промычал зуброподобный, — Ты сам посмотри, мы разве такое заказывали? Читай, грамотный: доярка для козы — одна штука... Не коза, а доярка! Козы у нас лишние, резать скоро придется... Ухажер за овощью тепличной... Где ухажер? Ах, это и есть ухажер... То-то же. Специалист по тушению горящей нефти, специалист по плавке вольфрама, повар, способный жарить легкие блюда, баба толстая, баба очень толстая, еще одна баба совсем толстая, еще одна... Ну, это мы обошлись бы, но три бабы где, толстая и две очень толстых? Парикмахер человечесий усовый, бородовый... Где это все? Я тя как человек спрашиваю, а ты на меня как что молчишь? Где бормотатель? Я с тебя третий раз бормотателя требую! Не третий? Ща квитанции подниму! Ты сам в бормотатели хочешь? Может, бабой толстой, легкие блюда способной жарить, усовые, бородовые, ко мне пойдешь? У меня штат недоукомплектован на девяносто четыре процента! Плыви отсюда и чтоб духу твоего без бородового способника жарить... ну, вольфрам, там по списку! Отрыщь отседа, отррыщь!

— Ухажер за овощью вон лежит, за тепличной, лучшего в городе нет! — невероятно жалобным, школьным голосом отвечал страшный лодочник зубру: выходит, было и над ним начальство.

— Ну да, этот... А морду ему зачем искромсали? Фасон пробовали? Отбивную из морды готовили?.. Сожрать хотели? Сознайсь, жрать его собирались, да?

— Да палач это, Илиан-тепличник...

— Это? Бреешь, тот молодой был, когда меня порол... Ладно, тепличника я пока под вопросом. А второе что?

— Наверное, по вольфраму... Или блюда жарить... Мне дали, я взял, что дали...

— А вот что: я вот те не дам, ты и не возьмешь, и ни осьмушки в город! Сами чеканьте! Засадили нас тут четырнадцать, бобра считая, да и то бобер не умеет ничего, только сваи грызет! Словом, трех баб, толстую, очень толстую и вовсе толстую не привезешь — можешь сюда не плыть вовсе! Я свои права знаю!

— Будем жаловаться, короче. Жаловаться! Аминь! — вступил первый голос, принадлежавший «сельдерею». После «аминь» Борис приподняли, и не то сняли веревки, которыми руки были спутаны за спиной, не то разрезали. Борис услышал дробный стук, это он сам стучал зубами от холода после укусного купания.

— В холодную их?

— Да чего там, сунь в теплую, не то окочурятся, а может, что в его брехне и правда, хотя брил этого уroda не парикмахер точно, а насчет вольфрама... Яйца им всем оторвать, бабам этим толстым, очень толстым! Пусть сами с такими кадрами работают! Аминь! Аминь, говорю, отрыщь! Пошел, пошел, пошел, ногами, ногами это делают, копытами, говорю, копытами...

Доска откинулась, куда-то вместе с ней Борис, как на салазках, заскользил; шлепнулся. Через него перелетел, почти не задев, измордованный Илиан, изрыгая выражения, которых благочестивому офене и знать-то не полагалось бы. Но тут Борис вспомнил ледяной холод «Миллиона Белых Коз», понял, что в отведенном помещении по крайней мере тепло, уселся и стал проводить инвентаризацию рукам, ногам, зубам и прочим частям тела. Следы побоев,

понятно, были. Но — зажившие, никакого сравнения с состоянием экс-палача. Некоторые зубы шатались, но все были на месте, даже золотых коронок не посдирал никто.

Борис открыл рот... и закрыл его. Любой вопрос мог превратиться в исполнение желания. Пусть этот ирод сам вопросы задает. Если, конечно, языком ворочать может. Борис плотно сжал зубы и подрагивающей ладонью огладил голову. Обрили, конечно. Ну, это само отрастет. Фонарей под глаза, кажется, тоже не наставили, но это только в зеркало узнать можно. Спина болит, но кожа вроде бы цела. Прочие... части тела... язык, например... нет, кажется, ничего не отсекли. Деньги лежат у мещанина Черепегина-старшего под Вологдой, мещанин еще никого не обворовал, только проценты платит не вовремя иногда, ну... до него дело потом дойдет.

— Харизма... Ну, харизма... — прохрипел Илиан, как обычно, слегка заикаясь, — Наел себе харизму поперек пуза шире и туда же... обжалованию не подлежит, обжалованию не подлежит!.. Как тюльпаны жене, так — господин Гусято, благо-глубоко-то-се... Илиан Магистрианович то-се, тюльпаны ему в харизму по самую пятку...

— На полную катушку! — брякнул наудачу Борис.

— А, живой... — Илиан попробовал поднять голову, но не смог, — А как же тебя к смертной казни через помилование? У, харизма проклятая, доберусь я до него и до бабы его доберусь...

— Илиан Магистрианович, — мягко сказал Борис, — нас уже в Римедиум привезли и сдали. Вас тут хотят использовать по специальности, за теплицами ухаживать, свежие овощи выращивать. Так что не все так страшно. Вот у меня память что-то отшибло...

— А тебя харизма эта по голове бил, — с охотой отозвался Илиан, — пресс-папьем как запузирит тебе по маковке, ты и с копыт... Но лишнего ты до того много наговорил, не твоя бы брехня, не вporоли бы нам двести девяносто девятую — про умышление на целостность законов... Ох, нам и без нее бы хватило — сто первая, сто вторая, сто третья, сто четвертая, сто пятая, сто шестая, сто седьмая...

— Откуда так много, Илиан Магистрианович? — ошеломленно спросил экс-офеня. Значения ни одной из этих статей он не знал.

— Да ты, видать, вовсе офиздипупел! Нам по совокупности почти тридцать статей навесили, да еще мне восемьдесят пятую за оскорбление чувств торгового люда... Ты почему за оскорбление ничего не получил? Ты как смел чувств не оскорблять?

Борис ничего не ответил, у него как-то не было слов на подобный случай. Похоже, произошло много чего, и судили их двоих, и навесили кучу статей, а экс-палачу припомнили еще и жлобские цены на тюльпаны к восьмому марта. Рыбка-Щучка наворочала делов — будь здоров. В чем виноват, в чем не виноват — за все присудили. Теперь, мол, сиди в Римедиуме, где все деньги — твои. Впрочем, тут же не чеканят золота! Нужно будет Щуку на этом, того... ну, прищучить, что ли. Мало тут денег, раз нет золота! Все свое состояние держал Борис в империялах, сменять здешнее серебро на них можно было, кроме

исключительных и редких случаев, лишь у киммерийских евреев — а откуда евреи в Римедиуме? В общем, нужно чуть присмотреться, нет ли тут какой выгоды — и сваливать. Хоть в Вологду. Начальный капитал есть, а там трава не расти. Впрочем, это только одно желание. А должна Щука больше. Думать надо, думать, не может быть, чтоб рыба да офеню перехитрила.

Где-то вверху послышался сложный, из нескольких нот, свист. Борис знал, что так разговаривают *castor sapiens*, рифейские бобры, но языка этого не понимал. Илиан еле ворочал языком и ответить, видимо, не мог. Впрочем, бормотать он продолжал.

— Говоришь, Дунстан? Затылок твой помню, бритый...

Свист понизился тоном.

— Кончай материться, я по вашему понимаю... Ты мне докладывай — можно тут жить... или... или... харизма.

Бобер, по-прежнему невидимый, перешел на сложный, двойной свист в неопределимой гамме, явно что-то подробно рассказывал. Борис маялся неведением и ждал хоть какого-нибудь перевода, разглядывая голый потолок и голые стены; вскоре он смог повернуть шею в ту сторону, где свистел бобер. Зрелище оказалось неважным: бобер стоял за железной решетчатой дверью, сквозь которую, наверное, мог бы легко пролезть, но человек для таких ячеек великоват. Экс-палач и экс-офеня сидели за решеткой.

— То есть как это с одна тысяча девятьсот шестьдесят?.. — потрясенно выговорил Илиан разбитым ртом. — А деньги тогда откуда? Делает их кто, спрашиваю?

— Илиан Магистрианыч, что он говорит? — взмолился Борис.

Бобер продолжал свои фиоритуры, в которых, прислушавшись, можно было уловить повторение некоей если не мелодической, то ритмической схемы, — кажется, *sapiens* что-то перечислял. Илиан от вопроса только отмахнулся, мол, «дай дослушать». Но и ему в конце концов надоело, видимо, бобер пошел жаловаться на жизнь. Говорить палачу было больно и трудно, он лег на спину, выдохнул, помянул мать в женском роде и харизму в мужском, помолчал, потом сделал подельнику одолжение — заговорил.

— Вот оно, бля, харизма, то самое главное. Выходит, харизма, ни хрена здесь никто с одна тысяча девятьсот шестьдесят первого года ни единой монеты не начеканил. Нет специалистов, вообще тут почти никого нет — с нами вместе и с бобром населения шестнадцать рыл. Как помер какой-то с непонятным именем, который один сорок лет серебро и плавил, и чеканил — все прессы стоят ржавые. Деньги, что отсюда привозят — все из старых запасов. Серебро пока есть, а медь уже кончилась. То-то вся мелочь у нас истертая какая-то... Серебра тоже не очень. Здешний главный нынешний, не понял, харизма, как его по эдакой матери, требует с Киммериона мастеров, а получает... нас с тобой. Едят тут, что в теплице вырастет и что с козы возьмешь. Бобер сваи грызет.

Кинофильмы смотрят трофейные, киномеханику седьмая дюжина идет, кина, свистит, тоже скоро не будет. Да и кино без перевода непонятным языком идет, главный все требует бормотателя, чтоб переводил, а присылают... нас с тобой. Баб он требует, последняя померла три зимы тому назад, а присылают... нас с

тобой. Словом, не жизнь тут, а харизма необитаемая... За нас с тобой два фунта серебра здешний главный инкассатору насыпал и сказал, не даст больше, пока самое малое трех баб насмерть не засудят и сюда не пришлют...

— Трофейные? — не нашел Борис ничего умней.

— Трофейные... Это, небось, как на змееедов ходили войной, так с тех пор трофеи. Давно было, тогда еще с Мангазеи офени приходили, куда-то делись теперь. Ты, офеня, не знаешь, на Мангазею бомбу сбросили, или она теперь режимная?.. Словом, не знаю. Знаю, что влетели мы с тобой по самую маковку в... харизму. Я думал, тут цеха, чеканка, серебро с медью да свой брат палач непременно, а тут одна коза сплошная и безбабство.

— Вам-то жаловаться грех, — Тюриков попытался перехватить инициативу — Вас тут к оранжерее приставят, а вам это дело привычное.

— Мне? Кто мне тут цветы даст выращивать? Козе, что ль, на восьмое марта тюльпаны дарить? Гиацинты?

— А что, не будет коза гиацинтов? Ты, харизма, кончай издеваться! Тут коза для другого...

Палач перешел на невнятное бормотание. Борису по щучьему велению требовалось теперь немного: сесть на кучу оставшегося в Римедиуме серебра и переправиться под Вологду, там переплавить мёбии с лепетами, перевести в золото и жить на проценты тихо где-нибудь в таком месте, где тихо притаиться можно. И никакой больше Камаринской дороги, сколько бы раз и какой зов его не зазывал. А палач пусть сам выпутывается, на пару с бобром... сельдерей для местных выращивает. Или мочала эти ихние, люфы, тоже себе, нашли предмет поклонения... Борис чувствовал, как вскипает в нем накопившаяся за тридцать лет ненависть к Киммерии, к окопавшимся в ней угнетателям и дармоедам, эксплуатирующим труд простого русского офени и только нагуливающим на этом жиры... и углеводы, нет? Борис вспомнил, что рафинада в Киммерии не любят, обходятся медом. Ну, значит, просто жиры.

Торчать тут до тех пор, когда местное начальство соизволит вытащить благороднорожденного Бориса Тюрикова из-за решетки и приставит к такой, скажем, ответственной работе, как доить козу, бывшему офене как-то не улыбалось. Да и вообще — он просил отдать ему самые большие киммерийские деньги, а тут их и нет вовсе! Или как?

— Илиан Магистрианыч, — спросил он скучающим тоном, — а серебра-то надолго хватит у них? Кончится серебро, нас тут запросто ликвидируют: уронят на Римедиум что-нибудь сверху и раскапывать не станут?

Бобер возмущенно засвистел. Илиан, с трудом ворочая языком, сообразовал перевести.

— Слышь, ты, если чего хочешь узнать, его спрашивай, бобра Дунстана, а не меня. Это во-первых. Во-вторых, учи свист бобровый, если жить хочешь: бобер тут заместитель ихнего главного, тот — землей повелевает, а этот — водой и прочим, он у них... тьфу, деньги перетирает, чтоб все как новые казались. А в третьих, серебра тут еще полная шаланда. На наш век хватит. Серебром тут хоть... Ну, он хочет сказать, что серебром тут хоть подотрись.

Ни Борис, ни Илиан, ни тем более бобер великую книгу Рабле не читали, но

общий смысл метафоры — что много еще в Римедиуме серебра — был ясен. Однако подтираться шаландой серебряных монет Борис не имел планов. Он прикинул, что «шаландой» здесь называют киммерийскую лодку для перевозки тяжестей с красивым названием «каторга», перевел в слитки, оценил, разделил на число трояских унций — и получил вполне достойный брусок золота, эдак в двадцать пять — двадцать семь пудов. Пуда три у Бориса было собственного золота, так что — если не будет больше никаких подлянок — Щука не так уж мало и выкладывает. Однако нужны подробности. А ну как шаланда неполная, или серебро с мышьяковой примесью? Мало ли гадостей можно устроить, ежели ты — Щука-на-Яйцах, Щучий Потрох, говно такое.

«Шаланду серебра со мной вместе без свидетелей — на скотный двор к мещанину Черепегину, моему вологодскому банкиру!» — сформулировал Тюриков остаток своих желаний. Но орать это при двух свидетелях как-то не хотелось, хотя по самому честному подсчету здесь было только два желания: серебро и доставка. Впрочем, отчего бы третье желание (если оно есть) не истратить на потерю памяти у свидетелей? А четвертое, если оно есть — на долгую, здоровую, спокойную, богатую, уютную, семейную, комфортабельную... и так далее, жизнь? А если еще одно желание есть, то не провалилась бы в тартарары вся Киммерия со Щуками... Нет, такое желание загадывать нельзя: Сука-Шука утащит с собой и его, как слишком Киммерии принадлежащего, слишком много про нее знающего.

Спешно требовалось уединиться: требуя законного исполнения желаний, Борис совершенно не хотел оставлять свидетелей. А тратить желание на то, чтоб от свидетелей избавиться — еще чего. Карцер, на худой конец. Лучше — отдельная палата. Больничная. Заодно и подлечиться... Тьфу, так и рехнуться недолго, какое сейчас лечение... О! То самое! Борис решил рехнуться и погрузился в размышления.

Будучи человеком какого-никакого, а торгового все ж таки сословия, он привык радеть о пользе дела, выгоде, накоплении и новом обороте средств, в конечном счете предназначенных быть преумноженными, дабы вновь и вновь преумножаться, доставляя преумножителю, помимо скромных мирских радостей, еще и высоко духовную радость самим фактом своего преумножения. Следовательно, Борис имел полное право считать себя истинным человеком древнерусских духовных качеств — ибо кто же, как не титан духа, способен духовно радоваться материальному благосостоянию! Именно условная, ничем не доказуемая ценность таких вещей, как золото, серебро, швейцарские франки, американские доллары, сальварсанские кортадо и российские империалы служила для Бориса высшим доказательством того, что он — человек глубоко духовный. Человек богатый есть человек духовно богатый! Эта мысль, в сочетании с перспективой удешевления своего капитала, привела Бориса в необычайно возбужденное состояние, каковое он и поспешил выплеснуть наружу.

— Человек духовный... есть человек духовный богато! — выпалил Борис.

Илиан приоткрыл заплывший глаз.

— Ась?

Бобер тоже тихо присвистнул. Но Бориса уже несло.

— А ты, значит, Дунстан тот самый? Дунька по-нашему... Свисти не свисти, а ты не человек, не богатый, и не духовно! — невероятным усилием он сбросил ноги с топчана, на который был кинут, и сел. — Ты — Дунька, никаким образом не богатая! Духовно не богатая! Цель человека — духовность! Пятикратная духовность есть наша цель и мечта! Духовность победит на земле! Да здравствует победная духовность светлого будущего духовности человечества! Есть такое слово — духовность! Плюс...плюс... духовнизация сельского хозяйства! — заорал Борис совсем уж дурным голосом и повалился на пол. Он хорошо знал, как падать наименее болезненным образом.

— Поехал... — упавшим голосом сказал Илиан. — Если насчет духовности — все, можно было и в Римедиум не возить. К Святому Пантелеймону таких сразу...

Бобер что-то свистнул, совсем тихо. А Борис катался по полу и гнусно вопил: — Духовность!.. Ховность ду... ду-дуду-духа! Ховная! Верховная! Вердухная! Хов-хов-хав-хов-хов! Ду-ду-ду-ду-ду!.. — Борис перешел на лай.

— Слышь, Дунстан, зови главного... Дело ясное, это уже, видать, все, так что давай, стало быть, что у вас на такие случаи заведено...

Бобер исчез и больше не вернулся. Вместо него, матерясь и утирая рты, — только что обедали, надо полагать, — появились двое местных с белой рубахой, глянув на бесконечно длинные рукава которой можно было не сомневаться, что рубаха эта очень прочная и пошита как раз на такой случай. Один из пришедших всей тушей упал на Бориса и начал выламывать руки, но Борис вывернулся. Ребром ладони рубанул он тощего-длинного сельдерея по шее, двумя коленями заехал в живот второму, похожему на изможденного зубра, забился в угол и принял, насколько силы позволяли, оборонительную стойку древнерусской борьбы «мордобой», позиция «щакакдам», сделав, впрочем, вид, что только на это его и хватило. Борис свалился на пол. Отощавший зубр пришел в себя, потер пузо, и стал вправлять почти голого Бориса в принесенную рубашку. Борис попробовал кусаться, но крепко, без всяких ученых правил получил по зубам.

— Ну и что у вас с такими делают? — подал голос Илиан.

— Квалификацию, что ли, потерял, пока судили? — ответил зубр. — Топор у нас хороший, козу можно с двух замахов разделать. Рукава я ему завязал, не рыпнется. Положим на мясную колоду, голову срубишь, ну, все тогда. У нас для психов больницы нет.

— Ребятки, да не встану я! Били меня и прутом и кнутом! Слабый я! Топора не подниму!

— Спеху нет, полежит в кладовке, бобер его постережет. Как силы наберешь, так голову ему срубишь. Нам духовность ни к чему. Орет — он пусть орет, из этой рубашки никто не вылез еще. Особый узел на спине из рукавов вяжу, «двойной римедий» называется. Если хочешь, рот ему тоже заткну — особый кляп у нас есть, «карамель» называется.

Тощий сельдерей, потирая шею, загоготал, не ведая, что творит, попробовал пальцем — есть ли у Бориса зубы. Зубы у Бориса не только имелись, он от

рождения не знал, что такое зубная боль, и даже четыре зуба мудрости были как новенькие. Тюриков лишь слегка ткнул Тощего за пальцы — но кровь хлынула немалая. Густо матерясь, длинный оставил извращенские планы до поры до времени, нашел половину грязной рубахи Бориса, разорвал ее пополам еще раз, одной половиной замотал руку, другую запихнул Борису в глотку. В ужасе экс-офеня даже и не смог толком противиться.

— Хватит, — сказал зубр, — В казначейню его кинь, под столик. Обушком по башке, только не руби, а мяконько так — обушком. Зальешь мне кровью деньги, кишки выпущу, козе отдам и тебя же смотреть приставлю, чтоб все схавала. Матерясь, длинный за ноги выволок Бориса в коридор и куда-то потащил; Борис пытался уберечь затылок от слишком резких ударов, но получалось плохо. Одна была радость: кляп поддался почти сразу. Наконец, длинный по ступенькам доволок Борисово тело на место и бросил через порог в темноту.

— Где же тут обушок? Мать-перемать в нутро засусоленной дырки напополам в три погибели, где обушок? Обушок, он где? А?

Борис лежал в темноте на ровном, чуть ли не паркетном полу, ноздри его безошибочно слышали запах металлических денег. Ждать, покуда этот ублюдок отыщет обушок, оглушит его, а потом еще свой же подельник ни за понюх отрубит ему, глядишь, бесчувственному, голову — все это было выше сил Бориса. Он осторожно выпихнул кляп языком, отвернулся от матерящегося в потемках долговязого, и зашептал, стараясь произносить каждое слово отчетливо:

— Щука! Желание мое первое: лодку серебряных денег, доверху полную, большую-большую лодку, чтоб в ней все поместились здешние деньги, какие поместятся, вместе со мной! И второе мое желание! Пусть меня эта... каторга доставит на скотный двор к мещанину Вологодской губернии Черепегину, банкиру! И третье желание, если осталось оно у меня — пусть все чертовы римедиумские людишки, какие в Римедиуме есть, сей же момент сдохнут вовсе, как обушком по макушке! И четвертое мое желание...

Видимо, щучий лимит никакого четвертого желания не предусматривал, то ли щука по-своему считала. Через мгновение Борис оказался по горло зарыт в холодные, как лед, деньги; еще через совсем короткий миг экс-офеня ощутил себя так, словно сидел в трамвае, а трамвай рванул с места со всей возможной скоростью — верст, наверное, тысячу в час, или две. В краткий миг угасания сознания зазвучала в его памяти старинная песня легендарного офени Дули Колобка, петая на Камаринской еще в те времена, когда Кирилл с Мефодием, возвратившись из поездки в Киммерию, сели сочинять для славян три азбуки: глаголицу, кириллицу и тайную мефодьицу, секретную азбуку офеней. «Я от бабушки трах-бах, я от дедушки трах-бах...», — потом все провалилось во тьму. Очень длинная, давно не спускавшаяся на воду черная лодка, задрав нос, проломила стену римедиумской казначейни, в считанные секунды доползла до Рифея, спрыгнула в него, миновала, резко свернув на юг, речной отрезок пути, выбросилась на берег Лисьего Острова, раскидав стражников Лисьей Норы, нырнула в нее, а еще через миг выскочила в Большую Русь и помчалась по Великому Герцогству Коми в нужную Борису сторону, в сторону Вологодской

губернии. Лодка мчалась по прямой, не разбирая дороги, со скоростью артиллерийского снаряда, однако в воздух не поднималась: ехала посуху. Помимо бобра по имени Фи, и второго бобра, который попал в это дело как кур в ощи́п, о чем будет рассказано ниже, никто перемещения черной лодки не заметил. Стражникам у Лисьей Норы она показалась рванувшейся в темноту тенью, ибо набрала к этому времени солидную скорость. В Герцогстве было, как всегда, безвидно и пусто, и лодка неслась по стране, озаренной и воспетой Хрустальным Звоном, вполне безнаказанно.

Теперь уж можно открыть читателю страшный секрет: Щука-на-Яйцах считать умела только до трех, а слово «девять» было для нее синонимом понятия «много», вот она и исполняла желания Бориса, покуда ей не показалось, что уже вроде бы достаточно. Так что еще одно желание у Бориса Тюрикова все-таки было — то, что успел он выкликнуть на десерт, на «третье». Поэтому в Римедиуме случилось сразу многое. Сельдерееобразный римедиумец так и не нашел обушка в казначейне, простая болезнь, паралич сердца, от этих поисков его избавила. Отощавший зубр так и не опустил поднятую для шага к Илиану ногу, хотя он собирался дать тому в морду за отказ выполнить некое — все равно теперь какое — заветное зуброво хотение, — после паралича сердца хотений уже не бывает. Тогда же еще двое римедиумских преступников, оба в прошлом убийцы жен, которых сами же избрали себе на Куньей набережной, рухнули среди огурцов на оранжерейные грядки. Еще один, растлитель-геронтофил, осужденный по трехсотой минойской статье, колот у причала щепу для растопки, но уронил сразу и топор, и щепу, и полено, и самого себя прямо в воды Рифея, и все по той же причине. В одно мгновение в Римедиуме рухнули все. Кроме бобра, приставленного к начищению денег, который тоже рухнул, но всего лишь в деньги, что его и спасло. На некоторое время.

И кроме Илиана Магистрианыча, который официально не был еще жителем Римедиума, и потому остался жив. Его постигла особая судьба, но произошло это целой неделей позже, а в тот день имели место события далеко за пределами Римедиума, и без внимания оставить их никак нельзя. Не каждый день, надо признаться, страшная черная тень врывается в пещеру на Лисьем Хвосте и уносится прочь, оставляя ушибленными обоих старцев, мирно стерегущих оную, перепугав всех оказавшихся поблизости до утраты, скажем мягко, контроля над круглой мускулатурой.

Впрочем, деды, оклемавшись, помывшись и уняв дрожание вставных челюстей, вызвали с Архонтовой Софии наряд гвардейцев. Гвардейцы в ряд по четыре вошли в Нору. Прошли традиционные сто сажений киммерийской земли, ничего не обнаружили и вернулись на Лисий Хвост, а позже на Архонтовой Софии доложили, что, по показаниям более чем двух дюжин людей, из Киммерии в Нору вырвалось Нечто Черное. Поскольку примет это Нечто из-за высокой скорости движения не имело, было решено сие событие событием не считать и в городскую летопись не вносить. Появившееся на следующий день в «Вечернем Киммериионе» сообщение о том, что Нечто имело очертания черной лодки, мчащейся посуху, на носу которой золотыми буквами пылало название «Кандибобер» сочли не особо удачной шуткой журналистов, окончательно

измотанных поисками городских новостей. Журналисты ссылались на зоркую повариху «Офенского двора» Трифеню Дребездищеву, но весь город знал, что в те дни, когда по кухне дежурит Трифеня, можно, не ровен час, соль в сахарнице обнаружить. Вот если б Василиса Ябедова! Но у той был в этот день отгул и какие-то дела на Волотовом Пыжике — по слухам, заказывала она там, на конском заводе, коня в подарок крестнику — и подтвердить слова Трифени не могла никак. А Василисе бы город поверил, — впрочем, это мало что изменило бы, разве что ускорило грядущие события, вспомнил бы кто-нибудь из стариков с Земли Святого Эльма, что «Кандибобером» называлась лодка прежнего инкассатора. Так оно, конечно, и случилось — но гораздо позже.

В полночь, как обычно, раскатился над водой незамерзшего в тот год Рифея удар колокола с Кроличьего острова, и властная рука отворила незапертую дверь в доме Астерия. Хозяин, умотанный долгим плаванием на Мурло и обратно, принял у нанимателей подарок (четверть бокрянниковой), подарком уже злоупотребил и контактам с окружающим миром был недоступен. Гость, впрочем, мнением хозяина не интересовался, он открыл и вторую дверь, ведущую в Лабиринт и, не обращая внимания на колючую проволоку, пошел по темным коридорам как по собственной квартире. Свет ему не требовался, да он и капюшона с глаз не откидывал: Мирон Вергизов пришел сюда в силу печальной обязанности.

Трехаршинный рост заставлял Вечного Странника кое-где пригибаться, но он точно знал — где именно, так что потолка не задел ни разу. Шаги его были бесшумны, тишина воцарилась истинно мертвая, только коза Охромеишна бекнула было, но осеклась; исчез и единственный звук, вечно портивший тишину Лабиринта — Золотая Щука-на-Яйцах перестала жевать свою вечную жвачку и поэтому знаменитое красивое эхо Лабиринта на некоторое время осталось безработным. Ненадолго, ибо Мирон шел к Щуке не просто так. Разговор их происходил в полной темноте, и начался с того, что Вечный Странник, достигнув берега щучьего озера, остановился и скрестил на груди руки, а Щука заголосила:

— Я вдова честная!.. Как посадили меня на яйца, так и сижу...

Мирон долгих lamentаций слушать не стал.

— Ты что наворотила? Ты чьи желания тут исполняешь, дура нефаршированная?

— Я в своих правах и обязанностях! Кто придет, тому желаний девять, чтоб отвалил и с яиц не сгонял!

— Киммерийцу, дура, киммерийцу, и не все желания, а по особому списку. Что в списке сказано?

— Я вдова честная!.. Я счету и грамоте неученая, да оттого других хуже не сделалась! Не написано у него на лбу: киммериец он или нет. Кто людей в Киммерию впускает? Змей. Кто Змея соблюдает? Ты, Мирон! Стало-то, ты виноватый, не я! Ты кого допустил — того я обслужила! Все! Не вали вину свою на мою на чешую!..

— Я свое получил, я свое получаю, я свое получу. Вот, приговор над тобой исполнить должен. И исполню.

— Кто судил, кто? — завершала Щука совершенно канарейчьим голосом. — Я тебе что, вяленая-мороженая? Подавись ты моей вязигой!..

— Не твое щучье дело. Как ты есть Древняя, сдать тебя на господский стол Евреям, чтоб нафаршировали к субботе, я не могу, а надо бы. И простую щуку под яйцами из тебя приготовить тоже дать не могу. А вот из Киммериона выгнать, прописки городской тебя лишить — это в моей власти. Словом, брошу я тебя в реку! Но ты не радуйся. На яйцах ты сидела, на них и дальше сидеть будешь. Местом ссылки определен тебе остров Эритей, что между Крилем Кракена и Рачьим Холуем точно на полдороге. Померзни за Полярным кругом, сука. Я к тебе заходить буду... и рада ты моим приходам не будешь. Ох, не будешь, щ-щ-щука!..

Одним движением снял Мирон визжащую рыбу с гнезда, перекинул через плечо, взял гнездо под мышку и покинул Дом Астерия. Как и всегда, видели его только те, кому он показаться хотел. Сегодня же он ни являться никому не хотел, ни сам никого видеть не желал. Хоть и шел привычно, по воде, а дорога предстояла неблизкая, в обход Мёбиусов и Криля Кракена. Эритей был бы обыкновенным островом, кабы не противный тамошний хозяин. К счастью, хозяин этот, омерзительный Герион, как и всякий разумный Древний, тоже боялся Мирона, — Герионовы незаконные плантации корня моли, наркотика, отшибающего не только память, но и остатки ума, давно пора было извести, да все получалось недосуг: кто раз нашел дорогу к Гериону, тот уже забыл ее навсегда, так что торговля с ним не велась, а значит и вреда он большого не приносил. В отличие от Щуки, которая безответственным своим поведением изрядно наколбасила в грядущей Киммерийской истории, расхлебывать же кашу, как всегда, по крайней мере отчасти, предстояло Мирону.

Одни неприятности от этого Лабиринта. Но засыпать его имеет право, по древнему пророчеству, имеет право только... Эх, да чего торопить события. Вот, Щука уже поторопила. Наколбасила, гадина. Наколбасила. Наколбасила.

Евгений Витковский. Земля святого Вита.

Часть 20

Евгений Витковский

XX

Зделано. Также без доклада никаких канцелярий не заводить.

Петр I. Резолюция

— С каких это пор, отец Василий, вы столь профессионально интересуетесь народными промыслами? Или у этих поделок есть какое-то значение, на первый взгляд невидимое? Просветите, отец Василий, я совершенно не в курсе дела, подобными игрушками не интересовался даже в детстве.

Иеромонах неодобрительно, исподлобья рассматривал собеседника, и с ответом не торопился. Будучи личным поверенным самого митрополита Фотия Второго в наиболее деликатных делах, Комитет Охраны Державствующей Церкви он

посещал регулярно, но заявиться посреди рабочего дня с целым чемоданом игрушек, расставить их по столу заведующего и после этого не говорить ни слова, лишь закатывая глаза — так, словно заведующий и сам должен понимать, в чем дело — это как-то уж чересчур даже для личного поверенного.

— Это не игрушки, Иван Николаевич, — после долгой паузы, наконец, пророкотал гость очень низким, хорошо поставленным голосом. — Отнюдь даже не игрушки. Заблудшие чада, научаемые... нечистым, именуют предметы сии древним русским словом — молясины. Называют их еще молитвенными мельницами кавелитов. К сожалению, чада эти... кавелиты то есть, составляют ныне далеко не одну секту. Еще при старой советской власти сект, использующих в своих гнусных ритуалах эти, как вы их, увы, неверно определили, игрушки, было зарегистрировано более десяти. Сейчас, конечно, Церковь стала Державствующей и без нашего разрешения никакое новое религиозное объединение свидетельства о регистрации не получит, но ересь возросла весьма и продолжает расти — без официального признания. Скажу хуже: все молясины, что видите вы перед собой, изъяты у прихожан Державствующей церкви. Вы, кстати, никогда не слышали вопроса: Кавель убил Кавеля, или Кавель Кавеля?

Хозяин кабинета подавил раздражение и покачал головой. Ему выше головы хватало склок и внутри одной только Благополучно Державствующей; под крылом у него, правда, находились также староверы, но до тех руки уже не доходили, да и не причиняли староверы особых неприятностей. Буддистами занимался один из заместителей, Дозволенными Мусульманами — двое других, Недозволенными — еще двое, кроме того двое — евреями, один — кришнаитами, еще один — зороастрийцами, еще один — хлыстовцами... не по его ли это части? Или это в ведении того, который просто сектами, кажется, Петрович с редкой такой фамилией... На «зе» еще... Хоть стреляй, не вспомнить, — впрочем, да телефон вот он, этот Иоганн Петрович под стеклом. Умственный человек. И хорошо, что инородец: не подсидит начальника.

— Кавелиты — они ведь сектанты, отец Василий? Сейчас вызовем референта... Да вы же знаете, ничего в сектах нет особенного, мало ли их в России... Со всеми Божьей милостью управляемся и управимся, Василий Петрович, сейчас референт подойдет, он про эти игрушки непременно знает все, что надо. Монах изобразил на лице мировую скорбь пополам с жалостью к безумцам мира сего, претендующим на всезнание; глаза его нехорошо заблестели.

— Если не трудно, Иван Николаевич, — проворковал он, доставая из бювара листок с компьютерной распечаткой, — запросите у ваших референтов численность вот этих сект. Вам тогда ясней будет. Я подожду. — Лист лег на стол перед генералом, и заведующий с интересом прочел:

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДО ДНЯ КОРОНАЦИИ НЫНЕ БЛАГОПОЛУЧНО
ЦАРСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРЯ:**

ИСТИННЫЕ ВЕСТНИКИ НАЧАЛА СВЕТА

(«Братцы-медвежатники»)

ЦЕРКОВЬ ПРОВОЗВЕСТИЯ НАЧАЛА СВЕТА

(«Истинные кавелиты»)
АНГЕЛЫ ПРИСНОБЛАЖЕННОГО МУЧЕНИКА КАВЕЛЯ
(«Ярославны Премудрые»)
ВОИНСТВО РАВНОАРХАНГЕЛЬНОГО КАВЕЛЯ
(Кавелиты-«пощадовцы»)
ЩЕПКИ БОЖЬИ
(Кавелиты-«щеповцы»)
КРОШКИ ГОСПОДНИ
(Кавелиты-«воробьевцы»)
ВОИНЫ ЧРЕВА КИТОВА
(Кавелиты-«китоборы», они же китоврасы)

— Здесь только семь первых указано, а зарегистрироваться успело еще примерно столько же. Но вы запросите хотя бы эти, уверяю вас, цифра будет весьма убедительная. Даже та, что в компьютере, не считая нелегалов. Если вы сочтете, что дело несерьезно, я тут же извинюсь и уйду.

Генерал подумал. В таком тоне секретарь митрополита разговаривал редко, да и запросить данные из генерального банка памяти — в любом случае дел на четверть часа, не больше. Генерал вздохнул, отдал инструкции и в ожидании ответа придвинул к себе одну из принесенных игрушек. Отец Василий быстро перекрестился. Игрушка представляла собой круглый, плоский диск размером с маленькое блюдце, судя по материалу, это был костяной спил, толщиной вершок или полтора. В середине его была легко, но прочно закреплена вращающаяся планка, длиной точно в диаметр основания. На концах планки стояли две одинаковые фигурки, тоже из кости, каждая вершков по пять высотой, похожие на солдат в противорадиационных плащах, только не в противогазах, а вовсе без лиц.

В руках фигурки держали молоты с длинными ручками, при ударе один из молотов попадал точно по голове другой фигурки, при следующем ударе фигурки менялись ролями. Генерал подвигал планку, — с каждой стороны у «молясины» имелось по маленькой ручке, приводившей молоты в движение.

— Вот-вот, — сказал монах, — Теперь раскрутите планку и начните повторять: «Кавель Кавеля любил, Кавель Кавеля убил». После этого вы — законченный кавелит, и подлежите отлучению от церкви.

— Это еще почему? — удивился генерал.

— После пяти, много десяти минут с вами знаете что будет? Как говорится, полный улёт, действует почище наркотика. Да, вот еще что. Кавелиты ждут Начала Света. Заметьте, Иван Николаевич, не конца света ждут, как все эсхатологические секты, а начала; по их мнению, человек еще и жить не начинал, а начнет только после этого самого их Начала. А наступит оно после того, как выяснится: Кавель убил Кавеля, либо же Кавель Кавеля.

— Что за белиберда? — удивился генерал, не переставая двигать фигурки, — Это же два одинаковых имени, как их можно отличить?

— И фигурки на той мерзости, что вы крутите, тоже отличить нельзя, особенно если вы их долго покрутите, и фразу, которую я вам сказал — монах явно

избегал лишний раз произносить «кавелеву молитву» — повторите пятьсот-шестьсот раз. Из вас после этого веревки вить можно будет. Подождите, сейчас вам данные принесут — узнайте, сколько народу вот этим самым, чем вы сейчас, в России занимается.

— Я, батюшка, занимаюсь этим, исполняя служебные обязанности! — одернул генерал монаха. Теократия хороша до известных пределов, и никому не позволено забывать, что отнюдь не митрополит Фотий стоит во главе Державствующей.

— В статистику посмотрите... — снова начал монах, но тут дверь открылась и страничка с распечаткой заказанных данных скользнула прямо в начальственные руки. По мере чтения кровь медленно отливала от лица заведующего Комитетом Охраны Державствующей Церкви.

— Семизначное число? Откуда семизначное?.. — не веря глазам, генерал пальцем пересчитал знаки внизу страницы.

— Именно, именно семизначное, Иван Николаевич, — веско сказал поверенный и закатил глаза, — Это данные по семи сектам из числящихся в наших архивах четырнадцати, и это лишь число легальных приверженцев. А все, что вы видите перед собой, — монах обвел широким жестом выставку игрушек на столе генерала, — все это, повторяю, конфисковано у якобы ревностных приверженцев Державствующей Православной церкви. Державствующей!.. Само собой, бывшие владельцы от церкви уже отлучены... но и только. Вот один из ваших заместителей занимается, к примеру, делами зороастрийцев. Их, со всеми возможными преувеличениями, сколько сейчас в Российской Империи?

— Ну, тысяча с лишним...

— Видите — тысяча! А этих, обобщенно именуемых «кавелитами», сколько? Посмотрите на бумажку перед собой и перемножьте, по нашим средним прогнозам, хоть на три, впрочем, боюсь, что на четыре, а то и на пять!

— Так это выйдут больше пяти миллионов! Увольте, отец Василий, этого просто быть не может. Получается подпольная религия, вроде сатанистов... Да откуда у нас сатанистов столько? А тут — религия?.. И мы о ней только теперь узнаем?..

Последняя фраза была признанием в некомпетентности, и генерал прикусил язык. Маленький калькулятор, выложенный на стол, уже предъявил ему число, сильно превосходящее миллион. Заведующий прокашлялся и резко сменил тон.

— Н-да, оставим, пожалуй, эмоции в прошлом. Для начала: то, что вы мне тут предъявили — кажется, тут слоновая кость, серебро, камни, вероятно, драгоценное дерево, ведь все это стоит бешеных денег. И не менее, чем у миллиона граждан империи, стало быть, есть свободные деньги на подобные побрякушки?

Монах невесело усмехнулся.

— Подобные, как вы выражаетесь, побрякушки, по карману не всем, таких — из числа нами изъятых — процентов десять, наверное. Большинство довольствуется самоделками, а им цена небольшая, их на любой карман производят. А кто и сам себе мастерит. Иной раз на рынках продают в

открытую — сами видите, как похоже на богородскую игрушку... И государство, как я теперь, к сожалению, окончательно и с грустью убедился, не имеет об этом никакого представления, не контролирует и не пресекает... Кровь стала возвращаться к лицу генерала, притом в избыточных количествах. Демонстрировать поверенному митрополита служебную бледность — куда ни шло, но не свекловидность!.. Заведующий склонился к игрушкам и взял в руки еще одну, где Кавели замахивались друг на друга топорами, основание же было каменное, с довольно ёмким углублением и двумя желобками по краям: видимо, молясина хотела прикинуться пепельницей, и кто не знал — мог положить в желобок горящую сигарету. Но генерал, во-первых, не курил, во-вторых, уже знал. Третья игрушка была деревянной, и вместо солдатообразных Кавелей тут замахивались друг на друга молотами два одинаковых медведя, подставка казалась тяжелой, сорт дерева генерал распознать не мог. «Эксперты узнают» — мелькнуло в голове. Четвертая игрушка, во всем напоминая первую, при малейшем движении заставляла одного из Кавелей падать в ноги другому и тот в буквальном смысле слова бил лежащего своим молотом, однако через поворот фигурки менялись ролями. У генерала зарябило в глазах, а он не осмотрел и половины выставки, устроенной монахом на его письменном столе. — А это что? — генерал удивленно потянулся к краю, где на планке вместо людей стояли животные, притом разные: с одного конца планки — грозный, зажавший кувалду в хоботе, слон, с другого — меньших размеров и жалкого вида кит, то ли дельфин, с кувалдой в пасти. Здесь и размеры молотов не совпадали. Молясина же была сработана вся из разных самоцветов, оттягивала руки и наверняка стоила, не при святом бы отце молвить, черта в ступе. — Мы бы тоже очень хотели знать — что это, — монах придвинулся к столу, — и если ваш отдел займется кавелитской ересью, мы, разумеется, предоставим все имеющиеся у нас материалы. Однако именно по данной разновидности ереси нет никаких сведений, прихожанин, предававшийся... радениям с этим предметом, увы... застрелился раньше, чем был разоблачен. К сожалению нашему, не могу от вас этого скрывать, застрелился он при неприятнейших обстоятельствах, прямо в церковном дворе, где у него развалилась сумка... после окончания службы. Что, увы, означает допущение к святому причастию, в то время как при нем было не только оружие, но и... сие орудие греха. — Ну вот что, отец Василий, — генерал окончательно перешел на деловой тон и стал тем, кем был от природы — человеком, близким к самым высшим кругам, — Вот что. Я сегодня же доложу о необходимости учреждения надзора за этими сектами. Кстати, составляют они единую религию или нет? Как они друг к другу-то относятся, эти... ярославны, скажем, как относятся к... медвежатникам?

— Наше счастье, да будет мне позволено так выразиться, в том, что они друг друга ненавидят. Все — всех. Это настоящая Дикая Охота — они ненавидят всех, но больше всех — друг друга. И пишут друг на друга доносы, и срывают радения, и разрубленные чужие молясины у порога церкви оставляют, да и просто убивают друг друга, хотя здесь статистика скорей в ваших руках. Скверно же то, что количество их разновидностей, количество толков, или —

они это слово у хлыстов позаимствовали — количество «кораблей» никакому учету не поддается. Не так давно встречались как будто только те разновидности, что официально зарегистрированы. А теперь, после... известных событий, — монах слегка склонил голову в сторону поясного портрета на парадной стене, — теперь каждый день что-нибудь новое.

Генерал задумчиво почесал подбородок. Не помогло. Тогда он не менее задумчиво почесал затылок. Не помогло. Чеси не чеси...

— А не разновидность ли это хлыстовства, отец Василий? Те же радения, тоже кручение-верчение, наркотики разные, тоже друг друга ненавидят, тоже православными прикидываются...

Монах впервые посмотрел на генерала уважительно.

— Мы это отметили. Но это совсем не одно и то же. Хлысты по большей части ждут конца света, а эти — начала. Невелика в каком-то смысле разница, чисто внешняя, конечно, но, простите, ведь ни единая хлыстовская секта, даже при советской власти, не получила официального разрешения на отправление служб, не была зарегистрирована. И всегда это было от нашей церкви достаточно далеко, я хочу сказать, далеко хотя бы пространстве, а тут, извольте видеть, прямо на собственном пороге... Между тем, насколько я знаю, один из ваших заместителей хлыстами занимается, ведет их учет и помогает нам в их выявлении и преследовании по закону.

— Да, хлыстовство — специальность генерал-майора Старицкого, не исключая, могут у него быть и какие-то данные о хлыстовцах-молясинцах...

— Кавелитах, господин генерал-подполковник. Сами себя они так не называют, разумеется, но хлысты — это хлысты, их вопрос о Кавеле не интересует, а для этих только на Кавеле все и сходится. Кавель Кавеля — или Кавель Кавеля.

Генерал, пораженный внезапной мыслью, откинулся в кресле.

— Отец Василий, я в тонкостях Писания искушен не слишком, поэтому вы мне на всякий случай скажите: все-таки Кавель Кавеля убил... или Кавель Кавеля? Настала очередь монаху побледнеть, следом покраснеть, на лбу его выступил пот, и, видимо, холодный. Генерал понял, что сморозил что-то ужасное, налил в стакан воды и быстро протянул монаху. Отец Василий стукнул зубами о край и перевел дыхание.

— Вот так они души и уловляют. Каин Авеля, а не Кавель Кавеля! В церкви многое произносится скороговоркой, и кто-то, где-то, когда-то первый раз ослышался. А что потом на это naroslo — сами видите. — Монах указал на выставку игрушек.

— Каин-Авеля, Авель-Каина, Каин-Авеля, Кавель... Тьфу, и в самом деле! — Генерал позволил себе усмехнуться — Право, неудобные имена. Но, как я понимаю, менять их поздно. Для начала мы создадим... подсектор по вопросам кавелизма, я правильно назвал?... Потом заставим уже зарегистрированные секты пройти перерегистрацию — и, где, возможно, отказать...

— Нет, так просто не получится. — Монах опустил глаза. — У нас есть все основания предполагать, что на вас... как и на нас... будет оказываться определенное давление. И... что давление это будет весьма сильным. Даже исключительно сильным. Ересь имеет распространение не в одном лишь

просто народе, хотя там, конечно, его опора. Радеющий с молясиной входит в состояние, по сравнению с которым простой гипноз — тьфу, ничто, тут скорей нужно припомнить опыты эриксона, по имени известного Милтона Эриксона. Или гаитянское изготовление зомби. В общем, самые скверные получаются аналогии. Как вы знаете, в миру я подготовил докторскую...

— Знаю, знаю, — почти ласково перебил генерал, — в условиях Державствования изучение вопросов ясновидения и предикции допускаться не может...

— Это в прошлом, генерал, на сегодняшний день меня, как и вас — интересует одно: пять миллионов, если не больше, погибающих душ. Погибающих оттого, что народ занят размышлением на тему: Кавель Кавеля — или Кавель Кавеля!

— А и в самом деле — Кавель Кавеля, — не удержался генерал, — или Кавель Кавеля?..

Монах замолк чуть ли не испуганно.

— Шутка, отец Василий, шутка. Сейчас мы с вами займемся серьезными делами. — он включил селектор, — Маняша, зайди ко мне.

Лишенная возраста (тридцать? пятьдесят?) секретарша генерала соткалась из воздуха.

— Мне генерал Старицкий нужен. И не Салтавец, не зам, а сам. Словом, нужны оба.

Генерал-майор Старицкий был разыскан мигом, и водворен к генералу-старшему почти одновременно с Салтавцом; младшие чины во мгновение ока становились средними чинами, замы на ходу обрастали новыми замами, согласно числу зарегистрированных ересей, а на роль консультанта — на первое время, до начала Петрова поста — отец Василий скромно предложил себя, и тут же был в этой должности утвержден.

По коридорам забегали молодые люди с опечатанными дискетами; в новообразованный отдел, состоявший пока из почти одних вакансий, перекачивали секретную информацию, час назад еще общедоступную. На подпись министру юстиции готовились бумаги о немедленной перерегистрации четырнадцати культов, при оформлении которых была грубо нарушена законность, другие бумаги спешно стряпались уже напрямую в компьютерах — об упущениях, недопущениях и прочем. Отец Василий, осматривая свой новый кабинет (две сажени на одну с четвертью), заикнулся что-то о высочайшем повелении, но был едва не убит взглядами присутствующих, хорошо знавших, как относится император к мелочам — тот, кто не способен разобраться с ними самостоятельно, не может долее служить и в статском чине коллежского секретаря выходит в отставку. Никому не хотелось превращаться в отставных поручиков, иеромонах же Василий, как принадлежащий к черному духовенству, видать, основательно подзабыл все эти мирские тонкости. Подписи Ивана Блекочихина, генерал-подполковника от кавалерии, на требуемых документах было достаточно. И ставил он их щедрой рукой допоздна.

Напрямую Иван Николаевич подчинялся главе службы безопасности императора, а это был человек занятый и к тому же хромой. Потрясенный внезапным возникновением в тылах Империи Пятой (нет, Шестой! То ли

Седьмой или Восьмой?) колонны сектантов, да еще в таких непомерных количествах, генерал поставил ближайшую цель — отменить уже зарегистрированных, сопроводить, куда Макар никогда бы телят не погнал, всех незарегистрированных, и скорейшим образом извести новоявленную ересь под корень. Никто не поставил его в известность, что изымаемая из одних компьютеров информация появляется в других в весьма отредактированном виде, а в прежних — исчезает начисто, и место ее заполняется гигабайтами знаменитой компьютерной игры «Дириозавр — любовь моя!» Никто не уведомил, что документы о перерегистрации одиннадцати легальных кавелитских толков давно подписаны его собственной рукой. Наконец, менее всего ожидал он, что жизнь окажется коротка... Впрочем, нет, в тот вечер взрывпакет, готовый оборвать его и отца Василия брэнное существование, еще только заказывали лучшим специалистам по взрывпакетам.

Меж тем без четверти двадцать четыре по московскому времени, когда по всему этажу уже слегка прошлись пылесосом, лишенная возраста секретарша Маняша на цыпочках прокралась через двойные двери, убедилась, что в блекочихинском кабинете пусто, да и вокруг — тоже, с чувством облобызала вознесенную слоном на молясине кувалду, плюнула на кита, завернула чудо уральских камнерезов в запасной свитер и на долгие дни, месяцы и годы исчезла из нашего повествования. Да и если насовсем, так не жалко.

А ничего не понимающий генерал-майор Старицкий у себя в кабинете устало стряхивал пепел сигареты в молясину «щеповского», покуда еще разрешенного толка. Эта странная пепельница подкупила его сердце. Такая тонкость резьбы, такая заточка топоров — как бы не платиновых! Одним словом, такая прелесть! И в душе его неведомо откуда звучало назойливое: «Кавель Кавеля любил, Кавель Кавеля рубил...»

А интересно, что думает император: все-таки Кавель Кавеля... или Кавель Кавеля?

Впрочем, за такие мысли можно нынче...

Гнать надо их из головы, мысли-то... Тогда есть шанс, что она, голова, покуда еще не полетит. Не зря отец Василий предполагает, что борьба с кавелитской ересью окажется весьма непростой. Не иначе, как имеет серьезные основания думать, что победа в этой борьбе митрополиту Фотию вообще не гарантирована. Кавель — Фотия... Подневольные люди иеромонахи, к сожалению.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 21

Евгений Витковский

XXI

Мне известно лишь одно место, столь же восхитительное летом, — замок графа Палинского среди Уральских гор.

О'Генри. В Аркадии проездом

— Помилуй Бож-х-х!.. — вновь и вновь разносилось по всему замку. На каждую комнату замка приходилось по несколько икон, граф ходил из дверей в двери, везде крестился и произносил любимую свою фразу как бы вместо молитвы. За окнами с трех сторон были обрывы в Азию, с четвертой открывался вид на десятиаршинный уступ, целиком находившийся в Европе.

Граф строил замок с помощью военнопленных ромеев, половцев, татар, монголов, шведов, поляков, турок, французов, англичан, японцев, итальянцев, немцев, и каждый внес в его архитектуру что-то неповторимое, свое, — кроме разве что половцев, по причине отсутствия у них не только стиля, но архитектуры вовсе. И все иное было здесь вроде как тоже во множественном числе, кроме самого графа, камердинера и Павлика. Даже день рождения граф отмечал в разные годы по-разному и в разных частях замка. Только день ангела, громогласно сетуя, что его природное имя — Сувор — по сию пору остается неканоническим и нецерковным, граф праздновал всегда двадцать второго сентября, на святого богомудрого Стратоника.

Смотровых площадок над замком возносилось три: старинная турецкая, похожая на минарет, резная итальянская, чуть наклонная в сторону Европы, и совсем новая японская, с драконами и непонятными иероглифами, насчет которых у Павлика недавно возникло серьезное подозрение, что срисованы они с пачки стирального порошка. Хотя решительно все, что было с этих площадок видно, — преимущественно вершины вертикальных скал и небольшие приплюснутости с верхней их стороны, — было изъедено выветриванием, но у себя в замке выветривание и все виды воздушной эрозии граф письменным приказом упразднил, а стихии, как обычно, ему повиновались. Более или менее повиновались графу и вымирающие, с трудом поднимающиеся на такую высоту орланы-белохвосты, но их граф любил; однажды Павлик был свидетелем, как Палинский, чтоб спасти великолепного стареющего самца, прыгнул с обрыва, поймал птицу в воздухе, принес в замок своими руками и с помощью камердинера выходил. Ныне орлан Измаил жил в уютном гнезде на турецкой смотровой площадке, никуда не летал, принимал пищу из рук камердинера и бесконечные летние дни напролет смотрел на север, — там за едва видимыми в тумане крышами Киммериона просматривались Ивуарьи Скалы, большой район в левобережье Рифея, где по сей день бивеньщики без большого труда за три летних месяца заготавливали мамонтовой кости на потребности всего оставшегося года, отбирая лишь лучшие бивни и вовсе не трогая несметное количество скелетов шерстистого носорога, тигрольва и прочей плейстоценовой фауны, для которой в молясинном промысле пока что не было отыскано никакого коммерчески разумного применения. Там же, только немного правей — строго на севере — торчала гора Тельпосиз, которую Змей неизвестно почему обогнул, видать, побрезговал, и на простых картах была она обозначена, и даже альпинистов на них кто-то видал. Зато для самих этих альпинистов все шесть Сокровенных Камней, возвышавшихся над сектантским озером, были невидимы — их Змей в свои владения вобрал. Исключение составлял Палинский Камень, который был выше всех, для трезвого глаза возникал ниоткуда и парил в воздухе над полным тумана ущельем. Но где он, трезвый

глаз, нынче-то? А в принципе граф тут ни от кого не прятался: для всех гостей было у него что-нибудь да припасено, от трофейного икарийского хереса до мощной ракетной установки. Впрочем, что и каким гостям адресовано, в каком количестве — этим занимался камердинер, а вовсе не граф.

На западе в хорошую погоду тоже виделось что-то вроде скал, но совсем иных. В графскую подзорную трубу можно было разглядеть длинную полосу каменных столбов, все — примерно одной высоты, все — темно-серые, с небольшим расширением вверху, словно расплюснутые ударом небесного молота. Этот каменный лес носил название Заратустрово Раменье, ибо — как рассказывают киммерийские легенды — именно в тех краях, еще до приползания Великого Змея на Северный Урал, стояла раньше деревня, в которой родился пророк, известный в народе как Зароастр; малыш, родившись, первым делом невообразимо расхохотался, отчего девяносто тысяч кочевавших поблизости демонов остолбенели навеки до состояния каменного бревна. Пророк впоследствии откочевал в южные края, а болваны полуверстной высоты остались. Еще где-то там, со стороны Великого Герцогства Коми, имелась в земле дыра, именуемая Нора, через которую в Киммерию вот уже который век ходят офени. Но нору-дыру ни с какой из смотровых площадок Павлик, сколько ни смотрел, разглядеть не мог. А ведь в той же стороне располагалась и столица герцогства, старинный Усть-Сысольск, где сидел теперь наместник центральной власти. Ибо титул великого герцога принадлежал императору, и отдавать его кому-либо он не спешил.

На юге высились бесконечные горы — иные общеизвестные, вроде Денежкина Камня или Конжаковского, иные же, как и сам Палинский Камень с возведенным на нем замком, непосвященным людям и приборам нечувственные, невидимые. Там было древнее Чердынское Царство, про которое никто толком ничего не помнил, там лежали руины Угрской Биармии, давно растащенные на вторичные поделки из малахита, запасы которого на всем зримом Урале давно иссякли; однако ни в Киммерии, ни на Высоких Камнях (вместе составлявших Урал незримый) вопрос о малахите не стоял, ибо справляющие нужду этим камнем хозяева и хозяйки медных гор производили его в холодные зимы после каждого обеда даже больше, чем нужно: свежий темно-зеленый малахит, пока на морозе застынет, пахнет весьма нехорошо. На востоке не было ничего интересного до самого горизонта — одно бескрайнее болото, гнилые елки да осины, и так до самого Алексашина, как с некоторых пор официально переименовали бывшее Березово. В эту сторону даже смотровой площадки на замке Палинского не было устроено, одно слово сказать про те азиатские края — ссыльщина, и даже переименование Березова тут помочь ничем не могло. Павлик, конечно, пытался в хорошую погоду из восточного окна и с помощью графской подзорной трубы хоть что-нибудь увидеть, но если что и обнаруживал, то совершенно неинтересное: нефтяные вышки, прочую чепуху.

В помещениях замка свистели и завывали бесконечные сквозняки, не потому, чтоб камердинер не знал, как от них законопатиться, а потому, что граф полагал их непременным элементом закаливания здоровья, столь же важным, как

портянки из гагачьего пуха, шпага на поясе, плевков через левое плечо перед последней ступенькой лестницы, ведущей к замку от озера, «Отче Наш» перед обедом и прочие раз и навсегда установленные вещи, о смысле которых вопрошать не приличествует: они просто есть и будут до скончания веков. Сюда же отчасти относились и сами жильцы замка, и даже их питомцы — от орлана Измаила и ястреба-змеяда Галла до послушных, никогда выше цокольного этажа не вползающих, ручных змей графа. Трудно, конечно, вообразить, чтобы трехсотлетний змей с расписной шкурой, скитал-скоропостижник Гармодий так уж боялся попасть на обед Галлу (на облет пасти Гармодия у ястреба и то ушло бы несколько минут), но по негласному уговору змеи замка даже в бельэтаже не появлялись никогда. От прожорливых сектантов и хищных ежей уползали они сюда, за облака, и вершина Палинского Камня давно стала обиталищем не менее десятка видов, неизвестных даже последнему изданию Яркой Красной Книги, и не было на них никакого закона, который бы их защищал, ибо закон просто не знал об их существовании. Однако многие из змей — тот же скитал Гармодий — уже сейчас оставались последними представителями своего вида и рода, полностью повторяя в том самого хозяина замка — графа Суворова Васильевича Палинского.

Кроме людей, птиц и змей замок Палинского был населен определенным, не слишком большим количеством призраков. Преимущественно это были призраки древние, как и все иные древние, весьма тяготевшие к Северному Уралу, Великому Змею, Киммерии, ибо на всей планете для них, кажется, только и осталось хорошего, что это заветное место. Призраки из снесенных французской революцией замков, Белые Дамы из превращенных в горные отели немецких «орлиных гнезд», домовые из вымерших русских деревень — всем им мечталось набраться сил, да и доползти однажды до замшелых плит на вершине Палинского Камня, уйти в них и под них, и тихо до-небыть всю оставшуюся до Страшного Суда бесполезную вечность. Удавалось это очень и очень немногим, однако, к примеру, две Белых Дамы, сперва чуть не расплывшиеся от ужаса при виде друг друга, теперь совершенно мирно проживали в нише за зеркалом на лестнице, ведущей к итальянской смотровой площадке. Призрак английского адмирала согласился на меньшее и жил в одном подвальном помещении со скиталом, появляясь крайне редко и лишь по вызову хозяина дома: тот английское наречие знал не особенно и нуждался в консультанте, когда давал уроки не очень памятливого в смысле языков воспитаннику, — да и не сам граф давал эти уроки, а камердинер Прохор (впрочем, имя его считалось секретным), граф лишь присутствовал; язык этот он терпеть не мог, но понимал, что в будущем воспитаннику без него в нынешнем изменившемся мире не обойтись. Наконец, под закладным камнем Монгольской Башни спал беспробудным сном и сильно храпел в зимние ночи известнейший в свое время архитектор Китоврас, про которого Павлик только и смог добиться от графа, что «А ну его!», от камердинера же вовсе ничего не узнал, тот был слишком занят то уборкой, то стиркой, то прочими домашними делами. Словом, призраки в замке были, но вели себя до робости цивилизованно: отказать им от дома хозяину ничего не стоило.

Для кого-кого, а для Павлика время в доме графа Палинского шло долго, медленно и трудно. Первое, чему взялся учить граф юного царевича, было не учение, а отучение: граф желал, чтобы в русской речи Павлика не было и следа простонародного говора. Сдвоенные киммерийские гласные, постоянное желание подставить в слово «це» там, где надо бы произносить «че», главное же — множество городских, чисто киммерийских слов наподобие «таласса», «колоша» — все это преследовалось графом беспощадно. Плюнув на принципы, граф вставил в видеомэгнитофон кассету и продемонстрировал мальчику всю процедуру порки: от вымачивания специальных астраханских ивняковых прутьев в соленой воде и вплоть до натягивания штанов на сконфуженно алеющие, выпоротые задние части. «А царевичей порют втрое пуще такого!» — многозначительно резюмировал граф.

Под жильем Павлику с первого, уже далекого дня определили две смежных комнаты, построенных и обставленных не иначе как пленными китайцами: очень низкая, совершенно твердая лежанка, косое деревянное полено вместо подушки (но в чистой батистовой наволочке), суконное одеяло, низкий стол (как раз под рост мальчика), шкафчик, другой шкафчик, стойка для шпаги, два кресла. Во второй комнате, с окном как раз на Заратустрово Раменье, первые полгода безвылазно прожил Варфоломей, куда Тоня не успокоилась окончательно, не поверила, что если где на белом свете для Павлика безопасно — так у Палинского, куда не ходят офени, а гости только из допущенных Федором Кузьмичом, да что там, сюда и птицам прилетать разрешается не всяким. И очень полюбился ей старый белохвостый орлан Измаил, чье сходство со старцем Романом Подселенцевым не бросалось в глаза разве что графу. Кончилось лето, Павлику шел девятый год, он крепко сидел в седле — чего Тоне, понятно, не демонстрировали, — знал названия многих вещей вокруг себя на трех, а то и четырех языках; комнаты его верная Вера Коварди чуть не сплошь завесила своими и Басилеевыми обманками, а кашу, которую в Киммерионе даже Нинель в дитё не запихнула бы, царевич съедал сам и корочкой хлеба дочиста вытирал дно серебряной миски с фамильным гербом Палинского.

У Варфоломея против всяких ожиданий стала развиваться акрофобия, боязнь высоты. В первые дни с огромным интересом парень рассматривал Урал со всех трех площадок, потом стал держаться подальше от поручней, потом и вовсе, поднимаясь к площадке вместе с Павликом, останавливался за несколько ступенек до выхода на воздух и держал руку протянутой к ноге Павлика — чтобы поймать его, если тот задумает падать в пропасть. Увидав такое дело, Палинский объявил, что «жилец без куражу», в высотном замке жить не может и пусть возвращается вниз — «государик» (так прозвал он Павлика с первого дня) в няньке не нуждается. Варфоломею было до смерти обидно, но граф с камердинером разъяснили, что боязнь высоты — болезнь, от нее лечиться надо, а лечит ее опять же Федор Кузьмич, и едва ли кто другой помочь сможет. Варфоломей брыкался недели две, потом, при очередном визите Веры и Тони, уложил вещи и вернулся на Саксонскую. Увлеченный трудными науками, Павлик никак своих чувств по этому случаю не выразил.

Из-за того, что занятия английским приходилось проводить в подвале у скитала (рядом с которым анаконда — червяк, на коего разве что карася поймать можно), где только и мог Палинский добиться подсказки, призвав на помощь призрак адмирала, двигался этот предмет туго, не в пример, скажем, фехтованию шпагой, штыком и столовой вилкой. Последнее граф учредил лично для Павлика, пояснив, что уже одного царя из-за неумения фехтовать вилкой Россия потеряла, так вот чтоб этого впредь больше повториться не могло. В дальнейшем граф предполагал заняться и «укрошением шарфа» (из-за неумения развязать шарф Россия потеряла другого царя), и собирался преподавать его Павлику с помощью какого-то питона: к счастью, Павлик змей ничуть не боялся.

За едой любимым присловьем графа было: «В брюхе и долото сварится!» Сказку про суп из топора Павлик знал, а про вареное долото так ничего и не добился, хотя нередко пытался подглядеть на кухне — не кладет ли камердинер, исполнявший также и обязанности повара, долото в похлебку. Другой пословицей было «С тухлого растреснешь, со свежего воскреснешь!». Ничего тухлого в замке не водилось — а очутилось бы что, так птицы и змеи мигом бы оприходовали — зачем тогда пословица? Камердинер сжалился и объяснил, что граф привык к сему присловью в Турции, а там жарко. Стало понятней, но ненамного. Присловий было множество, и почти ни одно ничего знакомого не значило. Но если граф был Павликом недоволен, то непременно говорил, растягивая рот: «Ай, молодца, хараша лица!» Где, когда он всего этого набрался, для чего это было нужно — Павлик недоумевал, покуда умница Вера не растолковала однажды: граф так пар из себя выпускает, а то в нем воздухе горячего больно много. Не зря же он в холодное озеро три раза в неделю прыгает. Павлик понял и стал следить, чтобы в нем самом горячий воздух тоже не копился.

Из неведомой еды на столе у графа обнаружил Павлик такое, что сперва принял за своеобразную разновидность змей, наподобие тех, что поглощал усатый светящийся дядя в городке у подножия Палинского Камня. Оказались это не змеи, а, как сказал граф, сердито убирая от мальчика тарелку-селечодницу, речные рифейские миноги, которые и не еда вовсе, а солдатская закуска. Поскольку самого Павлика граф нередко называл «Солдат, солдат, настоящий солдат, будущее нашей державы!» — Павлик не понимал, почему ему эти змеи-миноги не причитаются, и однажды одну потихоньку стащил. Сжевал и проглотил. Потом сильно болел живот, но камердинер объяснил, что это не от миноги, а от уксуса с горчицей. Павлику не понравилось, к миноге он больше не тянулся.

День начинался одинаково: граф трижды сбегал с горы вниз и возвращался обратно, камердинер в это время окатывал Павлика ушатом воды со льдом, взятым с ледника прямо перед азиатским фасадом замка; потом был общий завтрак, потом бесконечные занятия военными искусствами, потом обед и для Павлика — часовой сон (граф прыгал с обрыва именно в это время, а когда не прыгал — сидел в кабинете и пером очередной подвернувшейся птицы сочинял стихи; как однажды проговорился камердинер, мечтой графа было найти

немецкую рифму к собственным имени, отчества и фамилии: имя зарифмовать удалось, даже и фамилия с чем-то плохо, но вязалась, а отчество — никак, ни с чем оно в германском наречии не соединялась, но в безнадежность предприятия граф не верил и продолжал осаду этой упрямой крепости). Потом был подъем и час (на самом деле два) иностранного языка, сперва французского, потом немецкого — или же взамен обоих двойной час английского. За ужином граф непременно рассказывал что-то вроде сказки, ну, и марш в кровать. А утром все сначала, кроме тех дней, когда что-нибудь случалось — вроде взятия бедного орлана Измаила прямо в воздухе, и кроме тех дней, когда приходили гости из Киммерии: мама и Вера. Раз в месяц, не без труда, медленно взбирался в замок и дедушка Федор Кузьмич. К этому дню камердинер чистил графу парадный мундир, готовил что-нибудь необычное — варил, например, картошку, миноги же, напротив, на стол не подавались, — а граф лично встречал старца у порога замка... и почему-то, завидев Федора Кузьмича, непременно трижды кричал петухом. Потом все немножко закусывали, а следом дедушка уединялся с Павликом и устраивал ему экзамен по языкам. Про немецкий неизменно говорил, что «даже слишком хорошо», французский поправлял, а насчет английского ругался — доходило даже до скандала с призраком адмирала. Призрак занудно ворчал, мол, колониальный жаргон ему противен, но в конце концов разъяснял, что именно и как именно нужно говорить, при этом кому и зачем. Вообще Федор Кузьмич вздыхал, что английский мальчику придется доучивать внизу. А когда оно будет, это «внизу»? Времена года сменялись, зарубки, отмечавшие рост на косяке китайской спальни Павлика, ползли вверх, однако же никакого спуска вниз ему не позволялось.

Большим утешением служило обучение езде на лошади, к которому Палинский приступил немедленно после того, ухода Варфоломея. Конюшен у графа было две, в одной стояли низкорослые, мохнатые, послушные кобылки рифейской породы, в другой — два жеребца «личных его сиятельства», арабские полукровки, умевшие всё — даже ходить по винтовой лестнице; именно так, поочередно на каждом из жеребцов, граф выезжал на турецкую смотровую площадку и озирает по утрам просторы российские, киммерийские и небесные. После чего уезжал обратно, конюшни, которые, хотя и были вырублены в толще скалы, хорошо проветривались и освещались электричеством. Овес и прочий корм, как и все потребное, поднимал из Триеда грузовой лифт — мрачная, темная коробка, в которую человеку лезть не хотелось. Павлику особенно. А вот конюшни были радостью. Особенно его личная мохнатая трехлетка Артемисия. Гарцевать на ней по замку и перед замком Павлик лихо умел уже к восьми годам. В девять, в порядке подарка ко дню рождения, было ему разрешено перепрыгнуть на Нижний, малый, специально превращенный в открытый манеж зубец Палинского Камня. Погарцевал, прыгнул обратно. Лошадь слушалась Павлика не хуже, чем арабский жеребец — графа. Граф одобрительно высказался по поводу прыжка обратно, к замку: «Порода, порода видна!» Чья порода, его или лошади, Павлик не спросил. Не то, чтобы постеснялся: просто понял, что ему этого достаточно: не прямо, но похвалили.

Лошадки, помимо собственных-личных, были у графа местные, рифейской породы — той, про которую ходил упорный слух, что в нее прилита кровь стеллерова быка Лаврентия. Особенность этой породы, помимо низкого роста, непомерно широкого храпа и гривы почти до земли, была та, что на одной лишь растительной диете такая лошадка хирела и погибала: ей, как и сектантам из Триеда, требовалась ежедневно змея-другая, а если не змея, то какое-нибудь пресмыкающееся: хотя бы полгадюки, на худой конец — яйцо черепахи, которые тут пока что не водились, или ящеричий хвост. Камердинер пользовался при кормлении лошадей в основном последним вариантом; у триедских ящериц хвост отламывался по первому прикосновению и был сладким, из-за чего сектантская детвора считала это лакомство примерно тем, чем в прежние времена детвора Внешней Руси числила леденец на палочке или мороженое-эскимо. Хвост у ящерицы отрастал через день или два, был слаще прежнего и отламывался так же легко, так что сектанты, исполненные священного ужаса перед летающим графом, сами клали в грузовой лифт связки ящеричьих хвостов, которыми высокогорные лошадки хрустели, как все лошади остального мира хрустят сахаром. Павлик, что греха таить, тоже хвосты любил, но с того дня, как Артемисия стала его, только его лошадкой, баловство это себе запретил: слишком мало у лошади радостей в жизни, чтоб ее еще и сладкого лишать, тем более, согласно разъяснению графа, иначе все равно придется ее кормить совершенно несладкими и неаппетитными гадюками.

Кормить лошадей гадюками было нехорошо еще и потому, что какие-никакие это были змеи, а все-таки родственницы бесчисленных аспидов, куфий, тик-полончей, кроталов, скиталов и кенхров, запросивших экологического убежища в цокольном этаже замка Палинского. Жирные кенхры потребляли белых мышей, но брали пищу из рук камердинера со слезами: они знали, что в этот самый миг, скорее всего, во владениях Тараха Осьмого люди садятся за стол и чуть ли не живьем пожирают их менее удачливых, не доползших до вершины Палинского камня родичей. И даже хуже: если на ящеричьи хвосты в Триеде выдавался неурожай, то опять же родичей, несмысленных гадюк, приходится отдавать не съедение графским лошадям. Это уж не говоря про ястреба Галла, который на иной диете подход бы. Кенхры полагались на мудрость старшего среди пресмыкающихся Палинского Камня, скитала Гармодия, а тот поступал действительно благоразумно, — двадцать девять дней в месяц, а то и больше, беспробудно спал, демонстрируя интересующимся лишь всецветные переливы своей расписной шкуры.

Черепахи в Киммерии существовали вроде бы только в теории, в приполярных краях они вообще встречаются редко, однако при ближайшем рассмотрении в подзорную трубу можно было рассмотреть, что крышами домов в Триеде служат именно панцири исполинских ископаемых черепах. Триедское слово «чрепие» в значении просто «крыша» иной раз употреблял в разговоре то камердинер, то сам Палинский: если на уроке английского Павлик ненароком употреблял немецкое слово, граф хохотал и восклицал: «Ну, брат, совсем у тебя накосяк чрепие поехало!» Иных черепах, кроме ископаемых «крыш», видел Павлик лишь на картинках в богатейшей библиотеке графа. С давних пор шел

слух, что какая-то из галапагосских черепах уже переплыла Тихий океан и от оккупированного еще прежним Китаем Аомыня ползет через азиатские просторы к Уралу; впрочем, пока что героическую гостью только еще с трепетом ожидали, шутка ли: сухопутная черепаха да Тихий океан переплыла! Павлик проявлял особый интерес: он хотел поехать на черепахе. Однако и на лошади тоже было хорошо.

— Помилуй Бох-х-х!.. — разносилось среди сквозняков дворца. Граф обходил комнаты, крестился на иконы, в некоторых местах крестил и окна, те, вид из которых казался ему неприятным или подозрительным. В приемной зале на восьмом этаже, «ломберной», он крестил каждое окно; объяснить — почему одно окно он крестит, а другое нет, граф не мог, лишь бормотал изредка, что у него «такое предчувствие». В ломберной, впрочем, было от чего перекреститься православному человеку: здесь граф, пристрастившийся из всех карточных игр к преферансу «с тех самых пор, как его придумали», затевал иной раз роспись пульки на целую ночь. Играл он когда втроем, когда вчетвером, лишь изредка приглашая — и только четвертым — камердинера. Остальными партнерами графа были призраки. Из них, впрочем, граф приглашения достаивал тоже далеко не всех. Белые дамы, к примеру, не приглашались: поскольку были они дамами; не сиживал за карточным столом и призрак адмирала, поскольку был настроен антифранцузски, и сколько граф ни объяснял ему, что игра эта исконно русская, лишь по происхождению — австрийская, призрак от высокой чести отказывался и прятался в камень. Граф полгода или год приглашения не повторял, а потом сцена с приглашением адмирала в ломберную разыгрывалась вновь; военных, несмотря на то, что давно призраки, граф уважал как коллег: откуда знать, кто завтра окажется твоим союзником, а кто врагом?

Надо всем северным полушарием хозяйничало лето, даже лед из неприкосновенных запасов камердинера здесь, на высоте двух верст безбожно таял — раньше, чем верный слуга успевал подать его на стол, и бутылка киммерийского кваса вместо того, чтобы благолепно возлежать на краешке ведерка горлышком, зарывшись в холодные осколки всем прочим телом, похабно плавала что твоя барыня в бассейне. Граф презрительным жестом отсылал бутылку со стола, и отчаявшийся камердинер появлялся с большой кадкой, забитой нетающим льдом под хитрым названием «фирн»: такой лед не таял даже на раскаленной сковороде, лишь медленно испарялся, — но было его в расселинах Палинского Камня мало, и с каждым годом становилась все меньше: расход на столовые нужды был весьма велик в иные дни, новый же фирн раньше очередного ледникового периода созреть никак не мог.

Камердинер уже не раз докладывал, что еще в этом столетии запасы фирна иссякнут, и придется заказывать его внизу. «Помилуй Бог, ну так закажем!» — весело отвечал граф. Но камердинеру и думать о таком было совестно, и Павлик очень ему сочувствовал. «Прохор, хотите, я вам льду у дяди Гаспара попрошу?» — спрашивал мальчик, уверенный, что дядя Гаспар точно знает — где взять самый лучший на свете лед (что скорей всего так и было). Прохор краснел, как девица, и уходил в свои покои. Человек он был простой, заграничным наречиям не обученный, и не понимал, почему один лед тает, а другой испаряется, но

просить о чем бы то ни было мальчика, которому нет и десяти лет, даром что мальчик не только наследник престола, но и фехтовальщик первой руки, и наездник тоже хоть сейчас вперед на австрийков (почему-то Прохор именно этих военных противников представлял себе лучше прочих) — просить такого мальчика ему, обыкновенному камердинеру, было никак не по званию. Вообще-то Павлик иногда не понимал — один камердинер во дворце у Палинского, или еще кто есть. Например, когда граф садился за преферанс с Диким Оскаром, независимым призраком, лишь по специальному приглашению поднимавшимся на поднебесные выси Палинского Камня, и с Вечным Чиновником, всё дожидавшимся решения по своему делу «Мокий против Соссия» в городском суде Киммериона, — четвертым за столом сидел обычно камердинер. Но кто ж тогда подавал коньяк, свечи, новые колоды карт? В это время Павлик обычно спал, но в те редкие случаи, когда он почему-либо заглядывал в ломберную, где шла игра на четверых, камердинер сидел за столом, а Прохор прислуживал, хотя Павлик поклялся бы всеми змеями, что камердинер-то и есть Прохор! Однако бывало так, что Дикий Оскар не являлся, тогда со вздохом граф подходил к восточному окну на лестнице — и в зал по внешней стене влезало грязное, перемазанное Существо в драном саване, всегда садившееся к «входному» окну поближе и не заходившее на европейскую часть комнаты. В этом случае граф, Вечный Чиновник и Существо играли втроем, коньяк граф наливал себе сам, а Прохор уходил спать. Игра в такие ночи кончалась раньше, и всегда — скандалом. «Сталинград!» — орало Существо, а граф, неизменно отвечая: «Уконтрапупим!..» вставал с картами в руках. Короткая перекидка вызывала вопль Чиновника, похожий на крик полярной совы, впрочем, иной раз он орал «Без одной!», а бывало, что «Без двух!» и даже «Без семи!» — и по ядовитому смеху графа было ясно, что Существо крупно проигрывает. Но взять с него было нечего, и удалялось оно в азиатское окно, грозя и рыдая. Граф клялся ни в жизнь больше старого маразматика близко не подпускать, но... оставшись очередной раз в безлунную ночь без партнера, вновь призывал «ползуна». Павлику «ползун» был бессознательно противен, но его радовало, что тот хотя бы никогда не выигрывает.

Впрочем, однажды в августе Павлик был разбужен страшным грохотом в ломберной. Он скользнул в тапочки и, как был, в одних трусиках, которые граф именовал только «подштанниками», (мама возражала против такого названия), побежал по боковой лестнице на восьмой этаж. Сквозняки дули повсюду, но Павлик никакого внимания на них не обращал, последний раз простудился он больше года тому назад. Из двери в ломберную, приотворенной на ширину ладони, раздавались вопли, и по меньшей мере один голос был совершенно незнакомый.

— И-з-з-з Ев-ро-пы па-а-а-шел вон! Па-ашел! Па-ашел! Вон! Вон! — орал этот голос, скрежещущий, как несмазанная лебедка, что-то сыпалось, видимо, стеклянное, и свет метался от канделябра, которым кто-то размахивал, — граф, конечно. Павлик знал это, даже не глядя в щель: кто же еще посмел бы махать канделябрами в доме графа?

— А и поше-ел! Помилуй Бох-х, кто тебя к западному окну пускал! Куси его,

Сtima, куси, съешь его, съешь его! — надрывался граф, изгоняя приглашенного из европейской части ломберной в азиатскую. В разбитое европейское окно протискивалось что-то огромное и отливающее металлом, такое же сидело на соседнем окне. По полу, как заметил Павлик, быстро скользили, забиваясь в щели, незнакомые бронзовые змейки, которым тут, на восьмом этаже, определено было не место.

— Сыгран же! Чистый! Без прикупа! — выло Существо, пытаясь переползти рядом со столом, не повредив расклада карт.

— Вон-н! Вон-н! Вон-н! — словно колокола, густо звенели чудища в соседних окнах. Чудища поражали тем, что в них сочетались два цвета: позеленевшая медь и ярко-рыжая ржавчина. Но Павлик им не удивлялся, он у дяди графа в замке на такое насмотрелся, что вид железных птиц его скорей развлекал.

— Ну куда ему... — пытался вступить за изгоняемого Вечный Чиновник, не особенно, впрочем, настаивая, — Внизу, чай, на Заквачных Хлябях змееды лягушек сегодня едят, покуда те квакают — оттого нынче затмение лунное, вот и не смог Дикий Оскар прийти, он без лунного света никуда...

— Пусть квакает, хоть не квакает, только в Азии! Нет ему хода в Европу! — гаркнула в ответ медно-железная птица из окна, — Нет ему броду в русскую воду!

— А Сибирь ведь тоже русская земля-а-а... — заныло Существо, — А-азия, А-азия...

— Ничего, выйдет приказ — мы тя быстро из Азии выгоним, в Антарктиде бродить будешь, в Антарктиде, а то можем и оттуда выгнать! — парировало чудище, — Вали!.. К едрени фене!

— Ну сыгранный, ну, будьте же людьми... — скулил картежный гость. На предложение «быть людьми», обращенное к призраку и чудовищам явно иного биологического вида, хмыкнул даже Павлик, в биологии и демонологии граф его уже поднатаскал. Диковины в окнах были, видимо, стимфалидами — металлическими птицами, обжившимися в ссылке на Урале и теперь его патрулирующими. Павлик их ни разу не видел, но прикинул, что скиталу Гармодию такая — на один проглот, не говоря уж о Великом Змее, который, зевая, сглатывает таких полсотни и спать ляжет голодный.

Граф очень любил преферанс, но законы Империи были ему еще дороже. А согласно негласной воле императора, призрак этот в Европе не имел права появляться уже давным-давно, и так уже набродился, хватит. Граф поднял тяжелый подсвечник, не киммерийского, а каслинского литья, так что и разбить не жалко, потому как чугун у них так себе, и высоко замахнулся:

— Мизерабль несчастный, ша-а-а-а... гом... арш! Кому говорю, тать ночная! Мало того, что на восьмерной вистуешь, как... студент! Так еще и попадаешься! А солдат не разбойник, добычь — святая у него! Возьми лагерь — все твое! Возьми крепость — все твое! Хоть золото горстями, хоть серебро, а ты... вист пилишь! А вот поди отсюда...

Призрак-скалоброд меж тем дополз до азиатского конца стола, умудрившись не рассыпать карт, и показал стимфалиде «нос»:

— А вот выкуси! Я в Азии, нет на меня твоего права!..

Граф поставил подсвечник.

— Сtima, право, доиграть дай. Я — гляди — в пуле зуб на него рисую, за то, что неправильно уселся. Пуля, знаешь, дура, зуб — молодец! И единичку на гору, как за испорченную сдачу...

— Всего единичку? — ахнула стимфалида, но призрак одновременно с ней выкликнул:

— За что единичку? Сыгранный! Мизер без прикупа!

— Точно, — вмешался Вечный Чиновник, — десять в пулю тебе за сыгранный, в пулю, а единичку наверх за то, что игру портишь. Так что все по закону, Сувор Васильевич, мы ж еще и половину котла не расписали. То есть не котла... Как теперь?

— Теперь говорят «с горы». Лети, Стимушка, не будет его в Европе, обещаю, прослежу, слово мое крепкое, сама знаешь. Лети, Сtima, там в Заполярье без тебя, того гляди, побиение какое... Лутче лети, Сtima! Пособляй и совершай!

— Ты смотри! Раскроем к ядрени!.. — впрочем, фраза эта донеслась уже из-за окна, стимфалиды отбыли на пути обычного патрулирования. Граф утер лоб кружевным платком, уселся за стол, взял свои карты (сдавал Чиновник), и только хотел сказать «Помилуй Бог!», как увидел в приоткрытую дверь Павлика.

— А это еще кто? Почему не спишь?

Павлик ударил пятками в тапочках, как положено по уставу, и как ни в чем не бывало доложил:

— Осмелюсь доложить: шум! По тревоге солдат встает!

Граф уронил карты на стол.

— Помилуй Бох-х-х, да это что ж такое? Шагом марш спать, пока... пока...

Пока к присяге не приведен!

Павлик послушно повернулся на тапочковом заднике и пошел к себе.

Карточные игры и призраки не интересовали его совершенно. А вот почему змеи по восьмому этажу ползают? Это те самые, которые... оборачиваются. Кем и чем не просят перекидываются. Непорядок. Нанесут всякие чужие... всякого чужого. Нагадят малахитом, — что, Прохору подметать?

Павлик скосился на свою голую грудь: там пока что никаких орденов не было. Но он знал — это временно. Временно. Народ еще увидит, какой должен быть — и будет — порядок.

Никакого малахита.

вгений Витковский. Земля святого Витта. Часть 22

Евгений Витковский

XXII

...он потом объехал Европу на своих орловских лошадях в богатом дормезе — цель его путешествия была изучение гастрономии.

М. Пыляев. Замечательные чудачки и оригиналы

Переплет у книги был черный, кожаный, некрашенная кожа сохраняла все свои природные разводы, и потому сразу было видно, что кожа — змеиная. Под обложкой обнаруживалось множество страниц чертежного ватмана (из лавки Дурисяко на Елисейевом Поле), исписанных круглым, легко читаемым почерком, но едва ли при помощи чернил; скорее всего, перо обмакивали в желчь змеи амфисбены, популярную в городе сектантов тем паче, что ни на что иное, кроме как на чернила, желчь не годилась. Предисловия написать никто не озаботился, не было ни алфавитного порядка, ни деления блюд хотя бы на горячие и холодные: просто некогда некто завел книгу для рецептов — и вписывал их туда по мере вдохновения. Начиналась она старинным полууставом, потом переходила на простое, хотя старое правописание, дальше исчезали и ять с фитой, но на содержании все это сказывалось мало: девять десятых рецептов были посвящены змеиному мясу и наилучшему его употреблению в пищу с приправами и без таковых; лишь оставшаяся десятая часть описывала способы употребления ящериц и разнообразных лягв: первых сочинители книги на протяжении многих поколений полагали легкой закуской, детским баловством, едой несерьезной и несытной, вторых — едой, съедобной лишь в холода, но именно оттого достаточно важной, к тому же, в отличие от змей, негодной к употреблению в сыром виде. Лягв ели в зимнее время, чаще сушеными, реже тушеными с морской капустой, и был слух, что именно у триедцев обучились употреблению лягв какие-то древние французы, унесшие любовь к ним на свою историческую родину в свите Анны Ярославны, будущей королевы Франции; чего ради их прежде того занесло в Киммерию — было известно лишь по сгоревшему в московском пожаре 1812 года без единой копии «Слову о дружине Жидославлевой». Постороннему человеку нужно было иметь либо крепкие нервы, либо слабое кулинарное воображение, иначе читать книгу без позывов к рвоте было невозможно.

Книгу у сектантов выменял на четыре плотно закрытых и тяжелых ведра Гаспар Шерош: лишь с ним, свободно говорившим на их диалекте, змеееды соглашались вести переговоры по такому сложному и отчасти сакральному вопросу, как продажа копии знаменитых «Приспешничьих советов», — так называли они свой старинный рецептурно-кулинарный справочник, даром, что имелся он в каждом триедском доме, свой собственный рецептурник никто ни на что не сменял бы, но за последние полвека население Триеда заметно сократилось, и образовались лишние экземпляры, выморочные, увы. С разрешения Тараха Осьмого одна из бедных семей отдала лишний экземпляр Гаспару для ученых целей, уплатив половину выручки в качестве налога самому ересиарху. Два ведра белых, полярных речных гадюк из Миусов, жирных, как вымирающая рыба сиг, были истреблены за столом Тараха в один присест, после чего ересиарх сам предложил Гаспару еще один экземпляр на прежних условиях.

С первым Гаспар не расстался бы никогда, да и не принадлежал он ему: собственными руками президент Академии оттиснул на странице семнадцатой штамп библиотеки Академии киммерийских наук, — но второй экземпляр тоже

выменял. И очень этот экземпляр теперь пригодился — когда через архонта пришел к нему офенский клич: «Новых кулинарных книг императору!». Чего другого. Это у Гаспара было приготовлено заранее, он предвидел подобную потребность. Экземпляры отличались только цветом кожи на обложке, да тем, что на запасном никакого штампа не было.

Возможность регулярно бывать в Триеде Гаспар получил благодаря хорошим отношениям с жителями Саксонской Набережной, которым оказал однажды ценные услуги. Но однажды или тысячу раз — там счета не вели, там были благодарны раз и навсегда, а Гаспар, дальше Триеда из лодки Астерия никогда не просившийся, был к тому же удобен как переводчик. Впрочем, сектанты давно уже привыкли к тому, что по воскресеньям ни свет, ни заря к причалу подваливает лодка, — на носу бобер, на корме Астерий, выходят из лодки два или три пассажира и по крутой тропинке устремляются вверх. Четвертым (или третьим) пассажиром иногда оказывался Гаспар, знавший, что в горы ему лучше не ходить, и пользовавшийся уникальной возможностью — занимался изучением Триеда и триедцев. Как-никак это была часть Киммерии и, хотя в Киммерионе сектантов понимали примерно как в Москве чукчей, но это был не повод отказаться от их научного изучения. Гаспар даже научился переваривать жирное мясо сырого кенхра — всего-то нужно было хорошо закусить морской капустой. Триедцы были не то, чтобы хлебосольны (ни хлеба, ни соли тут не ели), но капустно-змеины, и ел Гаспар в каждый приезд не более одной змеи или двух. Впрочем, чистя по утрам зубы, Гаспар обнаружил, что от регулярного потребления чуждой пищи начало у него чернеть небо. Пугать людей ученый не хотел, и решил в дальнейшем ограничиться одним кенхром за поездку. Или половинкой амфисбены. Но с капустой непременно.

Как доносили Гаспару верные люди, кулинарная книга требовалась не для дела, а для коллекции, и не самому императору, а кому-то в подарок — не иначе как заморскому гостю. Гаспар уплатил офене твердую цену четырех ведер заполярных гадюк, восемь империалов, и вписал их в академические расходы. Не разорится Киммерия, если за счет архонта будет отправлено императору столь оригинальное подношение. Притом не напрямую, а через консула в Арясине — офени своих слов не нарушают. Кроме одного случая, но про тот случай уже забыть успели... хотя нет, ничего подобного — не успели, конечно. Кризис тогда случился в Киммерии, притом финансовый. С княжеских времен такого не случалось. Это значит — самое малое семь столетий.

Остался тогда Киммерион без тюрьмы, без монетного двора и, как говорят китайцы, «без лица». Многие годы чеканил Римедиум лепеты и мёбии, оболы и осьмушки таковых, грузил на инкассаторскую лодку и отправлял их на Архонтову Софию — а в обмен получал приговоренных к смерти, но помилованных (в пользу Римедиума Прекрасного) извергов-преступников. Правда, из-за каких-то неясных причин Римедиум давно не давал Киммериону медных денег — хотя слитки меди Инкассатор на монетный двор по-прежнему завозил. Аккуратные киммерийцы замечали, что осьмушки оболы, которыми сдачу на рынке дают либо в гостиных рядах, что-то уж очень истерты, новеньких нет, но списывали это дело на инфляцию, ведь серебро в обращении

попадалось совсем новенькое. Киммерион не дулся и преступников Римедиуму сдавал исправно, — не особо много, но откуда же возьмется в Киммерии много преступников?

И однажды, вернувшись на Землю Святого Эльма, больше четырех киммерийских декад — по-европейски почти полвека! — проработавший в должности Инкассатора кир Манфред Хроник, сошел со своей лодки, и бездыханным пал к ногам главы архонтовой инкассаторской службы, кира Азоха Мак-Грегора, известного и почитаемого всем городом бобра. Покуда подчиненные Мак-Грегора (все как один люди — для мордобоя пальцы супротив лап преимущество имеют) совали нашатырь под нос живому все-таки Манфреду, другие подчиненные кира Азоха, тоже люди, спустились в лодку — принять новоначеканенное серебро, или, если чудо случится, мелкую медь тоже, городу она уже очень и очень была нужна. Ни серебра, ни меди они в лодке не нашли, зато связанный по рукам и ногам, с заткнутым ртом, с вытаращенными глазами, лежал под банкой на корме не кто иной, как бывший городской палач-цветовод Илиан Магистрианович Гусято. Вынесли его на берег и откупорили (тряпку вынули из пасти), получили для начала долгий, почти волчий вой, а следом поток разнообразнейших и даже отчасти на городских рынках подзабытых киммерийских ругательств. К ужасу инкассаторов, кир Манфред продолжал находиться в чем-то вроде глубокого обморока (вскоре перешедшего в правосторонний инсульт), а презренный преступник Илиан, как выяснилось впоследствии, лишившись рассудка, напрочь позабыл русский язык, сохранив только минимальное, «рыночное» знание старокиммерийского.

«Скорую помощь» вызвали немедленно, тут же поставили в известность архонта Иакова Логофора, а тот приказал немедля допросить Илиана: чтоб ясно и четко изложил, по какому-такому поводу и праву он, помилованный на каторжные работы Илианка, посмел сойти с ума.

Внятно говорить по-киммерийски могли на весь Киммерион лишь три человека, из них один в данное время отбывал срок домашнего рабства, а двое прочих, гипофет Веденей Иммер и Президент академии киммерийских наук Гаспар Шерош, были немедленно вызваны в районную больницу имени Святого Эльма на одноименной Земле. Веденею идти было довольно близко, однако уйти с работы, не закончив толкования для Василисы Ябедовой, он не имел права, два часа извлекал из бреда Сивиллы что-то путное, так и не извлек, и лишь тогда явился на Землю Святого Эльма, когда и Гаспар — а тому, рванувшему по первому зову, идти было через весь город — с Петрова Дома на Медвежий, оттуда через Насквозь на Обрат Верхний, потом через Напамять на Говядин, чтобы лишь в конце Пути достичь Земли Святого Эльма и вступить там в собеседование не столько с сумасшедшим бывшим палачом, сколько с гипофетом. Разговор их велся, против обычного, по-русски, чтобы сумасшедший Илиан, если что из русской речи и помнит, то понял бы поменьше.

— Он все время повторяет — «Все погибли! Все погибли!» и еще ругается. Насколько я могу судить, в Римедиуме приключилась не то катастрофа, не то моровое поветрие, и больше ни одного живого человека там нет. — Гаспар

откинулся на спинку кресла и сложил руки на коленях. Придя всего на пять минут раньше гипофета, он уже извлек из Илиана весь его скудный запас киммерийских слов.

— Если позволите, я попробую... — Веденей перешел на базарный, отнюдь не литературный вариант киммерийского, от которого Гаспара несколько перекосило, но средство подействовало: таких слов Илиан, полжизни проведенный на рынках, знал все-таки больше.

— Мы приплыли, а он всех проклял... Он всех проклял, все умерли, а он на черной лодке... Он уплыл, и с ним все деньги наши...

Илиан перешел на бормотание. Веденей долго прислушивался.

— Коллега, что может значить слог «щу» в аффиксальной позиции?

Гаспар задумался.

— Может быть, «щуппалетсе»? Так называется не то третья, не то четвертая летняя жатва корня «моли» на острове Эритей, в хозяйстве известного Герииона, и, кажется, конечность, которой он этот корень собирает. «Моли» действительно отбивает память. Но Гериион — в компетенции Мирона Павловича, Гериион с Эритея выйти не может. Неужто какие-то неизвестные контрабандисты? За торговлю «моли» — двести шестая статья Минойского кодекса, а это верный Римедиум; только не было на нашем веку дел по этой статье!

— Ну да, а если «щупальце» по-русски, то еще непонятней. Но позиция аффиксальная, этот слог входит внутрь корня. Перед ним что-то вроде... Да нет, и строить предположений не буду. Одни согласные...

Разговор длился несколько часов, казенные стенографистки, да и магнитофоны тоже, фиксировали каждое слово малопродуктивного допроса, и начальные предположения Гаспара подтвердились наихудшим образом. Снаряженная брыкающейся гильдией лодочников экспедиция на следующий день доложила: все так... и даже много хуже. Трехнедельные трупы смердели так, что гвардейцам архонтовой стражи пришлось пропитать мочой фуфайки и дышать через них. Похоже было, что все обитатели Римедиума умерли давно и мгновенно, причем — о, Конан-варвар и все отцы-основатели! — перед этим похитили все запасы начеканенной для нужд Киммерии звонкой монеты! Но логика вещей подсказывала, что умерли-то они сами, а стало быть, похитили серебряно-медную казну Киммерии все-таки не сами. И в таком случае есть вопрос: куда она делась?

Хуже того. Простая экспертиза, присланная со второй лодкой (точней, с двумя: на второй привезли команду из гильдии могильщиков) установила, что никакая монета, ни серебряная, ни медная, в Римедиуме уже давным-давно не чеканится. Горны, тигли и прессы проржавели, производственные цеха и помещения полны мерзостью запустения, а те немногие, притом только серебряные монеты, которые удалось набрать по углам казнохранилища, отчеканены три архонта тому назад. Нетронутые бруски серебра, меди, никеля и прочих совсем не дешевых металлов, которые в последние декады привозил кир Манфред, оказались сложены в подсобном помещении, и успели покрыться патиной времени. Выходило, что на протяжении почти всего служения кира Манфреда

Киммерион поставлял Римедиуму полноценных преступников, а взамен получал лишь немногие фунты серебряных мёбиев, полумёбиев и третьмёбиев, и ни одного медного лепета!

Над Землей Святого Эльма полыхали такие огни всенародного гнева, каких Киммерия не знавала со времен Зои Твердиславишны, последней Киммерийской княгини, отошедшей во сне бездетной и оставившей страну в республиканском разброде целых семьсот европейских лет тому назад. Иаков Логофор в приступе гипертонии лежал с особо злыми пиявками, покиммерийски «гирудами», за ушами. На площади перед архонтсоветом на острове Архонтова София круглые сутки (с шести утра до двенадцати вечера) стояли пикеты наиболее пострадавших от финансового кризиса гильдий, прежде всего вывалили туда чуть ли не в полном составе вдовы со Срамной Набережной, отныне и до установления нормальной чеканки денег отказывавшиеся принимать в качестве оплаты что бы то ни было, кроме российских золотых империалов.

Лично Харита Щуко, глава гильдии, протиснулась в широченные двери архонтсовета, и требовала Иакова к ответу. Она ли его не привечала? Она ли чаем с куздрянниковым вареньем на пудостевском меду не потчевала? Она ли свет в гостиной не гасила, чтобы наиболее скромным вдовушкам на праздник «троецыплетницы» (это когда несущку, выведшую три выводка цыплят, особо честные вдовушки вкушают), чтобы им очи поганые Яшкины, вечно норовящие куда не надо зыркнуть, не созерцать? Она ли его гвардейцам услуги в долг не отпускала, а если уж совсем гвардейцу плохо, то не она ли соседней-колошарей просила за ним до утра присмотреть? Не от собственных ли курочек дерьмо колошарям для проблевательских нужд уделяла? А ей, пречестной вдове Щуко, такое унижение, что дает ей гость империал, на сдачу шесть оболлов просит, а нет у нее, у честной вдовы, ни оболла, даже осьмушки оболла нет, чтоб на Землю Святого Витта сплавать, на полке попариться!

По поводу оболлов за спиной вдов выросла едва ли не вся гильдия лодочников (кроме Астерия, который прийти побоялся, памятуя, что во главе инкассаторов архонтсовета стоит Азох Мак-Грегор, хоть инкассатор, но все же природный бобер, а этого племени он боялся пуще любого финансового кризиса). Однако же и бобры, особенно из клана Кармоди, выставили на площади Архонтовой Софии пикет. Они денег не любили, но не превращать же экономику в дикий бартер? Не за одни же засахаренные каштаны таскают они стволы железного кедра из верховий Рифея, где и вода-то горячая, а это шкуре вредно, седина появляется раньше времени, а молодые бобрехи седых не любят — словом, даешь Киммерии нормальную медную и серебряную монету, золото пусть за щекой полежит!

Приплыли, сговорившись с лодочниками, и банщики с Земли Святого Витта — не только рядовые брюхоправы, костомялы, шайколеи, сухопарники до ядрогреи, а бери выше — полотенщики да буфетчики, пенщики да челомои, угрятники, мозолятники да кровобросы; с ними приползли и те, кто с Земли Святого Витта не выбирался многими годами — истопники и смотрители кладбища: все они привыкли получать за свой труд медными, или уж по

крайней мере сдачу ими отсчитывать — а теперь что же, отдавай за империал все меньше, а сдачу как дашь, если трудов не на весь золотой?..

Явление пикета с Земли Святого Витта, особенно пришествие профессиональных кровобросов, у которых заушные гируды Якова Логофора отнимали трудовой ячменный хлеб, перешибло всякое терпение архонтовой гвардии. Переговорив с самыми могучими из банщиков, с костюялами, они отрядили по совету знающей женщины, некоей Василисы Ябедовой, поварихи гостиницы «Офенский Двор», что на Лисьем Хвосте, депутацию к старейшинам города, которые одни только и могли призвать Иакова миром отказаться от полномочий. Но старейшины должны были быть старше Иакова, а ему шла девятая декада лет, то есть было ровно девяносто семь годов, четыре месяца и один с четвертью день. Поэтому отправились гвардейцы прямиком на Саксонскую набережную, где проживал старейший камнерез города Роман Подселенцев, годы которого были старше Логофоровых на три месяца, семь дней и еще полчаса. Старец не заставил себя долго упрашивать, сел в поданную карету и четверкой лошадей мохноногой киммерийской породы был доведен до Архонтовой Софии.

Там камнерез из кареты вылез, раскрутил над головою резной, каменный, родонитовый посох и с размаху ударил в двери архонтсовета, которые послушно, как по волшебству, растворились, ибо вовсе были не заперты. Старец доволен не остался, ему хотелось бы, чтобы двери разлетелись в щепу. Однако по ступеням прошествовал, бухнул посохом в пол и заорал молодым голосом: — Яшка! Выходь, бить буду! Плохой ты архонт, гнать тебя в три шеи без мыла! А ну выходь, покуда сам к тебе не пришел!

— Я... народом... назначен!.. — прогудело с длинного балкона над фойе, куда выходили покои архонта, — Я... архонт!

— Яшка ты, недоучка, сверло те... вот пусть народ и выберет, куда те сверло всадить да новую дырку провертеть, прежних, те, видать, мало! Выходь, грю, с пиявами скопом! Ядрить ты щас всем народом будем, повергнем с архонтства, раз ты мёбий мамане твоей в трубу особенную усунул, страну от кризиса удержать по можешь! Ты, Яшка, слова на тя приличного нет...

— Закаканец! — взвизгнул кто-то из толпы «приличное» слово.

— Вот! Народ верно говорит! Закаканец ты, Яшка! Пшел вон из архонтов! Народ заржал. Роман, поддерживаемый под обе руки, стал подниматься на антресоли: Яшку он действительно собирался бить. Впрочем, так вот просто «Яшка» его слушаться не собирался — подумаешь, финансовый кризис... У него, у Иакова Логофора, гипертония — это вот важно! Серьезно! А кризис — дался им кризис... Шли бы по домам...

Между тем камнерез шествовал по балкону над фойе, руша последовательными ударами родонитового посоха перила. Ему было важно совсем другое: он, как старейшина города, был призван к поверганию недостойного архонта, и поручение города он собирался полностью исполнить.

«Недостойный», разгневанный шумом за дверью своего покойного кабинета, — даром что за каждым ухом у него висела дюжина багровых рифейских пиявок, вылетел в коридор. В двух саженьях стоял старый знакомец, Ромка Подселенцев,

с которым они еще в школе дрались, и Ромка, как старший, Яшку всегда оставлял побитым. Почему-то Логофору казалось, что и на этот раз будет точно так же, но... очень не хотелось ему, Иакову Логофору, быть первым за много столетий битым архонтом. Был он старик могучий, кряжистый, на голову ниже Романа, зато на пядь в плечах шире.

— Хрена те? — выразительно спросил он, стараясь не упасть (пиявки уже насосались архонтовой крови и готовы были отвалиться).

— Низвергнись! — возорал Подселенцев, и каменный посох просвистел там, где только что была голова архонта, однако тот вовремя присел.

— Стража! Взять его! Он на архонта... поку... поку... шается... — внезапно охрипнув, воспищал архонт: сбросивши два фунта крови, не очень-то поорешь. Ответом ему был смех стражи снизу, из фойе.

Камнерез вновь занес посох. Иаков, пытаясь защитить голову, накрыл виски ладонями, но в пальцах у него оказалось множество пиявочьих хвостов.

Пришлось отступать к перилам, а того, что перил этих уже нет, что минуту назад Роман снес их посохом, архонт не знал. С диким воплем, заливая киммерийцев потоками крови из себя и из оторванных пиявок, архонт Иаков Логофор рухнул с высоты в три сажени на толпу. А с улицы неслось стройное пение какого-то строевого канта времен Евпатия Оксирина и Петра Великого, это гвардейцы временем на руках вносили в архонтсовет нового архонта, уже избранного ими на всегвардейском (оно же всенародное) собрании.

Вообще-то поначалу встать во архонты предложили премудрой Василисе Ябедовой, но та, ссылаясь на слишком большую свою толщину и превеликую любовь к работе на Лисьем Хвосте, указала себе достойную замену. Это была обер-кастелянша «Офенского двора», она же заместитель директора гостиницы, дважды военная вдова и тоже очень в теле женщина — Александра Онисимовна Грек. Знали ее многие, в третейских судах и народных заседателях побывала она многожды — и выбрали ее, согласившись с мнением премудрой Василисы, практически единогласно. Не успела и опомниться, как триста гвардейцев подхватили и бегом доставили ее с юга города на северо-запад, на Архонтову Софию, и с Кармазиного Крыльца Архонтсовета выкликнули имя нового архонта:

— Александра Грек!..

— Александра Грек! — долгим эхом отозвался народ и, понятное дело, пошел немедленно такое событие, как провозглашение нового архонта, обширно отмечать. Запасов бокрянниковой хватило Киммериону лишь на полчаса, в следующий час были дочиста потреблены запасы клюквенной, морошковой, брусничной и других настоек, оставался еще известный ерофеич «три девятки», но и его хватило ненадолго. Знающие люди потянулись под мосты к колошарям, к вдовам на Срамную набережную (с тем намеком, что новый архонт — вдова ж как-никак), но Харита разъяснила, что дело это двоякое: Александра Грек, конечно, вдова, но к гильдии вдов не имеет никакого отношения; посему цены на те напитки, которые подаются при обычных услугах, остаются прежними, цены же на услуги на вынос на сегодня поднимаются вдвое, на аналогичные напитки — втрое. Огорченные посетители рванули было к колошарям, но те,

что имели, успели распродать. И остался бы народ глухо роптать, не добравшие свое, но тут новый архонт, женщина в таких делах, как поиск хмельного весьма умудренная, распорядилась арестовать имущество медицинской гильдии, главу таковой посадить под арест, а запасы спирта оной выкатить народу. Народ возликовал, ибо спирт у медицинской гильдии был удивительно чистым, хоть и без вкусовых добавок, но, глядишь, так оно и спокойней.

Протрезвел Киммерион, и то лишь отчасти, на третье утро. Запасы кислой капусты, моченой брусники, разных рассолов и прочего, чем нормальный человек от похмелья лечится, ближе к середине дня привели народ в себя, а когда народ, туда (в себя!) приведенный, поинтересовался, что дальше, то, понятно, первым делом захотелось ему узнать новости. «Вечерний Киммерион» (почему-то вышедший с утра и пораньше только сегодня) возвещал, что финансовый кризис в Киммерии объявляется оконченным. Отныне Римедиум Прекрасный, где не осталось ни единого живого человек, превращается в сорок первый дистрикт Киммериона и отдается новосоздаваемой гильдии чеканщиков, которые будут в нем жить на всем готовом — без права, впрочем, выезда. Становиться же чеканщиками будут не по наследству, а по решению архонтсовета лишь некоторые, особые люди, а в чем их особенность заключена имеет быть — о том будет сообщено... ну, особо. Кроме того, газета сообщала, что образцово-показательный процесс над бывшим главой медицинской гильдии Киммериона Антиохом Гендером назначен на двадцать пятое, притом в силу неоспоримости преступлений Антиоха Гендера ему отказано в адвокате, прокуроре, присяжных и народных заседателях, следствии и даже в судье, а приговор будет окончательным и обжалованию не подлежит.

Ну, дальше был увоз полумертвого и все еще кровоточащего от злых рифейских пиявок Иакова Логофора, в больничку закрытого типа при монастыре Св. Давида Рифейского, в казематы которого, прямо под палату Иакова, но двумя сотнями аршин глубже, пожизненно теперь угодил Антиох Гендер, признанный виновным по неисчислимому количеству пунктов обвинения (первый — составление преступных любовных зелий, второй — подпольная торговля эртейским наркотическим корнем «моли», от которого у людей и памяти-то не остается о его употреблении, словом, злое зелье, — ну, и третий пункт — сгноение в Киммерии такой важной для киммерийского народа науки, как сексопатология), и оправданный лишь по пункту обвинения в истреблении киммерийского мохнатого носорога. В признании сумасшедшим было ему отказано, ибо семь лет возглавлял он гильдию точно такой же, а самой же гильдии признавать, что она добровольно назначила своим главой старого сумасшедшего, ей не хотелось никак. И суждено было Антиоху прожить в тех казематах неизвестное количество лет, когтями выцарапывая на спине проползавших через его камеру во время миграции к Триеду жирных кенхров письма, при этом пользоваться потаенной офенской азбукой, мефодьицей, которую знал он неизвестно откуда, а сектантам принимать исцарапанных им змей за травмированных по пути и съедать их всех до единой, в результате чего все письма Антиоха Гендера миру и потомству декадами лет валялись на захолустных помойках, где были понемногу изгрызены местными санитарями,

хищными бактериями «мурловая тапочка». Когда же Антиох умер, сын его, к тому времени уже преуспевающий глава киммерийской подгильдии сексопатологов и пожизненно-почетный глава гильдии наймитов, забрал тело отца и похоронил его в бронзовом гробу на Сверхновом кладбище, заказав по покойному лишь стандартные требы в монастыре Святого Давида Рифейского. Никто не осудил Пола Антиоховича — слишком многим его отец навредил. Новый архонт — хоть и была это женщина — взялся за наведение порядка в городе очень бурными темпами. Ни один колошарь не имел теперь права выйти из-под моста без бляхи на правой стороне груди, на которой было отгиснуто: «Пречестный колошарь города Киммериона». Ни одна вдова со Срамной набережной не смела носа высунуть из дома даже к Харите Щуко, не вдев в ухо серьгу, в которой крохотными буквами на колечке было проставлено: «Пречестная вдова». Ничуть выходило не хуже, чем «пречестный оружейник» или «пречестный чертожилец», сама же Александра гордо навесила на правую часть своего обширного бюста эмалированную медаль с надписью «пречестный архонт». Пошли по городу разные ревизии, пополз слух, что образована вскорости будет «гильдия ревизионистов». Кроме того, Александра Грек установила постоянную связь с консулом Киммерии, аккредитованным во Внешней Руси, в городе Арясине, на углу улиц 7 ноября и 25 октября — аллергиком Спиридоном Комарзиным. И в первую голову захотела знать: нет ли для Киммерии государевых указов в последние годы, нет ли у государя к Киммерийской волости каких претензий, а пуще того — не может ли Киммерия каким-либо образом государю угодить.

И вот, оказалось, может.

По всем темным углам Российской Империи (каковых углов в ней полным-полно, и вовсе не нужно для того, чтобы получился угол, скрещаться двум прямым: глядишь, вот тебе лес, или вот тебе озеро... и готов угол) рыщут ныне государевы тиуны и где добром, где силою, где иными способами ищут редкие кулинарные книги. Самому государю они, понятно, до фени, но нужно ему кому-то сделать подарок. Большой. Не одну неведомую книгу подарить, а много. Кликнула тогда Александра Грек свою верную Академию Наук, и спросила: может ли Киммерия в этом вопросе соответствовать.

Оказалось — может! Своей кулинарной книги Киммерия, конечно, сроду не заводила, передавала умения от поварихи к поварихе, но имелась такая у триедских сектантов. «Интересно, а у бобров есть кулинарная книга?..» — подумала архонт и приказала к ней в кабинет такую (змеедскую) книгу доставить. Ибо угодить государю... В общем, возьмите выражение «не угодить государю», узнайте, что за это бывает, представьте это на собственной шкуре — а потом из всего этого выстройте антоним. Так что угодить государю... ну, имеет немалый, успокоительно говоря, смысл.

Хотя и дубликат, но отдавать его — да еще на вынос из Киммерии — Гаспару было, понятно, жалко. Он гладил то щекой, то ладонью маслянистую, очень старую змеиную кожу переплета, сидя в приемной у Александры Грек: та разнимала намертво вцепившиеся друг другу в горло гильдии металлорезов и металлоплавов, утверждавших, что им, и только им принадлежит в дальнейшем

право чеканить (или тонко вырезать) из готовых слитков будущие киммерийские медные, а особенно серебряные деньги. Гаспар много узнал о личной жизни каждого из глав гильдии, о поведении их жен, дочерей, сыновей, а также предков до двенадцатого колена. Гаспар узнал также о размерах взяток и о кличках предназначенных на взятки лошадей и собак. Вообще он много всего такого узнал, что в другое время, глядишь, внес бы в «Занимательную Киммерию», но в какое сравнение вся эта болтовня могла идти, например, с таким вот рецептом, даже просто с любым отрывком из сектантской книги:

«...К фрикаделькам де гурмэ по-триедски из требухи кротала потребно мягчайшее пюре, умятое из ящеричьих хвостов с прибавкою отваренной и мелко нарубленной правой клешни рифейского рака, которую можно с легкостью купить на любом рынке в Киммерионе (по сезону). Заправить ядом и маслом по вкусу...»

А ведь Гаспар это даже ел однажды! Ничего, случалось хуже... Вот, к примеру
—

«Кенхр, шпигованный чесноком и луком под новолуние...»
«Весенний шашлык из змеиных яиц...»

О, а вот это — как забыть это!

«Амфисбена в соусе «самнегам». Берется амфисбена средней злобности и оборачивается вокруг шеи злейшего врага...»

Каков стиль, каков подход!.. Да и ел Гаспар такую амфисбену. Ничего особенного, почти как салат из одуванчиков. Голову злейшего врага — ее подавали отдельно — есть, впрочем, не стал. Какой это ему злейший враг? Да и не отличал он детей Тараха, разве что старших от младших. Однако жрать змеятину одно, а змееедину... в общем, другое. Змеятины он за годы общения с триедцами, — а это уж полдекады почти, — съел столько, что и брюхо от нее болеть перестало, даже вкус какой-то в этой пище начал выявляться, а вот гарниры, ну, кроме капусты морской... увольте, и все тут. Может, у государя во что путное сумеют их трансформировать.

Александра Грек, получив змеиный рецептурник, пришла в несказанный восторг: никто и не наделся найти в России хоть что-то новое. Теперь эту книгу с крестом да с молитвою отнесет офеня Григорий Напилков-Зотов в Кимры, оттуда тайком в Арясин консулу, уж тот сам должен удумать, как вручить книгу царю, а взамен не надо просить ничего: у царя не просят, царь сам дает, когда потребно. Зато все «производительные расходы» Академии киммерийских наук архонт списала единым росчерком пера.

Личная гвардия архонта, в которой по нынешним временам бобров было почему-то больше, чем людей, поклонилась выходящему Гаспару. Нынче Гаспар мог быть доволен: в «Занимательную Киммерию» предстояло вписать

целых семь, а то и восемь статей. Едва покинув архонтсовет, он устроился в скверике и записал:

«ЖАЛОБЫ — царь востребовал наши жалобы за триста пятьдесят лет. Следует ли из этого, что столько же лет он будет заниматься их чтением?»

«ПОНИМАНИЕ — что-то все меньше и меньше понимаем мы — что там, во внешнем мире, творится. Не пора ли кому-то туда сходить? Мне не хочется. Видать, змеятины перекушал».

Облака на небе были перистые — к сильному ветру. Событие не из редкостных: в Киммерионе редко бывал другой, и никому это не мешало здесь жить. Киммерия вообще страна маленькая — в масштабах России. Впрочем, даже когда сильный ветер, ветер величайших перемен, бывает, начинает дуть над всей Россией — это в ней тоже мало кто замечает.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 23

Евгений Витковский

XXIII

Ох, что тогда будет, Фридрих ты мой батюшка, Клавдия Шульженко матушка, что тогда будет...

Юз Алешковский. Синенький скромный платочек

Никто не помнил в Киммерионе подобной истории: Басилей Коварди, не особенно и выпивши-то бывши, набил морды ну почти никак его не провоцировавшим бобрам, притом восьмерым. Из них шестеро было из клана Мак-Грегор, один — из клана Кармоди, а один, словно чтобы вовсе запутать дело, из захиревшего клана Равид-и-Мутон.

Бобров люди били редко, бобры людей еще реже, но и то, и другое все-таки случалось, шутка ли, в Киммерии вот уж сколько столетий бок о бок уживались две более или менее разумные расы, да еще и другие кое-какие с претензиями на разумность обитали там же, или по соседству. Среди людей бытовала байка о том, что задолго до киммерийцев на берегах Рифея жил злобный народ, питавшийся преимущественно лосятиной (то-то лосей в Киммерии нет почти!), и, жуть высвистать, бобрятиной. И меха этот народ носил бобры. Ну, приполз Великий Змей, мерзавцев этих съел, конечно, но родственниками нынешние потомки местных и смешанных людей тем людям все-таки приходились. Так что межрасовый мордобой по мере интенсивности оного судили любимой трехсотой статьей Минойского кодекса, очень точно он соответствовал формулировке «А ежели еще кто какое преступление учинит...»

В участок Басилея все-таки не поволокли, преимущественно потому, что первых восемь бобров испинал он руками и ногами, а потом сбегал в мастерскую, ухватил мастихин и для драгоценных шкур стал чрезвычайно опасен. Не

поделил Басилей с бобрами осенний воздух. Так ему славно работалось — а тут прямо под окном, в реке, грянули какой-то свой непонятный марш Мак-Грегоры — в честь возвращения с летних вакаций на Мёбиях трех старейших сестер их знатного рода, эдаких матриархов, их дряхлого дяди и еще кого-то или чего-то: словом, нашли время праздновать, когда Басилей как раз лапку восьминогой мухе на рамке портрета государыни Анны Иоанновны с ружьем наперевес аккуратно выписывал. Однако Басилею показалось мало. Зло пробормотав, что он из этих рыжих шкур сейчас кистей для живописания понаделает, ухватил дробовик, с которого картину с мухой и портретом Анны Иоанновны (царицы не из законных) писал, да и всадил полный заряд в барабаны бобры. На выстрелы в черте города, конечно, приехала стража, но тут засуетились бобры: никаких барабанов, а паче того — превышения нормы городских децибел, пардон, не было, стрелял же господин Коварди — ежели, конечно, вообще стрелял, они не слышали — в чистое небо, палил, так сказать, в белый свет. Господин Коварди был трезв, но не настолько, чтобы отрицать факт стрельяния. Ружье имел он охотничье, старинное, разрешение при нем было подписано и в прошлом веке, и в нынешнем последовательно семью архонтами, стрелять в черте города он, конечно, не имел права, но поскольку пострадавшего имущества не имелось (не говоря о чем более серьезном), то оштрафовали господина Коварди на серебряный мёбий, он же пол-империала или семь с половиной имперских рублей, да и оставили в покое. Но тот бобер на свет еще не родился, который подобный афронт человеку простит. Учитывая, что дом Коварди стоял стена к стене с домом злейшего бобриного врага, Астерия, бобры всего лишь затаили семь битых морд (восьмая была не в счет и вообще людям продана) и стали ждать.

Саксонская между тем жила своей жизнью. Антонина, чье существование длилось от поездки к сыну до другой поездки, увлеклась плетением кружев. Нина (она же Нинель) полдня теперь ходила по лавкам на Елисеевом поле, покупала наиболее причудливые образцы для Тони — лишь бы та не скучала, а остальное время проводила в своей комнатушке, глядя в одну точку. Пол Гендер, чья жизнь после низвержения папеньки заодно с архонтом, повернулась, будто колесо Фортуны, никуда с Саксонской не съехал, лишь нанял прислугу для присмотра за рабами, а из своих сексопатологических гонораров щедрой рукой вносил золотые империалы в домашний бюджет. Рабы отбывали срок. Коза Охромеишна больше не давала молока, но — как заслуженный член семьи — жила в глубине двора на покое, откуда иногда бляла что-то важное, козье, и многие говорили, что не к добру она блеет, а к чему-то другому, а к чему — иди знай. Был даже слух, что есть Охромеишна новый, нераспознанный козий Нострадамус, и еще узнают потомки, что не менее чем две дюжины ее предсказаний в следующем тысячелетии сбудутся. Гликерия смотрела житие Св. Варвары. Доня стряпала на весь дом. Старцы занимались тем же, чем прежде, более всего раскладывали пасьянсы, и даже как-то не дряхлели.

А Варфоломей женился.

Вообще-то рабам это не положено — но рабское положение Варфоломея с

разрешения хозяина было «льготным». За годы рабства на домашних харчах и хорошем отношении новоприобретенной семьи вымахал бывший битый мальчонка в натурального киммерийского богатыря под сажень ростом да больше косою сажени в плечах, даром что брить на морде еще мало чего имелось. Возраст Варфоломея по русским меркам считался бы совершеннолетним, но в Киммерии раньше двух декад таких слов и не произносят. Киммерия все-таки северная страна, хотя и населяют ее выходцы с неизвестно какого юга, — но, говорят, в далекие кочевые времена как раз на юге север-то и был. Дело мудреное, одной Охромейшне по уму, если правду говорят про нее, про козу. Но что мужики, что бабы — все в Киммерии созревают не особенно рано. Зато и остаются при достоинствах своих... ну, так скажем, до поздней осени. Вроде апельсинов. Впрочем, ежели кто в полторы декады жениться надумал — вперед. Женись. Но будет над тобою еще шесть лет опекун. Ничего страшного. Многие так и ведут себя, всегда так было, если родители не против, а они не против никогда, свою молодость помнят; с сексуальной активностью молодежи в Киммерионе никогда существенных проблем не имелось. Куда большая проблема бывает, например, если сын не хочет у отца ремеслу учиться, хочет учиться другому ремеслу, — чтобы сразу убрать лишние вопросы, заметим, что такие случаи, когда сынок вовсе никакому ремеслу учиться не хочет, в Киммерии неизвестны.

Бывает, впрочем, дело сложное: с княжьих еще времен одна-единственная семья в оружейной гильдии занималась редкостным делом: отливала на всю Русь серебряные пули. Вдруг — трах-барабах! Запретил государь высочайшим указом серебряные пули. С незапамятных времен известно было, что ежели кого серебряная пуля застрелила, тот, стало быть, оборотень, иначе волкодлаком именуемый, хоронить его надобно на особом перекрестке, где тринадцать дорог скрещиваются в одну. Старик Звездовишников с горя запил, хотя никаких пуль по старости давно не лил, находился у гильдии оружейников на заслуженном пенсионном покое, но старик запил из принципа, из него же и умер, а с ним приказала долго жить и его профессия. Ремесла он своего никому не передал, сыновей не имел, а единственная дочь давно была замужем за мастером тоже очень редкостным, чью профессию, в отличие от звездовишниковской, никто не запрещал, хотя и расширять производство по идейным соображениям Савватию Махнудову не позволяли. Был он первейшим мастером наручных дел, проще говоря — всю свою жизнь делал превосходнейшие кандалы и наручники. Отнюдь не только человечьи: на Миусах, ежели какой рак на выпасе буен и беспокойствен, на клешни ему кандалы временные положены, а раки те в Киммерии под особым призором, вместо военной службы молодежь за ними присматривать должна — и присматривает, в армию желающих рваться нет что-то. Сыновьями Господь Савватия и Неонилу благословил обильно, целыми пятью, на десерт же, уже готовясь к прекращению производства юных Махнудовых, родила Неонила (уже трижды бабушка с помощью старших сыновей) еще и дочку Христинью. На эту самую позднюю Христинью и упал на рынке острова Петров Дом жадный, отчасти мальчишечий, отчасти весьма взрослый взор богатыря Варфоломея.

Взор самой Христины приметил богатыря уж сколько недель киммерийских тому назад — еще снег лежал, а Рифей у берегов был покрыт грязным зимним льдом. Богатыря знал весь город, известно было, что Веденея, гипофета, Бог благословляет все дочками да дочками, а в гипофетах всегда служит непременно мужчина — так что когда-нибудь, глядишь, этот парень станет киммерийским гипофетом в законе, — однако пока что был он отнюдь не гипофетом, а выданным в домашнее услужение рабом, впрочем, большую часть срока отбухавшим, так что ошейник с него уже снят, — а был ли на нем вообще когда-нибудь ошейник? Никто не помнил, дело темное, в рабство попал он еще при архонте Иакове Закаканце, так что дело это было прошлое, а в прошлом копаться — дело Академии Киммерийских Наук, а не трудового народа. Возможно, дело бы так и ограничилось одним рыночным кланьем глаз друг на друга, да только юношеские гормоны Варфоломея не давали ему покоя еще и в отношении детской его болезни, клептомании, от которой его не лечили по указанию Нинели, — обещала пророчица что все и так пройдет к определенному моменту. Ничего ценного Варфоломей не крал. Бывало, утащит восьмипудовую плиту со строительства новой ограды конного завода на Волотовом Пыжике, ну, сам же назад под общий хохот и тащит. Варфоломей краснел, но и только.

Однажды, повадившись таскать с Волотова Пыжика все тяжелое, что не вырывалось из рук, Варфоломей пересолил. Он явился на Саксонскую, неся над головой лошадь. Та вела себя на удивление смирно и лишь поводила головой, удивляясь, видимо, что вот те на, не на ней едут, а она сама на ком-то едет. Случившийся у ворот, ведших во внутренний двор дома, почетный квартиросъемщик Пол Гендер тоже сперва покрутил головой, потом вдруг обошел Варфоломея, остановился у крыльца, присел и закурил трубку (к ней он приучил себя сразу после восстановления в гражданских правах).

— Поздравляю, — сказал сексопатолог, — это нам было очень нужно. Это прекрасно — украсть... это. Варя, ты зачем его украл?

— Она... крупная она, Пол Антиохович. Верите ли, еле донес.

— Верю. Я бы не дотащил. А почему «она»?

— А что, я ошибся? Разве это кобыла?

— Это ты, Варя, кобыла. А также овца и корова. Ты что, ничего не видишь вовсе?

— А это не кобыла? Тогда где же... — Варфоломей покраснел как рак перед подачей к столу.

— Ты правильно не видишь, Варя. Там ничего этого и нету. Потому как это, Варя, мерин, на котором воду возят! Так тебе жеребец и дался бы. И кобыла тоже. Ну, а поскольку в хозяйстве у нас ОхROMEишна уже есть, то тащи, Варя, мерина назад, на Волотов Пыжик. Покуда вся набережная со смеху не подохла. И мерин, все так же не понимая, почему это его нынче на руках носят, был возвращен хозяевам.

Вся Караморова сторона помирала от хохота над этой историей, но только до утра следующего дня. А ранним, даже слишком ранним утром всю набережную разбудил дикий вопль Астерия: знаменитая палеолитная статуя «Дедушка

Аполлон с веслом» стояла прямо возле его причала в конце улицы Четыре Ступеньки, и веслом своим указывал Дедушка Аполлон непосредственно на Землю Святого Витта.

Дедушка до этого — с тех пор, как Пол Гендер и рабы набрали на него в подземельях Дома Астерия, а сколько он там пробыл во тьме и неизвестности, Змей Великий и тот едва ли знает — мирно стоял за шестью дюжинами намотанных вокруг него рядов колючей проволоки. Далеко стоял и глубоко. А теперь вот красовался прямо на набережной, замусоренной, кстати, обрывками колючей проволоки. А Варфоломей Хладимирович, эдакая невинная гора мышц, сидел, грязный и потный, на ступеньках, и хлопал глазами. Видать, силенок украсть «Дедушку» из Лабиринта пареньку хватило, а мыслей о том, куда его тащить дальше, не имелось изначально. Поэтому он поставил дедушку с веслом так, чтобы тот стоял у переправы и собою город украшал. Не поволок к ОхROMEишне, не попер к брату на Витковские Выселки, уж подавно не пытался унести на Лисий Хвост к офеням для продажи. А установил его не хуже, чем стоит Венера Киммерийская в Роще Марьи и в озерцо тамошнее глядится, как принято считать. «Дедушка с веслом» превратился в безмолвного зазывалу к баням на Земле Святого Витта.

Стражники приехали не так скоро, как можно бы ожидать: ничего не украли? Главный Караморовый участковый даже удивился — стража тут при чем? Никого не побили, не убили? Какие тогда нарушения? На своих ступеньках Гильдия Лодочников сама хозяйка. Ах, статую переставили? Так это дело научное, с этим в Академию, в крайнем случае — к архонту. Архонт у нас теперь не какой-нибудь закаканец, архонт у нас теперь — мужик что надо! То есть, конечно, Грек не мужик, но... но... Александра Грек, в общем, правильный архонт, всенародно выкликнутый с Кармазинного крыльца! Словом, стража ничего по своей части предосудительного не видит. Ах, это тот паренек, что мерина катал вчера? Не украл же? Может, мерин сам к нему на ручки попросился. Паренек мерина откуда взял, туда поставил. Никто не жалуется. Даже мерин. Или жалуется? Где тогда жалоба? В письменном виде... Ох ты, вдова Харита, не надо было мне вчера у тебя пятую чарку принимать, не принял бы, что-нибудь помнил бы, что дальше было. Нынешний начальник участка на улице Сорок первого комиссара человек был незлой и пьющий. Так что по пустякам его ребятки из участка и не выходили. Или что, дедушка самогон без лицензии гонит? Быть не может. Самогоны, настойки — дело женское. Демократия только насчет выпивки. Это — любой может. Но не каменный же дедушка!

Зато потянулись на Караморову сторону главы гильдий. Из расположенного в южной части набережной дома «Хилиогон», наевшись болеутоляющих (ибо мучился геморроем) приковылял глава гильдии молясинных сборщиков Назар Эрекци, вскоре появился и его постоянный оппонент, глава гильдии мытарей Давид Лажавя, но их встретило аккуратное ограждение из лодочных канатов на столбиках: гильдия лодочников Киммерии и всей Киммерии в лице своего главы Горазда Ивановича Кенкетного уже присутствовала здесь. Именно переправа на Землю Святого Витта — место, священное для всех киммерийцев

— достойна быть отмечена древнекеммерийским палеолитным шедевром, тем более что сюжет скульптуры — лодочный. Именно здесь уж сколько лет, как постоянное место трудов Астерия Миноевича Коровина!

Даже соседи не возражали (им вовремя сунули премиальные), да и Коровин за всю жизнь ни одной человеческой жалобы на свою работу не имел. А что бобры жалуются — так ведь не все! Вот, например, почтенный Фи Равид-и-Мутон сидит на носу лодки Астерия Миноевича, и... и... и любит скульптурой.

Если надо, мы над ней навес сделаем. Если надо, мы под нее пьедестал подведем. Если кто не доволен, в конце концов, может не пользоваться лодками, может сам плавать. Этот последний аргумент устроил даже владыку «Хилигона» — плавать в баню без помощи лодки? Да идите вы все! Глава мытарей обязал Кенкетного внести стоимость «Дедушки» в декларацию о недвижимости гильдии — и тут же получил предложение быть обнесен вокруг всей Караморовой стороны с «Дедушкой» вместе, да уж заодно и оплатить стоимость этой поездки, для нее как-никак придется арендовать у здешних жителей кого-либо из домашних рабов, — например, есть вот тут подходящий раб у костореза Подселенцева, Подселенцев как раз известен в качестве ниспровергателя узурпаторов! Главный Мытарь понял, куда клонят лодочники, почувствовал на затылке жаркое дыхание своих заместителей — и безропотно удалился. Поле боя осталось за лодочниками, и никто не обратил внимания, какими расширенными глазами глядит из окна на «Дедушку» Нинель-Нинуха.

Можно, конечно, этот штырь и веслом считать, хотя по Фрейду едва ли, но ведь весу в том «Дедушке» чуть не тонна!.. Нет уж, хватит всей этой клептомании. Как там эту девку зовут?.. И кто нынче в гильдии сватьев главный? Нинель уселась к телефону и принялась листать справочник. Она знала — где откажут, где нет, поэтому звонила только тем, кто был наперед согласен.

Плохо было то, что Христинья Махнудова имела пятерых старших братьев, всех женатых, в иных случаях еще и с несовершеннолетними сестренками-братишками, родства не сочтешь по-русски, к тому же имелось шестеро племянников и племянниц, двое живых родителей и еще великое множество неотъемлемой кровной родни в том же доме на острове Выпья Хоть, — а по киммерийской традиции сватьев и свах полагалось со стороны жениха засылать в дом к невесте на одного больше, чем было членов семьи в доме невесты. Да еще такое малоспособствующее обстоятельство, как все еще не отбытый Варфоломеем срок в декаду рабства, — два года еще оставалось Варфоломею быть домашним рабом в доме Романа Подселенцева, которого с некоторых пор народ наградил почетной, но неблагозвучной кличкой «Закаканцебойца». Быль добру молодцу не в укор, но хорошо ли, солидно ли числиться добрым молодцем на исходе девятой декады возраста?

Но хихикать можно сколько угодно, а старейшину гильдии свах, Меленю Передосадову, захмутила Нинель одним звонком: позвонила Василисе Ябедовой и напомнила, что у крестника телохранитель на выданье, и пора сватов засылать. Тем же вечером вся гильдия (чуть не двести почтенных горожан) готова была завтра же сесть в лодку и плыть на Выпью Хоть. Уж сколько там ни есть родичей в семье Махнудовых, а наверняка меньше: куда

мирному Киммериону столько наручников и кандалов?

Следующий звонок Нинели был отцу Аполлосу: не кто иной нарек Павлика Павлом, кому ж и венчать его телохранителя, раз уж весь Киммерион знает, что Павлик — законный российского престола царевич, а Варфоломей его телохранитель, — что нынче рабского сословия, так ведь только два года осталось до окончания срока, а ведь не у кого-нибудь, а именно у российского императора, у него одного, есть право помиловать... Епископ отлично знал, какие права у кого есть, и вообще ничего не имел против того, чтобы обвенчать молодых людей, лишь поинтересовался: грех венцом предстоит покрывать или по-людски? Нинуха доложила, что молодые и парой слов друг другу пока что не перекинулись, только едят друг друга глазами через рынок, но вот помолвка нежелательна, нужна именно свадьба, а то в организме у парня вещества бушуют, гармониями именуемые... Епископ отлично знал, что такое гормоны, согласие дал и трубку повесил: у него хватало забот и без неправославных людей, к которым все ж таки относилась Нинель-Нинуха, принадлежавшая, по представлению епископа, к какому-то среднему между Евреями и Змеедами религиозному меньшинству. Нинель удивленно обнаружила, что больше ей делать ничего не требуется. И села составлять список гостей, по капризу воображения начав его с Веры и Басилея Коварди, продолжив Астерием Коровиным и бобром Фи. Писала она мелко, но к полночи исписала с двух сторон пять страничек, а все новые необходимые гости вспоминались. Если описывать свадьбу Варфоломея в подробностях, то окажется в нашей книге страниц на пятьдесят больше, чем того требует плавность повествования: но в конце-то концов всех яств не перекушаешь, всех рыб не переловишь, всех юбок не примеришь, всех лошадей не объездишь, всех кабаков не посетишь, всех соседей не обматеришь, всех курей не перещупаешь и на всех каруселях не покатаешься, если выразаться прилично. Ну, и всех свадеб в романе не опишешь, хотя некоторым героям свойственно жениться, — не всем, понятно, поэтому ограничимся лишь тем фактом, что свадьба Варфоломея и Христиньи состоялась и свое лечебное действие оказала: немедля после первой брачной ночи (в которую, к слову сказать, была отмечена большая сейсмическая активность на Земле Святого Витта) клептоманию Варфоломея как рукой сняло, он не зарился больше на крупные предметы, жена его была и сама по себе особой дородной. А уж заодно той же неизвестной рукой (только в этом выражении и присутствующей, — и никто не знает, что это за рука) сняло и другие болезни гормонально-нервического свойства, прежде всего, как установил своими анализами ведущий сексопатолог Киммериона Пол Гендер, акрофобию, из-за которой Варфоломею было воспрещено посещать замок графа Палинского, где одиннадцатилетний царевич лихо скакал по вершинам гор на любимой лошадке и с легкой руки графа (может, это и есть та самая рука?) понукал ее такими выражениями, что даже некоторые из призраков, бывало, краснели. Но это событие — женитьба Варфоломея — говорят, давно было предблеяно Охromeишной, домашним Нострадамусом с Саксонской набережной. Многие верили, но проверить было невозможно, записей за Охromeишной, даже магнитофонных, никто не вел. Зря вообще-то. Многих бы

можно событий заранее ожидать. Впрочем, имелись на белом свете предикторы не слабей Охроеишны. Так что кому надо — тот событий, понятно, ожидал. Среди тех, кто к пророчествам Охроеишны прислушивался, были пятеро рабов в подполе под домом Подселенцева — им Охроеишну было слышно, вот они и слушали, десятый, кажется, год слушали, была бы тут Россия — год был бы юбилейный, да только тут Киммерия, и накругло преступникам не десять лет впаивают, а двенадцать. Рабам, конечно, со свадебного стола харчей перепало, да и выпивки тоже, и гусятины, и поросятины, и даже совсем на большие праздники выпекаемых пшеничных пирогов, и даже малость хмельного — только грусть была в душах бывших таможенников. А что там еще могло быть после стольких лет баклушебития? Тоска зеленая. Тоска синяя и лиловая. Ибо по случаю разных событий положительного свойства появился в доме Подселенцева особый телевизор, двухтысячеканальный и — говорят — почти что объемный. А старый, японский, на тридцать два канала, отбыл к рабам в подпол: смотрите свою Варвару во всех цветах радуги. Вот и была у них теперь тоска — тоска разноцветная.

Свадьба как свадьба: два пуда арясинских кружев пропустили через обручальное кольцо, покатались на трамвае, с разрешения отца Аполлоса посвистали с колокольни, малость передрались. Наутро похмелились, поздравили молодых, сели за новое застолье. Антонина, хотя и грустно ей было в Киммерионе без любимого человека и даже без сына, которого, впрочем, она хоть раз в неделю, да видела, выпила малость, вспомнила Ростов Великий и Москву Златоглавую, разок-другой прошлась с платочком. А потом припомнила другое застолье, тоже как бы свадебное, хоть и похабное, с которого увела ее Нинель, спасая ей и наследнику престола жизнь, вспомнила лося, который печально и удивленно глядел им вслед, и... И тут ее по руке похлопал известный старец Федор Кузьмич, и приказал носа не вешать: сын растет — дай-то Бог любой бабе, мужик... ну, не при ней, но он, Федор Кузьмич обещает, что мужик при ней будет тот самый, которого она день и ночь вспоминает. А если думает, что ее время уходит — так пусть пойдет к себе в комнату, одежду с себя скинет и телешом к зеркалу подойдет. Пусть скажет, идет время здесь, в Киммерии, или не особенно идет. А потом пусть вернется за стол и выпьет за здоровье молодых. Они-то, молодые, киммерийцы — для них время свое, родное, оно все-таки движется. А про остальное... Выпьет пусть, потом думает про остальное. Антонина идти к себе постеснялась, сама давно уже стала замечать, что как-то не наезжает на нее старость, что вроде как на отдыхе она на Саксонской набережной. Ладно, придет пора — всё ей умные люди объяснят, а пока что не ее ума дело — такие тонкости. И выпила. И от всей души ей снова налили.

На этот раз слова испросил Роман Подселенцев, хозяин дома, к тому же Закаканцебойца. Приказал ради такого тоста Роман принести и вскрыть последний, заветный термос старинной самогонки из прежнего жилья Пола Гендера. Заодно, кстати, предварительно объявили, что бивень-термос, в котором эта самогонка, «Двойное Миусское» фирмы «Каморий Кулебяка», до сего дня хранилась, дарится молодым на свадьбу. Дарят им и новую кровать из

железного кедра, потому как старую Варфоломей с законной супругой в порыве энтузиазма в первую брачную ночь сломали надвое (в народе тут же пошел чисто киммерийский слух о том, что разломилась кровать ровнехонько на двенадцать частей, по числу ночных Варфоломеевских энтузиазмов). Кровать, впрочем, уже увезли на Витковские Выселки, где по окончании срока рабства младшему гипофету полагалось жить и, возможно, работать, а мамонтовый бивень стоял в особой термосодержалке посреди стола.

— Я считаю, что эта свадьба, — начал Роман, встав в полный рост, даже не горбясь, — эта свадьба... она историческая. И поэтому тост на этой свадьбе я поднимаю... исторический, мне кажется, это будет тост.

Гликерия украдкой перекрестилась на образа. Других тостов, кроме исторических, дедушка не произносил уже две декады, пасьянсы в четыре руки с Федором Кузьмичом раскладывал и то не простые, а исторические. И куда так — все хорошо. Гликерия перекрестилась еще раз — прямо на образок Лукерьи Киммерийской, покровительницы Киммерииона.

Роман долго и подробно произносил тост, в котором объяснял вред свободы, бесполезность равенства и огромную важность братства, а потом торжественно объявил, что термос этот молодым дарится не как простой, а как исторический: из заветного клада в замурованном некогда (и некогда размурованном) катухе этот термос, этот бивень — последний. Гости торжественно выпили двойного миусского, а потом пошли добавлять кто чем и вообще вести себя так, как разве что на свадьбе людям себя вести и простительно. День уже клонился к вечеру, молодым (которым, понятно, требовался отдых) постелили на полу в кабинете Гендера, поскольку там на окне штора самая плотная, что в белые ночи для отдыха важно), когда долетела с Академического Рынка на острове Петров Дом весть: бивеньщики бьют термосников! Потому как сказал же Роман Закаканцебойца, что бивень — последний. Бивеньщики ударились в слезы, их и без того сколько лет уже трясло от страха, что бивни в северо-западных болотах кончатся, новых-то мамонтов, поди, не плодятся, а когда старые кончатся, чем жить простому бивеньщику? Термосники, мастера по изготовлению термосов из бивней, тоже хлебнув свою дозу на свадьбе у Варфоломея, слышали совсем другие слова Романа Закаканцебойцы — что последний не бивень (эти, наверное, еще есть где-нибудь пока что, в Африке хотя бы или в разных Индустанях), а последний — термос; выйдет теперь указ, запрещающий употребление бивней на термосы, и чем тогда, скажите на милость, господа хорошие, чем тогда жить простому термоснику?.. Словом, пяти минут не прошло, как пошла на рынке драка, только и успели выскользнуть из толпы несколько бобров из рода Кармоди да Гаспар Шерош, — всех их приютила Академия Киммерийских наук, туда драка не доплеснулась. Бобров трясло, они лишь тихо пересвистывались, Гаспар же бросился к телефону спешно накручивать ноль: тут немедленно требовалась архонтская гвардия.

Времена настали другие, теперь гвардия по звонку такого важного человека приезжала сразу — тем более что драка шла прямо под окнами Академии. Бобров, минуту назад рифейскими соловьями свиставших от счастья, что выскользнули они из рыночной драки, немедля оформили как свидетелей и

увезли на Архонтову Софию. Бивеньщикам надавали по мордасам за покушение на почтенных термосников, термосникам вложили того же товара и тем же способом за оскорбление уважаемых бивеньщиков. С бобров взяли подписку о невыплаве, ну, а зачинщиком все называли такую персону, произнесшую двусмысленный тост, что тронуть ее было никак невозможно, и дело оставалось замять. Да и какая свадьба без драки? Пьянка, да и все. Так что свадьба у Варфоломея с Христиной получилась по высшему разряду, даже бесчисленная кандальная родня новобрачной — и та была довольна.

На всякий случай в «Вечернем Киммериионе» с большой научной статьей выступил академик Гаспар Шерош, и разъяснил, что когда-нибудь запасы бивней могут и кончиться, но на ближайшие тридцать поколений этого добра у Киммерии хватит; ну, а слух о запрете делать из бивней термосы даже опровергать не стали: все одно что обручальные кольца на свадьбы запрещать. Как, спрашивается, люди тогда жениться будут? С помощью чего?

Простодушные киммерийцы посмеялись над своей же пьяной дракой и даже попросили снять с бобров подписку о невыплаве. Александра Грек смилостивилась, тем все и кончилось. И больше ничего существенного до конца своей долгой жизни (забежим вперед на пять-шесть дюжин лет) Варфоломей Иммер не украл. Не хотелось. Однако появились в скором времени у Варфоломея другие сложности в жизни, и о них рассказано в другой книге, — впрочем, тем же автором. Мною.

Тут бы этой главе и конец, да уж больно времена тогда на дворе интересные стояли — жаль переходить на другие темы. Поэтому, рискуя быть неправильно понятым, о тех временах еще расскажу ну хоть самую малость, хоть на самом доньшке стакана покажу.

Времена стояли в мире удивительные и сами на себя не похожие, такие никакие Нострадамусу не мерещились, и даже Охроеишна бляла всё про них неправильно. Один лишь во времена матушки Екатерины живший просветитель Григорий Кучеляба, чьи рукописи на старокиммерийском языке все до последнего листика сохранены в Академии Киммерийских Наук, — хотя не изданы, ибо не изучены (очень уж длинно писал просветитель, витиевато да к тому же с грамматическими ошибками), — один лишь он такие времена предсказывал. Бывал тот Кучеляба и в России, и с графом Пигасием Блудовым дружил, и Сувор Палинский необычайное вдохновение обретал, читая его труды. Но Кучеляба, за которым, говорят, все кому не лень в жизни гонялись, а не поймал никто, упокоился вечным сном на Новом Кладбище Киммерииона, и ежегодно на его могилу в условный сентябрьский день относят от графа Палинского большой венок из альпийских цветов. Читавший труды Кучелябы граф ни с кем своим мнением делиться не привык, удалившись на Камень своего имени и воспитывая там очередного наследника для всероссийского престола. Гаспар Шерош все откладывал изучение трудов Кучелябы до будущего года, и получалось так, что будущее, хотя и предсказано еще в восемнадцатом веке, хотя и наступает — однако никому оно из тех, кому разговаривать охота есть, неизвестно. А кому оно известно — тем разговаривать о нем совершенно не хочется.

Может, и лишне поминать здесь Пигасия Блудова и ушедший вместе с ним в воды какого-то особого, Тёлкиного, что ли, озера невидимый город — Господин Великий Блудгород, но где-то его упомянуть нужно, ибо он лишь по виду невидим, а на самом деле есть — как есть Хрустальный Звон, Киммерия, главный выигрыш в государственной лотерее, царство пресвитера Иоанна, еврейский город Самбатсион, демон Максвелла, кот Шредингера, сфера Шварцшильда, машина фон Неймана, закон Ньютона, принцип нейтралитета и жареный лёд. Да, все это есть, — а вот тебя, читатель, именно тебя, не отворачивайся, это я тебе говорю, это тебя, то есть именно тебя нет, ибо в тебя никто не верит (не только великий писатель Павич, но даже я, а я в своем существовании всегда сомневаюсь и при этом своем сомнении как при мнении останусь). Ах ты Господи, не Тёлкино озеро, а Телецкое, на Алтае вроде бы, там-то Пигасий Блудов, человек музыкальный, ибо всеми музами всесторонне одаренный, занимаясь таинственными поисками Абсолюта, свой град и утопил на ту же глубину, на которую вознесся над Уралом превыше даже Киммерии граф Сувор Палинский на своем родовом Палинском Камне, и вот так достигнуто было в природе новое равновесие: один граф ушел вниз на две версты, другой вознесся на две версты вверх, чем и доказано было торжество одного равновесия, о котором в своих утраченных работах писали великие алхимики Раймунд Лоллий и Роджер Бекон, а позже хотел написать знаменитый Газтано, граф Руджиеро, но не успел, ибо был повешен в Берлине в 1709 году. И многие другие тоже ничего об этом не рассказывают, между тем равновесие в мире, хочешь ли, не хочешь ли — а торжествует!

Граф Пигасий Блудов аккуратно присыпал песком последнюю страницу своей рукописи о жизни загадочной Киммерии, глянул в окно, кивнул проплывающей мимо стекол знакомой щуке, закрыл тетрадь. Нет, сегодня еще не пришел час вступить ему в повествование. Зря он еще в царствование государыни Елизаветы снаряжал неудачную экспедицию для исследования берегов Новой Земли. Зря писал романсы на два голоса. Зря открыл пять брожений — простое, спиртовое, уксусное, молочное и слизистое. Зря изобрел целых два новых способа засола сельди, зря, наконец, летал на первых аэростатах.

Может быть, даже игру преферанс он зря придумал.

А может — не зря.

В эту игру теперь Палинский с призраками на Уральских вершинах в карты играет. И вот ведь наострился, мерзавец! Нипочем теперь за один стол с ним Блудов играть не сел бы. Глазом не моргнешь — а он тебя и выставит из главных героев в эпизодические. Опасное это дело — противостоять графу Сувору Палинскому. Но и с графом Пигасием Блудовым тоже ссориться никому не посоветую.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 24

Евгений Витковский

XXIV

Возьми душу русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи, – вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя.

Федор Достоевский. Братья Карамазовы

На Рифейской стрелке дул резкий ветер. Иона Вран стоял у парапета и говорил, отвернувшись от реки, так, чтобы ни одно его слово не пропало, чтобы каждая его – пусть самая смутная – мысль отпечатлелась в сердцах верных учеников. Кирия Александра тоже слушала, и речь Ионы с непривычки производила на нее сильное впечатление, не меньшее, чем весь его облик: краснолицый, седовласый, бородатый пророк с вечно прищуренными водянистыми глазками начинал любую речь словами «Я считаю», – а то, что считают все другие, он не только отвергает, но и всем другим ни к чьему мнению, кроме мнения Ионы, прислушиваться нет резона. Изредка, в самых неподходящих местах, философ уснащал свою речь ядреным матюгом, просил прощения у архонта, кирии Александры и возвращался к тому же слову, – непременно его повторив, и со вкусом.

– Я считаю, мои мощи будут лежать в Кремле, в Успенском соборе, – говорил Иона, дергая глазками, – Именно там, рядом со святителем Ионой, митрополитом Московским, – с ним мы заново отстроим Русь и встретим Начало Света. Кстати, знаете ли вы, что умирающего Ивана Грозного хотели соборовать, собирались наречь Ионой, но не успели, умер Иван. А иначе кто ведь знает! Все может быть. Кстати, знаете ли вы, что ваш Киммерийон ждет неминуемая гибель?

– Знаем, – подал голос епископ Аполлос, на которого речи Ионы не производили ни малейшего впечатления, – В год от основания Киммерийона семитысячный, притом если город к этому времени будет достроен, такая опасность возможна. А сейчас идет год три тысячи восемьсот второй.

– Вот именно! – загорелся Иона, как загорался обычно от любой реплики, которую осмеливались подать во время его речи, – А правильно ли ваше летоисчисление? Вам следует перейти на новое. На Ионическое. Начать отсчет лет, скажем, с сегодняшнего дня. Со дня выхода на свободу Великого Кита! А иначе кто ведь знает! Все может быть. Я как раз написал новое стихотворение. – Иона резко переложил тяжелую палку в левую руку, переменил рокотание пророка на нечто вроде шаманского вскрикивания, и стал громко скандировать строки; каждая начиналась словом «яйцо», прочий смысл не улавливался; декламацию владыка Кита сопровождал энергичным размахиванием правой рукой, а пальцы ее сложил в щепоть, щепоть же держал повернутой строго вверх. Сильный северный ветер, привычный киммерийцам здесь, на Стрелке, Иону не смущал, но придавал облику пророка сходство с деревом, выросшим где-нибудь на Курильских островах, чья крона вся обращена в одну сторону: роль кроны исполняли борода и седая шевелюра Ионы. Сама кирия Александра таких деревьев не видела, она не только до Курил не добиралась, но и вовсе никуда из Киммерии не выходила, – однако видывала такое в молодые годы по

телевизору, когда на Руси еще были советская власть и «Клуб кинопутешествий».

– Он, кажется, надолго, – тихо сказала кирия Александра на старокиммерийском языке, ныне доживавшем век в рыночной ругани и прорицаниях местных сивилл.

– Потерпи, кума, – ответил Аполлос на том же языке, – Хотя, конечно, холодно тут стоять.

Иона, как опытный оратор, уловив самомалейший спад внимания, закончил стихотворение строкой, состоявшей из пятикратного повторения слова «яйцо», – и обернулся к реке. Лед на Рифее сошел весь, но к северу, у впадения в Кару, видимо, громоздились заторы: заполярная река очищалась ото льда чуть ли не в июне, до которого было весьма далеко. Немногочисленное население тамошних мест, известных под названием Киммерийские Миусы, охраняло сейчас покой зимовки пока что дремлющих на Рачьем Холуе исполинских раков: честь и гордость любого киммерийского застолья, даром что животные эти считались священными, но как бы «второй святости».

– Холодно, твою мать! – возгласил Иона тоном исступленной радости, и большими шагами двинулся прочь от парапета, туда, где в парке делал кольцо идущий на юг трамвай. – Пора в Кита! Китым духом обогреемся! А то я здесь уже, по-рифейски говоря, без задних ног!

Шутка произвела ожидаемый эффект: избранные для поездки на Рифейскую Стрелку приближенные к Ионе китоборы прыснули со смеху. Епископ и архонт сдержанно улыбнулись: суть шутки была в том, что Иона Вран всерьез считал себя кентавром. При советской власти его от этого лечили, после нее – перестали; впрочем, когда он регистрировал свою секту на Малом Каретном, потребовали подписку о категорическом отказе от производства ядовитых газов. Иона уперся – кентавр таких подписок давать не может, у него особое пищеварение; Старицкий отказал в регистрации, и кончилось дело крупной взяткой. Подписки Иона так и не дал, но китоборы были зарегистрировали как независимое духовидческое объединение. Газов им на самом-то деле и не нужно было, но программа действий имела немалая: максимум они, как и любые кавелиты, конечно, ждали разрешения вопроса о Кавеле и Начале Света, но прежде того надлежало выполнить минимум. Заключался минимум в том, чтобы разрешить старинный, неизвестно кем из монахов священной школы Пунь оброненный коан с неправильным вопросом: «А вдруг Кит – да на Слона налетит, кто кого соборет?» Иона, именем своим от рождения приближенный к китьему племени, твердо встал на сторону грядущей победы Кита. Он вел длительные переговоры с обеими фирмами ван ден Бринка по поводу приобретения натурального синего кита, в крайнем случае кашалота, на предмет последующей сухопутной дрессировки, но фирмы заказ выполнить просто не смогли, хотя сулил им Иона золотые горы. Ансон Вонг заказ принял, но позднее предложил вместо него гиацинтового ару, что Иону никак не устраивало. Деньги у Ионы не иссякали: после его лекций – а читал он их иной раз по десять раз в день – богатые люди норовили завещать все свое состояние на победу Кита и поскорей умереть. Кстати, благодаря лекциям число сторонников Ионы

росло в геометрической прогрессии.

Философ вынужден был оставить мысль о дрессировке натурального кита. Но поскольку проклятый Слон – гад сухопутный, требовалось во что бы то ни стало найти сухопутного же Кита, ибо в коане ясно было сформулировано как активное именно начало китье. Знающие люди посоветовали Ионе переговорить с бродячими торговцами-офенями, у коих секта уже несколько лет покупала свои драгоценные молясины. Кто и где вырезал эти дивные вещи, сочетая ум, талант, зоркость и твердую руку с резьбой по мореному дубу, сердолику и мамонтовой кости, офени говорить отказывались. Но к идее выстроить кита рукотворно отнеслись с большим сочувствием, через полгода принесли неведомо откуда согласие на изготовление этого грозного сооружения, запросили предварительную смету и максимально полные чертежи. Где и кто готов был этот заказ принять – офени пока молчали. Но сказали, что в проекте могут быть поправки, потому как выехать киту предстоит из мест «далеких и трудных». Иона немедленно прочел цикл лекций о смысле далекого при постижении трудного и еще о чем-то, а потом засадил безропотных сторонников за чертежи. После некоторых дебатов было решено в постройке использовать облик самого крупного кита, синего, но размеры его – тридцать три с чем-то метра – Иона признал совершенно недостаточными. Иона боялся, что такой кит может и не сбороть слона, – с обоими животными он, как и архонт Киммериона, был знаком только по «Клубу кинопутешествий». Иона подумал и назначил киту следующие размеры: триста локтей в длину, пятьдесят локтей в ширину, тридцать локтей в вышину. Перевести локти в метры было бы просто, поделить на два, вот и вся математика, да только Русь пользовалась нынче своей мерой – аршином. Полдня переводили китоборы локти в аршины, и только все просчитав, догадались, что не сам Иона выдумал эти цифры, а что дал он размеры стандартного Ноева ковчега, – следовательно, было ему озарение. Ну, на то он – Иона.

Кит был спроектирован и вправду могучий, на сложной, весельно-тычковой, парусной, паровой и на всякий случай дизельной тяге. Предполагалось, что основной тягой будет первая: работающие внутри Кита гребцы, добровольно прикованные к веслам, будут производить синхронный тычко-гребок, следуя синхронным командам боцмана, и так Кит будет двигаться оттуда, где построят, туда, где он сможет окончательно сбороть Слона. Офени с поклоном приняли чертежи и документы, ничего не взяли за посредничество и надолго удалились. Иона успел съездить в США и Бразилию, проплыть с лекциями по Миссисипи и по Амазонке, прочесть едва ли не тысячу лекций о грядущей победе Кита над Слоном, о ницшеанских мотивах в творчестве провансальских трубадуров, о русских сказаниях второго тысячелетия до нашей эры, о пользе умеренного употребления в пищу ДДТ в случае полного отказа от курения анаши; успел также основательно посесть власами и побагроветь лицом, когда нынешней зимой к порогу его подмосковного дома, всегда оцепленного на всякий случай синемундирной полицией, пришли те же самые достопамятные офени, ударили челом в порог и доложили: «Кит готов!» «Мы же аванса не внесли!» – удивился Иона. «Имя ваше – десять миллионов!» – ответили офени традиционным

китоборским славословием. Это была правда, ибо по старинному русскому счету фамилия Ионы – Вран – как раз десять миллионов и означала. «Дорого», – чуть не сказал Иона, но прикусил губу, сел за стол, сцепил руки, улыбнулся до ушей, оскалил зубы и плотоядно спросил: «Так, а все же сколько?» – «Сколько от щедрот ваших будет, если условие мастеров примете» – ответствовали офени. Иона такого поворота не любил. «Какое условие?» – спросил он регистром выше. «Чтоб Кит ваш не простого Слона сборол, а Окончательного. Чтоб не просто победа была над ним, а такая, чтобы вовсе он, Окончательный Слон, окаянный, костями и клыками своими вовеки веков лег, аминь».

Иона задумался. Условие нравилось ему философским подходом к коану. Не просто «дать по уху», как чаще всего поступают приверженцы школы Пунь, а вовеки веков, аминь; думал Иона долго, впрочем, мысли его были не о том, соглашаться или нет, – в душе он согласился немедленно, – а о том, какие прекрасные по поводу победы Окончательного Кита над Окончательным Слоном можно произнести проповеди, то бишь лекции. Незаметно он стал набрасывать в тетради план первой из них, скоро перешедший в сочинение венка сонетов «Посрамление слона», – и, покуда веночек не был отшлифован и не зачитан вслух ополоумевшим офеням, Иона никакого ответа не давал, хотя было уже далеко за полночь. Потом, впрочем, опомнился и велел передать мастерам, что живота ни своего, ни чужого не пощадит, а Окончательного Слона китым духом навеки сборет.

Условие киммерийские мастера поставили не напрасно. Берега Рифея, единственной большой киммерийской реки, местами представляли собой сплошное кладбище мамонтов; из мамонтовых бивней резали молясины, они шли и на домашнюю утварь, от термоса до холодильника. Запасы ископаемого сырья пока что не иссякали, но в последнее столетие, особенно в связи с переходом киммерийского экспорта на одно сплошное молясинное хозяйство, мастеров-киммерийцев, а пуще того подмастерий, а еще пуще – старейшин киммерийских профсоюзов-гильдий, начал терзать психоз: а ну как запасы кости однажды возьмут да иссякнут, как иссяк однажды на Урале малахит: прежде из него беднякам гробы делали, а нынче на колечко нужно привозить крохи из африканского государства с неприличным названием Заир, – на рыночном-старокиммерийском этим словом называли сычуг стеллеровой коровы. Слоновью кость из родственного киммерийцам Камеруна тоже приносили, и она, хотя была больно уж ломкой, вполне могла заменить мамонтовую: тем более, что имелись точные данные, что в какой-то другой Африке, тоже с ругательным названием, есть слоны с костью куда как лучшей, почти розовой. Так что ежели вот этого всего Слона заказанный Кит сборет, то имело смысл сделать для Ионы-кавелита его чудовище вовсе бесплатно, тем более, что предстояло строить его почти целиком из дерева, хотя, конечно, из дорогих и прочных пород – железного кедра, киммерийской березы, рифейского ясеня, миусского карликового дуба; на весла шли цельные стволы пирамидального саксаула из священной рощи над Римедиумом, – но ее и так предстояло вырубить, ибо Великий Змей налегал на рощу боком и грозил забросать стволами весь монетный двор.

Что весь Сборотый Слон идет в уплату мастерам, сработавшим Окончательного Кита – никто не спорил, бумагу такую Вран подписал не задумываясь, к нотариусу съездил и лично с ним расплатился. С деньгами, приготовленными в уплату за Кита, он в первую секунду не знал, что делать, но потом вспомнил, что гребцов и бойцов чем-то ведь кормить придется, и прикинул, не съездить ли ему с лекциями еще по реке-другой, Нил там остался необъезженным, и эта... река Святого Лаврентия. Офени успокоили его, что мастера кое-какие припасы от себя в Кита положили – путь как-никак далекий, а вот Окончательного Слона поскорей бы сбороть, поскорей. Нет ничего важнее войны, еще Макиавелли доказал.

Иона возрадовался, и тогда офени, прильнув к пушистым ушам ересиарха-поэта, шепотом выдали ему тайну существования посреди Руси самодостаточной державы Киммерии, и столицы ее, города мастеровых Киммериона. Иона слушал несколько часов, и маленькие глаза его наливались красным огнем: он всегда предвидел это! Немыслимые трудности пути в Киммерию его не пугали, даже необходимость идти пешком тридцать километров через Яшмовую Пещеру казалась не такой уж тяжелой. Однако Иона поинтересовался: как через такую пещеру сможет проехать Кит. Офени засмутились, потом сознались, что дорогу в сталагмитах для проезда Их Величества Окончательного Кита они уже прорубили; правда, есть у них мысль приладить потом сталагмиты на прежнее место, – ну, а не встанут, так нарастут новые. За тридцать восемь столетий, что стоит на Рифее благолепный град Киммерион, еще не то успело вырасти. Ударили по рукам в последний раз, и стал Иона собираться в дорогу, отбирать среди сподвижников наиболее могучих тычко-гребцов и матросов, которым решил доверить продвижение Кита к месту битвы. Отобрал шесть сотен человек, и временно прием заявлений закрыл, всех прочих китоборов разом зачислив в кандидаты и справедливо полагая, что не все гребцы одинаково стойко перенесут тяготы Китового Похода, что придется убыль в людях время от времени восполнять.

И стало по слову Ионы, и отбыл он с офенями в Киммерию – получать заказанного Кита, уже благополучно законченного отделочными работами на Лисьем Хвосте, самом южном из сорока островов Киммериона, – Кита, ждущего лишь прибытия «пророка со сподвижники», ну, и благословения епископа Аполлоса.

Прибытие Ионы в Киммерион попало на дни, когда уже прошли и Пасха, и Антипасха, и Радоница и, как водится, всю начались знаменитые киммерийские свадьбы. Было это Ионе на руку: неизменным атрибутом такой свадьбы был пуд шелковых арясинских кружев, в богатых домах закупали и по пяти пудов, поэтому приток офеней в это время, как всегда, увеличился, – пронести Иону через Яшмовую пещеру в тюке кружев не составило труда. Несли его вшестером, так что вышло не очень тяжело, тренированному офене лишний пуд никогда не в тягость. Иона же, узнав, что красот в пещере нет, или может быть, есть, но никто их толком никогда не видел, в ней по пояс – углекислота, и факелы не загораются, интерес к пещере потерял и проснулся уже на свежем рифейском воздухе, перед дозволенной киммерийскими

установлениями единственной в городе гостиницей, перед «Офенским Двором». Спутников Ионы по грядущему Странствию Кита доставили более простым путем: пешком, с завязанными глазами, и расселили в Киммерионе по частным квартирам; до официального освящения Кита епископом Киммерийским и Миусским Аполлосом в грозном чуде жить никому не позволялось.

Первый день по приезде Иона Вран провел, как повелевали его собственные законоустановления, в одиноком радении, над личной молясиной, на которой Кит – от частого употребления – заел убогого Слоненка до того, что тот напоминал скорей побитого жизнью кролика, впрочем, с нагло задранным хоботом. «Рать моя – как на подбор, что ни муж – то китобор!..» – импровизировал Иона театральным шепотом, а доверенные ближние каждое его слово ловили и стенографировали. Вечером Иона, отпробовав местный деликатес – семгу, запеченную в лососине – возжелал погулять по городу, на что и получил разрешение от местных властей.

Первое, что поразило Иону, была главная улица города. Главный проспект прорезал город насквозь, с севера на юг, проходя через почти все основные острова, на которых раскинулся город, от Рифейской стрелки на севере до гостиницы на Лисьем Хвосте, – именовался этот проспект странно: Подъемный Спуск. Иона не без труда прошел по нему с версту, все время в гору, потом устал, утомился созерцанием одинаковых, как под гребенку, трехэтажных домов, выстроенных из тесаного точильного камня, – и решил вернуться в «Офенский Двор». Повернул – и не поверил стопам своим. Он снова шел в гору. В какую бы сторону он ни шел, улица все время уходила круто вверх.

«Да что она, зачарованная у вас?» – спросил Иона провожатого, которого архонт и вице-мэр выделили высокому гостю для экскурсий по городу. «Зачарованная, кириос Иона», – без тени смущения ответил провожатый, – «Название у нее такое понятное – Подъемный Спуск». «И давно?..» – спросил ересиарх затем, чтобы не молчать в потрясении, не выказать простого человеческого чувства – обалдения. «Три тысячи восемьсот второй год идет, кириос Иона. От основания Киммериона главная улица у нас тут зачарованная. Да вы не беспокойтесь, у нас трамвай по ней ходит. Местами и правда больно круто». – «А на вид ровно...» – «Так только на вид. А у нас на вид верить не надо. Киммерии на вид, может, тоже вовсе нет. Зато пощупайте, вот мы какие, на ощупь» – провожатый протянул Ионе свою необычайную киммерийскую руку; пальцы на ней были чуть не вдвое длинней обычных. Иона отмахнулся и пошел в гору: назад, в отель. Как он установил, зачарована в Киммерионе была только главная улица, прочие были обычные. Без большой нужды поэтому по Подъемному Спуску никто не ходил. По нему в крайнем случае ездили.

На правом берегу Рифея, за протокой, вдоль всего города высился как ножом отрезанный Уральский хребет, где верста в нем высоты, где две, где больше. Под ним, на узком берегу, ютился не то городок, не то береговой придаток столицы, закрытый Римедиум, известный своим монетным двором и тем, что в него до недавнего времени ссылали всех киммерийских преступников. Каждый день в полночь по местному времени на Кроличьем Острове ударял колокол, по нему местное население могло проверять часы. Телефон в Киммерионе был, но

относился к числу изобретений, воспринимаемых местными как неизбежное зло, – вообще-то горожане предпочитали личное общение в то небольшое время, которое оставалось у них от занятий прибыльными ремеслами. Иона не мог отделаться от ощущения, что находится в какой-то провинциальной копии Петербурга, хотя и знал, что все наоборот, что царь Петр воздвиг Северную Пальмиру именно как копию Киммериона. Постепенно Иона смирился: город был старше Питера на три с половиной тысячи лет, а это большой срок даже для России. Иона плюнул на все проклятые вопросы, предался радениям над молясиной и сочинением новых поэм, лекций, философских трактатов. И, разумеется, готовился ко входу во Чрево Китово, к будущему победному рейду на Окончательного Слона.

В те же дни случился ежегодно ожидаемый киммерийский праздник: вылет карамор, здоровенных, с две киммерийских ладони, комаров, не кусающихся, отлично дрессируемых и красиво поющих. Первое гнездо умные караморы традиционно свивали под застрехой Музея Изящных Киммерийских искусств, прямо над древней, сильно поврежденной статуей богини Вики Саморифейской. Впрочем, Иону мало интересовали местные праздники, его больше волновали странности местной кухни: желудок бунтовал от избытка красной рыбы, против таких приправ, как ложечная трава – нечто вроде хрена, но несравненно злее, – и таких, как речной заболотный кресс, рифейская черемша, черная сарана; зато Иона высоко оценил киммерийские термы и горячий, прямо из термоса, пряный квас. Ионе предложили экскурсию на север страны, в Миусы, где кончали зимовку исполинские раки, – он вежливо отказался. От экскурсии в единственный южный город Киммерии, Триед, он отказался резко и невежливо: ему сказали, что тамошние жители питаются одними гремучими змеями, а когда змей нет, любят помирать от ритуального голода. Иона таких крайностей побаивался, тем более что лично ему был неприятен и сам Великий Змей, опоясавший Киммерию и заглотавший собственный хвост. В него Иона старался не верить, а спокойствия ради написал несколько сонетов о том, как презренны все змеи и Змеи.

Зато очень заинтересовало его наличие в Киммерионе треножника местной Сивиллы. Туда его, увы, не допустили: гид объяснил, что толкователь слов Сивиллы, гипофет Веденей, – к слову сказать, старший брат самого гида – сейчас в командировке. К тому же прорицает Сивилла на старокиммерийском, а знает ли Иона этот язык?

Иона твердо был уверен, что знает все языки, и этим смутил гида. Гид заговорил с гостем на этом одновременно священном и рыночном языке. Иона ответил, но на другом, а на каком – гид не понял, и спросил, что это за язык, «Старокиммерийский!» – ликуя, объявил Иона, – «Это вы его не знаете! А мне благоволением Кита, к счастью, дано знание всех языков». Гид так ничего и не понял, доложил об этом случае епископу, тот покрутил пальцем у виска и велел передать гостю, что Сивилла сейчас на ремонте. Объяснение это, как ни странно, полностью утешило Иону – и больше он к подножию жертвенника Старой Сивиллы не стремился, хотя та вещала по восемь часов, голос ее в цифровой записи хранил компьютер и бедняге-гипофету по возвращении из

внешней Руси предстояло этот бред истолковать.

Так прошло около двух недель, и Окончательный Кит прямо в присутствии Ионы был закончен отделочными деталями; в последнюю очередь личную каюту Ионы аккуратно обтянули некоей тончайшей черной кожей, и продемонстрировали, что кожа эта вопреки всякому здравому смыслу ни пулями, ни чем иным, пробита быть не может. Ионе подарили сшитый по мерке костюм из той же кожи, но Иона день поносил и снял – деликатно говоря, сопрел. Май в Киммерии выдался на редкость теплый, из проток между островами то и дело высовывала голову обосновавшаяся в Рифее с середины восемнадцатого века стеллерова корова, – в те времена приплыла она из Бобрового, теперь именуемого Беринговым, моря, дошла до устья Кары, ушла в Рифей и обжила его от Рачьего Холуя до верховий – стараясь селиться подальше от тех мест, где жили священные для всякого киммерийца полногражданственные бобры. Корову не обожествляли, хотя и не ели, ибо она проявляла все признаки разумности, – например, старалась держаться подальше от бобров, знаменитых своим сутяжничеством. Ионе корова понравилась, он посвятил ей небольшую поэму в терцинах.

Из всех экскурсий, наконец, решили ограничиться традиционной трамвайной экскурсией на Рифейскую стрелку. Набили полный трамвай приближенными и поехали. При Ионе, пребывающем в толпе, как и в любом другом месте, уединенно и тайно, находились, как всегда, трое стенографисток: одна для записи его благословений, другая для записи его анафем, третья для фиксации случайных высказываний. Стихи Иона записывал сам, как и лекции, в школьных тетрадках. Все стенографистки сидели рядом, пророк по пути давал работу всем трем, ибо ехали долго, Подъемный Спуск, как всегда, шел круто в гору.

На Стрелке Иона долго прорицал. Предполагал, что нужно натянуть от Уральских гор к Атласским тончайший канат и пройти по нему прямо в Царствие Небесное. Предлагал воздвигнуть тут же, на Стрелке, церковь российского великомученика Бертрана Епифаньского. Топнул ногой, посмотрел под нее и воскликнул: «Так вот где собака зарыта моя!..» Все три стенографистки немедленно этот возглас записали. Декламировал новые стихи про яйцо, от которых у епископа даже голод проснулся. Наконец, китобор утомился и напомнил собравшимся, что завтра – день торжественного освящения Кита, а затем скорейший отъезд на Последнюю битву.

Но мытарства Аполлоса не кончились: в трамвае, долго тащившемся в гору к отелю, Иона подсел к епископу и учинил поучение о древних степенях киммерийской праведности, коих лично он, Иона, числил не менее как девятнадцать раз по двенадцать. Епископ подивился: оба числа были для Киммерии любимыми, если не священными, но за пределами страны кто ж мог китобору об этом поведать, про святость числа «девятнадцать» (по числу пальцев Давида Рифейского, коему в скитаниях рыба в реке большой палец на правой ноге отъела) даже в Киммерионе знали только люди просвещенные. Но Иона сразу заявил, что степеней святости именно столько, стал их перечислять, и, похоже было, что пути трамвайного на них не хватит.

– Я считаю, что блаженная жизнь киммерийцев должна сопровождаться песнями, танцами, музыкой и бряцанием на полнострунных лирах. Вы – Аполлос, так воспевайте же в гимнах Аполлона и он станет являться к вам каждые девятнадцать лет, в протяжении которых каждая киммерийская кукушка будет славить его кукованием!.. Я считаю, что Киммерия – центр земли, а Киммерион – центр Киммерии. Так почему же он носит такое бедное название? Земля – глина, скудель. Киммерион – посреди земли, скудели. Не лучше ли было бы назвать город, скажем, Средоскуд? Или, скажем, если земля – юдоль, а Киммерион – ость земли, то – Остюдол? – заметив наползающую на лицо епископа тень, Иона сменил тему, – А почему у вас в городе нет цирка? Стадиона?

– Традиции нет, обходимся, люди у нас все больше мастеровые...

– Вот! Вот! Именно! Я считаю, нужно завести традицию для обособления человеческого духа во имя торжества плоти! Построить, скажем, посредине главной улицы – Колизей. Цирк... в форме колеса! Он будет называться – Колесей!..

– Поле будет у цирка наклонное, – поучительно сказал епископ, – Киммерион город кое-где у нас все-таки зачарованный, сами изволите знать, Подъемный Спуск – по нему не спустишься. Впрочем, вот и мы и приехали, идем, кириос Иона, идем...

Иона встал и пошел, но тема его увлекла.

– Колесей! А стоит Киммерион – в лесах! И около Колесея будет...

Слово «околесица» не прозвучало, епископ решил помочь тучному Ионе спуститься по ступенькам к гостинице (этот спуск был на самом деле изрядно крутым подъемом), а заодно хоть как-то перехватить инициативу в бесконечно льющейся речи.

– Почтенный кириос Иона, – заговорил епископ, – вы все же зря отказались от поездки на юг Киммерии, там рукой подать до наших горячих ключей и гейзеров, где – по легенде, само собой, – конь богатыря Горыни, горы шатавшего, копытом ударил. Еще южнее – озерцо, наша граница, а от нее на юг всего верст семьдесят – там Чердынь. Знаете, кто крестил чердынцев? Святой Иона! От Рождества Христова шел тогда год тысяча четыреста шестьдесят второй. Так что вы, кириос Иона, по чердынскому святому имя получили всего вероятнее, а чердынцы – соседи наши. Хотя и нет у нас с ними связей уже лет семьсот, но это срок небольшой...

Двери гостиницы были открыты настежь, но, покуда все китоборы, и вместе с ними Иона, не скрылись в отельном чреве, епископ без умолку говорил, ибо понял, что таково единственное спасение от проповедей Ионы: говорить самому и не давать китобору вставить ни звука. Когда двери закрылись, епископ замолчал, изможденно утирая чело рукавом шерстяной рясы.

– Очень утомились, ваше преосвященство? – спросила участливо Александра Грек.

– Да уж, – ответил епископ на старокиммерийском, примешивая слова из микенского, которому специально обучился в Академии киммерийских наук у президента, Гаспара Шероша, – хоть и велик духом, но тяжек для ума

человеческого. Словно бригада ударного труда в одном теле сидит. Под шестьдесят ему, старше меня, а бодр, яко рак рифейский на четвертом году.

– И лицом багров, яко рак во благодати перед сервировкой, – иронически подхватила Александра Грек.

Над Ионой в Киммерионе посмеивались решительно все, тем не менее не жалели ни единой доски из числа затраченных на постройку Окончательного Кита, ни часа великой работы над Китаом, и епископ не сожалел о времени, потраченном на общение с Ионой. Киммерийцы были народом неторопливым, привыкшим смотреть в будущее очень отдаленное, в котором, безусловно, потребуется все новая и новая слонообразная кость, – своя же, как ни экономь, иссякнет за какие-то два-три столетия.

Уже поднявшись на третий свой личный этаж с помощью гидравлического лифта Иона, замер во внезапном озарении. Медленно протянул руки перед собой, словно защищая глаза от нестерпимого сияния; не все китоборы, но большинство из них знало этот сравнительно редкий жест – сейчас должно было последовать настоящее откровение. Иона медленно обернулся. Лицо его посветлело, засияло внутренним огнем.

– Я считаю... Знаете ли вы, что балтийские кильки – это и есть шпроты? – возгласил ересарх и, не ожидая ответной реакции, ушел в свои покои: нужно было подготовиться к завтрашней проповеди на борту Кита, первой, поэтому особенно значительной. Мысль его уже сопоставила кита и кильку, и первое откровение по этому поводу приверженцы уже получили.

«Ки-льки и ки-ты – ки-ль Ки-ммерийский!» – бормотал пророк тезисы завтрашнего выступления в полном одиночестве, и лишь три стенографистки неслышно скребли авторучками, да карамора пела свою майскую брачную песню за стеклом зашторенного окна. День сегодняшней и завтрашней сливались в один бесконечный монолог Ионы Врана. Киммерийский гид Ионы, Варфоломей Иммер, чуть живой от усталости, даром что богатырь от природы, добрался до своего дома на Витковских Выселках. Обе его дочери спали сном ангелов Жена Варфоломея отсутствовала: она от мужа ушла очередной раз навсегда, не в силах снести богатырскую его сущность. Но за нее Варфоломей не тревожился – знал, что как навсегда бросила, так навсегда опять вернется. Так что за завтрашний день Варфоломей был относительно спокоен, тем более что молока, выпитого на вредность общения с Главным Китобором, должно было хватить крошкам, дочкам и племянницам, не меньше, чем до осени.

Миновала ночь, утро же выдалось туманное, хотя воскресное, счастливым такое утро мог бы счесть только любитель играть в русскую игру в «двадцать одно», совершенно не прижившуюся в Киммерии, привыкшей все считать на дюжины. Аполлос в полном облачении вместе с настоятелем монастыря святого Давида Рифейского игуменом Диомидом и настоятелем собора святой Лукерьи Киммерийской протоиереем Протасием неспешно, по полному чину освящения военного корабля, благословили Окончательного Кита на его подвиг, на сухопутное плавание. Похож был рукотворный зверь более всего на линкор, и чин освящения в таком случае архиепископ избрал по аналогии, раз уж не имелось заранее приготовленного чина освящения для Окончательных Китов.

Все равно это оказалось не особенно долгой требой, чай, не коронация все-таки.

Кит впечатлял. Исполинское выпуклое брюхо его покоилось на окованных легированной сталью шасси, те, в свою очередь, опирались на высокие, в два человеческих роста, колеса. Широкий двухлопастный хвост обладал способностью к вертикальному и горизонтальному шевелению, а также, в случае необходимости, к нанесению мощных ударов под углом до девяноста градусов от основной оси Кита в любом направлении. Клюзы, в которые изнутри были пропущены весла-толкачи, мастера искусно замаскировали резьбой, на спине – тоже при необходимости – могли быть вскинуты три мачты. Кит был на непредвиденный случай вооружен ядрами, а также торпедами; последние киммерийцы отказались делать иначе как из ценных пород дерева, в пушках ядра предполагалось использовать исключительно каменные, а все почему: Окончательный слон должен быть сборот, но вот слоновая кость повреждениям никак не подлежала. И торпеды, и ядра предполагалось метать с помощью ручных катапульти; Кит, как творение почти исключительно деревянное, не нес в себе огня, что не мешало китоборам никак: курение запрещалось китоборам их же верой, а ели и пили они только холодное; пили, впрочем, и горячительное, но от горячительного пожара, если спичек нет, то не возникает.

Седая борода и шевелюра Ионы были с большой аккуратностью расчесаны, а сам он наряжен в жаркий, однако единственно приличествующий случаю киммерийский костюм из черной кожи. Прежде, чем вступить на высокий трап, Иона сильно ударил по нему посохом. Толпа китоборов зааплодировала. Однако проповедь у подножия Кита ересиарх читать не стал, лишь у самого входа во чрево китово возгласил толпе:

– Кавель Кавеля не бил!

Толпа хором ответила свое еретическое:

– Кавель Кавелю грубил!

От второй половины, от классического «любил – убил» Иона воздержался и канул во чреве рукотворного чудища. Но толпа не спешила подниматься за ним, все ждали, когда ересиарх явится на своем амвоне, на китовом дыхале, из которого, будь кит обыкновенный, пускались бы для увеселения путешественников высокие фонтаны. Иона не замедлил: из дыхала поднялось возвышение, на коем стоял Главный Китобор с рупором в руках, – в народе такой прибор, впрочем, чаще называют матюгальником. Об этом народ вспомнил, когда Иона со вкусом начал свою речь отборными матюгами: звучал заранее подготовленный Большой Китий Загиб, от которого священнослужители предварительно и благорассудно закрыли уши.

– ...И мать матери матери его точно так, как твою и растуды же! – яростно закончил Иона. На протяжении всего загиба ему пришлось отбиваться от аршинной караморы, хотя и мягко, но назойливо приставшей к нему в начале речи с любовными домогательствами.

– Мать-перемать! – взревела толпа в восторге. Дальнейшая проповедь Ионы была уже традиционной, духовенство могло персты от ушей убрать. Иона говорил вдохновенно, но не более, чем обычно, – очень уж мешала карамора,

крупная даже по киммерийским меркам. Из-под стапелей, по которым Кит должен был въехать в Лисью Нору, высунулись две маленьких морды, – рифейские бобры тоже интересовались мыслями ересиарха. Иона призывал все грома и молнии и все казни египетские на голову Слона, низкого и мерзкого существа, стоящего на пути Кита к окончательной победе, попутно обмолвился, что именно Кавель убил Кавеля – и никак иначе, и никто из толпы, из числа возможно не согласных с Ионой кавелитов (впрочем, кавелитами в Киммерии были только некоторые бобры) – не посмел возразить, все равно Иона на своей верхотуре не расслышал бы ничего. Впрочем, бобры в сомнении мотали мордочками, да карамора вцепилась в бороду ересиарха с новой яростью. Иона отгреб ее в сторону, сжал ей лапы в пучок и вознес над головой, вероятно, перепутав ее не то с крестом, не то с китом, не то со своим посохом.

– Вступите, братия, во чрево китово, и грядем дорогою прямою, дорогою Китовраса – и сборем поганого Слона! – закончил Иона и отпустил карамору. Та отряхнулась, но от Ионы не отстала, уселась у него на плече и замурлыкала. Народ между тем повалил к трапу: Кит заполнялся.

– Во исполнение пророчества, – тихо заговорила Александра Грек, положив руку на голову склоненному в поясном поклоне Варфоломею, при этом используя самый чистый старокиммерийский язык, на каком умела связать слова, – о том, что стоит град Киммерион дважды девятнадцать столетий, простоит еще дважды два девятнадцать, лишь только соберет левиафант элфанта...

Александра медленно читала текст древнего Минойского заклęcia, Варфоломей косил глазами на ближнюю молочную кухню, епископ и его приближенные соблюдали почтительное молчание. К дохристианским верованиям в Киммерии относились без злобы, хотя их и не поощряли. Бобры, существа полногражданственные и равнодельфинные, продолжали глазеть на готовящегося к старту Кита. Досужие горожане, на девяносто процентов мастера молясинных промыслов, камнерезы, косторезы, чертожилыники, понемногу начинали расходиться. Иона удалился в глубины Кита, дыхало затворилось.

Китоборы, наконец, втянулись в свою домовину и сели на весла: старшие среди них дружно поднялись и отсалютовали покидаемому городу. Качнулся хвост, открылась и закрылась пасть, Кит дрогнул: старший мастер китодельного цеха, дряхлый старик, вышиб из-под Кита удерживающий клин. Кит медленно, потом все быстрее и быстрее заскользил вперед, через секунды ушел головой в жерло Лисьей Норы, через минуты исчез в ней полностью, через четверть часа, видимо, уже двигался под дном Рифея между сталагмитами, бережно ведомый под уздцы верными офенями. Выход из пещеры был далеко, предстояло продвинуться не только под дном реки, но миновать и грот «Миллион белых коз», и «Колоду колод», и «Заветную углекислую», – да еще и пройти под брюхом Великого Змея. Тот лежал спокойно, но само его присутствие в пещерах ощутимо чувствовалось: у людей болели зубы под коронками, начиналась вегетососудистая дистония и тахикардия, разыгрывалась мигрень. Выход из пещеры находился в Великом Герцогстве Коми, там же начиналась и

Камаринская дорога; несколько южнее располагались старинные Печорские Волоки, но куда дальше направит Окончательного Кита Иона Вран – знал только сам ересиарх, да и то едва ли знал заранее, скорее, как обычно, ждал озарения, – а таковое посещало его по много раз на дню. Он знал, что Лисья Нора искажает время для путешественников, но он не знал, насколько. поскольку ему крайне хотелось выкроить побольше творческих часов и дней на создание романа в стихах «Писеня Китовая», он рисковал выехать в Внешнюю Русь в следующем столетии. Или в позаследующем.

Архонт Александра Грек села в трамвай и уехала на север, в архонтсовет, воссылая благодарственные молитвы святой Лукерье за избавление сразу и от Кита, и от Ионы. Результатов от похода Ионы в ближайшем будущем все одно не предвиделось. Так что следовало набраться киммерийского терпения, какового Александре было не занимать. Трнадцать ли, нехристи, из-за неурожая на гремучих водяных змей, голодали, не хотели семгу есть, предпочитая смерть принятию поганой пищи – голова болела у Александры. Прорывало ли канализацию на Караморовой стороне, ломало ли «усы» у телеретранслятора в Больших Бедолагах, случалась ли пьяная драка в трактире «У Бахуса в плену» аж в Миусах, дрались ли бобры клана Кармоди с вдовой после известного отплытия стеллерова быка Лаврентия коровёнкой Чернавой, – во всех случаях звали именно кирию Александру. Она редко ложилась спать раньше второго часа ночи по Рифейскому времени, а вставала в шесть, под рвущиеся из радиоточки звуки государственного гимна Внешней Руси «Прощание славянки». И не роптала на судьбу, и знала, что такой жизни ей, по словам классика русской литературы, лишь случайно не побывавшего в Киммерии, «до самых до смерти». А ведь впереди всех вопросов стоял еще и главный: офени, что ни день, били челом, что молясин на Руси нужно больше, чем город производит, что и цены пусть повышают, если по-божески, но только пусть бы щеповских молясин сборщики выдавали ну хоть на осьмнадцать дюжин в неделю поболее, медвежатничьих – ну хоть на дюжью дюжину поболее, – так в Киммерии, где счет шел не в десятичной системе, а двенадцатиричной, называли то число, которое есть двенадцать в кубе – тысяча семьсот двадцать восемь, очень красивое, очень круглое и очень простое для счета число. Да и китоборских бы, и слоновборских, и журавлевских, и полбовских, и влобовских, и щеповских, и задолбиловских, и всех прочих бы – поболее, поболее, ну хоть малость поболее.

Ведь вот и деньги у офеней на закупку молясин тоже были: настоящее царское золото. С тех пор, как государь Павел Второй упразднил инфляцию и запретил ее, она прекратила существование. Раз и навсегда, по крайней мере в России и дружественных государствах, число которых множилось. Инфляции никто больше не видывал и о ней редко кто слыхивал. Киммерия и рада была бы выдавать Руси все больше и больше молясин, но все ее население было тысяч двести, как в Исландии, другой древней стране – прежде всего знаменитой, впрочем, не столько селедкой и скальдами, сколько худшей в Европе инфляцией. Но, поскольку Исландия была в Европе самой западной, а Киммерия – самой восточной, это, возможно как-то можно было бы одно

другим объяснить.

Киммерион за полночь не засиживался, чуть не весь город с раннего утра приступал к трудам. Кирия Александра заперла кабинет и собралась выйти во двор архонтсовета, доплестись до своей пристройки и как можно скорее лечь спать, но в сенях пристройки ее догнал келейник Любомир, состоявший при ней долгие годы. Келейник дрожал, гнулся в поясном поклоне и ломал шапку. «Еще не легче», подумала кирия. День и теперь не кончался. Жестом разрешила – «говори».

– Кирия Александра, не велите казнить... Старшина гильдии литейщиков, Трифиллий Полушайкин пожаловал, пять минут ваших просит...

Гильдия литейщиков была небольшой, но влиятельной, пять минут архонт нашла бы для нее и среди ночи.

– Проси.

Вошел рослый человек с правым плечом много выше левого – так выглядят к старости молотобойцы. В недавние времена Трифиллий таковым и был, но повредил сухожилие, и теперь осуществлял представительство гильдии.

– Дозволь слово молвить, матушка. Только «да» или «нет», если нет, так и нет, а если «да», так обсудим все, когда время нам уделишь...

– Выкладывай.

– Такое дело... Пришел на Лисий Хвост Хрисанф Элефант, заселили его в гостиницу. Зовет меня, а я знать не знаю, кто он. Пришел. А он, оказывается, слонобор верховный. Из далеких краев пришел, хочет, значит, доказать, что если кит на слона налетит, то слон его так сбoret, что китовый ус во все стороны полетит. Но проблема у них: кит – тварь водяная, а слон – сухопутная, вот и хотят они, чтобы мы им Слона построили водоходного, на реактивной и прочей тяге. Чтобы Кита Окончательного сборо. Триста локтей в длину, пятьдесят локтей в ширину, тридцать локтей в вышину. Для гильдии нашей отменный бы заказ, да вот сомневаемся – будет ли разрешение от вашей милости...

Кирия устало вздохнула.

– Будет разрешение, будет. Налог обычный. Только ты иди к своим, смету составьте. Совсем я нынче уморилась.

«Неправота неправых, и к тому же еще всяческая неправота, как говорят кавелиты», подумала Александра. Глупо, конечно, но негоже гильдии сидеть без заказа. А эти, Кит со Слоном, пусть себе через сто лет бодаются, где хотят.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 25

Евгений Витковский

XXV

Ходишь дозором от Северного полюса до Патагонии, а все почему-то считают тебя иудеем.

О. Генри. Дверь, не знающая покоя

И всем-то на Мирона всегда ворчать хотелось, и людям, и нелюдям. Стрелочник всегда виноват. А не стрелочник — так обходчик. Работать обходчиком Великого Змея, таскать на спине бурдюк с особым яшмовым бальзамом, ублажать Великого Пресмыкающегося, когда раскапризничается, присматривать за всеми Древними, которые норовят под бок Змея с внешней ли стороны, с внутренней ли пристроиться — не очень-то эта работа синяя кура, как говорят в Киммерии, где кур давно разводят лишь киммерийской породы, синей, — кто-то догадался скрестить куру — с павлином! И неплохая вышла кура, не то, что работа Мирона. Но Мирон Павлович Вергизов ничем иным в последние века не занимался, а века бежали быстро, и он совершенно утратил им счет; это было тем проще и легче, что расположившаяся вокруг теплой речки Киммерия вела этот счет по архонтам.

А раньше — по князьям. Но пока он, Мирон, одного серьезного человека в нехорошие места на променад водил, — кончились князья в Киммерии и, видимо, навеки. Стало княжество чем-то вроде республики, городом-государством с прибавлением большого куска приятной, чуть ли не теплой, полноводной реки и малонаселенных берегов. Киммерийцы иной раз считали эту реку почти что морем. Во всяком случае, в Минойском кодексе удержалась за двести вторым номером статья: «Не загораживай соседу вида на речные воды, если он созерцает речные дали, стоя на своем дворе; не вынуждай его повернуться в сторону, дабы видеть Рифей! Кто правило это нарушит — тому смерть, либо, по усмотрению архонта, простить вовсе». При князьях чаще давали по этой статье пункт первый, теперь почему-то прощают. Ну, да ладно, хотят загораживать — их дело. Демократы...

Последним настоящим князем из древнейшей династии Миноевичей был в Киммерионе князь Твердислав Киммерийский, чья единственная дочь Зоя ранним летом 1301 года по Р.Х. вышла замуж за славного мудростью князя из Внешней Руси, Изяслава Арясинского (притом, что только мудрость и была у князя единственным богатством, а так числился он в «захиревших»), и уехала на Запад. Твердислав от разлуки с дочерью налег на бокряниковую, да так, что и не встал больше, нового князя киммерийцам было взять неоткуда, чужого приглашать никому в голову не пришло, и превратилась Киммерия в нечто вроде профсоюзократии. Хотели киммерийцы сперва учинить у себя посадничий чин, потом вспомнили, что плохо это отзывается на здоровье как города, так и посадника, которого топить положено за любую провинность, а в городе и моста-то нет удобного, чтоб посадника топить, и бобры взбунтуются — вдруг посадник сам бобром окажется? И постановили киммерионцы жить по возможности, выбирать над собою архонта по мере надобности, торговать же с остальным миром по потребности, тем и утешились.

Никаких особых требований к кандидату в архонты не предъявлялось: он, конечно, обязан был быть старинного и не худого рода, иметь за плечами не менее как четыре киммерийских декады лет, владеть недвижимым и движимым имуществом стоимостью не менее как в шесть раз по двенадцать мамонтовых бивней, либо стволов железного кедра (кои принято менять один к одному),

уметь читать-писать, клич бросать, врага кромсать, самовольством не нависать, старейшинам пятки чесать да в хороводе знатно плясать, — словом, попусту воздух не сотрясать. Одно лишь требовалось архонту помнить неукоснительно: никогда и никто не должен был найти оснований обозвать его старым дураком или другим похожим... ну, «титолом». Выкликнувший живому архонту «Дурак ты, дурак ты старый!» — тем самым обязывался перед всем народом доказать, что архонт есть старый дурак и никто более. Если доказал обвинитель истину обвинения — архонт немедленно с себя сан слагал и удалялся в монастырь либо в домашний затвор навеки, как ему хотелось. Если же обвинитель своего слова доказать не смог, полагалось припомнить обвинителю, что никто не отменял древний Мinoisкий кодекс. А по нему редко какие преступления наказывались иначе, чем смертной казнью. Ее могли заменить ссылкой, даже просто поркой — но могли и не заменить. Так что прежде, чем звать архонта старым дураком (либо старой дурой, — женщин в архонты выбирали нередко) — предлагалось крепко подумать. Желательно головой.

Рифей в обычные годы замерзает (если замерзает вообще) в ноябре, вскрывается в марте — сказывается вулканическое тепло Земли Святого Витта, Банного Острова и горячих ключей Верхнего Рифея. К горячим ключам, месту опасному и труднодоступному, ходят только добытчики яшмы, потребной киммерийским камнерезам: этот камень идет на подставки для самых дорогих молясин. Есть яшма, понятно, и в Яшмовой Пещере — но там все неприкосновенно, любой знает: сколько камня в той пещере для корыстной нужды возьмешь — столько хвори и беды ляжет на Киммерию. Да и не считает Киммерия Пещеру своей собственностью больше чем на сто аршин от Лисьего Хвоста, предполагается, что дальше — заветная тропа, и ну ее к офеням. Нормальный киммериец никогда из родного края не хочет. Хотя есть, конечно, и ненормальные. Ну, и есть еще те, кого посылают понимать Россию по долгу службы. Их немного, за все времена архонтства не набралось и полтора десятка. Бедняги. Один даже в Китай забрел, там буддийское монашество принял по ритуалу таинственной школы Пунь, поверг с престола очередного Далай-ламу, а как вернулся в Киммерию — выговор получил, потому что в России не был, умом ее не понял и вообще не за тем был командирован. Нынче похоронен на Новом... Или на Сверхновом? Память проклятая, уж и не знаешь, кто где похоронен. Но Мирону за яшмовым маслом к верховьям ходить приходилось: требовалось оно для заживления шкуры Великого Змея.

Удивительная была у Мирона Вергизова походка: наверное, чтоб ее изобразить, надо представить черную морскую чайку, зачем-то еще отравившую человечьи ноги и равномерно ими перебирающую. Ноги при таком движении должны показаться лишними, но они у Вергизова все-таки были, именно ими он шел, да еще они, проклятые, со времен путешествия в разные нехорошие миры с этим тосканцем, имя его полностью не выговоришь, болеть стали. Отлучился на всего на ничего — и получи, династия вымерла, возник архонтствующий полис, город-государство, где каждый, очень постаравшись, может в главные выйти. Мирон-то знал, что так просто никто никуда не выйдет, уж подавно — не войдет. Однако — жаль Миноевичей. Очень уж к ним привык Мирон. Да и по

женской линии род, двух столетий не прошло, тоже угас: сцапали на Москве последнего князя Арясинского. Вергизову, конечно, об этом-то князе известно было, но, увы, ничего хорошего. Застенки в Москве такие же, как везде. Даже и теперь, когда Москва императора востребовала.

Сколько лет, сколько веков тут проползло, то ли крылышками промахнуло — и ни одного спокойного. То Змею досаждают, то Киммерии, то самому Мирону, — ну, конечно, и Змей тоже досаждают немало, и Киммерия вся капризная. Отчего из всех на свете только у него, Мирона Вергизова, у одного — хороший характер? Неприхотливый, мягкий, покладистый. Никогда он ни на кого не ворчит, ни с кого ничего не требует, ну, кроме того, конечно, что положено. А вокруг — одни капризы!

Даже их сиятельство граф Сувор Палинский, уж на что уважаемый человек — и тот вдруг возьми да затребуй, чтобы на день ангела его, на Стратоника Святого, стояла на столе особым, эстетическим образом приготовленная «свинья в апельсинах по-гречески». Где их сиятельство такую свинью вычитали? Свиней в Киммерии хватает, апельсины у офеней прикупаются, а рецепт свиньи этой, чтобы око да чрево графское ублажить, где взять? Сообщил граф, что блюдо это не изысканное, а простое, походное, помилуй Бог, солдатское! Потому солдатское, что за неумение оное сготовить — как точно граф проведаль — крепостных, бывало, в солдаты сдавали. Ну ясно, обучаться солдатскому ремеслу — свинью в апельсинах стряпать. Кто только свинью эту Мирону подложил? Но до Стратоника еще целое лето, чтоб мастера по свиньям этим апельсиновым хоть со дна морского достать. Говорят, должна быть такая свинья непременно ворованная, нужно ее долго красным шампанским выпаивать, непременно тоже ворованным, потом апельсинами, ворованными же, нашпиговать, а свинья должна быть во время закола пьяна от апельсиновой шипучей настойки, непременно опять же ворованной, щетину же свинье не палить, но цедрой апельсиновой угнести. Словом, чтоб ясно было — знает голубушка толк в апельсинах. Рецепт не особо сложный, только фуражирского умения впрямь требующий. Солдатский, что и говорить, солдатский!.. Однако ж — забота, и не отмахнешься. Хорошо — о вкусовых качествах заботиться не обязательно. Все одно граф разве что отпробует, а потом бирочку на копытце оной свинье навяжет и на вечные льды, на фирн, в коллекцию — мол, такого-то года подавалась на Стратоника свинья, знавшая толк в сладких цитрусовых плодах.

А ведь известно Мирону про Сувора кое-что, неизвестное никому больше. Раз в два-три года переодевается граф развеселой старушечкой — пользуясь тем, что ростом невелик — и отправляется гулять по улицам Киммериона, сплетни слушать по рынкам, а еще больше сплетни эти распространять — все про графа Сувора Палинского. Что, мол, есть у графа деревянный летающий голубь, с которым можно в шахматы играть, если слово особое знаешь, чтобы голубя этого задействовать, а еще можно на этом голубе летать по комнате, ты летать будешь, а голубь — механических мух ловить. Или другой слух пускает: что живет в его замке, в особливом помещении, древний Бог Молчания — Сигалеон. Бог молчит, а приношения ему надо приносить молчанием, и один

лишь камердинер графа это умеет, прочие жители Палинского Камня никак не способны. Что, кроме камердинера, есть в замке на Палинском Камне особая прислуга, незримая, притом сплошные бородатые карлы, одна большая семья, Глудоедовы их фамилия, незримость у них вроде как наследственная болезнь. И так далее. А в будущем году, не ровен час, пустит слух, что едят эти Глудоедовы только свиной в апельсинах со сливочным кремом, чтоб еврейми их считать никто не мог... Врет граф почему зря, сматывается к себе в замок, а Киммериону сплошные соблазны и недоумения. Хорош воспитатель у будущего царя! Однако же — граф, однако же — герой!.. Не забыть зайти к архонту — узнать, у кого в Киммерии самые знатные свиньи водятся. Кто-то — Мирон никак не мог вспомнить, кто именно — говорил ему, что для того, чтобы свиньи знатно водились, надо хозяину обуваться в постели. Блюдут нынче это правило, не блюдут? Сколько всего люди за короткие свои годы растерять успевают, а всего-то ведь за ними не подберешь! Хотя и стоило бы.

А где бывшие города Киммерии? Сами названия их позабыты — Сиделец, Горазд, Двунараз... В Сидельце такие хороводы водились — сидячие! В Горазде — гораздые! И неловко даже вспоминать про хороводы в Двунаразе — только и сказать о них можно приличного, что были они очень противозачаточные, оттого и вымер Двунараз. А где, наконец, город Ракобор, что возле Рачьего Холуя ракоборствовал?.. Одолели его раки, в шесть ночей снесли, только шейки от стен потом еще некоторое время на клешнях у раков проступали, свидетельства чему есть и письменные, и печатные, хотя большинство этих свидетельств князь Олег Вещий в Цареграде на растопку извел. Впрочем, на особо опасных раков киммерийцы с той поры кандалы надевают, а от города того и памяти не осталось. Всем киммерийцам благоустроенный Киммерион, каменный и с горячей водой, хорош; показался, в него почти вся страна переселись. Знатный город, да ведь на всю Киммерию — один только он, три комнаты в среднем на жильца, да с натяжкой можно еще городом считать Триед сектантский. В бывших Миусах местных жителей — в каждом по две семьи уроженцев. Ну, деревни есть, ну, промысловики бродят, где клюквы возьмут, где бивней мамонтовых... Разве ж это империя? Это и страна-то еле-еле! Змей, впрочем, не жалуется.

Киммерийцы нынешние — народ забавный, безобидный, даже во многих отношениях приятный. Вломились ненароком в Лабиринт Конана, — который тот устроил, чтобы после смерти было где призрачно погулять, — нашли там палеолитную статую забытой богини Вики Саморифейской, обозвали Вику Аполлоном, видимо, перепутав ее обычный атрибут, весло, с чем-то другим длинным, а потом еще и на набережную вытащили. Но даже не побили, аккуратно вытащили. Лабиринт нынешним киммерийцам, конечно, без пользы, Щуку оттуда выгнать пришлось, теперь там совсем пусто, одна колючая проволока, а она Конану гулять не мешает. Бедная Вика, такая гордая была богиня, а теперь не богиня, а бог, да еще чей? Лодочников...

Ох уж эти киммерийцы! Свалили все древние рукописи в Академию, а там их читать умеет один-единственный человек. Эдак он и не найдет никогда специально туда подсунутые «Протоколы Киммерийских Мудрецов»!.. Опять

жди новых поколений. А они, глядишь, и язык древний позабудут. Ведь почему никто, кроме него, Мирона, Великого Змея умело разомкнуть и снова сомкнуть не умеет? Потому, что для этого нужно знать много матерных старокиммерийских слов и во множестве служебно-восхитительных наклонений с ними к Змею обратиться. Змей восхитится — и вполне с ним можно договориться. Лучше, надежней, чем с ядовитым дураком Герионом — или с той же Щукой. Совсем сумасшедшая стала, как русской-то классики по радио наслушалась. Убеждена, что Киммерион — Глупов! Это не Киммерион — Глупов, это она — полоумная дура.

Проще всего из всех подопечных обходиться с сектантами-змеепоклонниками, они же змеееды с тремя «е» посредине, обсевшими берега озерца Мурло, которое в незапамятные времена образовалось оттого, что ударил там копытом могучий, но бестолковый конь уж совсем тупого богатыря Горыни. Только и умел Горыня, что горы шатать, а конь его — что копытом бить. Ну, однажды и поскакал болван на своем болванистом жеребце, и выяснилось, что у кобылы другого олуха, Усыни, как раз то самое время, когда они — кобыла да жеребец — друг другу более обычного интересны. В итоге ускакали лошадки в Опоньское царство взаимоблагорасположению предаваться, а богатыри не только в безлошадные попали, но даже сказок о них больше не напишут, и песен, стыдно сказать, не споют.

Осталось озеро, — глубокое, впрочем. По прямой на юг от него до Чердыни ста верст не будет. Но дорога та для всех запретная. Впрочем, еще и мерзкая, земля там изнутри греется, киммерийцы считают, что это «Верхний Рифей», в который иной раз, бывает, таинственные звери проникают, вроде двудышащего бобра шибера сумчатого, и никто не понимает – откуда. Еще там яшма плодится, и змея размножается. Зайти, что ль, к Тараху, амфисбену-другую съесть? Отвратительно вкусных, подлец, гадюк наострился выращивать. Даже в упырьих легендах Мирон не слышал, чтобы змеи гордостью закусочного стола были. А у Тараха и на утренней трапезе, и на вечерней — одна другой деликатесней. Может, это Великий Змей поощряет змееводство? Но спрашивать у него — неловко. Остается лопать «хозяйку медной горы де гурмэ» — и помалкивать.

Зато там, в триедских землях, комары не водятся. Даже прославленная рифейская певчая карамора, если в клетке ее туда занести, сплет себе последнюю, лебединую песнь — и откидывает лапки. Змеееды мнят сие показателем, что у них особо здоровый климат. Прочие киммерийцы, которых перловкой не корми, дай анекдот про змеекусов рассказать — тоже считают, что это показатель климата, однако же климата плохого. Вот в Киммерионе в уважаемую лавку зайдешь, так там тебе дрессированная карамора сей же миг выдает хоть первый концерт Чайковского!

Вергизов медленным, верст десять в час, шагом обходил берега Рифея, иной раз останавливаясь, чтобы густой струей яшмового экстракта полить растрескавшуюся кожу Великого Древнего. Были у Вергизова и свои беды медицинского свойства, да за его здоровьем следить никого не приставляли: мол, сам управляйся. А у него, как у любого стрелочника, тем более обходчика,

болели конечности, ныли колени, воспалялись локти, опухали суставы, тянуло сухожилия, немели пальцы, скрипели кости, подворачивались ступни, не гнулись запястья. А еще натирала ему пятки новая, почти что ненадеванная тень, которую он раз в три-четыре столетия сам рисовал мелом, обводил, вырезал и пришивал к пяткам взамен изношенной, — обычно выброшенные его тени таяли в мировом информационном пространстве, клоками всплывая то там, то тут в виде литературных произведений. Тень же раз от разу становилась все небрежней, артрит мучил змеоблюстителя основательно, и ничего соответственного он нарисовать давно уже не мог, — да еще для рисования приходилось неестественно удлинять руки, что на пользу артриту, а равно контуру тени, никак не шло. Но ходить вовсе без тени Мирон никогда себе бы не позволил: еще примут за черта или другую какую несмысленную дурость. Да и что есть тень? Тень истинная мелом по рисунку не выкраивается.

Тень истинная — вещественна, и лишь Истинно Древнему дано ее отбрасывать (Мирон был Древним, но не настолько — он относился к Древним, как в Греции полубоги — к богам, ранг высокий, но сомнительный). Такой Тенью, истинной и плотной во всех отношениях, был Внешний Мир — Тенью, которую отбрасывал собою во все стороны Великий Ленточный Змей Мёбиуса. Не входило в эту Тень только то, что располагалось внутри окольцованного им пространства: Киммерия на берегах Рифея и немногие Уральские вершины, возносившиеся из Киммерии во Внешний Мир, поэтому обладавшие как бы двойным гражданством — и Теневым, и Киммерийским. Две таких вершины принадлежали графу Палинскому, основанием находились они в Киммерии, вершиной — во Внешнем Мире, потому и видеть их, и касаться их мог лишь тот, кто, в общем, ну... Кому, словом... В общем, кто надо — тот Камни эти видит и осязает. А кому не надо — для того это пропасти, ущелья, гнилые болота, трухлявые осины, мокрые елки. Четыре прочих вершины сейчас стояли незаселенными, хоть вешай табличку: «Сдается». Нет ныне только достойных квартирантов.

Тяжела ты, работа обходчика! Тут смажь, там смажь... Мирон оглянулся налево — там, посредине Рифея, лежал запретный для людей и бобров остров Эритей, где полоумный Герион разводил свои наркотические плантации, куда Мирон отправил на вечное поселение бывшую Золотую Щуку — и куда заходить никогда не хотелось, но зайти всегда полагалось. Мало ли что Герион натворит, пользуясь связями в потусторонних верхах: чай, у него Пегас — родной дядя. Тоже мне, нашел древность, отыскал гордость. В киммерийских булочных иногда таежные галеты лежат — не иначе как при Конане-варваре выпечены. И плесень их не берет. Глядишь, ничего не останется от Земли и всех ее богов, а галеты те целы будут. Славная судьба у великой расы, точней, у множества великих рас? Все — распылится миллионом, стало быть, элементарных частиц, и останется нерушим один черствый коржик?

А сколько про Гериона наврано! И тел-де у него три, и живет он на Балеарских островах, и одевается так, что турки-татары постыдились бы, и вы****ок какой-то его победил, видите ли. Победишь его, когда у него хвост скорпионий! И не одевается он вовсе, а рожа смазливая — хоть рекламу мини-плавок под ней

вывешивай. И при всем этом огородник, насобачился корень моли выращивать, жрет его пудами, ничего больше не помнит. Даже что хвост у него ядовитый — забывает. Бывает, сам себя жалит. Без никакого действия. Впрочем, иногда ложится поспать. В прошлый раз Мирон ему в спящие объятия ссыльную Щуку сунул. Едва ли великан ее съел: скорей наркотиком накачал, как обычно с гостями делает. Впрочем, а ну как съел? С него, психа, станется — выходит, Мирон скормил одного Древнего другому? Вергизов ускорил движение (шаги, если угодно) к наркоманскому острову. Опять придется быть за таможенника. Моли отшибает память начисто, и человеку от этого хорошо. У не-человека память он тоже отшибает, но не всю, и потому не-человеку от моли кайфа меньше. Однако кой-какой есть, и пристрастившиеся к нему Древние жрут его за обе щеки, а у кого голов больше — так и щек тоже больше в дело идет. Однако Герион — немалых размеров, половину плантаций держит в подбрюшье, и не всегда туда влезешь: хоть он и летающий, но выгоду пузом прижмет и не выпустит..

Пешего ходу прямо по воде для Мирона было здесь немного, перейти Рифей да обогнуть самого Гериона, чтобы с ядовитого хвоста инспекцию не начинать. Однако искоса Мирон на этот самый хвост, украшенный тройным рядом жвал, глянул. Хвост слабо шевелился в ритме дыхания Древнего, — похоже, старый наркоман спал. Неухоженный, грязный... как все наркоманы. Мирон жалостливо открыл драгоценный бурдюк и плеснул на две-три особо грязных ссадины драгоценным яшмовым маслом. Поднялся дым, шкура заживала прямо на глазах, но жвала колыхались в прежнем ритме: благодарности за лечение не предвиделось. Мирон пошел вдоль пупырчатого тела чудовища на юг. Через шесть верст обнаружилось то самое, чего Мирон и ждал: пуская сладкие сопли, Герион спал, подложив под свою антично-красивую харю что-то черное. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в качестве подушки на сей раз использовал племянник Пегаса бывшую Золотую Щуку — та вроде тоже спала и жабрами в холодном воздухе медленно хлопала. В двух шагах от Щуки, привязанное за что-то к неколебимому утесу, сидело Нечто непонятное, некрупное — и это Нечто хныкало и плакало.

По всем приметам человеком Нечто быть не могло, но и Древних такого вида Мирон не припоминал. Было Нечто черным, рожа перекошена: словом, косил сразу и под человека, и под крокодила. Отброшенная в сторону нога была явно петушиная, другую ногу видно не было, но вот за какой предмет Нечто было к скале привязано — это Мирон рассмотрел. Ну, самец! Хотя, может, и двуснастный — у Древних еще и не по столько полов бывает. У них даже пословица когда-то была: сколько голов — столько полов, сколько полов — столько колов, сколько колов — таков улов, бери сто котлов, приготовим плов! Всех-то делов — не сушить кандалов! Мирона количество полов мало интересовало, но он видел, что с помощью киммерийских кандалов, налагаемых обычно на клешни строптивым ракам, обездвижил Герион своего гостя, — тот, видать, без приглашения копал в его огороде. А копать Герион не разрешал никому: копал сам.

— Десятый подвиг! — негромко сказал Мирон. Он знал, что беспамятен Герион

выборочно.

Чудовище разразилось базарной бранью на старокиммерийском, однако просыпаться и не подумало. Про десятый подвиг Геракла (как и про большинство прочих, а также про самого Геракла, вымышленного озленными греками), Герион спокойно слышать не мог и почти всегда просыпался. Но сейчас продолжал спать, ругаясь во сне. Мирон бывал в таком положении неоднократно. Он снял с пояса веревку — с помощью подобных канатов киммерийцы чаще всего охотятся на рысь ради ее особо теплого и блестящего меха — сложил вчетверо и со всего размаха хлестанул по смазливой морде. Герион перестал ругаться, удивленно открыл глаза, огромные и синие, увидел перед собою Вергизова и залился слезами: Вечный Странник давал ему по морде веревкой далеко не в первый раз.

— Опять летать?.. — тихо всхлипнул монстр.

Мирон съездил по смазливой харе еще дважды, крест-накрест. Герион — жалкий приживал на крохотном, глинистом куске рифейской земли, обитал здесь из жалости Великого Змея, и вопросов верховному камердинеру своего владыки задавать не имел права. Монстр потупил ресницы.

— Надо будет — и полетишь. Без предварительного уведомления. А самовольничать будешь — выселит тебя господин Великий Змей с твоего сраного Эритея, будешь вспоминать, как тут корешочками приторговывал! Взор Гериона затуманился, слезы хлынули в пасть Щуке.

— Ты кого тут оковал без приказа?

— Он сам пришел... Говорит, муж главной Стимфалиды по кличке Сtima, званием — Токолош, квартирон...

— Квартирон! — одернул монстра африканский гость, — Прошу у господина Великого Змея политического и сексуального убежища! У нас со Стимой дети! Хочу воспитывать!..

— Ты за что это его привязал? — сурово спросил Мирон. Прекрасное лицо Гериона залилось краской стыдливости.

— Он... Госпоже Золотой Щуке...

— Она ж рыба!

Щука внезапно пробудилась.

— Какая рыба? Я от корня познания вкусила и постигла, что я — Щука Фаршированная, госпожа Фиш! Требую освидетельствования гильдией! Мирон обалдел.

— Это что ж я тебя, к менялам поведу? А назад я тогда что... принесу? Они ж тебя... освидетельствуют!

— Ничего не знаю, ничего не помню, я — госпожа Фиш, разными кореньями упитанная, хочу в гильдию, хочу танцевать! Петь хочу! Селедки хочу! Пошлости!

Всякое видал Мирон, однако Щуку, возомнившую себя Фаршированной Рыбой, видел впервые. И уж никак не мог позволить, чтобы некие уважаемые киммерийцы даже с самыми лучшими намерениями кого-либо из Древних съели. Кроме змей, но те — подражательницы блудные, и вообще за них Тарах отвечает. А тут еще этот африканец, за часть тела кандалами ухваченный.

— Сtima, значит, Сtima говоришь... Ну, давай позовем Стиму — признает она тебя — вей с ней гнездышко, ей мужик не опасен, ей, при ее железных перьях, очень даже... Ну? Звать Стиму? Ты чего, мужик, импотентом сразу стал? Сам на Стиму кивал только что?..

Токолош лежал без сознания — лишь колыхалась под северным ветром часть, прихваченная кандалами.

Часть эта была, впрочем, необыкновенно длинной и даже в кандалах продолжала жить собственной свободной жизнью. Гибкий отросток гладил Щуку по чешуе бывшего Золотого хвоста и явно разыскивал — куда бы унырнуть. Мирон усмехнулся: ну, пусть пометит икру, а Токолош, глядишь, молоки из себя выжмет. Это у рыб трах так происходит. Забавно будет глянуть, что Щука зубами сотворить может. Однако произошло нечто вовсе третье: отросток обхватил Щуку, вытащил из-под Герионовой лапы и повлек к себе.

— Я фаршированная... госпожа Фиш! — вяло сопротивлялась Щука, но была, видать, настолько одурманена наркотиком, что истинных намерений Токолоша понять не могла или не хотела. Вергизову так и не суждено было узнать — в какое же неожиданное место собирался забраться Токолошев отросток, поскольку всю троицу накрыла двуглавая, падающая с небес, тень.

— Мне! Птице вольной! Рыбу предпочел? Я трудись! Яйца клади! А он с болотной шалашовкой!.. — Сtima уже держала в когтях «госпожу Фиш» и кружила над местом происшествия. Обездвиженный Токолош рыдал, Герион хихикал, Щука мычала, что она теперь корня вкусила и стала фаршированная, Мирон же потихоньку впадал в ярость. Тут что — наркоманский притон, семейная разборка, бардак для вуайеристов или кошерный ресторан? В любом случае нужно было это дело прикрыть, да вот с Главной Стимфалидой никогда двумя словами управиться не удавалось: боялась она только шума, подходящий шум из числа присутствующих мог устроить один Герион, а он, жулик, лишь глупо хихикал, вжавшись в землю своего неплодородного острова.

Сtima правой, «европейской» глоткой между тем уже до половины, со стороны хвоста, «госпожу Фиш» заглотала, с каждым новым кругом заглатывала все основательней. Мирон решил превратить неизбежное событие — в показательное и воспитательное.

— Твое дело, Щука, было — на яйцах сидеть! А ты, форшмак несчастный, а не рыба, предала интересы отца-основателя Конана, изменщику кассу сдала городскую — и приговариваешься ты, Щука...

Щуку можно было ни к чему не приговаривать, вольная Сtima уже заглотала ее целиком и теперь примерялась покарать неверного своего мужика, Токолоша, с которым и вправду, видать, дошло у нее до серьезных отношений. Что поделатъ — Древние не рассусоливают, когда между ними до выяснений доходит. И совсем уж нельзя им тогда мешать, сам виноват окажешься. «Двое в драку — третий к хряку!» — вспомнил он старинную киммерийскую пословицу. Да, не забыть про хряка, сведущего в апельсинах. А госпожу Фиш, стало быть, снять с довольствия. Хотя головной боли меньше не стало — на довольствие теперь нужно ставить этого, под крокодила косящего Стимова мужика. Может, хоть на яйцах посидит?

«Тарах вот так, целиком, только ужа глотает, желтобрюха, потому велит его к себе в кабинет подавать, а ужа того сперва мышинным молоком выпаивают...» — подумал Мирон. «Бедная дура Щука! Пошла в некотором роде на малахит...» — Нелюди бесчеловечные! — выкрикнул Токолош, рыдая, — Изверги! Ничего в вас нет человеческого, ни вот четвертушечки! Выродки! Позор природы! Прикованный, однако извивающийся, поразительно длинный орган Токолоша тем временем полз на север, вдоль тела Гериона, — ему, кажется, годилось любое, что дышало и шевелилось. С монстром этот номер, впрочем, пройти едва ли мог, до частей тела, к которым стремился африканский гость, в данном случае было больше двух верст. Герион смотрел на все это с улыбкой юного античного героя: там, на севере, у него самого имелся длинный шевелящийся хвост, к тому же со скорпионьим жалом. Впрочем, а ну как Токолош дотянется?.. Придется пойти поглядеть... Однако встрече двух, можно сказать, хвостов не суждено было произойти, и помехой тому была не разница расстояний, а кружащая на бреющем полете стимфалида, окончательно сглотававшая госпожу Фиш. Сtima сыто рыгнула, и ее «азиатская» голова пустилась в обширные комментарии происшедшего:

— Так с каждой будет! Навялился в мужики — учти, мы, стимфалиды, от природы против промискуитета, мы птицы хотя вольные, но моногамные!.. Как трахаться — так лапочка, как фишка пошла — так и фишку рубить можно?.. Думаешь, если у меня две головы, так тебе тоже можно то птичку, то рыбку?.. Не выйдет, выползень африканский!

— Сtima, ты мазута что ль насосалась? Как тебе такой мужик понравиться мог? — неожиданного для самого себя спросил Мирон. А ведь и вправду — мужиков стимфалиды не держат, пьют мазут, кладут яйца, вылупляется из них такое, что на самих стимфалид не похоже вовсе, как вылупится, норовит зарыться в скалы, — и в конце концов рано или поздно попадает на обед к Тараху в виде очередного деликатеса. Да, «хозяйка медной горы де гурмэ» — это вещь! А если железные птицы замуж выходят — зачем им мазут? Тарах, конечно, и другими змеями свой закусочный стол обустроить может лучшим образом, но жаль будет, если от «де гурмэ» одно воспоминание останется...

— Мне мазут без надобности, я птица моногамная, у меня мужик есть! Мне еще тридцать восемь таких, как этот, и мы бы с девочками... В общем, не нужен тогда мазут! Я от этого гада уже яйцо снесла, правильное, пернатое, в теплом месте положила! Сдались мне алименты — я моногамная! Должен был знать, когда ко мне подбирался!

Сtima кружила на бреющем полете, Токолош рыдал. Впрочем, его обезьянья нога дотянулась до смазливой щеки Гериона и нежно ее пощипывала. Герион краснел и делал вид, что ничего не замечает. Мирон выпрямился и гаркнул:

— Сtima! В патруль!

Герион заныл.

— А я с кем останусь? Дядя Мирон, я ведь не голубой...

Мирон с сомнением заглянул за голову Гериона: чешуя на его спине была не просто голубая, а темно-синяя, — и прищурился.

— Скучно мне тут, дядя Мирон... — продолжал тянуть Герион, — Хоть одели

бы прилично, вот например даже хоть как себя! Треуголку хочу! Сюртук. Из английского сукна, а пуговицы чтобы здешние, лазуритовые. Лосины хочу! Слаксы! Водолазку хочу! Стринги!

— А на хвост тебе что надеть? — осклабился Мирон. Герион раскраснелся еще больше.

— Футляр! Скрипичный... Можно виолончельный... Даже лучше виолончельный: все шипы помещаться будут, летать не больно, ну, и вам же удобнее — если с кем летать, то пассажиру безопасно, и вас по спине бить не буду. Но если нельзя — тогда хотя бы треуголку! Ну ведь правда, мне пойдет треуголка, к моему овалу лица как раз нужна треуголка!

Мирон, преодолев брезгливость, подошел к Токолошу и плеснул на извивающийся орган яшмовым маслом, температура жидкого состояния коего была чуть выше четырехсот по Реомюру. Заодно досталось и смазливой роже Гериона. Обо завопили от ожогов, а стимфалида Стива залилась каркающим смехом в обе глотки:

— Не любят? Ой, не любят драгоценного маслица, а ведь трахаться-то с маслицем, поди...

Мирон разозлился всерьез.

— А ну в патруль, дура! А ты, бездельник, давай мешок корешков, да чтобы стерег этого крок... утанга! Не то в следующий раз... и селедки получишь, и пошлости!

— Не надо! — пискнул Герион, быстро вытягивая из-под чешуйчатого пуза пудовый мешок моли. От мешка за версту несло чесноком; Вергизов иной раз сильно подозревал, что наркотик, выращиваемый на Эритее, сам по себе и есть ближайший чесночный родственник, однако пробовать не решался, да и противно было жевать что бы то ни было, вынудое из-под тухлого пуза монстра. Мирон подхватил мешок и зашагал по воде на юг, в сторону острова Криль Кракена: там к вечеру должен пройти интересный дождь, либо партбилеты нынче выпадут, либо бюсты этого их, как его, ну он у них еще «всё»... Или почти всё, кто как считает... Хоть что-то интересное, подальше от этих сексуальных маньяков. Подхода требуют, человечности, видишь ли! Совсем сдурела Киммерия. Ох, на зря раз в полвека ходит гипофет из Киммериона Русь познавать — можно все ему высказать, что на душе накопело! Чтоб не хвастал подвигами заранее, чтоб не думал, что если во Внешней Руси понять ничего нельзя — так можно идти в ней разбираться, свой собственный бардак в порядок не приведя! Впрочем, мысли нынче у Мирона были злые и путанные. Он смешивал свои собственные обязанности с теми, что несет на себе гипофет, толкователь бреда киммерийской сивиллы, которой как раз и требовалось всыпать на жертвенник некоторое количество моли — больно хитрые нынче стали сивиллы: вечером поглядят телевизор, а потом весь день по готовым прогнозам прорицают. Нет уж: отшибать память — так начисто, старым способом. А если повезет — на Криле Кракена, после дождя, еще интересное что-нибудь подобрать можно.

Мирон Вергизов никак не мог забыть чуда, случившегося три декады тому назад. Шел тогда над Крилем Кракена дождь бюстов: поверите, не поверите, но

падали с неба исключительно бюсты его светлости, графа Суворона Палинского, и все — работы знаменитого придворного скульптора Шубина! Жаль, побились вдребезги, и рассказать никому об этом нельзя. Впрочем, один уперли бобры. Если в ближайшее время такой дождепад не повторится — придется этих Кармоди за толстый хвост брать. Сказать им, что когда дождь из револьверов шел — да-да, киммерийских, тех самых, системы «Кумай Второй», мечты контрабандиста, тридцать две пули плюс одна в стволе — то куда это вы, господа бобры, одиннадцать штук унесли? Оружие табельное, нумерованное, даже если дождем выпадает: а вы у архонта право на владение получали? Нет?.. Мирон злился и мечтал одновременно — и не знал, мечтает он или злится; это было обычное его состояние. Но гипофетам, как в командировку идут, он всегда выкладывает все, что думает, еще посмотрим, как себя гипофет после этого разговора будет чувствовать! А то повадились, видите ли, Вечный Странник то, Вечный Странник се — а вот выкуси!.. Так застращать надобно, чтоб дюжину дюжин раз подумал: что Киммерия России? И что Россия Киммерии?..

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 26

Евгений Витковский

XXVI

...так я похвалю и такой вкус, когда щи с сахаром кушать будут, чай пить с солью, кофе с чесноком, и с молебном совокупят панафиду.

Александр Сумароков. Предисловие к трагедии «Димитрий Самозванец»

Его длинные, прямые, закрывающие уши волосы все еще не были прорежены ни единой серебряной нитью, но оставались светлей, чем кожа — кожа вест-индского креола с острова Доминики, немного отливающая красным, почти черная — не кожа настоящего негра, но... кожа чернокожего. Возраст его был тем, что с трудом и натяжкой называют «от сорока до пятидесяти», хотя выражение глаз, чуть зеленых, чуть голубых, порою могло ввести собеседника в обман, убавляя их обладателю два десятка лет или же прибавляя. Он был профессионально сдержан, и восторг выдавала лишь левая рука: пальцы с беспокойной нежностью гладили кожаный переплет рукописной книги, полученной, пусть через секретаря-посредника, но не от когонибудь, а от законного императора Всея Руси (и Далеко Не Только Таковой, как рисковали писать немногочисленные заграничные газетчики из числа претендентов на обладание чувством юмора).

— Его Величество также сообщает вам, что рад будет принять вас в неофициальной обстановке завтра в двадцать два ровно, в резиденции «Царицыно — б». Это довольно далеко, так что машина для вас и вашей подруги будет подана в двадцать сорок пять. Костюм по вашему выбору, но ни смокинг, ни фрак... нежелательны. Государь хотел бы принять вас в домашней обстановке. — Секретарь сложил руки перед собой и слегка кивнул, давая

понять, что никаких иных сообщений для господина Долметчера нет, а подарок сделан именно сейчас для того, чтобы к завтрашнему ужину гость изучил и оценил его.

Прославленный ресторатор отлично знал дипломатический протокол, он ухитрился встать на сотую долю секунды раньше, чем дьяк-секретарь.

Приглашен был ресторатор с подругой, тогда как царь, вопреки упорным и порою даже истерическим требованиям со стороны народа, не только оставался холост, но даже фавориток не заводил; о его прежнем, гражданском и к тому же бездетном браке, никто не вспоминал. Всем было отлично известно, что бесплодием государь не страдал: по меньшей мере один его беспутный незаконный сынок уже больше десяти лет пребывал в удалении от двора в роли уездного губернатора. Даровав Ивану и свою фамилию, и отчество, царь тем не менее лишил его права передачи титула «великого князя» по наследству, и оба «Ивановича», Гавриил и Михаил, бегали по родной вилле с титулами князей Аудешитанских — даже титула князей Мальтийских пожалел царь для приемных внуков. Впрочем, власти губернатора все-таки хватило на то, чтобы переименовать виллу в «Архангельское», тут он отца обставил: не поспоришь, имена у внуков были архангельские.

Давешняя гражданская жена царя, Екатерина, видимо, вполне была довольна нынешним своим положением царицы Американского Царства Аляска: мужу, царю Иоакиму, она подарила двух дочерей, а следом и наследника, — будущего, надо думать, царя Иоакима Второго. Император ограничивался поздравлениями, визит в столицу Аляски, Ново-Архангельск, нанес только раз, дабы убедиться, что все там правильно и крепко, английский язык бесповоротно переведен на кириллицу, а государственные посты заняты потомками креолов с русскими фамилиями, — чисто по-русски посидел вечер за большой бутылкой с аляскинским царем, погулял по набережной Баранова, в местный «Доминик» глянул только через дверь и улетел в Москву: нечего российское время тратить, если и без него тут порядок. Да и Кате, похоже, свое доцарское положение вспоминать лишний раз не хотелось. А подарки Аляски возил в Москву царь Иоаким, бывший Джеймс, иной раз дважды в год, иной раз ежемесячно. Он-то был всего лишь царь, он не экономил. Уж какая там из Аляски империя, всего-то втрое больше Калифорнии площадью.

Впрочем, о том, что император скуповат, знал весь мир. Тем выше ценил Долметчер нынешний подарок, загадочный сборник рецептов приготовления змеятины, переплетенный к тому же в змеиную кожу цвета спелой лососины, — а узоры змеиных кож, хоть и по складам, ресторатор был обучен читать с детства. Впрочем, в свите его и по сей день состоял глубокий старик Марсель-Бертран Унион: в давние годы он служил в ресторанах Доместико вышибалой, позже исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного колдуна, а в последнее время годился уже только в консультанты по вопросам тайных знаний великой религии вуду; Впрочем, тот, кто обозвал бы старика дармоедом, был бы с одной стороны — не прав, с другой — обречен, ибо во гневе старик все еще мог наколдовать кучу неприятностей.

Но не тому, кому был предан телом и душой, не своему знаменитому хозяину.

Хотя одна шестьдесят четвертая часть крови Долметчера и не была истинно креольской (подпортил родословную пращур из индейцев-араваков, не допущенных к высшим степеням посвящения), отчего ресторатор не мог быть посвящен в последние таинства родной религии, в высшие ее жрецы, Унион по первому требованию раскрыл бы ему все сокровеннейшие секреты и тем обрек бы себя на вечные муки в чешуйчатых лапах загробных тонтон-макутов. Но, к счастью для всех заинтересованных сторон, никакими подобными секретами Долметчер не интересовался, а много лет был увлечен лишь собиранием неизвестных кулинарных рецептов, каковые среди главных и сокровенных тайн вудуистов не значились. Сам Унион много лет питался одними сырыми стейками из мяса амазонского крокодила да тонкими ломтиками вяленой айвы, иные яства были ему строго запрещены во избежание селезеночных трансмутаций, что не мешало ему объезжать весь мир в свите хозяина, оказывая ресторатору неоценимые услуги. В частности, письма змеиной кожи были для старика одним из любимых видов развлекательного чтения — эдакая вест-индская Агата Кристи, выражаясь популярно.

Доместико Долметчер не особенно был привязан к родному острову, главное, что связывало его с ним, содержалось в названии принадлежащих ему ресторанов в разных частях света — все до единого назывались «Доминик», — и тот, что в Сан-Сальварсане, и тот, что в Ново-Архангельске, и тот, что в Тристеце на Балканах. В Москве ресторан с таким названием Долметчер открыть пока не решался, хотя в перспективе, конечно, подумывал — однако царь допускал чуждые инвестиции в русскую экономику весьма неохотно. Долметчер возвратился из приемной государя в гостиницу «Яр», где останавливался в Москве всегда, разве только в первый приезд гостиница эта звалась как-то иначе, не то «Золотой колос», не то «Золотой колосс» — у пресекретаря записано, как именно, но спустя столько лет уже неважно — как. В углу снятого ресторатором этажа, в двухкомнатном «люксе» с наглухо занавешенными окнами коротал часы зябнувший даже среди жаркого московского лета колдун. Долметчер вошел к нему и без единого слова выложил на журнальный столик государев подарок.

Старик недоверчиво осмотрел книгу со всех сторон, напялил сильные очки для близоруких, и осмотрел в них книгу еще раз, после чего достал бинокль, перевернул и снова глянул на книгу: ему требовался еще и вид издали. Глаза Униона то щурились, то округлялись. Долметчер встревожился: ну, как текст змеиной кожи окажется слишком труден и чтение повредит здоровью экс-вышибалы? К счастью, дело было не в этом.

— Рецепты, конечно, подлинные, восходят к временам хазар, чья мудрость общеизвестна и сопоставима разве что с нашей. Мне думается, эти кушания были бы исключительно вкусны. Но, к сожалению, тут лишь полтора рецепта, а первый, записанный целиком, относится к вымершему виду змей: во всяком случае, я еще ни разу не встречал рецепта приготовления мозгов скитала исполинского. О змеиная мудрость! Хранить в письменах кожи запись рецепта приготовления собственных мозгов для императорского стола! Но боюсь, что скиталы все-таки вымерли... Неужели придется вызывать их призрачную

плоть? Тут придется использовать маргарин мечты, яд хитрокозненности — насытит ли все это желудок тела? Да и где бы мы ныне нашли семь сортов соды?

— Дорогой учитель, эта книга и без тайнописи содержит около тысячи рецептов приготовления змеиного мяса, она позволит нам наконец-то открыть для посетителей дегустационный зал «Анаконда» на улице Кирюги, — и я надеюсь, мы сумеем приспособить рецепты приготовления мяса вымерших змей к современным нуждам и возможностям. Жаль, если скиталы вымерли окончательно... Может быть, хотя бы некоторым удалось избежать этой участи? Унион закрыл глаза, прижал подушечки всех десяти пальцев к переплету книги, долго молчал, затем ответил:

— Да. Одному удалось. Жив до сих пор. Но он настолько стар... Да и последний к тому же... Мы с ним в чем-то сродни... Согласитесь, дон Доместико — целое море соуса не сумело бы сделать меня съедобным!..

Унион перевернул книгу. Выражение лица его переменилось: теперь он ощупывал небольшой кусок переплета, явно принадлежавший другой змее. Кусок был не больше одной десятой от общей поверхности кожи, пошедшей в дело, но был другого цвета, к тому же совершенно не похож на остальную часть: его испещряли мелкие черточки, впрочем, выцветшие.

— Невероятно! — пробормотал Унион. Долметчер откинулся в кресле и терпеливо ждал, его квалификации определенно не хватало, он и вставку-то эту в переплет не заметил. — Позвольте! Начало оборвано, а дальше совсем ясно:

«Всем был прекрасен принц,
и чертами лица, и сложением тела,
и мощью чресел, и мудростью помыслов,
одним лишь отличался он от людей:
вместо пупка была у него золотая гайка.
Рос принц понемногу,
приходили мудрецы ко двору отца его шаха,
но никто из них не знал секрета —
зачем всемогущий Аллах, мир ему,
содеял чудо, что вместо пупка
у принца — золотая гайка.
И огорчался принц,
когда юные шемаханские девы,
лаская его нежными перстами и устами,
ощутив неземную прохладу и жар его тела,
жаждали ласкать также и его пупок,
а находили лишь странную,
ни с чем не сообразную,
пусть даже и золотую гайку.
И когда слышал принц вопрос:
«О мой повелитель что это?..» —
чресла его слабели, дух тоже падал,

и он отсылал шемаханских дев...»

— Отсылал?.. — с интересом спросил Долметчер внезапно смолкшего колдуна. Тот искал по корешку продолжения и недовольно шевелил губами.

— Тут не сказано, куда отсылал. Впрочем, ладно, вот какой-то кусок дальше:

«И когда принц миновал
полчища рыкающих львов Катхиявара,
он вступил на Малабарское побережье Индии,
где, как он знал, его должны встретить
полчища разъяренных и голодных лоном
малабарских красавиц, которых ему
предстоит или победить,
или обмануть иным способом,
и лишь тогда вожденный берег
заветной Тапробаны...»

Долметчер перестал слушать: кажется, помимо змеиного рецептурника он теперь получил еще и сверхплановую шахерезадную ночь. «Чего только эти змеи на себе не едят: нет бы объяснить, с чем их лучше подавать — с молодым лучком или с юным пастернаком, с черемшой, а тут все про одно несъедобное...»

— Дальше ничего нет. Есть ли возможность найти оставшуюся часть переплета? Возможно, ее хранят в своих библиотеках местные графы, герцоги, бароны, виконты, или даже видамы? — вдруг оборвал свое чтение колдун.

— Нет уж, на фиг, на фиг, как, думаю, выразились бы в этом случае... графы, герцоги и остальные. — Долметчер хотел взять книгу у колдуна, но тот вцепился в переплет мертвой хваткой, давая понять, что покуда не прочтет книгу целиком — не отдаст. Ресторатор нащупал в кармане жилетки серповидный ножичек для вскрывания устриц и решил пойти на крайние меры. Собственно, в отношениях с вудуистами никакие иные меры обычно не годились.

Резать книгу было жалко, но она требовалась для дела — и срочно: Долметчеру полагалось к завтрашнему вечеру прочесть ее и дать о ней отзыв, — похождения же Принца Золотая Гайка сюжета для разговора с императором не сулили, к тому же нынешние границы Южной Армении, ассоциативно вошедшей в состав Российской Империи, были слишком близки к Катхиявару и прочим районам Западной Индии: эдак подашь царю идею, а завтра Иран без выхода к морю останется, а там и еще что-нибудь случится, — уж по крайней мере за перевод языка хинди на кириллицу Долметчер нести ответственности не хотел. Нет, он, конечно, мог подложить другу-покровителю гремучую змею — но уж никак не в постель, а разве что на тарелку. То же можно сказать и о свинье. На угождении клиенту Долметчер давно собаку съел. Эдакую Виллю-Баскервиллю.

Взмахнув ножичком, Долметчер одним движением вырезал книгу из переплета.

Колдун притих, бумага ему, видимо, только мешала, осторожно разложил осиротевший переплет на журнальном столике и углубился в руны. А ресторатор унес к себе в «люкс» (в другом конце коридора) собственно рецептурник, и углубился в тонкости профессии. До сих пор ему он знал лишь около десятка рецептов приготовления змеятины. На первой же странице книги рецептов было десятка два — и ни одного знакомого.

Долметчер читал допоздна, потом сбросил с ног меховые полусапожки и задремал прямо в кресле. Много сна ему не требовалось, да и ел он мало, не любил этого занятия вне искусства. Народы, устраивающие чемпионаты по обжорству, вызывали у него легкую брезгливость, хотя, — что поделаешь, — по долгу политической своей службы всем господам сразу, приходилось стряпать и для таких народов. И далеко не худшее это было из того, чем приходилось заниматься Доместико Долметчеру.

Москва, которую Долметчер не очень-то любил, тоже по большей части спала, но далеко не вся. В самом разгаре была игра за сотней столов знаменитого казино «Мускус», где кроме привычных блэкджека, покера, канасты и фараона можно было попытать счастья и в знаменитые «Тринадцать поросят», лицензию на которые владелец «Мускуса» откупил эксклюзивно для всей России. Игра эта, учебник которой выдавался бесплатно каждому новому посетителю «Мускуса», была настолько сложна, что шанс надуть даже самого ловкого крупье просто лез в глаза. Неделя, две, три изучения шестисотстраничного пособия — и новичок смело входил в двери «Мускуса», рассчитывая, что раз уж он — блондин, да фамилия у него заканчивается на гласную, да сядет он лицом на запад, да день недели сегодня нечетный, в названии месяца есть буква «я», луна в Скорпионе, снег пойдет едва ли, плюс еще триста-четырееста модификаторов — и выигрыш ему обеспечен. Чаще всего так и случалось, выигранные империалы сгружались в фирменные портфели «Мускуса», а охрану казино обеспечивало вплоть до размещения денег там, где укажет клиент (хоть в банке «Устричный», хоть в чемодане под тахтой — без разницы), а газеты трубили наутро о новых убытках «Мускуса». Однако до следующего подобного сочетания выигрышных модификаторов могло пройти не одно столетие, о чем выигравший в «тринадцать поросят» начинал подозревать лишь к концу взятого в «Устричном» кредита. Казино процветало, и сорок девять процентов прибыли уносилось на счет малоизвестного отставного полковника с украинской фамилией. Остальные проценты делились между сотнями акционеров, одним из которых, не стыдясь, признавал себя молодой предиктор Гораций Аракелян. Но кроме императора да нескольких с потрохами купленных программистов, никто не знал, что патент на изобретение этой игры принадлежит именно Горацию.

Как всегда, чисто, но неохотно выбритый, в неизменном ненавистном галстуке и в привычной шелковой рубашке, слегка раздавшийся в талии Стасик Озерный вступил в зал «Тринадцати поросят» в то самое мгновение, когда Долметчер скинул с левой ноги сапожок и откинулся в кресле. Рабочая ночь Озерного только начиналась, крупье смотрели на него как на едва знакомого — хотя у каждого в эту минуту между лопаток стекала струйка холодного пота. Озерный

знал правила «поросят» настолько досконально, что мог бы закрыть игру на любом столе в неполный час: хотя Гораций и придумал эту игру, но учебник по ней сочинил именно Озерный, и лишь он сам знал — на какой ее странице таится не тринадцатый, а страшный четырнадцатый поросенок, отпрыск мохнатого и беспощадного вепря, сеющий страх и отчаяние одним своим появлением: а ну как ретроградный Меркурий в сочетании с Цербером в Псах увеличивает стоимость каждой красной восьмерки вдвое, — это крупье помнили не хуже таблицы умножения, — но Харон, проклятый спутник Плутона, вошел нынче в Рака, и удвоенную стоимость предстоит делить натрое, а из-за Черной Луны в сердце Солнца окажется, что это и не восьмерка вовсе, а двойка — вспотеешь!.. Или еще какая-нибудь небесная пакость влияет на монопольные Е. И. В. Мануфактур игральные карты, брошенные нынче на зеленое сукно? Можно было, конечно, прервав игру, набрать номер Сусана Костромича, платного консультанта «Мускуса», но кто ж не знал, что Озерный и Сусан в одной сворке ходят, и помимо точного знания насчет положения Харона вынырнет еще какая-нибудь корова через ять, из-за коей все ставки полетят в тартарары? Нигде в мире поэтому не рисковали начать игру в «тринадцать поросят»: один визит Озерного разорил бы любое казино. В него, конечно, стреляли. Но Сусан одним глазом глядел в небо, другим — в дела напарника, и тот вечно оказывался предупрежден загодя, так что впору было открывать для покушающихся на Озерного отдельное кладбище. А за всеми этими спинами маячил и вовсе невозможный человек, государев предиктор Гораций — акционер казино «Мускус», как раз входившего к этому часу в полный вкус поросячьей игры. Ибо раньше половины первого Озерный не приезжал: тут все было, конечно, схвачено, но поди не присмотри одну ночь, и все тринадцать поросят взмоют в распахнутое небо, обернутся чудищами и сделают отсюда копытца, пяточки и остальные модификаторы.

Впрочем, пусть изредка, но имелась у Озерного возможность встретиться с Горацием, а Гораций часто виделся с государем, Сусан же ненароком мог попасть в поле зрения (или в ресторан во время гастролей, скажем, в Париже) Долметчера, а Долметчер ежедневно посещал Марселя-Бертрана Униона; но ни при каких обстоятельствах эти люди не могли бы собраться вместе, лишь одно существовало у них общее — ночь, простертая над Москвой. А в ней было так много интересного и без них — чего стоили одни только синемундирные гвардейцы на серых в яблоках и белых лошадях, объезжавшие Кремль; чего стоили круглосуточные бистро, где уж хоть лапши-то с грибами под сто грамм и серенаду Шуберта на губной гармонике, всегда можно отхватить за сущие копейки; чего стоили тащившиеся из аэропорта «Шереметьево-3» цистерны, прозванные в народе «осьминожниками», — в них каждую ночь доставлялась в Москву морская живность с Бермудских островов, которым решительно нечем было заплатить за сжиженный русский газ, кроме как осьминогами, каракатицами, трепангами, мидиями и мясными барракудами!.. Блистали также и лучи прожекторов на стройплощадке в том самом месте, где некогда можно было от перил обозреть Москву с Воробьевых гор: теперь тут медленно строился никогда не воплощенный в жизнь храм архитектора Витберга в честь

победы России над войсками Наполеона. Впрочем, много было в Москве строек и помимо этой: империя переживала наконец-то экономический бум, тот самый, о котором так долго бляла коза Охроеишна, неизвестный миру точнейший козий Нострадамус. Ночные строители почему-то считали своим профессиональным блюдом осьминога, тушеного с сахаром. Никто уже давно ничему не удивлялся. Но за хорошим вкусом все-таки следили, а гарантом хорошего вкуса в России выступал государь. Высказал кто-то в газете мнение, что мало России двуглавого орла, нужен трехглавый — и пошли споры. Шуму было!.. Особенно по телевизору. А потом сказал государь, что третья голова хороша только для Змей-Горыныча, всем прочим это вроде как соли в кофе насыпать — и кончились споры, осталась Россия о двух головах.

«Филе Змея-Горыныча требует ловкости и тренировки» — произнес голос с кавказским акцентом, и Долметчер проснулся. Книги он не дочитал и до середины, а на часах было утро, и чашка кофе, сваренного подругой, уже стояла рядом на столике. Подруга сидела напротив и допивала свою чашечку.

Долметчер любил и подругу, и кофе. Подругу — всегда и как угодно, а кофе — только на завтрак и по-доминикски: с корицей и морской солью. Ни в одном из ресторанов такого не подавали, и никто, кроме прекрасной Лаппорос, не умел его правильно готовить. Долметчер, путь к сердцу которого с утра пораньше лежал через кофейник, в этом пункте был однолюбом. Конечно, попроси император угостить его любимым напитком, он не отказал бы императору, но надеялся, что император, как белый человек, истинно тонкого вкуса все-таки лишен, а потому не попросит. И боялся, что зря он надеется: уже много раз действительность слишком даже превосходила любые его, самые тайные, надежды.

Цветом кожи Лаппорос напоминала хорошую греческую маслину: так и хотелось положить ее в коктейль. Но дальнейшие аналогии могли увести ресторатора во фрейдистские образы, глубоко ему чуждые, и он, поцеловав подругу взглядом, вернулся к суровой материи жизни: углубился в змеиный рецептурник. К трем часам дня книга была дочитана, к четверем — Долметчер уже выбрал десяток наиболее эффектных рецептов, чтобы ненавязчиво предложить их императору в любом из восьми своих ресторанов. И Доместико, и Лаппорос готовы были съесть две трети каждой гадюки — если государю будет угодно угоститься остальной ее частью. А «питоновый балык» Долметчер готов был приготовить хоть сегодня. Дайте питона! Выньте из Красной Книги — и дайте.

В половине девятого Долметчер был готов полностью: глубокая уверенность креола в том, что элегантней метрдотеля в природе никого нет и быть не должно, в полной мере иллюстрировалась его костюмом: однако же приглашает император не метрдотеля! Дипломат воспользовался сложной комбинацией нового, весьма дорогого материала «чертова кожа» с вошедшими в моду в этом сезоне темным шелком и светло-серым галстуком. Запонки пришлось по той же моде ввинчивать — тяжелые, платиновые, с бриллиантами, хотя можно бы и с топазами, прием все-таки неофициальный, и такой же заколкой украсить галстук. Бриллианты — в точности такого размера, чтобы не казаться

искусственными. Хотя хрен их знает — может, на самом деле это топазы? В любом варианте годится: только не царские рубины, на этом можно и без головы остаться, невзирая на дружбу и дипломатический иммунитет (которого, кстати, у Долметчера в России не было: Павел упразднил этот обычай как идущий вразрез с русскими традициями). Трудно все же выдумать дипломатический костюм для ресторатора. Одно хорошо, что прием в «домашней обстановке» как бы позволяет явиться вовсе без галстука. И даже небритым. Но борода у креола росла плохо, клочками, а поэтому брился он иной раз и по три раза за день.

Лаппорос... Лаппорос... О, она тоже была одета. Лучше, изящней, чем Долметчер. Только черное и белое Ресторатор поймал себя на мысли, что не помнит, где он, собственно говоря, встретил подругу. Помнит, что в своем же ресторане. И уже давно. А когда? А в котором из?.. Вспомнить, конечно, можно, но... пора ехать к императору. Лаппорос порой спрашивали — зачем она красит кожу: ясно ведь, что она белая. Лаппорос весело смеялась и объясняла, что родилась сразу крашенная, и с тех пор никак не может отмыться от этого вопроса. Не было случая, чтобы разговор тут же не закончился. Ну, а чернокожий ЗИП последней модификации, на эфирном топливе, тронул от «Яра» и понес супругов на север. Мимо «Сокола», влево по Волоколамке, потом еще куда-то, куда-то и, наконец, еще куда-то.

Усадьбу «Царицыно-6» Долметчер признал с первого взгляда: прежде она носила название «Архангельское» и располагался в ней, кажется, музей, однако император конфисковал для своих нужд не только поместье и дворец, но и титул Юсуповых: как говорили в народе, что, мол, ежели появится новый Распутин, то титул этот достанется кому-то сходу, чтоб знал новый Юсупов, чем дальше заниматься. Ну, а переименовал усадьбу из-за гнусных происков незаконного сына; негоже царю иметь «Архангельское-2», или даже «Архангельское-1», раз уж необратимо (из-за Мишки и Гаврюшки) существует еще одно. Кстати, всем сплетникам отчего-то было хорошо известно, что именами незаконных внуков император недоволен в высшей степени. Ну, признай он внука Гавриила — кто в перспективе станет наследником престола? Будущий царь Гавриила? Еще не хватало...

Стол в маленькой угловой гостиной был накрыт на троих; над столом оказалась нелепая французская картина позапрошлого века — «Опыт электрического месмеризма», с маэстро в пудреном парике и падающими в обморок девицами: неаппетитный сюжетец. «А что, «Натюрморт с арбузом» лучше тут смотрелся бы?» — укорил себя Долметчер. Император сам решает, что ему потребно для аппетита, да и сядет к этой картине наверняка спиной...

Что немедленно и сбылось, — властитель шестой части планеты был без галстука, в рубашке и в джинсах. Впрочем, если б он вышел в индейском пончо, Долметчер бровью не повел бы. Император! Однако руку Лаппорос он поцеловал, чего имел полное право не делать. Долметчер похолодел в душе и приготовился к худшему.

Ужин был скромн и безукоризнен: кулинарной академии русского царя завидовал даже султан Брунея, все еще самый богатый человек в мире.

Говорили ни о чем — предвестие беды; наконец, перед кофе император спросил главное.

— Дон Доместико, довольны ли вы нашим подарком? Признаюсь, добыть его было непросто. У вас слишком богатая коллекция.

Ресторатор был готов, и ответил неторопливой пятиминутной рецензией, смысл которой сводился к тому, что подарок — жемчужина его коллекции. Царь довольно кивнул, почему-то взгляделся поочередно в каждую запонку гостя, потом в глаза гостю, после чего резко сунул руку под стол. Не успел Долметчер испугаться, как понял: в руках у царя инструмент неслыханный, похожий на исполинский вариант мандолины, известный под именем португальской гитары. Это еще что за сюрприз?

Царь коснулся струн, кратко проверил настройку, и неожиданно легко заиграл. Не слишком искушенный в португальской музыке ресторатор все же распознал знаменитую мелодию «Tudo isto e Fado». Император играл так, словно инструмент был для него родным с детства, а мелодия налипала на слух не хуже, чем «Две гитары». «Что-то будет, что-то будет, что-то будет...» — стучало в голове у Долметчера на разных языках. Император возвращался к рефрену и начинал мелодию вновь — явно наслаждаясь нервным состоянием гостя. Именно из-за таких мгновений шел в народе слух, что векам император Павел Второй останется известен под прозвищем «Великий». Однако — и вправду: то змеиный рецептурник, то португальская гитара! Жизнь полна неожиданностей, а государь Всея Руси таковые очень и очень любит, и сам устраивает, когда есть охота.

Мелодия кончилась, государь переждал, улыбнулся одними глазами — и начал требующие изрядной виртуозности «Коимбрские ночи», «Noites de Coimbra», притом с переходом всей мелодии в ре-минор. В воздухе и вправду запахло ре-минорными звуками похоронного марша, даром что играл венценосец так, будто фамилия его была Браганца, а не Романов.

Внезапно оборвав игру на протяжной ноте, царь отложил гитару и постучал пальцами по столу. Ниоткуда появился кофе. Ресторатор предчувствовал, что кофе в его чашке окажется соленым. Так и было, поровну соли и корицы. И в сердце Долметчера тут же пришло спокойствие. Царь заговорил.

— Вы устали, Доместико. Я запрашивал о вашей ближайшей судьбе недавно гостившего здесь, на исторической родине, предиктора Класа дю Тойта, и был поражен его рассказом. Но рассказ этот подтвердил наш собственный предиктор, известный вам князь Гораций! И я решил не противиться судьбе, тем более, что ей противиться... чрезвычайно трудно. — царь помолчал, глядя в глаза Лаппорос, которая выучила русский язык не так давно, но медленную речь царя, конечно, понимала, — Согласно прогнозу обоих предикторов, вам предоставляются полномочия главного кулинарного инспектора Российской империи. В России совершенно не отлажено общественное питание простого народа. как почетный гражданин России вы отныне можете инспектировать любой ресторан империи, а также открыть на ее территории любое угодное вам количество своих ресторанов. Добро пожаловать, говорю я вам как простой русский человек простому русскому человеку.

Долметчер быстро опустил руки под стол: черная кожа его лица никогда не бледнела, но ладони в момент сильного волнения становились серыми. Царь, видимо, знал об этом, и усмехнулся.

— У вас прекрасные запонки, дон Доместико. И ведь старинные! Камни в них отгранены от знаменитого алмаза португальской короны «Браганца», и даже то, что это вообще-то не алмаз никакой, а очень чистый топаз, не портит его. Так что и в запонках у вас топазы. Впрочем, это не важно. Мы возводим вас в древнее дворянское достоинство. В светлейшие князья. Отныне вы будете светлейший князь Карский: в деле переустройства общественного питания мы будем двигаться с севера на юг России, от Карского моря — к Карсу и далее. Герб готов, завтра ознакомитесь. А как вам кофе, сударушка Лаппорос? По-русски вас будут звать Лапушка...

Ну, вот и сбылось. Царь снова взял гитару и заиграл «Коимбрские ночи», с той же ноты, на которой прервался. Ну и жизнь. Минуты не прошло — перестригли дога в сенбернары. Еще и православным сделает. И наверняка с южноамериканским дядей все согласовал. Это не император, это... змей какой-то вымерший! Да, такого не зажаришь «де гурмэ»... А царь играл. И хорошо играл, мерзавец. И все в ре-минор, да в ре-минор...

Свечи почти догорели, ужин кончился. Долметчер чувствовал себя натуральным зомби, приготовленным по лучшим вудуистским рецептам и готовым к употреблению. Машина, понятно, ждала внизу. И всего-то отсюда до «Яра» езды полчаса. По дороге Долметчер спросил подругу: понимает ли Лапушка — что случилось.

— О, случилось прекрасное! — расцвела улыбкой Лаппорос — Мы будем князья Карские, значит, северные — значит, нам будут доступны любые русские меха! Тебе очень пойдут белые соболя!

Долметчер был не уверен ни в том, что такие бывают, ни в том, что меха в этой ситуации могут быть служить утешением. Однако про себя отметил, что одним только русским языком жене его теперь не обойтись — придется основательно выучить «Историю государства Российского», царь историк как-никак, и любит новых граждан империи экзаменовывать по своему предмету. А русская история удивительна, темна... и непонятна. О Лаппорос! Выбрала ты себе не самого простого мужчину, не самую легкую участь...

В номере горел свет, а на диване сидел сам Марсель-Бертран Унион, и глаза его горели, как топазовые запонки.

— Я нашел конец! О змеиная мудрость змей! Я нашел его! Я прочел его! — Унион, даже не приглашая хозяина номера присесть, схватил оторванный переплет змеино-го рецептурника и стал читать по нему, как по писаному (для него-то кожа расписной змеи была всего лишь легким вечерним чтением):

«И тогда он разорвал канарейку,
в ней нашел яйцо, и разбил его,
и обрел там золотой гаечный ключ.
Принц наложил ключ на свой пупок,
повернул золотую гайку —

и в тот же миг
у него отвалилась жопа!
О всемогущий Аллах, мир тебе,
да не будет у нас желания искать
приключения на собственные задницы!»

Унион победно поднял глаза от обложки. Долметчер качнул головой, и старый колдун испарился. Ресторатор постоял, подумал, и запустил в рецептурником в зеркало. Старинное стекло даже не звякнуло, книга, раскрывшись, глухо ударила о ковер. Крути, не крути, а мысль в только что прозвучавших стихах была глубокая и в точности соответствующая моменту.

«Может, не так все и плохо? Быть русским — это ведь и кое-какие привилегии. Можно добиться пропуска в закрытую для всех Киммерию, откуда змеиный рецептурник привезли, хоть и скрывают про нее все, что могут, а зайдешь к сектантам — все, оказывается, про нее знают. Интересная, наверное, страна.» Долметчер подобрал книгу и аккуратно вложил ее в переплет: склеить их он и сам сумеет. А ресторан теперь можно открыть в любом русском городе. Лучше — древнерусском. И даже не в одном...

Оставалось лишь официально стать принцем. То есть светлейшим князем. Впрочем, невелика разница, если судить по результатам.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 27

Евгений Витковский

XXVII

Человек, у которого дурное настроение вызвано тем, что он уже проиграл кучу денег и, по всей видимости, проиграет еще, всегда просыпается в 5 часов утра. Льюис Кэрролл. Символическая логика

К двум-трем часам ночи он с трудом засыпал, а в пять уже просыпался и лежал с закрытыми глазами. Все теперь у него было, — кроме предутреннего сна. Он, Борис Черепегин, не так еще давно носивший имя Бориса Тюрикова, получил все, чего хотел: кучу денег, возможность накласть возле этой кучи много других новых куч, и даже не серебра, — именно серебром наклалась первая куча, — а золота, преядреннейшего золота с императорским профилем, именно золота! Сперва надумал покупать не монеты, а золотые бруски, но вовремя узнал, что на это государева лицензия нужна. Государь же с богатыми людьми строг, зорок, и приказано верить, что справедлив. Хочешь бруски? Пиши прошение. С объяснением — зачем тебе золото, почему не годятся тебе простые импералы. А заодно за переплавку государевых монет в кодексе статья — прямо минойская, киммерийская. Словом, хочешь золота — вперед, но должно оно быть государево. Ничего, кроме зубопротезной лицензии, Борис придумать не смог, да и ту решил не покупать: ладно, чистый вес золота в монетах всего на

одну восьмую ниже номинала. А может быть, и надежней держать состояние в монетах с завышенным номиналом? Мысли, как и во всякое утро, начинали двигаться по кругу. Под утро всегда видел Борис во сне рыбный рынок, где шла торговля щуками... Потрошенными! И жареными! Даже кусками в сухарях... А потом приходило пробуждение: подступали мысли о выгодности хранения кровного добра в царских монетах, потом, словно крысы на княжну Тараканову в картине вроде бы запрещенного художника Флавицкого, лезли в голову воспоминания. Снова и снова мерещился долгий свист в ушах, с которым черная лодка «Кандибобер» из Лисьей Норы летела посуху на благословенную Вологодчину, в Богозаводск, на скотный двор мещанина во крестьянстве Василия Черепегина, и не было тому свисту конца — а прекратился он лишь тогда, когда лодка резко остановилась и мало что соображавший Борис ощутил наброшенную на лицо ему шубу. Шуба, впрочем, ворочалась, царапалась и орала в ультразвуковом диапазоне: бобер, не подверженный колдовству покойной госпожи Фиш, прибыл на двор мещанина Черепегина верхом на лодке «Кандибобер», на серебряном запасе Киммерии и на Борисе.

И теперь — каждое утро — первым желанием Бориса было: скорей скинуть бобра с головы, даже если это шуба — скорей, а то ведь и задохнуться недолго! Но второй мыслью было: вовсе нет никакого бобра, нет по крайней мере здесь и теперь, никого не нужно скидывать с головы. И сразу, будто первый удар утреннего колокола, низким басом вступала в мозги Бориса песня легендарного офени Дули Колобка — «Я от дедушки трах-бах, я от бабушки трах-бах...» Это было уже свое, хоть и не очень успокоительное — с какой стороны посмотреть. Борис Черепегин ныне полагал себя провозвестником новой истинной веры, короче — религии. Такой, которая единственная подлинная. Впрочем, Дуля Колобок ее, конечно, предвидел... но не провозвестил. Он был предтечей. Он не осмелился. Зато у Бориса теперь была куча золота, и он собирался в скором времени возгласить миру свое «Колобковое Упование» — такое он выбрал для своего большого духовного корабля имя.

Дунстан Мак-Грегор, в просторечии Дунька, силком увезенный из Киммерии на «Кандибобере» бобер, спал где-то рядом, в той же горнице, но вел себя не покиммерийски тихо и робко. Прошедший все ступени унижения — от бритого затылка, римедиумской тюрьмы и до положения младшего бобра на черепегинской свинарне, обладатель молью траченной драгоценной шубы старался никому не быть обузой. Имелись, видать, за ним кой-какие прежние грешки, иначе не выдали б его родичи обритой головой на поругание, кнутобитие и Римедиум. От наглости, присущей киммерийским бобрам, Дунстан излечился давным-давно. А ведь была и у него, у Дуньки, когда-то нормальная жизнь, числился он в лучших на Мёбиях зубопротезистах: делал собратам съемные челюсти, вставлял мосты и коронки. Но попался на контрабанде моржового клыка, притом в масштабах клыка особо крупного. И был выдан людям в Римедиум на побитие, побритие и прочий позор. Клан отрекся от него, выдал небобрям, людям то есть: но это Дуньку и спасло, когда проклятие Щуки и Бориса погубило в Римедиуме всех людей, — он-то человеком не был, вот и выжил, только перепугался.

Хорошо оказалось не быть человеком — на этот раз, несмотря на гадкую манеру кормильца-поильца и всей его семьи просыпаться в пять утра. Что тамстряслось, в Римедиуме — Дунька до конца не понимал, да и хозяин тоже не понимал, ностряслось там нечто серьезное. Похоже, никого из людей в живых не оставил временно полоумный экс-офеня, загрузил лодку серебряными деньгами, да и рванул посуху сквозь темную нору — в далекие края Внешней Руси, а потом грозно въехал на большой двор, где первый пяток свиней передал сразу же. А потом, опамятававшись, принялся командовать владельцем скотного двора. Заодно принял он и командование Дунькой, поскольку чудо-бобер, свистам послушный, для хозяина двора был свидетельством чудесных способностей Бориса. Где, в чьей вотчине обреталось свинственное хозяйство Черепегина — Дунька не вникал, порожным хрюком для него было слово «Вологодчина». Хуже того, что уже наприключалось, все равно быть не могло.

Черепегиным Борис стал через неделю после приезда на свинарню. Невозможно ему было дальше оставаться с фамилией Тюриков: с этой фамилией он был к смертной казни через Римедиум приговорен, да еще он в самом Римедиуме, не меняя документов, по щучьему веленью все человеческое общество порешил (увезенные деньги после таких дел уже не в счет, да и какие это деньги — серебро, не более того). Однако хозяин свинарни, увидевший седого офеню, вылезавшего из лодки с серебром да с бобром — от ужаса бухнулся гостю в ноги: понял он, что приплыла за ним страшная черная лодка. Когда-то его в детстве таковой пугали. Свиньи визжат, бобры свистят, оба взрослых сыночка пьяные по лавкам, снохи в доме ни одной (все уже четвертый месяц как разбежались по разным причинам, малых детей с собою поразобрамши). А у Тюрикова громовой голос прорезался. И не только голос, а кое-какие способности деликатного, что уж там таить, попросту колдовского свойства, но этими Борис брезговал, оставлял до крайней нужды. Можно ведь и просто требовать с человечества, что тебе полагается! И вот потребовал он у своего банкира, нынче хозяина — немедленного усыновления, мало того — устаршенствления. Дабы и фамилию сменить без проблем, и первородство на всякий случай получить — ежели пьяные детки, протрезвев, чего-нибудь потребуют.

Впрочем, потребовали они только опохмела. И было им дано по вере и желанию: каждому по четверти двойной перегонки и по банке малосольных венгерских огурчиков. Больше им ничего дано не было — ибо не просили они. А вот Борис обрел первородство. Договорившись с хозяином, наскоро продал часть образовавшейся передавленной свинины, заодно продал как лом немного диковинного серебра, а чтоб ювелир лишних вопросов не задавал, у него же прикупил царского золота. Уверовал Борис, что и в самом деле он и от щукочки трах-бах, и все прочее, — то, о чем пелось в заветной песне легендарного Дули Колобка, — он в полной мере трах-бах. Оформили они с приемным отцом новую фирму: АОЗТ «Черепегин и сыновья», с ограниченной ответственностью производившее лечебную свинину, с добавкой апельсиновой кислоты, а на заказ так и лечебную поросятину с различными степенями гарантированной

диетичности. Сами же, по привыкнов к неизбежности совместного проживания, стали каждые сутки в пять утра служить домашние молебны — примерно о такой судьбе Борис и мечтал, еще в молодые годы, еще всего лишь сирым офеней топая вдоль по Камаринской.

Однако приключилось с Борисом и нечто такое, чего вовсе бывший офеня не ждал: он, природный блондин, в одночасье стал сед, волосы его, прежде прямые, теперь напоминали откованную лучшим среброкузнецом благолепную шевелюру какого-нибудь древнего святого; так, бывает, седеют брюнеты, редко-редко рыжие, а Борис был от рождения светловолосым арийцем. Отчего это приключилось — быть может, знала безумная госпожа Фиш, но ее бывший офеня старался не вспоминать. Ни про какую госпожу Фиш он никогда не слышал, ибо, как и упомянутая госпожа, имя сменил. И вообще видел Борис нынче щук только в ночных кошмарах. Зато себя видел в ближайшем будущем очень значительной персоной.

Бывший Тюриков прибрал к рукам просторную гостиную во флигеле Черепегина, и заложил в ней для своего Колобкова Упования радельню. «Я от Кавеля ушел, но я до Кавеля дошел!» шептал он нынче, входя в нее и тяжело бухаясь на пол перед обширным вращающимся кругом, напоминавшим что-то вроде арены с бегущими по краю превеселыми колобками: серебряными, ручного литья. Не до конца осознавая, что именно он творит, уйдя от торговли с киммерийцами, Борис превратился в законченного кавелита — более того, он изобрел свой собственный толк ожидания Начала Света. Он-то знал, что таких молясин, как у него получилась, даже в Киммерионе никто не делает. Поэтому в правоте своего толка никаких сомнений он не имел. Да к тому же младшие его, сводные братья-близнецы Черепегины, похожи были друг на друга как два бильярдных шара. Впрочем, как два очень пьяных шара. По приказу Бориса они впрягались в лямки невиданной молясины — и начинали бег по кругу, строго соблюдая между собой половинную дистанцию окружности. Борис начинал гудеть низким басом: «Я от Кавеля ушел...», а близнецы присоединялись хриплыми, пропитыми дискантами. Старший Черепегин тоже подпевал. Дунстан только посматривал из угла. Чтoб люди такой дурью маялись — он раньше не видел. Бобры — другое дело.

Борис в озарении, пришедшем к нему в «Кандибобере» одной вспышкой, понял: учение, которое он принесет миру, будет бессмертно — ибо сам он, тогда еще Тюриков, смертен. Лишь идея, которая переживет своего смертного создателя, достойна бессмертия. Дуля Колобок заботился о спасении своей души, о ее уютном бессмертии — и поэтому оброненная им искра Истины так и осталась всего лишь искрой. Столетия протлев в немудрящей песенке — а больше от Колобка ничего достоверного не осталось — та же искра зажгла в уме Бориса мысль подарить миру огонь «Колобкового упования». То, что у Черепегина оказались одинаковые дети (чем не Кавели), осознал Борис как дополнительное знамение, окончательное подтверждение мысли: «Я от Кавеля ушел, но я до Кавеля дошел!» Ну, а сложить идею двух бильярдных шаров-колобков с идеей Всеобъемлющей Молясины было уж совсем просто.

Когда-то случилось отстоять Борису полную службу в епископальном соборе

Лукерьи Киммерийской, вот тогда и врезались ему в память неведомо по какому поводу произнесенные слова архимандрита: «Доказательства не нужны, если есть вера». Борис обрел веру в свою правоту. Поэтому все доказательства истинности своей веры лично для себя посчитал лишними: у кого веры нет, тот пусть отслеживает факты. А фактов полным-полно: и то, что на Щуку набрел именно тот, кто не торговал молясинами, и то, что лишь истратив все желания до конца, Борис получил все желаемое (и духовное озарение в придачу), словом, все, вплоть до дивно звучащего названия новопросиявшего в своей святости города Богозаводска. Но в мыслях Бориса это все никакого места не занимало. Его волновало то, что, побегав полдня, близнецы с ног валились. И голос у них пропадал. А рычаги и оси в молясине слишком часто ломались, лямки — рвались. Для укрепления молясины, как знал Борис, нужна чертова жила, а ее тайным образом производил лишь один кустарь под Арясиным. Связи у Бориса в тех краях были, но сунуться туда лично он пока не рисковал. Он знал, что кустарь жилу эту продает не всем, и есть опасность прийти к кустарю за товаром, а назад не прийти вовсе. Или в таком виде прийти, что станет тебе не до жилы.

Набирать в свой корабль новых мореходов Борис не торопился. Истина приверженцев не ищет, они сами к ней придут. В средствах он тоже стеснен не был; и жизненную цель, и средства к ее достижению он теперь обрел. Получалось, что более других его заботит мелкий на первый взгляд пункт: прочность колобковой молясины. В вечерних медитациях обкатывал Борис этот вопрос и так, и эдак, и получалось все одно: правдами ли, неправдами, но нужно было достать хотя бы два аршина чертовой жилы. Дабы первая, начальная богозаводская молясина не ломалась в ближайшие годы.

Способ добыть жилу придумался единственный: именно тут, в Богозаводске, подрядился некогда Борис выкрасть из Киммерии наследника престола. Наследника он предоставить властям не мог, но мог предоставить бесценные данные о его местонахождении. Вот пусть царю это доложат, а царь сам решает: стоят ли такие сведения двух аршин чертовой жилы. Можно было, конечно, нарезать и на вариант пыточной камеры с вздергиваем на куске чертовой жилы в финале, но торговый опыт был у Бориса уж настолько-то обширен, чтобы купить все, что надо — впрочем, заплатив полную цену. Он-то собирался отдать царю не что-нибудь, а всю Киммерию, весь полноводный Рифей, все сорок каменных островов, Великого Змея, зачарованную улицу Подъемный Спуск, клюквенные болота, кладбища мамонтов, огни Святого Эльма над Землей Святого Эльма, наконец, пляску Святого Витта в банях и на кладбищах Земли Святого Витта — а в обмен просил только два аршина особо прочного шнура. И уж как наладить обмен, чтобы голова на плечах цела осталась — знал хорошо. Опыт влезания в доверие к семье кружевниц Мачехиных, правильное ведение переговоров с Золотой Щукой, ликвидация римедиумского гнезда антигосударственных элементов — все это было проведено Борисом совершенно филигранно. Он верил в свое мастерство. Он полагал, что и нынче на пустяке дело не сорвется. За целую Киммерию он просил, честное слово, недорого. Что-то маленькое шевельнулось в углу радельни, тихо свистнуло: Дунстан

отрабатывал скудные харчи и предупреждал: молясина опять вот-вот развалится. Борис вывел крещендо: «...до Кавеля доше-о-о-ол!», смолк, близнецы рухнули там, где оказались, но тут же заскулили насчет бутылки с огурцом. Да, таких на переговоры с властью не пошлешь. Дунстана — тем более. Черепегина-папашу послать — то же самое, что написать государю просьбу о помещении Бориса Черепегина в самый глубокий застенок; государь же, сказывают, великий охотник такие прошения удовлетворять вне очереди. Ну, кто тут храбрый? Борис колдовать не любил, хотя выучился по мелким надобностям, словом — ничего не поделаешь. Пришлось щелкнуть пальцами. Потемнело. Под крышей флигеля распахнулись две створки, никуда, кроме как на чердак, не способные привести — однако же хлынул из них поток неприятного белого света, более яркого, чем дневной, и колоссальная голова довольно омерзительного вида опустилась оттуда в радельню. Брема никто из присутствующих не читал, а если б читал, то понял бы, что голова принадлежит верблюду, однако же старому, слезливому, добродушному — вопреки тому, каким полагалось бы явиться демону. Печальный ронял капли слюны, видимо, пережевывая разные человеческие наречия, и наконец проревел:

— Che vuoi?

«Начитанный...» — со скукой, но и с уважением подумал бобер. Радио он, как и многие бобры, послушать любил. Высоко ценя талант знаменитого Мордovorотги, он понял, что обратился зверь к Борису по-итальянски. Тот, как любой торговец, знал много языков, — видать и этот тоже. Хотя зачем офене итальянский язык?

— Не твое дело, чего я хочу, — басом прогудел Борис, — Ты будешь служить мне. Получишь полную инструкцию о Камаринской дороге и всем прочем. Сейчас и отсюда путь твой — прямо к русскому царю. Он должен мне два аршина чертовой жилы, взамен может делать с Киммерией и всем в ней содержащимся что угодно. А ты принесешь мне жилу. Царь ее тебе даст. Принесешь мне в таком саквояжике, с каким врачи ходят. Никакой чтобы торбы! Потом ты свободен и можешь проваливать... к своей матери. Верблюд к окну вздохнул. Потом протянул Борису нечто среднее между рукой и копытом: залитая в черный сургуч стопка бумаги, вот уже недели две как приготовленная Борисом, была как-то этим копытом схвачена и втянута под потолок.

— А какие гарантии? — спросил верблюд, пожевывая губами и так же роняя слюну.

— А никаких, — пробасил Борис, — слово даю, не принесешь жилу — я из тебя тогда твою вытяну. Не такая крепкая, как надо бы, но послужит. Ты давай ногами в Москву! Сам там разберешься, какой путь наверх короче. В тебе веры нет. Стало быть, обречен ты послушанию. Прикинь, самый я худший хозяин — или бывают еще хуже.

Верблюд вздохнул еще раз и убрался, лишь из окошка тихо долетело:

— Точно так, хуже бывают, гораздо хуже...

Борис отмахнулся от закрывшихся створок и предельно низким голосом начал вечернюю литургию:

— Я, кавелитель кавелительный, кавелеваю: ша-а-гом!..

Вконец отупевшие братья-колобки поднялись с полу, впряглись в лямки и повлекли круг молясины. Дунстан-Дунька покрутил мордой. Ничего, конечно, неожиданного: самое место в богозаводских краях развестись чертям, — однако же и силушку забрал бывший офеня, торговец веерами и резными шахматами! К шести приустал даже Борис. Отбив что-то вроде поклона, больше похожего на кивок, дал понять: радение окончено. Дальше он собирался, как обычно, ужинать и смотреть телевизор, непременно чтобы не пропустить ежедневные новости, передаваемые каналом РДТ — Российского Державствующего Телевидения, негласным главным редактором каковых новостей, по слухам, был сам царь. За одним столом с собой Борис позволял сидеть только отцу, даром что приемному: притом сажал его на главное, отовсюду в доме приметное, хорошо простреливаемое место, — сам садился напротив, так, чтоб видеть сразу и телевизор, и иконы над отцовской головой.

Реклама по РДТ была строго запрещена, и в девятнадцать без всяких минут зазвучал Царь-колокол. Перед новостями промелькнула двуглавая заставка. Царь опять издал какой-то указ. Обычно никакого отношения к богозаводским делам указы не имели, но иди знай — возьмет да и прикажет городу быть деревней. Такое уже случалось, да и хуже — тоже.

Указ медленно проплывал по экрану золотыми церковнославянскими литерами, а голос знаменитого народного дьяка Либермана столь же медленно его зачитывал. Указ был важный: несмотря на давность лет, несмотря на смягчающие обстоятельства, внук Ивана Великого, царь Иван Васильевич, прозванный неизвестно по какому счету четвертым, вовеки веков лишился почетного звания «Грозный», и дальнейшее упоминание о нем совокупно с этим незаконно samozахваченным титулом, будет карается по всей строгости имеющего быть в ближайшие дни изданным законом. Ибо титулы — как и любая другая естественная монополия — находились в Российской империи в личном ведении императора. Само собой, ограничения в титулах, наложенные незаконной, младшей ветвью Романовых, силы не имели: скажем, введенное так называемым Николаем Вторым ограничение на титул великого князя как могущий быть переданным не далее второго колена, даже не нужно было упразднить: в силах оставалось основное уложение государя Павла Первого с поправками, внесенными его законным прямым и притом старшим потомком — императором Павлом Вторым.

Либерман закончил чтение указа. Его лицо на экране никогда не появлялось, он был памятью об эпохе радиоточек и черных радиотарелок, когда ни синагогальный его нос, ни лысина, переходящая в пейсы, раздражения у высших лиц в армии, или, скажем, у иерархов Державствующей церкви, вызвать не могли. После нового удара Царь-колокола на экране появился любимый диктор царя, по ряду примет ехидно прозванный в народе «Царь-пушка». И определенное выражение на лице «Царь-пушки» сразу сообщило человечеству: кто-то дал дуба. Иначе брови диктора не были бы скорбно сведены к яфетической переносице, а были бы раскинуты в стороны, словно крылья некоей давно запрещенной в Российской империи птицы.

— Российскую Империю постигла тяжелая утрата. В результате воздушной катастрофы, произошедшей сегодня в десять сорок пять по московскому времени, взорвался при снижении к Южно-Сейшельску самолет «Ермак-144», на борту которого находился Его Благолепие митрополит Котлинский и Опоньский Фотий Второй, направлявшийся в Сейшельскую епархию с пасторским визитом. Никто из пребывавших на борту самолета не спасся. Ведется расследование причин авиакатастрофы. Вместе с преподобным Фотием на борту самолета находились: епископ Змеиноостровский и Шикотанский Кукша, епископ Карпогорский и Холмогорский Галатиан...

Слушая этот перечень, Борис уже дочитал молитвы, благословил трапезу, налил отцу и себе по стакану домашнего очищенного и выпил, мысленно прося Дулю Колобка и всех праведников Колобкового Упования простить новопреставленным служителям культа их умственное непросвещение, и уж как-нибудь, на любых посмертных условиях, принять их души на Лоно Колобково. Потом Борис выпил свой стакан на треть, оставшиеся две трети вылил в щи, размешал и принялся хлебать. Ложка в его руке была деревянной, круглой — как бы в память о Колобке. И миска была такой же. И щи в миске тоже были круглыми.

Дунстан, он же для людей Дунька, тоже закусывал: кто-то верховный послал ему нынче на обед корней молодой липы и миску прошлогодней — еще, впрочем, крепкой — морковки. Дунька грыз и гадал, отчего ему все время дают заячью еду. Не то, чтоб невкусно, но странно. Наверное, человек бы тоже удивился, если бы бобры у себя на Мёбиях кормили его исключительно капустным листом. Мяса бобер не ел от природы; по его наблюдениям, именно вегетарианская сущность сделала его рифейских сородичей столь кровожадными, когда дело доходило до судебного разбирательства. Сам Дунстан этого пристрастия киммерийских бобров не одобрял (видимо, потому, что с детства любил лососину), отчего и попал в козлы, как говорят люди, отпущения, когда общине бобров потребовалось по делу ненавистного (плевать, что невиновного) Астерия Коровина выдать киммерийским властям какого-нибудь, все равно какого, бобра-преступника. Ведь те, кто выдавал его на неизбежное побитие и побритие, все как один сверкали именно его зубами: им, Дунстаном, вручную выгрызенными... то есть взубную вырезанными... ну, в общем, ясно... Порадели, называется... родственнику-свойственнику. Дунстан доел морковку. Ничего, в Римедиуме и не такое есть приходилось, иной раз ничего, кроме гнилых свай, неделями не перепадало. А здесь, хоть изверг Борис, и небобр, даже отчасти и нелюдь — но хоть не скупердяй. И потому, чуял Дунька, далеко Борис пойдет.

На глазах у Дунстана происходило зарождение нового кавелитского толка, как всегда, единственно правильного, как всегда, восходящего началами к сотворению мира, как всегда, ожидающего Начала Света. Как бобер, Дунстан понимал в этом много больше людей, живших в Киммерии: те знай себе клепали молясины на продажу, а что за дело творят — никогда ведь и не задумались. Нет, еще предстоит им эту кашу расхлебывать, хотя защищены они, конечно, куда сильнее, чем думает нынче бывший офеня Борис Тюриков.

Да, не так-то прост оказался офеня Борис Тюриков. Только вот обрел он веру. Чудеса теперь творит. А что люди, что бобры чудесами давно сыты по горло. Кто бы сделал так, чтобы чудес поменьше? Впрочем, такую мечту нельзя мечтать даже мысленно, и не то, что человеку, не то, что бобру — даже рифейскому раку лучше бы на такие темы не задумываться. Никогда не зови ветер перемен ! Это кто сказал? Не иначе, как Дуля Колобок.

Евгений Витковский. Земля святого Вита.

Часть 28

Евгений Витковский

XXVIII

Садится бобр вести свою войну.
Данте. Божественная комедия. Ад, Песнь XVII

Хоронили старого бобра Кармоди. Покойник был не из богатых, да и не из очень уж почитаемых: не зажился на свете настолько, чтобы стать архипатриархом, но и не оказался настолько молод, чтобы посмертно зачислиться в безвременные-несбывшиеся надежды бобровой общины — даже в собственном клане считали его за семя крапивное. Так что при жизни он был неведомо кем. Однако на похоронах, чтобы не заносились всякие Мак-Грегоры и особенно озерные О'Брайены, он оказался, конечно, самым любимым, самым дражайшим покойником. И место на кладбище Третий Мёбий ему определили достойное: в пятидесяти девяти могилах от славного Кастора Фибера.

Прежде чем хоронить усопшего бобра, близкие проводят возле тела покойного ночь: сидят, грызут пруттики-стружки, и тихо пересвистываются о том, каким славным бобром был усопший бобер. И какими нехорошими бобрами были все недоброжелатели усопшего. Бобров из других кланов ругать на таких поминках можно, а людей нельзя: тут же начнется стук в архонтсовет. Кстати, называется весь этот обычай посиделок при покойном, если переводить со свиста, «фин-ахан». Никто его смысла не понимает, но все соблюдают, потому как принято. Предки блюли и нам велели, и мы померем, и над нами тоже будут пересвистываться, слегка рядышком с нами, бездыханными, закусывать, и злословить, как мы злословили.

Любимая, вечнозеленая тема разговора на таких поминках — захиревший, почти вымерший, но все до конца не исчезающий род Равид-и-Мутон. «Никогда такого не было, чтобы честный бобер в чужую шубу влезал. А этот неподобник, Великобобрче прости, получил шубу из белых соболей, сказал спасибо — и тут же шубу в ломбард на Срамную понес: мол, там в холодильнике сохраннее будет. Десять империалов огреб! А ведь потом, как срок выйдет, еще доплату получит...» — мечтательно просвистел Бух Макгрегор. Тут же вспомнилось ему, что не только сплетничать, но и о

покойнике нужно говорить все время, и добавил: «Никогда бы покойный на такое не пошел! Никогда не принял бы меховую шубу в подарок: соболя звери неразумные, но как-никак наши братья по...» — Пэрч замешкался, соображая, по чему же такому могут быть братьями соболя с бобрами. Ехидный Пэрч, пятиюродный племянник покойного, за свистом в хатку никогда не лез, и тут же продолжил:

«Наши братья по Рифею. Никогда покойник не принял бы такого дара! Честный бобер вообще ничего у людей не берет в подарок, — только покупает. В подарок только у своих можно. Вот есть честные бобры — им в подарок, бывало, друзья даже новые зубы дарили... Эх, не те пошли времена, никто теперь зубов тебе не подарит!» — Пэрч заметил, что переходит на скользкую и болезную для жителей всех трех дачных Мёбиев тему, на отсутствие приличного зубопротезиста, и быстро засвистел о другом. «А мне на Обрате говорили, что главный у людей, называется он император, который на империале, новую графу в паспорт ввел: «подробная национальность». Я не понял ничего сперва, а мне этот еврей-меняла объясняет, что раньше были люди в Киммерионе русские, а теперь — киммерийские русские. Он тоже теперь — киммерийский еврей. Национальность редкая, и он этим горд, как только киммерийскому еврею и можно гордиться. Так чем плохо, спрашиваю. Потому что если бы он всем доволен был, то рассказывать бы не стал, характер у него подлючий, человечий, и наглый тоже весь из себя эдакий. Он мне и говорит: вот был ты, Пэрчик, по национальности — бобер. А теперь ты — киммерийский бобер. И так тебе в паспорте и запишут. А откуда у меня паспорт?...»

«Покойный Кармоди не раз мне говорил: не миновать нам паспортизации, раз мы с людьми на биоценоз пошли...» — тактично свистнул Бух, напоминая, что никакие рассказы без упоминания положительных качеств покойного во время фин-ахана неуместны. «Непромокаемые, поди, нам-то дадут, в корочках...» «Да... паспортные корочки — это ж прелесть...» — не удержался Укс, родной брат покойного. «Помню, как дождь на Криле был из корочек, я пять штук съел. Не сытно, но вкусно, вкусно... Хорошо тогда погрыз, пожевал...» — Укс тут же опомнился; «И покойник, помню, корочки ел и нахваливал очень, свистел, ароматные корочки, от партбилетов особенно — тайгой пахнут, лесоповалом, колониальным товаром, бакалеей всяческой, бананами сушеными, всякой сублимацией, другой вкуснотой... Знатный вкус был у покойного — первостатейнейший! Одиннадцать жен похоронил, и все как одна такие превеликие мастерицы были — и нагрызть, и подпилить, и вычистить, и опохмелить, — и красавицы к тому же, как сезон для красоты придет...» «Великობобрче, да это я что, с паспортом плавать буду?» — возмутился Бух, — «А если я лопать захочу, я ж не удержусь, корочку съем и бумагу с ней — будь она сто раз немокнущая!»

«Бумага, — да чтоб мне Пэрчем никогда не называться! — обещана в новых паспортах вечная: не горящая, не мокнущая, неугрызимая. Еврей говорил! Да и не бумага это будет, а вф... вф... фафф... Ваффр... Вольфрамный сплав какой-то!» — договорил Пэрч, не обращая внимания на ехидные взгляды и свистки: сочетание «в» и «ф» всегда плохо высвистывалось, если зубы — не от мастера

Дунстана. А где он, мастер Дунстан? Сами его в Римедиум со зла друг на друга сдали, сами теперь без зубов и остались; в Римедиуме у людей какая-то чумка случилась.

Секрет вытачивания запасных, новых, съемных зубов пропал вместе с Дунстаном Мак-Грегором, и у кого еще сохранился старый протез — тот берег его пуще родного толстого чешуйчатого хвоста. А новые мастера, братья из фирмы «Мёбий и мать», не владея великим искусством загубленного Дунстана, на свою монопольную до поры до времени продукцию подняли цены втрое. Не по карману простому бобру протез в четыре железных ствола ценой, а он, протез подлый, года не пройдет, как об корешок елочный переломится.

Впрочем, все трое братьев на фин-ахан плыть отказались, пожаловавшись на невозможность оторваться от работы: день и ночь грызут они рыбий зуб, чтоб другие бобры могли нормально питаться. То ли дело был старик Дунстан! Пэрч вдруг вспомнил о покойном Кармоди что-то и вправду хорошее, и ринулся свистеть свою мысль на всех обертонах.

«А помните, бобры добрые, как покойник с Дунстаном Мак-Грегором душа в душу жили! Как ни хоронит покойник жену — так все хлопоты на себя Дунстан берет, всех сам на фин-ахан созывает, по хозяйству хлопочет, покуда покойник плачет-убивается! Всегда угощение мелко-мелко сам нагрызет, по хатке расставит — любо-дорого, и вкусно так! Грызешь, помню, грызешь на поминках — не нагрызешься! Стружку ясеневую готовил особенную, так не яшень был у него, а чистый каштан-банан! Так и ждешь — когда ж покойничек снова женится!..»

У торца лотка, наполненного сладкой ольховой стружкой, сидел скандально знаменитый журналист Икт Мак-Грегор по прозвищу «желтобрёвенщик» — и вовсю хрустел. Икт грызся, это по-бобрьи значит печатался, на всех бревнах, по секрету от людей издаваемых для своих нужд и на Правом Мёбии, и на Левом. И на ежедневных стволах появлялись нагрызенные им признания скандалиста, и на еженедельных, разве что на Левых он грыз «колонку диффаматора», а на правых с таким же усердием вел «дневник грызуна». На фин-ахан Икт, как всегда, явился уже под изрядным духом пьяной ивовой коры, вовсю рыгал, но грыз яростней прочих, посверкивая направо-налево глазами и усами, выбирая очередную жертву. «Желтые» бревна, нагрызаемые для удовлетворения самых низменных инстинктов бобриного подонства, постоянных журналистов не имели. За вычетом одного — Икта. Этот нагрызал по полбревна в любом из таких изданий. Наиболее известным желтым изданием была ежедекадная «Дребезда», почетно именовавшая Икта «наш Золотой Зуб». Люди бы сказали «золотое перо», но бобры спокон веков пишут зубами по бревнам — и при этом кругами. Людям кажется, что это просто обед. Ну и пусть кажется.

Икт покуда помалкивал, но, понятно, рано или поздно должен был засвистеть. Пока что свистел преимущественно Пэрч. Свистел Пэрч с пастью, полной стружки, потому свистел невнятно, но слушали его с сочувствием как раз из-за этого: значит, враки, что у Пэрча протез от Дунстана, значит, как у всех — дорогая штамповка от Мёбиев и от матери их, склочной старухи, которую некогда лодочник Астерий на Селезни, что между человеческих Нежностей,

веслом по затылку до крови скомпрометировал — жаль, что вовсе не зашиб: крутится старая перечница и знай подгрызает сыновей лютым подгрызом, что мало, ма-ло, ма-ла-ва-то берут они за свои знаменитые протезы, без которых почти все бобры давно бы сидели на опилочной диете, а такая диета вон какая бобрам вредная — даже люди в телевизоре признают, что бесполезная. Старый Харк О'Брайен сморщил морду. Двух его дочерей похоронил покойник. И нельзя о покойнике сейчас плохое свистеть... но что ж о нем свистнешь хорошего, сколько теперь дочек ни хвали: покойницы, — ну, впрочем и сам Кармоди тоже покойник. Никакую жену больше со света не сживет. Устроил покойник, что называется, два подарка для господина Харка, — но об этом сегодня нельзя, потому что главного подарка господин Харк все же дождался: пережил он этого синезубого волокиту. И никакой пудости не подкладывал ему, просто не захотел Рифей-батюшка на себе такую сволочь носить. А ведь был соблазн послать ему сладких кедровых орешков, младшая дочка — самая младшая из тех двадцати двух, что замуж за Кармоди из озера не поплыли — мастерица такие орешки готовить, жаль, что скрывать приходится эдакий великий талант. Ужо-то она хорошего мужа себе выберет. Вся в покойную мать, та тоже мастерица была — как знать, сидел бы нынче Харк на фин-ахане по Кармоди или не сидел бы, грыз бы сладкую стружку или не грыз бы, если б вовремя не догадался старухе, Великобобрче прости, в ее ночную закуску-заначку малость стрихнину для защиты от рифейских мышей насыпать, — подводных, конечно, мышей, таких не бывает пока что, конечно, но вдруг да будут — все-таки здесь хоть и Мёбии, а Киммерия как-никак. Впрочем, это он ей преимущественно за то стрихнин подсунул, что она ему рога с нынешним покойником наставляла.

Однако же все они, вышеприпомненные, давно покойники, мир праху их, да и сам Харк — уже очень не юноша. Дай ему теперь арбалет — так промажет с десяти пływков. А когда-то, было время, бил в глаз эфу, змею гремучую, с полуверсты — и господину Тараху в Триед к столу относил. Очень господин Тарах бывали довольны, прямо у пристани иногда змею съедали, потому как эфа в Киммерии и очень гремучая, и очень ядовитая, а господин Тарах ядовитость всегда весьма высоко ценил. За такую змею бывали озерной страже О'Брайенов объявляемы с пристани благодарности, и даже переходящий вымпел «Медный Змий», случалось, им на декаду-другую в любование переходил. Харк давно был на пенсии, с озера выехал, жил у старшей дочери на всем готовом в хорошем районе правого Мёбия и родное Мурло даже забывать стал. Хотя не очень-то забудешь отвесную скалу над озером, хатку с запечатанной в нее Европой — под скалой, и самого господина графа Палинского, падучей звездой летящего с горы в середину озера. О'Брайенов тут, на Мёбиях, раз-два и обчелся, род их небогатый, но уважения добившийся, ибо все-таки они единственные бобры-воины, кто из других родов, тот и винт в арбалете крутить не сумеет. Ну, Кармоди — помимо прочего — гордятся тем, что они лучшие Рифейские лощманы. Мак-Грегорах гордиться ничем не нужно: всех бобров, сколько ни есть в Рифее от Горячих Верхов до Рачьего Холуя — две трети Мак-Грегоры. По последней переписи, что проводилась велением архонта

Александры Грек. Большую волю баба-человечица забрала над Киммерией. У бобров такое сплошь да рядом — ту же вдову Мёбия, старуху Кармоди, веслом недопобитую вспомнить можно — а у людей, кажется, бабья власть немалая редкость. Да и черт водяной этих людей поймет. Живут, молясины делают на продажу, а нет чтобы самим порадеть о главном: Боббер Боббера погрыз, либо же Боббер Боббера. Сам Харк считал, что правилен первый ответ, но почти никто с ним не соглашался; кто считал, что наоборот, а большинство полагало, что ответа нет вовсе, потому как только найдется ответ воистину правильный — тогда-то все самое главное и начнется, а все, что до сих пор было — то так, прозябание рачье. Человечьей работы молясины бобры для себя не брали: Боббер-то, да и Боббер тоже — бобры как-никак были, дети Первобоббера, образом и подобием сотворенного по Великобобру точь в точь, из донного ила да из Великобобрьей мечты. Говорили Харку: стареет он, раз с утра до ночи только и думает про то — Боббер Боббера, либо же Боббер Боббера. А что плохого? Во все о главном нынче перестала думать молодежь. Молодежь, она простая: осинку обглодал, плотинку заложил, да айда за юной бобрихой потолще. Нет в нынешней молодежи духовности.

«Боббер Боббера бесил — Боббер Боббера кусил!» — тихонько пробормотал Харк общепринятую фразу. Хотя на бобриный тонкий слух его бормотальный свист всем участникам фин-ахана был, конечно, слышен, но никто старика не одернул; все-таки дважды тесть покойного, да и кто ж не понимает, что старик о пользе дела радеет. Да и просто радеет, как любой киммерийский бобер с колыбели. Но Укс Кармоди как ближайший родственник покойника, решил вернуть беседе благопристойное направление.

«А что, господин Харк, мальчик тот, которого к графу Палинскому на Камень отвели, еще в озеро не прыгает? Если, конечно, это не тайна клана...»
Какая там тайна клана, хам краснозубый! Словно не знает, что Харк уже четверть декады лет как на пенсии. Словно не передают ему каждый свист, что дочери из озерца засылают по доброте душевной. Ну, пусть получит...

«Нет, благородный Укс, еще не прыгает. Говорят, его к Палинскому наверх увели не от убивцев-людей, а для постижения наук, искусств и спокойствия. Говорят, его там засахаренными каштанами и вялеными бананами кормят, чтобы он нашу, бобриную мудрость превзошел. И учат его там стрелять из арбалета: по-нашему, по о'брайеновски. Каждые утро всходит он на вершину главной башни, арбалет берет, стрелу в восходящее солнце пускает — на восток, значит, нам поэтому и не видно, скала заслоняет. А из-под солнца выныривает Боббер окаянный, стрелу перехватывает, и к себе в камыши прячется, до вечера под хвостом тою стрелую чешет. Потому как на роду ему, Бобберу окаянному, проклятие лежит: железной стрелой в подхвостье ковыряться. А Палинский новую стрелу велит камердинеру точить — чтобы завтра наутро мальчик опять стрелять мог. И вот как наточит стрелу такую быструю, что Боббер ее поймать не сможет, так, значит, угодит стрела в солнце, потаенный пупырь на нем лопнет и вся тайна наружу выйдет. Но вы, благородный Укс, в том правы, что прыгать он, мальчик то есть, конечно, будет когда-нибудь. Еще покойный мне говорил, — Харк вспомнил об обычае

поминать покойного, — что человек, он когда в полную зрелость войдет, начинает непременно со скалы скакать, бегать вверх и кричать петухом. Если не прыгает и не кричит — он, значит, еще незрелый. Вот как наши все людишки в Киммерии. Кого ни возьми — все наглые, все незрелые».

Молодой племянник Харка, Уэк О'Брайен тоже решил вставить свое слово, он тоже знал озерные сплетни:

«А говорят, мальчик особенный этот — как и сам граф. Говорят, на лошадь сядет — и с горы на гору скачет. Потому как будущий царь. И очки ему граф прописал особенные: Палинский их на ночь ему проволокой прикрутит, на замочек замкнет, а ключ к себе в тайное место кладет. Мальчик ночью спит, очки он снять никак не может, и во сне все, что ни творится на свете, сразу как есть видит. И про все заговоры и ковы, на него наковываемые, таким значит, образом, знает заранее. То есть его убить нельзя вообще никогда и никому».

«Да, это они умеют...» — неожиданно свистнул сквозь жвачку Икт. — «Как хотят, так и делают. У...уюшки! Убить нельзя, видите ли... Сенаторы-конгрессмены...»

«Ох уж эти люди!» — подхватил Пэрч. — «Выдумщики страшные на пустое дело, а еще склочники. Как где какая заваруха — так везде они. Покойник, помню, очень их не одобрял за склочность ихнюю, за мелочность, за суетливость и сутяжничество. Монархический строй...» — Пэрч вспомнил, что стукачей и среди своих полно, и добавил — «Покойник монархистом был истинным. Но только чтобы царь был киммерийского рода, вегетарианец и бобровой шубы не носил».

«А он и не носит!» — подал свист Мнух Мак-Грегор, вечный участник любых посиделок, где стружка бесплатная на закуску есть. «Свистят, нынешний император колошарство скоро запретит и карболкой под мостами всю мерзость равид-мутонскую вымыть велит, с последующей ссылкой на Миусы раков пасти. И не только колошарей сошлет, а и вдов со Срамной набережной, потому как они сообщники гнуснякам этим. Пусть раков пасут, пусть Миусы заново заселяют. В левом Миусе вдовы жить будут, в правом — Равид-Мутоны, а пайка им будет самая что ни на есть препоганая. Выродка же этого, Фи, вовсе на цепь посадят, как рака прикуют, да мальчику-царю в воспитательных целях по тайному телевизору показывать будут, чтобы не очень-то по горам прыгал...» — Мнух заврался и ткнулся носом в опилки, наверстывая упущенное: сухость в горле от длинного трепа полагалось угасить хорошей порцией закуски.

«Фи!» — подхватил старый Харк, — «И рода-то Мутонского всего тринадцать рыл, баб не считая, осталось, так надо же, чтоб среди них колошарь выродился, собой торгует, статью бобрьей, и поди ж ты — уже и не в бедных плавает, уже и счет в Устричном банке, уже и пластиковая карточка за щекой! Рожу наел — смотреть противно!» Харк потянул лапу за новой горстью сладких стружек, но тут же оцепенел: лапа уперлась во что-то небольшое и твердое. Харк понял: кто-то обронил в общее кушанье свою слюнявую искусственную челюсть. Харк медленно поднял ее и показал присутствующим. По правилам фин-ахана поминальный вечер был осквернен.

Потому что поганая это примета: если примерять на человеческие суеверия, то

это примерно как если бы кто-нибудь на похоронах стал бить зеркала кислыми яблоками, подобрав для этого тринадцатое число, пятницу, солнечное затмение — да еще в квашню бы при всех нагадил. Для бобров челюсть вставная — предмет в высшей степени личный и деликатный. Хотя жить без него редко кто может, но разговоры на эту тему — и те вести полагается приватно. А чтоб в публичное кушанье да свою слюнявую!..

Запахло скандалом. И самосудом.

Кто-то свистнул, с очень вопросительной интонацией. Кто-то глухо захлопал хвостом по полу. Кто-то мелко-мелко застучал зубами и стал уползать прочь от стола. Зато поднял усы от своего лотка со стружкой знаменитый Икт-Желтобрёвенщик, покрутил мордой и обнажил длинные, красные, собственные — а не протезные — резцы. Потом подпрыгнул и выбросил вперед правую заднюю лапу, переворачивая лоток.

— Наших бьют! — не выдержал Укс Кармоди, но договорить ему не дали; вместо этого его оглушили небольшим, на десерт припрятанным, стволом рябины. Ствол оказался в лапах болтливого Буха, Икт, визжа, как зарезанный, пошел на него прямо по столу. Пэрч, пытаясь спасти родственника, схватил Икта за хвост, получил по зубам, — и с ужасом понял, что у него в пасти драгоценный протез разделяется надвое. Но в следующий миг Пэрч осознал, что терять уже нечего, сплюнул куски протеза, заорал не хуже, чем журналист — и бросился ему на спину. Желтобрёвенщик не дошел до конца стола и под тяжестью Пэрчевой туши рухнул прямо на покойника, попытался удержаться, однако не смог, и единым клубком вместе с Пэрчем и трупом обвалился на престарелого Харка, и без того уже оравшего почти по-человечьи. Бух, развивая достигнутый успех, пошел махать рябиновым бревном во все стороны.

Потянуло имеющей вот-вот пролиться кровью. Раздался дикий вой: так бобры не орут, так орут бобрихи. Немногие уползшие к стенам участники фин-ахана могли наблюдать, как древняя седая бобриха, невесть откуда появившись, пробралась на то место, где только что лежал покойник, и с гордостью продемонстрировала оторванный от ее черепа шкуряной лоскут; лоскут тянулся через череп к уху и там, кажется, все-таки прикреплялся ко всему остальному; из-под лоскута, однако, кровь хлестала на стружки, и на покойника, из-под которого наконец-то выбрался Икт, тут же бросившись бить старуху, чьей кровью был заляпан от носа до хвоста.

В это время из кладовки вылезла новая морда; Дуайрес Кармоди, родной по сестре племянник покойного и главный наследник его небогатого имущества, с утра обожрался ивы и на первую половину фин-ахана лег поспать. Поняв, что дошло до драки и его собственные, кровные стружки осквернены, он деловито подпрыгнул и горизонтально влетел в центр побоища, свистя при этом на совершенно ультразвуковых частотах. Как на грех, старуха, известная больше как «распроклятая вдова Мёбия», все еще не закончила демонстрировать свою боевую травму (лоскут шкуры, отодранный от черепа). Дуайрес не видел, что за углом стола, возле штабеля с непочатыми стружечными лотками, страшной силищи бобер Пэнн Мак-Грегор смертным боем бьет почетного гостя Харка, и того гляди приготовит гостя к новому фин-ахану; Дуайрес не видел рыдающих

жен у стен, не вполне уверенных — жены они еще или уже вдовы, он видел лишь наглого Икта, грозящего кровавыми зубами, да торжествующую старуху, которую с похмельных глаз не признал вовсе — и бросился на обоих сразу, приняв за виновных.

Между тем в числе виновных мог быть кто угодно, но не они: Икт по сей день носил свои собственные, не вставные зубы, а вдова Мёбия Кармоди, единовластная владычица фирмы «Мёбий и мать», с тех времен, как зубная монополия перешла к ее семье от свергнутого Дунстана, ходила на бобровых променадах вовсе без зубов, демонстрируя, что у нее, с одной стороны, нищета в доме, с другой — что неблагодарные сыновья не имеют ни совести, ни времени сделать протез родной матери. Чего ради она заявила на фин-ахан к малоуважаемому покойнику — она бы и сама не объяснила, но, похоже, ее заранее притягивал дух скандала. На всяком скандале она была первой. Ее всегда били — но при этом даже тот, кто сам бил, вплоть до следующей драки, непременно трогательно за ней ухаживал и приносил извинительные подарки, уж если не каштаны и бананы, то хоть коробочку начищенных заранее кедровых орешков — уж по самой малости. Может быть, именно поэтому Дуайрес бросился сперва бить ее, а не Икта; с другой стороны, Икт решил прийти на помощь наследнику покойного, и бросился лупить старуху с не меньшей силой, — будучи авансом уже залит ее же кровью.

Чудовищной силы свист сотряс трапезную хатки, и все как-то замерли. На пороге стоял начальник сил бобриногo самоуправления Финн Кармоди, держа в отставленной лапе символ своей власти — ультразвуковой свисток, когда-то оброненный камердинером Палинского в озеро. Издавал свисток звук-команду «Товсь!». Ну, и кто этот свисток слышал — готовился. Ни к чему хорошему. Увы, почти любой фин-ахан так и заканчивался, менялись только действующие лица и, так сказать, исполнители, — хотя пострадавшие почему-то были чаще всего одни и те же... Но в этот раз как-то драка превзошла обычные масштабы. Матриархов даже на пьяных посиделках все-таки редко бьют. А побитой оказалась сама госпожа вдова Мёбия! А ее и так уже который раз... под укоризну подводят!.. Она ведь и от людей... страдание приняла! Финн был настроен серьезно — и не собирался спускать никому и ничего. Разве что шкуру. Хотя бы фигурально.

Из-под стола высунул голову вдребезги пьяный Мнух.

«А ишшо свисс-тят... что на постоянный выезд в место жительство старик Израиль с Лисьего хвоста издаст большое запрещение...»

«Этого — сразу в вытрезвитель», — скомандовал Финн, и обстановка сильно разрядилась. Дюжие силы самоуправления быстро раскидали кучи побитых на тех, которых в больницу, на тех, которых в КПЗ и на тех, которых на кладбище. Даже как-то странно, что в эту последнюю категорию попал один-единственный покойный Кармоди, на чей фин-ахан перепившиеся и передравшиеся гости изначально собрались. Финн велел собрать традиционных двенадцать свидетелей того, что покойный был вполне покоен еще до драки, проследил, чтобы старуху вдову направили в больницу первой, первым же в КПЗ был отправлен, как обычно, Икт — выпустят через двое суток, ну и смеху будет в

репортажах... Несостоявшиеся вдовы сквозь слезы, сортируя мужей, заранее хихикали над любимым чтивом. Только покойника никто трогать не торопился. У дальнего конца стола, не причисленный ни к одной из трех печальных категорий, сидел весь избитый и ничего не понимающий Дуайрес. Передний зуб, свой, природный, красный, ему в драке кто-то высадил-таки. Держа этот несчастный зуб в одной лапе, Дуайрес бессмысленно переводил глаза с него на половинку драгоценного протеза работы мастера Дунстана — из-за которого вся драка и случилась. Протез был поломан только что, но принадлежал — горе ты, горе! — покойному Кармоди, чей фин-ахан так похабно осквернило обнаружение этой полудрагоценной вещи в лотке с яseneвой стружкой. Полудрагоценной потому, что протез был разломлен точно пополам. Тут горестные размышления Дуайреса были прерваны: кто-то дергал его под столом за шерсть на ноге. Дуайрес, которому внезапно все стало как-то безразлично, помог вылезти оттуда чудом уцелевшему в драке господину Харку О'Брайену. Тот отряхнулся, забрал у Дуайреса обе половинки протеза, покачал ими в воздухе, ударил друг о друга. В глазах старика зажглись огоньки, он пошел крутить половинками протеза в воздухе. Тихое присвистывание его раздавалось на всю опустевшую хатку:

— Боббер, Боббер, где ж ты был? Боббер Боббера... добыл!

Отчего-то Дуайресу показалось, что покойник в такт О'Брайену радению шевельнул хвостом и тоже что-то забормотал. И лишь тогда низошло на него блаженное забвение, и он рухнул под стол, откуда только что вытащил дважды тестя покойного Кармоди. А господина Харка от радения, впервые, быть может, осуществляемого с помощью расколотого пополам зубного протеза, — оторвать уже ничто не могло.

Он-то знал, что именно Боббер — Боббера.

И в рожу плюнуть тому, кто скажет, что наоборот.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 29

Евгений Витковский

XXIX

И он понял, что это был сон пальмы, о которую он опирался. Она видела во сне воду.

Милорад Павич. Хазарский словарь. Зеленая книга.

Странная погода стояла нынешним летом в Киммерии: ни жарко, ни холодно, ни дождя, ни сухости, ни ветра, ни безветрия, — и так уже четвертый месяц. А между тем и телевидение, и захожие офени единым гласом повествовали, что на Внешней Руси во всех ее нынешних несусветных границах стоит свирепая жара, засуха угрожает лесам и полям, народ даже ропщет: отчего государь такую погоду вообще допустил. Лишь над Киммерией — вероятно, обычными стараниями Великого Змея — лежал плотный, хоть и нетолстый облачный слой.

Посевы ячменя вроде вымахали как обычно. Бокряника на левом берегу Рифея налилась соками и почти уже готова была к сбору: тоже как обычно. Да и раки на Миусах — хотя месяц все еще был с буквой «ю» — выглядели соблазнительно, — по крайней мере так сообщал «Вечерний Киммерион», под страхом превращения в еженедельник дутых сенсаций со времен водворения в архонты Александры Грек более не устраивавший.

Говорили, что жара даже на Аляске, а хорошая погода — кроме Киммерии — только и есть, что в одном каком-то отдельно взятом латиноамериканском государстве, название которого произносить — язык сломаешь, не то Кетцалькоатль, не то Сарсапарель, в общем — в одном только. В государстве этом с помощью патагонских гастарбайтеров спешно выжигали тамошнюю колючую степь, что называется каатинга, и засевали гречихой — чтобы было что послать в виде безвозмездного дара гражданам Российской империи. Гречку (и ядрицу, и продел), да и мед, и воск, и прополис: все это нынешним годом в России не уродилось, — а в Киммерии не росло отроду, да и пчел в заводе мало было. Офени очень дешево таскали в город не только особо необходимую в иные праздники гречку, но и зело потребный сахар-песок, а где они его брали — кто ж спросит. Известно, впрочем, что пользователи молясин во Внешней Руси — все до единого сладкоежки. Ну, видать, избытки у них, либо еще что: словом, какая разница, лишь бы сахар не пропадал, шоколад тоже, а всего важней — вяленые бананы да засахаренные каштаны.

Гликерия, превратившаяся в очень уважаемую городом даму с тех пор, как дедушка Роман прежнего архонта поверг — а это уж когда-а-а было! — «Вечерний Киммерион», как и раньше, читала от строчки до строчки, надеясь найти хоть какие-нибудь сообщения о Саксонской набережной, глядишь, и про их дом напишут что-нибудь, а ведь возможно и такое, что напишут даже лично про нее, — ну, хотя бы упомянут, например, так: «...и другие уважаемые граждане». Ясно же, что это про неё, про Гликерию Касьяновну Подселенцеву. Деда Романа, благополучно доживавшего девятую киммерийскую декаду, поминали в газете часто. Преимущественно как образец гражданского мужества, — но иной раз и как выдающегося мастера, резчика-родонитчика, равных которому не рождается и в декаду декад: ежели по заумному говорить, то в гросс лет, а ежели по-древлесоветски, то в двенадцатью двенадцать, стало быть, в сто сорок четыре года. Царь в нынешнем году, от коронации начисляя, правил тоже ровно киммерийскую декаду лет, — но это еще до ноября дожить надо, тогда и отпразднуем. Другого деда, Федора Кузьмича, не поминали вовсе (иначе как в форме «другие уважаемые лица») — он специально с новым архонтом договорился, чтоб не было этого баловства. Других жильцов — кого как. Да что-то и мало их нынче стало, не считая почти уж досидевших свой срок в подвале рабов. Три некиммерийских женщины, регулярно заходивший в дом академик, гипофет Веденей, да все время сбегавший от сбежавшей жены его младший брат, первый по силе на весь Киммерион молодой богатырь Варфоломей, еще соседи-художники — вот и все, кого могли в «Вечернем Киммерионе» поименовать «другими уважаемыми лицами», сообщая что-нибудь о том, например, какая великая новость случилась на Саксонской:

старец Роман Подселенцев, много лет раскладывавший в четыре руки пасьянсы со своим старинным другом (никогда не называемым по имени), сменил, оказывается жанр: теперь они с другом день и ночь режутся в «гусарика», в преферанс на двоих — и не только очень этим своим занятием довольны, но и другим весьма это самое занятие в ветхие годы рекомендуют. «Другие уважаемые лица», проживающие в доме на Саксонской, ничего не имеют против. Ну ясно же, что речь идет в первую очередь о Гликерии Касьяновне! «На сладкое» Гликерия оставляла себе разделы городской хроники — и объявления.

«Закончился двухмесячный конкурс на соискание почетного звания мастера-гирудопастуха, Как и в прошлом квартале, все соискатели потерпели сокрушительное фиаско».

«Справажен на почетный покой еще один заслуженный офеня. Известный в нашем городе и по всей Камаринской до Кимр и Арясина офеня Алешка Беспамятный в присутствии Малого Офенского Схода поставил по данному обету пудовые свечи ко всем семи киммерийским церквям Параскевы-Пятницы, после чего упомянутый Алешка навеки удалился в монастырь Святого Давида Рифейского».

«Еженедельная драка, имевшая место на Петров Доме в минувшую субботу между мастером-банщиком, мозолистом высшей квалификации Филимоном Шкандыбой и небезызвестной вдовой Перепетуей Землянико при участии небезызвестной вдовы Анастасии Артезианской, также действительной членшей гильдии вдов, в очередной раз завершилась бегством мастера Шкандыбы на Витковские Выселки. По ходу погони на этот раз А. Артезианской, впрочем, удалось срезать мозолисту обе подметки. П. Землянико лишила мастера некоторой части его выходной прически. Мастер — в свою очередь — достиг Витковских Выселок с тремя рукавами в рюшах и одною серебряною серьгою, каковые и возложил в воскресенье на Земле Святого Витта к могиле своего пращура, известного Шкандыбы Препотешного».

Эту новость Гликерия читала уже в тысячный, наверное, раз. Бежал с поля боя каждый раз именно Шкандыба, но предметы обдирались друг с друга разные — и потому было интересно. Хроника кончалась, и со вздохом Гликерия начинала читать объявления.

«Позавчера в девятнадцать часов двадцать три минуты в районе Открытопереломного проезда утеряна шляпа: женская, в мелкую зеленую и желтую клетку с двумя белыми перьями и белой же подкладкой. Нашедшего убедительная просьба сообщить за вознаграждение местонахождение перьев».

Гликерия задумалась, потому как до Открытопереломного от Саксонской — ста аршин не будет. Уж не съела ли эта шляпу коза Охромеишна Младшая,

сменившая на дворе Подселенцева ОхROMEишну Старшую, Пророчицу? Долго прожила старуха, однако, и день смерти своей точно предблеяла. Жаль, по-козьи никто, даже Нинель, не понимал ни бе ни ме. А то бы знал про все заранее. Даже про перья.

А нынешняя ОхROMEишна дурой была. И хотя росла у нее борода, как у козла, жесткая и противная, хотя пахло от нее именно козлом, хотя один ее рог завивался направо, а другой налево, и даже Нинель, присмотревшись, увидела, что три копыта у этой ОхROMEишны женские, а четвертое — мужское, хотя питалась она одною лишь рифейскою чечевицей с сербскохорватскою приправой «вегета», и больше есть ничего не могла, — все равно будущего предсказывать не умела.

Обязанностей по дому, кроме добровольных, у Гликерии давно никаких не было. Доня с Нинухой управлялись и с бабьими делами, и за стариками присматривали, а что из мужских дел — так то либо рабы в подполе делали, либо Басилей-художник заходил и помогал. Дела у супругов давно и очень резко пошли в гору; на очереди за «обманками» хоть кисти Басилея, хоть кисти Веры стоял весь состоятельный Киммерийон; в гостиных теперь непременно висела хоть одна, хоть маленькая их картинка: лимон, к примеру, на початой колоде игральных карт, притом и лимон тоже початый, чистить его начали, и на краю корочки — муха небольшая. Или же портрет хозяина в древнекиммерийском костюме, у которого воротник эдакими зубчиками. Или пейзаж с Земли Святого Витта. Все, конечно, недешево — но и никак не дорого, потому что дорого супруги брать не соглашались. Оттого к ним очередь и стояла. А еще часть картин откупала Киммерийская государственная картинная галерея имени царствующего государя. Галерея была при Киммерийской академии наук, на острове Петров Дом, и пожизненным ее директором состоял президент Академии, академик Гаспар Шерош.

День был июльский и при этом пасмурный. Мельком глянув в окно на набережную, Гликерия заметила, что у парапета стоит и смотрит на Землю Святого Витта человек, которого вся Киммерия узнавала за версту: вот именно этот самый единственный на всю Киммерию академик. Человек хороший, пусть себе стоит, чистым речным воздухом дышит. Хотя с Земли, бывает, и банно-прачечные запахи долетают, но чаще пахнет просто речной водой. Поглядела Гликерия на спину академика и пошла к телевизору. Каналов нынче вон сколько, можно выбрать себе для созерцания.

Гаспар стоял, положив на парапет пачку авторских экземпляров, полученных в типографии на острове Зачинная Кемь, в сотне саженой от епископального собора Лукерьи Киммерийской. «Занимательная Киммерия» вышла на этот раз седьмым, очень сильно расширенным изданием, с цветными вклейками и в твердом переплете, что, конечно, весьма замедлило ее выпуск: типография, согласно решению кого-то из архонтов конца девятнадцатого века, работала без помощи электричества, как мельница — на лошадиной тяге. Два пары угрюмых меринов киммерийской породы безнадежно ходили по кругу, круг вращался — и через привод давал силу допотопным печатным станкам, типографию оснащавшим. Если не считать типографской краски и кое-каких переплетных

материалов, книги в Киммерии печатались совершенно чистые экологически. Слава Лукерье, чей собор был в двух шагах от типографии, что епископ Аполлос хотя бы освещение разрешил печатникам провести электрическое, хотя нынешними белыми ночами было это не столь и важно. А все-таки грело сердце Гаспара, что в традиционной двенадцатой корректуре книги не смог он найти не единой опечатки, — не считая того, что его имя на титульном листе было написано через «о». Забавно: в Киммерии слова растягивают, говорят напевно и долго — а тут присадили ему в имя говор «володимирский».

В позапрошлом году Гаспар отпраздновал свои пять декад — с этого дня, по общероссийским законам, пошла ему какая-то пенсия, вне зависимости от того, работал он или нет. Пенсию забирала жена, и дальнейшая судьба этих небольших денег была Гаспару совершенно неизвестна и неинтересна. Он как был Президентом Академии Киммерийских наук — так и остался, и жалованье при нем прежнее. Впрочем, жалованье тоже забирала жена, и дальнейшая судьба этих довольно больших денег тоже находилась целиком под ее контролем. Гаспару нужны были только карманные деньги на трамвай и случайные расходы. За наличием в его карманах этих весьма и весьма небольших денег строго следила жена — и Гаспара совершенно не интересовало, откуда эти деньги берутся. Гаспар был всецело человеком науки и только науки — хотя и киммерийцем до мозга костей.

Гаспар отдыхал: путь от типографии до академии, да еще с тяжелым пакетом, был для него нынче не так уж и легок. Он смотрел сквозь тронутые сединой ресницы на запад, на южную, банную оконечность Земли Святого Вита, — и дальше в зарифейскую, клюквенную даль, где уже в невидимой дымке скрывалась непреходимая граница Киммерии, Свилеватая Тропка, спина Великого Змея. Пейзаж был знаком Гаспару лучше, чем собственные пять загадочно длинных, киммерийских пальцев. Веки Гаспара постепенно смежались, слипались, и по привычке немедленно начинали обостряться другие чувства: слух, осязание, особенно же обоняние. И внезапно, в какой-то миг грань реальности разорвалась, и Гаспар учуял запахи, которых не чуял никогда — и чуют не мог; следом послышались столь же неведомые звуки, и незнакомый воздух хлынул к нему в легкие. Ибо, стоя на берегу великого Рифея, Гаспар Шерош учуял запахи и услышал звуки моря.

— Таласса... — прошептал он, но волна запахов захватила сознание. Пахло соленой, синей океанской водой, пахло гниющими на берегу красными водорослями и всем иным, что оставляет на берегу недавний отлив, — ракушками, обломками морящегося с незапамятных времен дерева — большей частью такелажного, пахло другим деревом, окаменевшим в воде за столетия и больше известным под беломорским названием «адамова кость», пахло обломками санторинских, крито-микенских трирем и остатками войлока, некогда оборачивавшего весла; пахло медью и бронзой уключин того века, когда железо было еще слишком дорого для такого прозаического устройства, — пахло пенькой и смолой, пахло канатами, сохнувшими парусами, дымком костра, на котором мальчишки — а то и взрослые — запекают мидий и крабов прямо в ракушках и панцирях; пахло босяцким тряпьем тех, кто чуть ли не

круглый год живет на морском берегу; пахло уж и вовсе невозможными вещами, подгнивающими корнями мангровых зарослей, пахло просыпанным из плотно набитых тюков пряностями, черным перцем и гвоздикой, выброшенной кокосовой скорлупой, несусветно сильно пахло слежавшимся песком и мшистыми прибрежными валунами, что оголяются лишь при самом низком отливе, и мокрым щитом Ахилла и подгоревшим панцирем черепахи, и слизию медуз и выделениями клювастых осьминогов, пахло кистями и перьями рыбы латимерии, пометом альбатроса и слюной буревестника, пахло даже встающим солнцем (которым пахнуть здесь уж и вовсе не могло — Гаспар стоял, обратив лицо на запад), — и чем еще только не пахло! Главное, что Гаспар точно знал происхождение каждого запаха. Родовая память киммерийцев, минуя тридцать восемь столетий добровольного затворничества, накрыла академика с головой, и ему не хотелось открывать глаза: он лишь впитывал в себя море, и одними губами шептал: «Таласса, таласса...», что продолжалось довольно долго, пока мысль о том, что это, быть может, ничего особенного, просто смерть пришла — не заставила его усилием воли открыть глаза. Перед академиком был родной Рифей, кативший воду на север, в нынче свободную ото льдов Кару, по которой проходит граница Европы и Азии. Перед ним был самый западный из островов Киммериона, Земля Святого Витта. И еще перед ним, на парапете набережной, лежала пачка авторских экземпляров седьмого издания «Занимательной Киммерии». Это ее запах, аромат свежей бумаги и типографской краски, принял Гаспар за все те запахи, что были перечислены выше, — и многие другие, промелькнувшие так быстро, что и не успело найтись им ни ассоциации, ни названия. Гаспар с любовью погладил верхнюю обложку. И с удивлением увидел, что на титульном листе опечатку в типографии убрали, да, конечно, но... Но золотом было оттиснуто на коленкоре обложки:

ГОСПАР ШЕРОШ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КИММЕРИЯ

А ведь пачка из всего пятитысячного тиража — академик знал это точно — была последней. Стало быть, опечатка оттиснулась на всем тираже. Неожиданно Гаспар засмеялся: он понял, что невероятный обонятельный сон, только что им унюханный, был не чем иным, как запахом опечатки. Гаспар мысленно плюнул на эту беду: то-то будет скандала и в архонтсовете, и в типографии, особенно же — в «Вечернем Киммерионе». На полгода растянется скандал, и сразу пойдет разговор о втором издании. Как обычно, Гаспар Шерош путал слова второе и следующее. Следующее издание обещало быть по номеру — восьмым. И академик уже знал, что оно будет дополненным, сильно расширенным. В частности, будет там рассказ, чем пахнет опечатка, если долго смотреть на запад, на Землю Святого Витта. И академик, настроение которого резко улучшилось, а сила вернулась молодая, легко подхватил пачку авторских экземпляров и зашагал вдоль Саксонской к себе, на остров Петров Дом, к рынку и родной Академии. По иронии судьбы через полсотни шагов встретился Гаспару известный мастер

по ночному ремонту мебели — Фавий Розенталь. Он-то и оказался первым человеком, презентуя которому свою книгу академик украсил титульный лист надписью, много раз повторенной впоследствии: «На память о том, как волшебным пахнет опечатка! Гаспар Шерош...» Ну, а дату академик от волнения поставил враную, даже годом ошибся. И месяцем тоже. Только число поставил правильное — двенадцатое — но это число для киммерийца круглое, его не перепутаешь. Как не будут, наверное, во Внешней Руси ошибаться, ставя под письмом любую дату двухтысячного года. Короток век человеческий, редко даты бывают такими круглыми. Ведь и мусульмане всего мира в году от Рождества Христова дтысячи семьдесят шестом в дате своего календаря ошибаться не будут, ибо по Хиджре это окажется годы тысяча пятисотый: впрочем, из мусульман в Киммерии была только Нинель. Фавий засунул книгу за пояс и пошел по своим делам, по той же набережной, но на юг, и напевал он в это время знаменитую мелодию «Караван», что к нашему повествованию не имеет решительно никакого отношения.

Покуда академик удалялся по Саксонской набережной на север, а мебельный ремонтник — на юг, что-то дурное стало твориться в покинутом ими месте. Саксонская, словно двухкилометровой длины автомобиль, вдруг зарычала своей шероховатой точильной поверхностью, встряхнула будто чубчиком, вечнозелеными ветвями киммерийских туй, потом рванулась куда-то — точь в точь громадный грузовик на большой скорости — затормозила и остановилась. Немногочисленные свободные от артельных трудов жители набережной, наученные многостолетним опытом, высыпали из-под крыш, они хорошо знали, что такое подземный толчок и как именно толкается Святой Витт. Толчок, однако же, больше не воспоследовало, лишь с визгом пролетел с запада на восток некий предмет и, вращаясь, вонзился прямо в мостовую у переулка с названием Четыре Ступеньки.

На этот раз Землю Святого Витта потрянуло так, как не трясло с одна тысяча девятьсот сорок девятого года. В банях на острове кусками полетела с потолков штукатурка; шипя, отворились закрытые краны для холодной воды и стали извергать горячую, краны же для горячей воды, напротив, вовсе перестали работать. В парилке возник голый призрак Конана-варвара; потрясая кулачищами, он бросился из банной части острова на кладбищенскую, но там произошло то самое, чего призрак опасался — и что регулярно один-два раза в столетие происходило.

Кол, драгоценный родонитовый кол работы знаменитого мастера Подселенцева, вырвался из каменной плиты солнечных часов и, вибрируя, улетел на восток. Землетрясение было глубинное, толчок шел из центра Земли по направлению, видимо, к орбите Плутона — и, хотя у поверхности Киммерии порядком ослаб, силы его хватило на то, чтобы кол с могилы Конана перелетел Саксонскую протоку Рифея и вонзился в мостовую Караморовой стороны точнехонько напротив знаменитой палеолитной статуи «Дедушка с веслом». Конана в тот день больше не видели (хоть и основатель города, хоть и призрак, а зануда все-таки), зато киммерийцы валом повалили разглядывать: как это кол, да на нем (молва доложила) семь разноцветных люф, перелетел через протоку и в новом

месте всторчился.

Хозяин кола был давно известен, да и принесло кол на этот раз почти прямо к его дому. Однако же Роман Подселенцев, очень недовольный тем, что его послеобеденный сон прервали таким грубым толчком, выхода из дома свою собственность не удостоил, а только передал через Нину-пророчицу, чтоб кол отвезли назад и воткнули обратно. В архонтсовете про землетрясение знали, и стражники городские, конечно, должны были принять меры по водворению кола на его изначальное местопребывание; никто посему не удивился, когда на Саксонскую вырулил и резко остановился полицейской «воронок», судя по номеру — из отделения с улицы Сорок первого комиссара.

— Обер-капитан её архонтского превосходительства Варух Анастасиевич Матерёв! — громко бухнул в дверь коротышка-адъютант, давая дорогу начальнику отделения, вот уже почти декаду лет как ни сном ни духом не появлявшемуся в нашем повествовании. — Открыть дверь и не супротивиться! Железный жезл районно-архонтской власти грохнул в дверь дома Астерия. Толпа, отвлекшись от довольно скучного разглядывания Конанова кола, перестроилась так, чтобы наилучшим образом видеть новое представление. — Открывай, Коровин, покуда миром прошу! — добавил Матерёв, ждать ничего не стал и подал знак своим ребятам: высадить дверь силой. Что они в доли секунды и сделали, образовав в прихожей кучу малу. Из глубин дома с трудом выволокли сильно постаревшего за эти годы, не продравшего глаз с пьяного просыпу Астерия и с размаху вбросили в «воронок». После чего представители закона отбыли куда хотели — совершенно не поинтересовавшись при этом чудом воздухолетного передвижения родонитового кола.

Ибо арестован был Астерий, как и следовало ожидать, по обвинению со стороны бобринной общины: и Мак-Грегори, и Кармоди, и даже совершенно беспристрастные озерные О'Брайены утверждали, что имело место у них на Мёбиях большое кровопролитие, в котором наиболее пострадавшей стороной опять оказалась старая перечница, вдова Мёбия-зубопротезиста, известная владелица фирмы «Мёбий и мать», вредная старуха Кармоди. Та самая старуха, которую вот уж полторы с гаком декады лет тому назад огрел по затылку неквалифицированный паромщик на двуснастной реке Селезни! Бобры требовали разобраться. Бобры призывали взять паромщика, так сказать, на цугундер. А уж на том цугундере вынести ему справедливый приговор за все выбитые бобрам зубы, за все порванные шкуры. Старуха была доставлена в бобрий госпиталь на Бобровом Дерговище, и каждый, кто желал, мог пересвистнуться с ней.

Александра Грек, озабоченная предстоящими ремонтными работами на мемориальном кладбище, велела пока что все насчет цугундера сделать так, как просят бобры, а разберется она сама, ближе к ночи — раз уж та все равно белая и сна от нее ни в одном глазу. А покамест в выходной свой день выпивший законную бутылку Астерий был грубо выдернут из блаженного отдыха — и ввержен в ПУ, «предварительное узилище», притом в общую камеру. И это в блаженные упорядоченностью времена архонта Александры Грек!..

Впрочем, пьяный в общей камере оказался не один Астерий. Там уже несколько

часов пребывал совершенно окосевший от дорогого миусского пива бобер Фи Равид-и-Мутон, застигнутый патрулем Караморовой Стороны на мостках возле часовни Артемия и Уара, свистящим песни совершенно неприличного свистосодержания. Бобер всю прогуливал ломбардные деньги, полученные на Срамной набережной, пил то темное пиво, то светлое, заедал их хмельными для его племени ивовыми прутьями — зная, что плыть на Мурло ему еще только через четыре дня, а тогда он будет трезвей Рифея-батюшки. На регулярной зарплате Фи растолстел, и побои, коим подверг его еще более пьяный лодочник (дабы отомстить всем бобрам на свете) своего действия не возымели, даже синяка на тудяге не осталось. В итоге к одиннадцати вечера по киммерионскому времени бобер и лодочник захрапели пьяным сном друг у друга в объятиях, а в одиннадцать сорок пять по вышеназванному времени в ПУ припожаловала собственной персоной госпожа архонт Александра Грек. Не то, чтобы ей все стало понятно с первого взгляда, личность Фи была ей незнакома, хотя все на одно лицо бобры ей казаться давно перестали. Зато сам факт, что в ПУ ввержен без суда и следствия, по очередной бессмысленной жалобе все же лучший из лучших лодочников Киммериона, многожды оклеветанный и ни за что ни про что опозоренный Астерий Миноевич Коровин — это было как-то уж чересчур. И личным своим устным архонтским приказом освободила она Коровина — вплоть до выяснения сути его провинности. Покуда Астерия будили и твердили ему, что ни в чем он пока что не виноват, Александра Грек приняла к рассмотрению и бобриную жалобу на него, выгрызенную на куске кедрового бревна. Архонт на бобриную жалобу читать не умела вовсе, но ее еврейский секретарь-толмач жалобу перевел бегло, прямо с коры. Архонт попросила прочесть еще раз. И еще раз выслушала. А когда поняла, что к поминальному побоищу на Мёбиях Астерий даже с превеличайшей натяжкой отношения иметь не может, единолично — архонтским кинжалом — на чистом русском языке начертала на коре кедрово-бобрьей жалобы: «Отказать; рассмотреть вопрос о привлечении всей общины бобров и отдельно клана Кармоди к судебной ответственности по делу об оговоре члена гильдии лодочников А. М. Коровина — согласно статье 285 Минойского Кодекса. Архонт Александра Грек».

По статье двести восемьдесят пятой дело оборачивалось нехорошо: уличенному предполагалась смертная казнь — либо же по очень долгому размышлению — прощение, но при повторном привлечении по этой статье никакого прощения не предвиделось. Дело пахло тем, что в близкой перспективе Римедиум Прекрасный мог оказаться заселен всецело кланом Кармоди. Обвинители, белой ночью получившие ответ на свою жалобу, со всех лап помчались к старейшинам на Мёбии; Коровин же — а с ним заодно и Фи, в обнимку — были отвезены на Саксонскую набережную и там у дверей дома Астерия оставлены. Была ночь, хоть и белая, но глубокая. Облака потемнели, впервые за несколько месяцев над Киммерионом пошел дождь, — не иначе как в результате землетрясения. Мигот протрезвевший бобер перевалился через парапет и вдоль берега поплыл к себе, под мост, к друзьям-колошарям; Астерий же на четвереньках полез к себе в берлогу, все-таки надеясь, что в записке у него

должна оставаться хотя бы чекушка бокряниковой.

Нашлась не чекушка, а два мерзавчика, что в России составило бы примерно обычных полбутылки, да только тут была Киммерия, и киммерийский мерзавчик спокон веков был больше русского вдвое — из-за длинных киммерийских пальцев — ну, и чекушка соответственно. Обиженный на весь мир, на полицию и особенно на бобров, Астерий выжрал первый мерзавчик одним глотком, даже не выпил, а вылил в горло. Стал ждать, чтоб полегчало, но почему-то не дождался. Выглянул на улицу, но на там шел дождь, и устроиться любимым способом на крыльце, чтобы распить второй мерзавчик медленно и со вкусом, возможности не было никакой. Взгляд лодочника медленно блуждал по прихожей, отмечая намертво замурованную дверь в подвал, рабочие весла у входа, ветхий табурет, другой ветхий табурет и еще третий табурет — не такой уж ветхий, но с отломленной ногой. В углу темнела куча: сюда бросал Астерий свою рабочую одежду. Завтра был к тому же и выходной! Ведь по велению еще древних архонтов тому, кого несправедно задержала стража, полагается отнюдь бы на следующий день в присутствии не идти, а лежать, отдыхать и принимать укрепляющие лекарства!

Астерий вспомнил про второй бокряниковый мерзавчик и немедленно принял из него половину — в качестве укрепляющего. Сел возле порога у открытой двери и стал смотреть, как полыхают сквозь дождь бледные зарницы немного потемневшего к середине ночи неба над Землей Святого Витта. Лютая злоба не успокаивалась и душила, пока из глаз не хлынули остервенелые слезы. Астерий поискал под рабочей одеждой и вытащил старинный тесак почти в аршин длиной, — на Руси такие когда-то именовались полусаблями. Тесак был ржавый, обоюдоострый, точней, обоюдотупой; он валялся тут со времен прежнего хозяина дома, лодочника Дой Доича, а в какое дело его Дой Доич употреблял, чтобы так затупить, даже и представить нельзя. Но для отмщения, которого алкала душа Коровина, нож годился. Ибо для успокоения сердца требовалось ему зарезать бобров. Желательно всех, или уж много, сколько силушки хватит, потом вяжите меня, люди добрые, сам во всем сознаюсь, но так, как теперь — жить больше не хочу и не могу, заели меня окаянные бобры. Не бобр человек человеку, никак не бобр!

Точило! Полмира за точило! Впрочем, даже обозленный и очень пьяный Астерий помнил, что парапет у набережной — как и вся Саксонская набережная — было сложен из точильного камня. Вода падала с небес. Даже не напяливая спецодежку, в чем был (а был почти ни в чем, в одних только черных трусах дореставрационной эпохи), Астерий вылетел из дома и стал править тесак о парапет, обильно поливая его слезами. Вскоре ржавчина поддалась, из-под нее проступил благородный блеск, в блеске отразились дальние зарницы, мерцавшие на другом конце города, над Землей Святого Эльма. Ярость Астерия росла с каждым «вжжик!», и уже не просто бобриной крови жаждал он, а всей, всей, всей бобриной крови! Наконец, на взгляд Астерия клинок превратился в грозное оружие.

Лодочник вскочил на парапет, крест-накрест взмахнул над головой тесаком, рассекая струи ливня — и бросился в Рифей.

Полчища бобров ему там, понятно, почетной встречи не организовали, даже наоборот, из-за дневного толчка на Земле Святого Витта из Саксонской протоки все бобры нынче убрались, разве что сидели две-три старухи из числа безродных под навесом у бань. Так что никаких врагов разъяренный Коровин в Рифее не обнаружил, а если учесть, что набережная уходила в воду вертикально до самого рифейского дна, то есть почти на полверсты — отягченный старинным тесаком Астерий попросту стал тонуть. Захлебываясь, он рубил воду, пока не потерял сознания, и лишь после этого чьи-то могучие руки потянули заранее заготовленный в доме Романа Подселенцева канат.

— Тяжел, тяжел, — говорил Варфоломей, отдуваясь: даже для него общий вес длинного каната, широкой сети и попавшего в нее Астерия был великоват. Но что поделаешь: Нина Зияевна специально по телефону вызвала с Витковских Выселок и предупредила, что сегодня сосед-лодочник топиться будет. А он для поездок к Павлику пока еще необходимый. Лодочник с большим ножом топиться будет, поэтому пусть немножко сперва утонет и нож выронит — тогда его и тащить можно будет.

Ножа вынутый из сети Астерий из руки так и не выпустил, Варфоломею пришлось разгибать пальцы боброненавистника по одному. Потом богатырь поднял его за ноги и долго так держал — покуда из пьяного пострадавшего не вылилась много рифейской воды и некоторое количество крепчайшей бокрянниковой настойки, запах которой заглушил все прочие, после чего Астерий был уложен на дерюгу просыхать, и сразу захрапел, — видимо, остаток спирта в его организме пришел в гармонию с остатками воды.

И снилась ему сначала буква «А», с которой начиналось его имя, но маленькая «а», сильно перекатывавшаяся с боку на бок и норовившая потерять хвостик, чем-то похожий на кол, — потом хвостик отвалился и сгинул, и от буквы осталось обыкновенное «о». Вглядевшись в самую глубину этого «о», Астерий вдруг увидел внутри набегающие волны, и море хлынуло ему навстречу. «Таласса», — попытался сказать он, растягивая губы в пьяной улыбке.

Пророчица покачала головой, потому что ей, как и ее далеким предкам с волжских берегов, чужой сон обычно бывал виден. Она давно отпустила торопившегося к жене Варфоломея (у него намечался с ней очередной медовый месяц после очередного развода), и сидела возле лодочника, чтоб тот опять чего, очнувшись, не натворил.

Белая ночь постепенно переходила в белый день, который — как знала Нинель — начнется специальным утренним выпуском «Вечернего Киммериона», с первой до последней строчки забитого событиями Караморовой Стороны и Саксонской набережной, а также посвященного возбуждению архонтом Александрой Грек уголовного дела против клана Кармоди. Как и все киммерийские процессы, этот будет тянуться два столетия — и ничем не кончится. Но событий-то будет, событий вокруг этого дела!

Вон, лежит событие, только что чуть не утопшее. Но рано ему пока тонуть.

Потому как угодна царю его служба.

И нынешнему угодна, и грядущему.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 30

Евгений Витковский

XXX

Ну, а у нас <...> с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обновление, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела.

Николай Лесков. Воительница

Голос Либермана, с паузами после каждого слова зачитавший вступление к народовоспитательной лекции, сменился в наушниках хорошо знакомым всей России старческим тенором академика Андрея Чихорича. Старику давно стукнуло девяносто, награды для него оставалось только придумывать, ибо все мыслимые он уже получил, но это его совершенно не волновало, он, видимо, вообще решил не умирать и, — несмотря на годы, не по своей воле проведенные в юности на Шантарских островах в Охотском море, — чувствовал себя прекрасно. Обретя в лице государя верного союзника в области русской истории, академик добился и того, чтобы курс его лекций (известный под сокращенным названием «Защита истинной подлинности») стал обязательен для всех государственных служащих. Ивнинг вздохнул. Нужно слушать. Ладно, в дороге заняться и так нечем, в танке тесно, а наушники отгораживают еще и от грохота.

«Сведения о том, что первый список «Слова» сгорел в пожаре Александрийской библиотеки в 641 год по Рождеству Христову, или даже в 391 году, как утверждает азербайджанский академик-панисламист Хабиб Эль-Наршараб, следует признать если не ложными, то едва ли достоверными. Первый достаточно исправный список «Слова» сгорел в Смоленске летом 1340 года, в начале августа — впрочем, вместе со списком сгорел и весь город. Другой список, не столь чисто переписанный, изобилующий тюркизмами и подозрительно поздними титлами, сгорел в Новгороде весной 1368 года, накануне известной засухи. Пятью годами позже, после того, как Волхов на протяжении семи дней тек в обратном направлении, пожар в городском кремле Новгорода уничтожил также и копию этого списка. Из достоверно известных копий «Слова» еще одна сгорела во Пскове в середине июня 1385 года, на чем ужасные события четырнадцатого века окончились, однако в пятнадцатом веке систематическое сожжение списков «Слова» продолжилось.

В 1413 году, во время пожара, целиком уничтожившего Тверь, погиб знаменитый «Арянский список», украшенный шестьюдесятью миниатюрами, среди которых имелись истинные шедевры русской рукописной графики — в частности, «Князь Игорь в заточении», «Ярославна на стене Путивля», «Обретение списка боярином Миколой» и целый ряд других...»

Лекция была не из самых скучных, в прошлый раз пришлось слушать насчет

того, что Добрыня Никитич — это прообраз воспитателя древнегреческого бога медицины Асклепия, мудрого кентавра Хирона; ну, а поскольку древней Греции не было вовсе, поэтому... Ивнинг что-то проспал дальше, но, помнится, именно благодаря гению Добрыни выходец из рязанского села архитектор Ленка Нутро, взявший при дворе Людовика Четырнадцатого псевдоним Ленотр, сумел измыслить такое прехитрое дело, как парк Версаль. Впрочем, это вполне могли быть две разных лекции: с Ивнинга, как с ведающего делами личной канцелярии императора, экзамен едва ли кто мог требовать. А если требует император — ну, что тогда, значит, придется все эти лекции выучить. Не первый раз уже.

Анатолий Маркович Ивнинг давно привык, что царь его регулярно карает, но от дел не отстраняет, ибо не любит новых лиц. А кто, как не Ивнинг, подал царю идею сделать обязательным для православных подданных империи соблюдение русских народных обычаев на праздники? Скажем, теперь в обязательном порядке под Крещение нужно собирать снег со стогов, дабы не абы как, а истинно благолепно отбеливать холсты. И никого не касается, что ближайший стог от тебя за сорок верст, и что холстов ты сроду не отбеливал, да и не собирался. А вот не ленись, доберись до стога, снегу собери — да когда будешь отбеливать холсты, его непременно используй. Когда ты их будешь отбеливать — твое дело. Но под Крещение — уж будь добр, найди стог да собери снег, и не забудь зарегистрировать его у крещенского инспектора Державствующей церкви. Не сделал — плати епитимью. Всего-то два императора в год, есть о чем разговаривать. Для казны идея оказалась золотая, а царь именно такие выше всего и ценил. И всегда помнил — чья идея.

Танковая колонна уверенно шла по лесотундре Великого Герцогства Коми, где невидимо для посторонних людей пролегалась так называемая «Камаринская дорога». Чуть не год ушел у Ивнинга, чтобы разузнать ее и нанести, хотя бы приблизительно, на карту: сперва была путаница из-за того, что вообще-то на Руси «Камаринской дорогой» именовался путь на Золотую Орду, понынешнему — на Астраханскую губернию. Но подлинная «Камаринская», как установил еще в тридцатые годы все тот же Андрей Чихорич, существовала задолго до того, как появились на Руси первые татары, «прототатарии» по-славянски. Нынешней осенью, во время празднования столетия изобретения папирос, Чихорич прямым текстом сказал о «тысячелетней камаринской», а если тысячелетняя, то какая же на Астрахань может быть Камаринская? Новгородские архивы, конечно, сильно погорели во время испанской оккупации сороковых годов (за что император все собирался требовать долг с Испании, только вот все руки не доходили), однако не настолько, чтобы агенты Ивнинга, оформленные официально как «аспирантская рота» действительного тайного советника (то есть статского генерала!) академика Андрея Чихорича, вовсе не нашли следов. Россия — страна древняя, не Америка чай какая-нибудь: сколько доносов аспирантики нашли, тем доносам тысяча лет, на бересте написаны — а мер по ним все еще никаких не принято. Но в России меры свои, и время тоже свое, нельзя его мерить иначе, как только по-русски, пусть это и не самый простой на свете способ.

Так вот: Марфа-Посадница, в припадках ярости проклиная то Москву, то её поганого союзника, икарийского хана, забыла отдать приказ о сожжении списков «печорской дани», которой Новгород в свое время мирно откупался от Киева. В списках же этих ясно стояло, что печорская меховая и рыбно-деликатесная дань складывалась исключительно из камаринских товаров, — таких, как семга и точильный камень, — шедших с камаринской же дороги, пролежавшей южнее, от Волги мимо Новгорода на восток, к Чердыни — направляясь несколько северней оной, то есть, проще говоря, к Уральскому Междозубью, к единственному проходу через горы Северного Урала в Сибирь, не считая ледяного заполярного обходного пути, которым даже и теперь едва ли кто пользовался. Камаринская дорога упиралась куда-то в верховья Печоры, где — теоретически — процветал Императорский Печорский Заповедник, в давние годы облюбованный царем на будущее для большой псовой охоты. Но поскольку государственных дел всегда особенно много бывает у делового государя, то на охоту царь не поехал ни тогда, ни позже, и не только на Печору, а вообще никуда и никогда.

Ну, и чего после этого стоила хваленая советская картография? Все секретные аэрофотосъемки? Получалось так, что шпионская связь у предков с потомками на Руси как функционировала в прежние века хреново, так и теперь потомки предкам могут сказать свое низкое спасибо.

Спутниковое слежение подтвердило существование незримой дороги. Беря и название, и начало от старинного города Кимры, вела эта дорога, ни на каких планах не обозначенная, через Вологодскую и Пермскую губернии в Великое Герцогство Коми, и длиною была в тысячи верст, да и путников, притом исключительно пеших, с мешками, по ней передвигались тоже тысячи. Путники эти вели торговлю кое-какими культовыми мелочами, что Ивнинга совершенно не волновало — и благодаря этому, сам того не ведая, он оставался жив по сей день. Сунься он бороться с упомянутыми путниками, возьмись он выкорчевывать из русской земли «Кавелево семя», как попробовал в свое время митрополит Фотий Второй — расцвели бы огненными шарами и его самолет, и поезд, и автомобиль, и, в конце концов, аквариум в его кабинете. Но Ивнинга интересовали не религиозные побрякушки, — потому как по вероисповеданию был он простой православный «голубой» с письменно отпущенным грехом голубизны, — а только царь, только недовенчанная царица, куда-то девшаяся, только недопривенчанный царевич, девшийся туда же, куда царица. Сектанты Российской Империи уважали чужие заскоки, если человек не лез в их дела, то и его не трогали. В чем и была неожиданная, никакими предикторами не предвещанная, сила Ивнинга.

Почему же князь Гораций не дал прямого, благополучного прогноза на нынешний поход? Он, впрочем, согласился, что идти в этот поход Анатолию Марковичу необходимо. И даже посоветовал тихо сидеть в самом последнем танке, замыкающем колонну. И пообещал, что голова его, Анатолия Марковича, останется после этого похода у него на плечах. А больше ничего не пообещал — сказал, что играть хочет. Парню давно за двадцать пять, вон, его коллега в штате Орегон пятикратный папаша, а этот не только никак не женится, а все

играть не перестанет. И не голубой даже, а то Ивнинг уж знал бы! Интересно, чем он с компьютером занимается, виртуальным сексом, или как?

Долготерпение царя тоже могло иссякнуть. Царевичу, если он жив-здоров, а это с гарантией так, не то предикторы дали бы знать, шел четырнадцатый год, будь царевич евреем — стоял бы на пороге совершеннолетия, и даже не будучи евреем, тоже едва ли мог считаться недорослем. В пятнадцать лет царевича должно показать народу. Точка. Значит, времени больше нет, значит, нужно идти и брать штурмом... подземный город Киммерион? Ни наблюдения со спутников, ни прямые допросы егерей заповедника существования в этом месте какой-либо цивилизованной деревни, даже в одну улицу, не подтверждали. Была, впрочем, гряда каменных столбов на склоне Уральского хребта, куда и альпинисты не совались — натуральный каменный лес. И получалось, что именно там, под лесом этим, скрыт подземный город, где издается газета «Вечерний Киммерион», идет веселая трудовая жизнь, признается верховная власть российского императора, а население ни в каких гражданских реестрах не числится. Натуральный Китеж, да и только. И есть туда лишь одна дорога, и ходит этой дорогой несколько тысяч человек. А где пройдут несколько тысяч человек — там, надо полагать, пройдут и несколько десятков танков.

По наушнику Ивнинга постучали: колонна, как и было уговорено, остановилась и сейчас глушила моторы, оказавшись на расстоянии десяти верст, замеренных заранее до предполагаемого входа в подземный город. По случаю осени в этих краях стояла уже самая настоящая зима, и танки шли если не как по плацу, то и не вязли. Плоские, обтекаемые машины класса «Т-172» вообще мало что могло остановить, кроме озёр кипящей магмы или прямого попадания крылатой самонаводящейся ракеты класса «Первомученик Стефан» с оч-чень, оч-чень солидной боеголовкой. Да и то потерял бы танк всего лишь часть подвижности и долю боеспособности. Серьезные машины производил Императорский тракторный завод тяжелого танкостроения имени Суворова-Рымникского в родном царю Екатериносвердловске. Таких машин в поход на Киммерион Ивнинг одолжил на Валдае сорок две, предполагая, что этого хватит. Четыре тяжелых бомбардировщика поддержки стояли готовыми к взлету на аэродроме в Карпогорах. Не совсем законно перемещенный геостационарный спутник над головой передавал нужную информацию во все стороны.

Ивнинг, наученный горьким опытом тринадцатилетнего служения царю, отнюдь не предполагал въехать в подземный Китеж за здорово живешь. Прежде всего, он был уверен, что вход окажется замаскирован — и, быть может, не один день искать придется его. Да и в пещерах от геостационарного спутника, равно как и от самолетов, толку мало. Он вообще-то хотел бы договориться с этим городом мирно. Чтобы его никто не трогал, тогда и он ничего тут не хочет. Пусть выйдут наружу будущая императрица и наследник престола, разъяснят ему, почему они тут прячутся, — а потом, если император разрешит, даже возвращаются назад и никуда не едут. Может, тут безопаснее. Отец-император это понять может. Но пусть скажут, когда все ж таки в Москву явятся. Государь не бронзовый, у него терпение на исходе.

Не будь Ивнинг столь мирно настроен, повесть о нем кончалась бы на

следующем абзаце. Передовой танк колонны, о чем сам Ивнинг ведать не мог, стоял в полусажени от головы Великого Змея.

«Наибольшую известность получил список «Слова», сгоревший при пожаре Москвы во время французской оккупации одна тысяча восемьсот...» На этой фразе Чихорича Ивнинг кассету отключил и наушники снял. Сколько «Слово» ни гори, все одно нетленно. Ни к какому другому выводу Чихорич прийти не мог. Ивнинг был согласен и на такой вывод, и на любой другой. Лишь бы государь доволен был, не волновался лишней раз. Женскую нежность женская душа Ивнинга изливала на царя в виде материнской заботливости. Не случайно же из всех слов именно слово «мать» наиболее любезно сердцу истинно русского человека!

— Ваше превосходительство! — Ивнинга звал по внутренней связи немолодой, несимпатичный и совсем неголубой адъютант, в этом походе размещенный в передовом танке и на всякий случай наделенный даже правом принимать кое-какие решения самостоятельно — Осмелюсь доложить: человек с двумя мешками слева параллельным курсом!

— Взять. Доставить ко мне. — коротко ответил Ивнинг. Приказ выполнили с немислимой скоростью. Голубой генерал-майор с ногами различной длины только и успел выбраться из танка, а задержанного уже поставили пред светлые очи, предварительно отобрав заплечные мешки и застегнув руки наручниками: причем по-хамски, за спиной. Ивнинг поморщился: ну, однако, жлобы! Может, это местный обыватель.

— Наручники снять. — скомандовал он, и приказ был мигом выполнен. Арестованный поднял голову. Очень немолодое, совершенно иконописное лицо офени несколько потрясло действительного статского советника. Обывателей с таким лицом не существует. Разве что на загадочном русском севере, где по собственной инициативе (да и вообще) Ивнинг оказался впервые. Тут с одной стороны — тундра и скалы, а с другой — скрытые подземные города. Ивнинг всегда знал, с чего начать разговор.

— Почтенный, куришь? — и протянул золотой портсигар. Сам он никогда не курил.

— Грех великий. Не курю.

— Ну, ладно. А служишь кому?

— Господу Богу, да еще царю-батюшке!

У Ивнинга отлегло от сердца: случай послал одного из тех, кто ходил по Камаринской дороге, кого только и нужно было — отпустить. И поглядеть, куда пойдет. С помощью спутникового луча. Готовый маршрут.

— Вот что, почтенный, — закончил беседу Ивнинг, едва начав, — ты на моих ребят зла не держи. Тут ведь края глухие, а у нас обычное дело — патруль. Бери свои мешки и ступай с Богом. Может, в чем нужда есть, хлеба тебе дать, вина, одежды? Или с батюшкой нашим хочешь поговорить, коли давно у исповеди не был? Словом, говори, если нужда есть.

Офеня на глазах светлел лицом, а в конце и вовсе успокоился. Царские люди не изверги, он это и от других офеней слышал. Ну, служба у них своя. А при нем два пятипудовых мешка муки, только и всего. До Лисьей Норы верста с

киммерийским гаком, оставалось лишь дойти и шагнуть в ее долгие потемки. Но и отказываться от предложенных — видать, от всей души, — даров не позволяло воспитание.

— Мне бы... Мне бы свеч сальных, иль стеариновых... Если нет, так и не обижусь... А так — век благодарен буду.

Ивнинг подал знак. Денщик извлек из его личного багажа денщик извлек с десяток толстых церковных свечей, подлинно восковых, кремлевского литья. Перекрестившись, Ивнинг поцеловал свечи и протянул офене. Тот прослезился.

— За кого Бога молить, батюшка?..

— Анатолий я... и в крещении, и так...

Офеня поклонился в пояс, принял свечи, поцеловал их — и тоже перекрестился — двойным офенским крестом: сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево. У Ивнинга глаза на лоб полезли, такого креста он за всю жизнь не видел. Но виду не показал.

— Третьего декабря к вашему ангелу в соборе непременно поставлю...

Премного благодарим, выше высокоблагородие.

Ивнинг мысленно улыбнулся по поводу народного, не существующего в табели о рангах титулования. И окончательно решил до последней возможности попытаться сохранить офеню живым — уж за одно то, что он правильно назвал день его ангела, — что было в общем-то случайностью, ибо Анатолиев в году много. Но ни в какие случайности Ивнинг не верил.

Дальше черепаший темп развития событий продолжался еще около часа, а потом со спутника пришла картинка: отпущенный офеня уходит в гору, под скалу диковатой конфигурации: словно кто-то растил-растил сталагмит из теста, а потом со зла по нему сверху хлопнул. Таких скал в окрестностях стояли многие тысячи, но компьютеры считают быстро, и готовый маршрут для танковой колонны был готов в доли секунды. Еще через полчаса передовой танк стоял перед овальным отверстием в горе, в котором темно было, как... Ивнингу не хотелось вызывать ассоциации из прежней жизни, но там, пожалуй, именно так и темно. Хотя негров он вообще-то не любил. Не из расизма, а просто не любил. За сексуальный расизм даже налога нет и, Бог даст, покуда он, Ивнинг, близко от власти — не будет такого налога.

Уже сейчас на дисплей вышла мультипликация: приблизительно так выглядело место, в которое ушел помилованный Ивнингом офеня. Вернее — так должно было выглядеть. Прямое наблюдение давало лишь картину нагромождения скал, поросших гнилыми елками, уходящий вверх склон, а над ним диковатые приплюснутые сталагмиты-скалы — в количестве, явно превышающем необходимое для Урала, где древние горы чаще выветрены и изъедены эрозией ветра и воды. Чем-то были похожи эти скалы на уличных разносчиков, вознесших над головами лотки с пирожками.

«Ничего себе пироги...» — подумал Ивнинг. Первый танк, согласно предварительно отданной инструкции, вошел во тьму пещеры, и связь с ним прервалась: видимо, из-за толщи камня. Следом вошел второй. Третий.

Десятый...

Сорок первый. Снаружи оставался лишь танк самого Ивнинга, полностью

потерявший связь с кем бы то ни было, кроме спутника и аэродрома в Карпогорах. Ивнинг сделал знак «пилоту», чтобы заглушил мотор. Потом поднялся и выглянул из открытой башни.

Дыра, саженей в двадцать шириной и вдвое ниже по высоте, была налицо. И дыра эта на глазах затягивалась. Через две-три минуты черные, похожие на кладбищенский лабрадор, стенки дыры, словно диафрагма, собирались сойтись и проглотить сорок один танк — все, шедшие в авангарде. Ивнинг был не робкого десятка, но такое видал только в фильмах ужасов — а их он смотреть не любил, и потому видел совсем немного.

Черт возьми, князь Гораций, кажется, знал, что говорит, когда советовал генерал-майору статской службы садиться в последний танк!

И тут случилось такое, чего даже в фильмах ужасов Ивнинг не видал. В десяти шагах от первой дыры надулся в каменной стене пузырь, лопнул, — из него, пятясь задом, выехал танк. Выехал, но не весь: пушку, как киплинговского слоненка, стена держала за конец. Рядом с первым пузырем надулся второй. Третий. Уже понимая, что пузырей этих сейчас будет ровно сорок один, Ивнинг почувствовал на своих ногах влажное тепло. И осознал, что перед его танком — единственным, сохранившим пушку, никакого отверстия в стене нет. Из открытой башни первого танка вылез немолодой-несимпатичный адъютант Ивнинга, орущий в микрофон не своим голосом.

— Ноль-ноль-ноль! Мать вашу, три нуля! Три! Три! Три...

Ивнинг узнал код «Колонна подверглась нападению» и двинул ногой своего пилота:

— Взять этого сумасшедшего и заткнуть ему хайло! Он сейчас всех нас угробит, он вызывает огонь на поражение!

Пилот и двое телохранителей Ивнинга бросились выполнять приказ, и выполнили с похвальной поспешностью, но отменить команду, данную группе из шести самонаводящихся ракет в Карпогорах не мог теперь даже царь. Все сорок один влипший носом в каменную стену танк раскрылись как один, и танкисты посыпались из них горошинами из стручков. ОЧПОНовцы бежали прочь от каменной стены «за ближайшее укрытие», до которого — как прикинул Ивнинг — бежать им день или два. Ракеты же поразят самую середку каменных зарослей через считанные минуты. Ивнинг рухнул в танк, никаких приказов отдать не успев, потому что все возможное успели без него: люк задраен, курс изменен на сто восемьдесят градусов, скорость взята максимальная. Больше никто ничего и сделать не мог, а вот запах в кабине стоял неприятный. Ивнинг похвалил себя: он-то как-никак всего лишь обмочился.

За безопасное расстояние от этой проклятой стены Ивнинг считал бы сейчас не меньше, чем тысячу, а лучше две, верст, но убраться он — хотя не бежал ногами, а ехал гусеничным ходом — успел только на версту с небольшим.

Дисплей передал со спутника картинку, которую затем изучали во всех секретных институтах Российской Империи, так и не придя, однако единому мнению. Над грядой скал вознеслась какая-то длинная хреновина, то ли шея динозавра, то ли туловище змеи, увенчанная колоссальных размеров лицом —

человеческим лицом, идеально красивым, каким-то даже «древнегреческим»; под подбородком меж тем извивалось что-то небольшое, отдельное, ни на что не похожее. Идеальное лицо раскрыло рот, словно хотело сказать «О-о!», рот растянулся, и именно в него, а не куда-нибудь еще, одна за другой влетели все шесть крылатых ракет. Лицо умильно улыбнулось, сомкнуло губы, улыбнулось умильной и отстраненной улыбкой — и погрузилось за скалы вместе с шеей. Но все эти детали Ивнинг рассмотрел позже, а сейчас его интересовал визор прямого наблюдения, там видна была скальная стена с позорно взятыми за носы танками, а справа... Справа от сиротливых танковых слонят нагло и спокойно разворачивалась диафрагма той самой дыры, в которую ушел помилованный офеня, и в которую он, Ивнинг, слава Богу, не полез. Во внезапном озарении, ведать не ведая, что творит, управляющий делами личной канцелярии императора перекрестился правильным, двойным офенским крестом. Потом упал на подушки и замер, задев по дороге наушники.

«Систематическое сожжение списков «Слова» продолжилось и после войны двенадцатого года.» — тут же включился Чихорич, — «Пятого июня — но новому стилю — тысяча девятьсот шестого года во время пожара, целиком уничтожившего Сызрань, в собрании местного собирателя старины Терентия Сударева погиб так называемый «сударевский» список; наконец, в начале тридцатых годов, в Москве, на Большой Садовой улице, в доме за номером триста два...»

Ивнинг дотянулся и отключил лекцию. Сюда бы сейчас Чихорича лично. Какие бы он, интересно, порекомендовал противопожарные методы? И только обмочился бы, или еще что?

Оклемался Ивнинг только в Усть-Сысольске, куда въехал скромно, на реквизированном ЗИПе, оставив танк в подарок расквартированной поблизости части. Он наглотался транквилизаторов и сел изучать донесения из Карпогор, где половина персонала от ужаса пока что говорить не могла, а вторая половина дружно несла чушь совершенно несуразную, — мол, появился возле аэродрома престарелый, хромой и горбатый Змей-Горыныч, ростом с приличный кедр, на одном костыле и с одной головой; предьявлял всем и каждому две культи, оставшиеся от отрубленных неизвестным богатырем голов, а также почти целиком разорванное по сухожилию крыло, другим же крылом при этом опираясь на костыль, и слезно просил подать ему Христа ради, изъясняясь старинно и былинно, с зачинами и рокотаниями, как профессиональный сказитель. Не обретя среди слушателей ни ценителей, ни подаяния, Змей-Горыныч сменил репертуар и запел, как поездной слепец: «Когда-а я на по-очте служил я-амщико-ом...» Милостыни ему и теперь не подали, уже от оцепенения, и тогда отчаявшийся персонаж русского фольклора сунул уцелевшую левую крайнюю голову в клуб, прихватил зубами видеомагнитофон с монитором — и тем утешился. Переложив добычу под крыло, опиравшееся на костыль и, удовлетворенно пуская из ноздрей слабый дымок, Змей-Горыныч удалился якобы засим в направлении неизвестном. Все свидетели единодушно утверждали, что в магнитофоне находилась видеокассета с записью знаменитого кинофильма семьдесят третьего года «Большая нужда».

В другое время Ивнинг объявил бы свидетелей психами и отправил на экспертизу в институт имени Канатчикова, а тут всему поверил и приказал считать инцидент исчерпанным. Усть-Сысольское градоначальство почтительно вручило Ивнингу конверт, опечатанный личным перстнем императора: утром его доставил прямой курьер из Москвы. Ивнинг понимал, что сейчас будет ему на орехи.

И — ошибся. Высочайшим повелением за операцию, отлично проведенную в условиях, максимально приближенных к боевым, он, Анатолий Маркович Ивнинг, возводился в чин тайного советника, что соответствовало воинскому званию генерал-лейтенанта, военно-морскому званию вице-адмирала и придворному — обер-шталмейстера, а если б он, Ивнинг, оказался казачьего рода-племени — то чину войскового атамана. Короче говоря, отныне Ивнинг был уравнен в правах и званиях, к примеру, со знаменитым академиком русской исторической словесности, Андреем Иродионовичем Чихоричем. Вторым указом государь приказывал немедленно забрать в каком-то небольшом городке Тверской губернии все жалобы и прошения, скопившиеся от жителей Киммерийской волости — с точным указанием, где, у кого и как следует таковые жалобы получить. Наконец, Ивнингу отдавалось приказание в скорейшем времени разработать проект торжественного въезда в столицу — его, государя, негласной невесты княгини Антонины вместе с будущим наследником престола Павлом: приезда княгини и наследника следовало ждать к следующей годовщине коронации, в ноябре будущего года. А последним приказом государь направлял Ивнинга из Усть-Сысольска на остров Валаам, где должна была состояться церковная и гражданская панихида по внезапно скончавшемуся в местной больнице всемирно известному мореплавателю Хуру Сигурдссону. О смерти последнего Ивнинг еще не знал, но в самое краткое время установил, что убила славного покорителя морей и древних цивилизаций мысль о том, что именно на Валааме находятся руины самой наидревнейшей из всех известных человечеству цивилизаций — такой, древнее которой человечество никогда не создавало, да и не создаст.

Дождавшись удобного момента, уединившись в кабинете местного губернатора, Ивнинг подсчитал, с какой стороны от Усть-Сысольска находится Москва, и перекрестился на нее правильным двойным офенским крестом, перенятым от помилованного офени, затем отвесил низкий поясной поклон. И снова ошибся, как может ошибиться любой, оказавшись в незнакомом дотолем помещении. Сам того не ведая, крестился и кланялся Ивнинг никак не в сторону столицы, а прямо в сторону Киммерии.

Евгений Витковский. Земля святого Витта.

Часть 31

Евгений Витковский

XXXI

Вот так же и мне следует ждать небесного знамения, хотя совершенно ясно, что

высоким суждением великого божества я давно уже призван и предназначен к блаженному служению.

Апулей. *Метаморфозы*

Павлик проснулся очень рано. За окном была темень, но он слышал: дует не один, а сразу два ветра. И понял, что стал взрослым. Впрочем, по-киммерийски взрослым он был с того дня, как стукнула ему киммерийская декада лет: с этого возраста с разрешения главы гильдии могут даже принять в нее полноправным членом. Но пока что гильдии царевичей в Киммерионе не было.

Под подушкой лежала книга, из числа принесенных в замок последними гостями. Черногорский писатель Момчило Милорадович написал роман «Дочь каховского раввина» — который стал мировым бестселлером и в первый же год был переведен с черногорского на сто сорок языков. Роман повествовал о неведомой стране Киммерии и жителях ее, киммерийцах, не оставивших после себя на земле ничего, кроме имени. Кто-то из офеней прихватил эту книгу в Киммерион, видать, от изумления: он-то знал, что Киммерия не только была, но и есть, и ежели какое-то испытание «левиафаном да елефантом», согласно легенде, благополучно вытерпит, то будет стоять еще до остервенения. В Киммерионе книга никому не понадобилась, — Гаспар, должно быть, сидел в типографии за корректурами, — и попала в графский замок. Узнал Павлик из книги, что увидит Киммерию лишь тот, кто отведаст хлеба, испеченного кентаврами. Словом, занятная была книга, но Киммерия в ней была не родная, а какая-то другая.

А здесь, в родной Киммерии, стояла зима, — тем более в замке графа Палинского, на высоте двух верст по прямой от озера Мурло, в которое граф, впрочем, и сейчас прыгал не реже двух раз в общерусскую неделю. Время здесь, похоже, шло только для Павлика, из маленького мальчика превратившегося в юношу: курносого в отца, крепкокостного в мать. Ему шел пятнадцатый год, он бегло говорил на киммерийском и французском, — прочие как-то не пошли, увы, знал выездку и вообще был с лошадьми накоротке не хуже графа, а управлялся с ними почище графского камердинера Прохора. Его слушались птицы и змеи, ему — и только ему — принадлежала картинная галерея, где супруги Коварди повесили великое количество картин, изображающих его любимых зверей, мамонтов: идущих на водопой, вступающих в битву друг с другом и с большими кошками, — притом из пасти кошек торчали бивни лишь немногим меньше, чем у мамонтов; тут были мамонты отдыхающие, мамонты, взбирающиеся на гору для поклонения его сиятельству графу Сувору Палинскому и для встречи с его высочеством Павлом Павловичем, — тут были мамонты в окружении мамонят и мамонты в окружении бобров, тут были все на свете мамонты, каких мог затребовать мальчик Павлик: супруги Коварди держали слово и рисовали их в любом количестве, притом — только для Павлика. А Павлик, соблюдая слово, данное самому себе, мог подарить кому угодно и что угодно, но никогда не должен был отдать никому ни единого мамонта. И крестная его матушка, Василиса Ябедова, очень была довольна, что у мальчика такой твердый характер.

По специальному разрешению, выданному графом в ответ на письменную просьбу, Василиса посетила крестника на Палинском Камне. Ее совершенно не испугал подъем по лестнице в две версты высотой, хотя за крепость самой лестницы она и опасалась, зная свои немалые габариты: в офенской гостинице, где она состояла шеф-поваром, уже давно расширили все двери, которые могли ей понадобиться, — в обычную дверь Василиса не проходила даже боком. Но и силушки в крестной матушке царевича было заложено не меньше: в каждый двенадесятый праздник она, возвратясь от вечерни, завязывала бантиком кочергу. Эта кочерга, напоминая обо всех делах, намеченных на ближайшие дни, лежала под окном в кухне до следующего праздника, а потом Василиса завязывала новую. Прежние кочерги раз в год забирала оружейная гильдия и отвозила к себе на Самопальный остров в переплавку. На такую женщину нержавеющей кочерег гильдии было не жалко. Не каждая женщина в Киммерии способна вот уже почти пять декад лет вязать ежегодно по двенадцать кочерег. Как-то раз подсунули ей кочергу из метеоритного железа. Забраковала ее Василиса, изорвала на клочки и выбросила. Для памяти нержавеющей сталь нужна! Самопальной выплавки! Гильдия гордилась, хотя никто ей за такую гордость не доплачивал. Зато был повод языки почесать.

Впрочем, среди киммерийских мастеров насчет язык почесать и сама Василиса была в числе первых. Выдюжив переезд с Лисьего Хвоста к Триеду на знаменитой лодке (рулевым — Астерий, впередсмотрящим — старый бобер-колошарь Фи, а в лодке — Гаспар да Василиса), не очень запыхавшись при подъеме на Палинский Камень, Василиса начала сплетничать еще у входа в замок, только-только поздоровавшись с камердинером.

— Ас-се, ас-се, ты какой милашечка! — заявила она скиталу Гармодию, как обычно, погруженному в зимнюю спячку под лестницей, ведущей к верхним этажам. — Мышку хочешь? На тебе мышку! — и огромный скитал, приоткрыв краешек губ, не просыпаясь, заглотал пирог с мышатиной, которыми Василиса, едучи в змеиный край, обильно запаслась с разрешения батюшки Аполлоса, который хоть и был в полном епископском облачении, а чуть не подавился со смеху, такое разрешение давая. Однако же и богобоязненный народ киммерийцы: пирога с мышом без позволения духовника не испекут! — Ас-се, вот и умница! Назад буду идти — еще мышку дам! Ячменную! — Василиса важно вступила на лестницу замка, — эта, в отличие от горных ступенек, была деревянная и под весом поварихи гнулась. Однако же плохого ничего не случилось, и Василиса с трудом протиснулась в комнату крестника, неся с собой запахи сдобы и мышатины. Тут, на большой высоте, воздух был разрежен, и дышала повариха с громкостью хорошего паровоза.

— Новостей-то у меня, новостей! — выпалила повариха, немного отдышавшись и крестника обцеловав, что выдержал он с солдатской стойкостью, памятуя, что после родителей крестные мать с отцом человеку — самые близкие родственники — Батюшка Кириакий тебе во первых строках кланяется и тебя целует, чтобы рос ты большим и здоровым, и служил царю и отечеству верой и правдой! Сам батюшка не совсем в полном здравии, в четверток на сырной неделе штоф бокряниковой под сорок блинов откушал да полез на шест живого

петуха доставать. Ну, вверх-то он молодцом, и петуха достал, а вниз... Сидит на шесте, петуха держит, кричит, что на кулачки сейчас пойдет биться, а петух сильный оказался да и выпорхнул, а крестный-то твой за петухом... Ну, лежит у Святого Пантелеймона, ничего, говорят, к Великдню уже своими ноженьками ходить будет, костыли ему вовек больше не понадобятся.

К манере Василисы изъясняться монологами Павлик привык с раннего детства и встречать с вопросами давно отучился: знал, что самое интересное тогда матушка Василиса рассказать забудет. У Святого Пантелеймона батюшка Кириакий, городской стражник на пенсии, лежал регулярно, различались лишь церковные праздники, к которым он собирался быть совсем, ну совсем здоров. А Василиса тем временем продолжала.

— Как есть сейчас Пост, гостинцы нынче, вишь, постные. Но какая клюква в этом году, Святая Лукерья да Николай Угодник только знают, какая клюква! Сахарная и в кулак больше трех ягод не ухватишь! Ягодная гильдия даже цены на нее отпустила, весь город клюквой объелся, но я уж тебе особой, почти что у Миусов такую с левого берега ягодники берут, достала. Ну, брусничники тебе тут у меня, бокрянничники, кедровые орешки в мармеладном меду тоже ничего, изюм у Рыла Кувшинного для тебя в подарок грецкий приняла, простила его, пропойную морду, даром, что в офенях почти три декады, но кликуха такая без серьезного повода к человеку не прилипла бы, это я точно знаю, не будь я Василиса. Ну уж изюм! Со сливу, сам видишь, в кулак больше пяти штук не ухватишь! Опять же и кателетки грешневые с финиковой подливой тут есть для тебя, а особливо — с мушмулою, твои любимые. Грузди тоже вот с грушевой подливкой. Но это только так, сверху, главный короб у меня ниже. Ты погляди только, чего я тебе тут припасла!

Съесть все, что на масленицу заготавливала любимому крестнику повариха, обычно не мог и дом на Саксонской, а тут, у графа, потребителями основной части обречены были оказаться змеи да птицы. Впрочем, не пропадало ничего, в крайнем случае все можно было заложить в пасть Гармодию, — никогда и ничего представитель вымершего змеино-птичьего рода не выплюнул. Изюм и орехи Павлик заранее планировал отдать графу: орлан Измаил, любимый графский питомец, нуждался в угощении не меньше прочих. Ястреб-змееед Галл, конечно, ничего из этого угощения не примет, ну, для него из Триады свои гостинцы на лифте придут, матушке Василисе про них знать не обязательно. Она, поди, ящеричного хвоста и не ела никогда. А Павлик, угощая этими хвостами то птиц, то лошадок, и сам как-то приохотился. Пирожок с мышатиной не съел бы, мыши неизвестно чем питаются, — а ящерица тварь благородная и сахарная. Любимая лошадь Павлика, длинногривая Артемисия, сама всегда хозяину последний хвостик отставляла, как тут откажешься? Хотя она, ящерица, не постная, но... Не обязательно все и всем рассказывать. Впрочем, в том, что сама матушка Василиса могла бы сохранить какую бы то ни было тайну, Павлик сомневался.

— А еще новую штуку несут офени: снаружи, под Заратустровым Раменьем, наставят автопарат, и через минутку лезет из него фотография. Наделают таких фотографий и несут евреям на обмен, мёбий две дюжины. Как пойдет еврей за

покупкою на Елисеево поле, так всем эти карточки дарит. Ну, мне офени для тебя и так карточек надавали — поразглядывай потом, а пока меня слушай, я же тебе ничего еще и не рассказала.

Позже Павлик принесенную стопку фотографий хорошо рассмотрел, и даже пересчитал танки, пушками увязнувшие в каменной стене у Лисьей Норы: сорок один, как один. И все так ровненько, как на параде, стоят, только носами в стену вросли. Объяснения этой новости в Киммерионе ходили самые невероятные, как-то связывалось это с тем, что чудо-юдо Герион вставал на своем острове в полный рост и какие-то летучие перышки глотал, а потом животом мучился, да так, что ниже по течению Рифея рыба дохла, и посылали к Гериону специального врача — лечить от металлического несварения. Говорят, еле ноги унес тот врач от — какого-то Герионова приятеля, но тут подробностей Павлику ни дядя Гаспар, ни матушка Василиса, ни тем более Прохор или тетушка Нинель — никто не рассказывал. Впрочем, Павлик с расспросами ни к кому не приставал, твердо зная, что придет час — и узнает он все на свете, что захочет узнать, потому как должность у него такая будет.

— А еще тетка твоя Нинка страсти последнее время сказывать стала. Говорит, дурней наверху много развелось таких, которые географию прежде истории делают, не разобравшись, который брат которого обидел. И все повторяет эту страсть да повторяет, сама истолковать не хочет, мы не можем, люди мы темные, — ну, ходили к батюшке, а он нам поворот дал: не того, сказывает, исповедания тетка Нинка, чтоб нам ее слова понимать. Ну, мы не понимаем, но ушей-то смолой не зальешь!..

Матушка Василиса журчала словесным потоком полдня, потом с отменным вежеством отказалась от обеда за барским столом, согласилась пройти к Прохору на кухню, но (к счастью для Прохора — камердинера очень чистоплотного, но все же не настолько, насколько этого требовала повариха) протиснуться туда не смогла, хотя откушала котелок Прохоровых солдатских щей и сдержанно похвалила, узнав, что щи как раз те, которыми нынче их сиятельство трапезовать изволят, любимые, третьедневошные.

— Ну, а главная весть, Павлушенька, такая для тебя, — продолжила Василиса, как только Прохор унес миску, — Новость неслыханная, тайная-претайная, оттого весь город только о ней гудит. Из Арясина, где для наших свадеб кружева плетут, новость. Истребовал государь от нашего человека жалобы на высочайшее имя, да по всем решения и вынес. Что дивно — все решения по всем жалобам — разные! Кому велит малое дитя грудью кормить без сопротивления, кому помилование от навета с выплатами натурой, кому кандалы да вечный Римедиум, кому камень точильный добывать десять лет, а кому того добытчика сторожить. Опречь тех решений прислал государь письмо — в личные руки твоей матушке. Затворилась матушка в своей горнице и до вечера голоса не подавала, уж бояться за нее стали. Ну, Доня ваша не из дурной дюжины, как села под дверью голосить, так и голосила, покуда матушка твоя носа не высунула, а нос у нее, надо тебе, как большому мальчику, знать — зареванный оказался. Ничего никому твоя матушка не сказала, только известно теперь всем, что предстоит тебе осенью вместе с матушкой дальняя дорога —

зовет батюшка твой матушку твою венчаться, и хрустальный звон, сказывают, будет по такому случаю звонить по всей великой Руси и по Киммерии тоже — чай, телевизоров к нам офени понатаסקали от пуза, даже грыжу иные натаסקали. Так что предстоит тебе, сыночек, дорога дальняя, — Василиса засопела в платочек, — и встреча с батюшкой. Я уж Нинку-то осадила: что ж, и не вспомнит теперь Павлик свой родной дом? Нинка, ехидина, говорит, что вспомнить будет часто и с охотой. С которой охотой, спрашиваю, подступаю к ней эдак, знаешь, как я умею. А она, ехидина косоглазая, только и твердит мне — с великой, мол, охотой, а больше ничего говорить не хочет.

Поболтав еще час-другой, Василиса облобызала крестника, в пояс поклонилась в сторону кабинета, графа к ней пообщаться так и не вышедшего, потрепала по бороде Прохора, еще разок угостила пирогом с мышатиной Гармония и под ручку с дядей Гаспаром отбыла вниз, в лодку, где ждали ее бобер Фи и лодочник Астерий. Графу ее новости, видимо, были известны куда раньше, чем Павлику, и он, как обычно, высказал недовольство длинным языком поварихи, впрочем, не забыв — сказать и того, что, конечно, не ему судить крестную мать будущего русского царя. С такими новостями наедине и прожил последние дни Павлик, читая «Дочь каховского раввина» и прислушиваясь к ветрам за окном. Точно, был это не один ветер, а два, один дул с юга на север, и был это ветер мужской, ровный и долгий, как Рифей-батюшка, — а другой, с севера на юг, тяжелый, большой, напоминавший матушку Василису, поэтому Павлик безошибочно опознал, что он — женский. А кто умеет слышать в одном ветре два, тот уже стал взрослым, тот уже годится и в ямщики, и в цари.

Зимние сквозняки хозяйничали в замке на Палинском Камне, по плевать Павлик хотел на все сквозняки на свете — благодаря графскому воспитанию, он вообще не знал, что такое простуда, а птицы, змеи и лошади только придавали сквознякам неповторимую смесь запахов, не существующую, наверное, больше нигде на свете. Граф снова собирал карточную партию с призраками, причем опять в этот раз приползал с азиатского склона убогий — тот, что в драном саване — и жаловался, что его на Каре железноклювые птицы вдребезги расклевали. Однако на этот раз призрак играть не пустили: из стены вышел симпатичный Дикий Оскар, говоривший на забавном английском языке, и даже призрак адмирала с ним не ругаться не стал: сели, расписали партию, что-то друг другу проиграли, прежние долги списали, потом граф обыграл обоих и оставил в длинных долгах под мелок до следующего роббера, — из-за этого слова Павлик сообразил, что игра шла не в преферанс, однако во что именно — так и не понял, хотя в картах разбирался уже настолько прилично, что видел некоторые скромные уловки графа, позволявшие ему играть с небольшим преимуществом, простительным потому, что играть с призраками можно, разумеется, только на интерес, а никак не на деньги. Стимфалиды дважды пролетали мимо замка, и Павлик заметил: их стало гораздо больше, — видимо, стая как-то увеличилась за счет молодых особей, вылупившихся из пернатых яиц; про пернатые яйца откуда-то знал Прохор, и тайн от молодого барина из этого не делал. Ну, замужем главная стимфалида, Сtima, вот и кладет яйца. За кем она замужем — не знал даже Прохор. Но почему-то очень мужу этой

Стимы сочувствовал. Это Павлик неожиданно понимал: он бы тоже не хотел быть мужем двуглавой птицы с медными перьями и железными клювами. Но помнил также и то, что не всякий и не всегда — хозяин своей судьбы.

А сегодня он проснулся рано и слушал два ветра за окнами, долго слушал — однако не пробило еще и семи утра, как раздался в коридоре грохот копыт графского жеребца. Лошадей в замке было немало, но ездил на них почти один Павлик, сам граф — только в исключительных случаях, если торопился. Граф, ругаясь по-немецки, мчался к балкону, с которого прыгал не реже двух раз в общерусскую неделю в озеро. На такой случай действовало строгое правило: Павлик не имел права выходить из комнаты или подходить к окнам, а при малейшей тревоге — лечь на пол под окно, выходящее на Демонов Зороастра. Почему-то это окно граф считал более безопасным.

«Странно как все устроено! — думал Павлик, переворачиваясь в постели на спину, — Если ты будущий царь, так непременно спи на дереве и без подушки. Если ты граф Палинский, так непременно ради своего здоровья прыгай два раза в неделю без парашюта. Если ты денщик графа, так скрывай свое имя, хотя весь мир знает, что зовут тебя Прохор. Если...»

Додумать ему не дал характерный толчок: граф прямо с лошади ухнул в озеро. Что-то там внизу приключилось. И глядя на потолок собственной комнаты понял по разноцветным разводам, что вызван был граф с помощью гелиографа: густой лиловый цвет, излучаемый Тарахом Осьмым, заливал комнату. Этого цвета Павлик не видел с тех пор, как поднялся на Палинский Камень и попал в воспитание к графу. А значить это могло только одно: там, внизу — дедушка Федор Кузьмич. И с ним, скорей всего, академик Гаспар Шерош. Никто на свете, кроме законного, хоть и ушедшего на покой русского царя, не выманил бы владыку сектантов на крышу собственного дома, не заставил бы переливаться всеми цветами радуги в фокусе гелиографа, подавая графу лиловый сигнал: «Граф, пожалуйста к докладу».

Довольно долго свет на потолке угасал, выцветая и скрадываясь, пока не исчез вовсе. Павлик успел задремать под совместные пульсирующие вздохи двух ветров за окном: покуда граф не взбежит обратно в замок, не разотрется мохнатым полотенцем да не закричит петухом, утро в замке не наступит. За годы отрочества привыкший смотреть на мир с высоты птичьего полета, Павлик, никогда не летал во сне, напротив, сны его всегда были снами пешехода, он бродил по улицам неведомых городов, один из которых был очень похож на родной Киммерион, только не весь раскинулся на островах, застроен был куда плотней и куда разнородней, больших церквей и башней со шпилями в нем было гораздо больше, река была почти пустой, свободной от бобровых запруд, а улицы, наоборот, были забиты народом. В городе этом стоял дворец, возле дворца — площадь с колонной в честь дедушки Федора Кузьмича, а за колонной к дворцу было пристроено что-то вроде киоска, хилую крышу которого поддерживали четыре голых мужских фигуры, был этот киоск тут ни к селу, ни к городу, Павлик приказывал фигурам дружно шагать отсюда прочь и не портить прекрасного города; фигуры повиновались, Павлик оборачивался в сторону колонны — и сон на этом всегда кончался. Но сегодня ему приснился

другой город, куда больше первого, совершенно не похожий на первый. В этом городе не было реки, вместо нее извивался широкий ручей, через который, впрочем, во многих местах были переброшены несуразно огромные каменные мосты, а еще на холме возле ручья стояла большая крепость вроде монастыря Давида Рифейского, только сложены стены крепости не из точильного камня были, а из кирпича, зачем-то покрашенного в красный цвет; с одной стороны от крепости высился огромный собор с колоннами, с другой — еще одна церковь поменьше, с множеством витых куполов, и все купола были покрашены разными красками, словно главный кулич, который каждую Пасху присылала матушка Василиса. В крепости жил отец Павлика, но мальчик его не видел: за стены крепости никого не пускали. Город этот, в отличие от первого, не слушался никаких приказов и жил так, будто нигде на свете, кроме как в нем самом, ничего не происходит, и это было совершенно неправильно, и Павлик всегда принимал решение, что возле этого города надо поставить большие горы — чтобы город понял, какой он маленький и низкий в сравнении с ними, с горами, а еще тут нужно поселить змей, лошадей и белохвостых орланов, скитала Гармония и дядю Веденея, который один может объяснить жителям, что русский язык, на котором они тут разговаривают, годится для чтения книжек, а для разговора по душам говорить надо по-киммерийски, тогда только и сможет выразить русский человек всю полноту чувств, не ругаясь бессильно и попусту, — Павлик приказывал жителям этого города говорить по-киммерийски, и они, странное дело, повиновались...

Последнее, что успел нынешним утром увидеть в этом городе Павлик, была нелепая карета, без единой лошади медленно ехавшая с севера на юг по большой улице; в карете стояла мама в странной шляпе, на полях которой лежали бананы, вишни и, кажется, ананас, а рядом с мамой он сам, Павлик, в лазурном мундирчике и со шпагой на боку, в машину со всех сторон бросали цветы, но ни один не долетал, а на правом радиаторе кареты сидела птица, которую он раньше видел только на картинках — ярко-синий попугай с желтыми пятнышками возле клюва, — попугай одной лапой цеплялся за радиатор а другой деловито держал яблоко, которое совсем по-человечески надкусывал и глотал, ни на что вокруг не обращая внимания. Глаза у попугая были красивые и умные, как у дяди Гаспара. Проснулся мальчик — впрочем, уже не мальчик, а юноша — от того, что дядя Гаспар прикоснулся к его плечу. И в следующий миг до слуха Павлика долетел голос графа, на первом этаже замка заоравшего сиплым петухом. Значит, покуда граф растирался полотенцем, дядя Гаспар прошел прямо к нему — он-то в озере не плавал и согреться после купания было ему ни к чему.

— Вставайте, Павел Павлович, одевайтесь. Новости важные и нам надо поговорить. Я подожду в зале.

Павлик сперва почувствовал себя дурак дураком: с чего это дядя Гаспар заговорил с ним на «вы»? Потом вспомнил, что он — царевич, будущий царь, а дядя Гаспар всего только президент, и стал быстро влезать в одежду, потом не без труда натянул новые сапоги. Подумал — и шпоры пристегивать не стал. Едва ли в такую рань пришел еще кто-нибудь. Федор Кузьмич поднимался в

замок на его памяти очень редко, три, кажется, раза, и занимало это полдня. А за окном сейчас было все еще утро.

В коридоре Павлику попался камердинер Прохор. Глаза его были полны слез.

Увидев Павлика, он отвернулся и со всех ног бросился прочь по коридору.

Академик стоял в игровой зале у окна с видом на европейский уступ; за окном все не рассветало — выходило оно как-никак на запад. Последнее время Гаспар Шерош стал глуховат и Павлика слышал лишь тогда, когда тот подошел и встал рядом, отдав честь по-военному, как приказывал себя вести в таких случаях граф. На Гаспаре были необычайно высокие сапоги с отворотами, из-за правого отворота торчал ярко-красный мобильный телефон.

— Доброе утро, Павел Павлович, — мягко сказал академик, — у нас с вами дела. Прежде всего прочтите вот это. — академик протянул ему сложенную корочку документа с русским двуглавым орлом на лицевой стороне и надписью «Свидетельство о рождении».

— Тут ошибка, господин Шерош, — Павлик решил, что надо себя тоже вести по-взрослому, — он прочел свое свидетельство о рождении и ошибку увидел сразу, — Я не девятого июня родился, я девятого сентября.

Академик только усмехнулся и протянул еще несколько бумажек — это были ксерокопии выписок из церковной книги — за подписью нынешнего епископа, отца Аполлоса. По ним получалось, что он и вправду родился в том же году, в каком думал, в семьсот девяностом по-киммерийски, но в сентябре же! И по знаку зодиака Павлик всегда считал, что он — Дева. А теперь выходило, что Близнецы. Вообще-то было даже приятно, что он, оказывается, на три месяца старше, чем думал. Ну, а как же с днем рождения быть?

— У вас, Павел Павлович, теперь два дня рождения. Русский в июне, киммерийский в сентябре. Пусть в России думают, что мама, Федор Кузьмич и Авдотья Артемьевна в Киммерион в июне пришли. В известном смысле так оно и было, для новых людей время в Лисьей Норе искажается на три месяца... Из-за этого через нее ни один киммериец не может выйти: время назад идти не может. И офени поэтому стареют раньше других, — хотя им при выходе обратно ничего не делается, но и время вспять не течет. Лисья Нора только Змею подчиняется, да и то, кажется, не всегда. А киммериец может выйти из Киммерии только если Змей разомкнется. Так, кстати, сегодня ушел Веденей Хладимирович.

— Как это ушел? Кто разрешил?.. — очень удивился Павлик.

— Не разрешил, Павел Павлович. — слабо усмехнулся академик. — По приказу архонта он ушел. Кирия Александра Грек приняла решение и отправила гипофета во Внешнюю Русь. Обязанности его пока что будет исполнять младший брат. Варфоломей Хладимирович уже свободный человек и вполне может работать гипофетом. Тесть его, Махнудов, первым на прорицание записался Сивилла покряхтела ему и вдруг говорит: «Все дороги ведут в Тверь». Варфоломей теперь над этим голову ломает. А Веденей Хладимирович пошел пешком, его Астерий Миноевич отвез вон туда, — академик указал в окно, — а сегодня рано утром нас с Федором Кузьмичом сюда привез. Федор Кузьмич... отдал графу приказ: осенью вы с мамой уезжаете в Москву.

Павлик мигом расстроился. Он знал, что рано или поздно ему такая дорога предстоит, но слишком сильно засело в нем киммерийское отсутствие охоты к перемене мест. Академик накрыл его руку своей. Вся кисть руки Павлика была короче одних только пальцев Гаспара. Лучшего напоминания о том, что он, Павлик, все-таки должен жить в Москве, придумать было нельзя и Павлик взял себя в руки.

Царевич отвернулся к окну. Воздух был на редкость прозрачным, в дымке вдали даже виднелись крыши Киммерии. А по Селезни, направляясь в Рифей, кто-то плыл. Павлик удивился.

— Это стеллеров бык, Астерий Миноевич его вперед нас в озеро пропустил, — Лаврентий, ты же знаешь. Вот, посмотри. — Гаспар протянул царевичу сильный бинокль графа, обычно стоявший у того в кабинете, но сегодня, видать, взятый взаймы.

— А на спине у него кто?

На спине у быка сидело что-то маленькое, вроде лягушки, поджавшее ноги, и держало перед собой красный телефон. Существо явно говорило, но другой телефон, засунутый за обшлаг Гаспарова сапога, молчал. Павлик удивился: телефоны эти наверняка больше ни с кем не соединялись. Свой академик обычно держал включенным и все глупости, которые набалтывала ему старуха Европа, заносил в записную книжку.

— Куда же ее теперь?

— Назад, на Кипр. Зря ее вообще сюда прихватили. А теперь ее хатка понадобилась. Призрак этот, что к Сувор Васильичу на преферанс приходил, теперь в ее хатке жить будет. Впрочем, какая теперь у него жизнь. Там, в хатке, вовсе умрет. Европе-то все равно. Хатка у нее под скалой была, а значит — в Азии. В Европе такого второго места нет, чтобы призрак этот больше по ней бродить не мог, но... твой папа приказал, чтобы он и Азию тоже не поганил. Пришлось выселять Европу... по прежнему месту прописки, на Кипр, а Лаврентий смирный — приказали, он и поплыл. Ничего, к середине лета вернется к своим коровам, они без него нам весь Рифей... обмычат.

— А кто ж с ним справился, дядя Гаспар? — Павлик временно забыл, что он уже взрослый, да и академик ничего не имел против такого обращения.

— Нина Зияевна подсказала. Помнишь, к вам другой призрак играть в вист приходил, Дикий Оскар? Вот он и управился, он этого призрака сперва раздел, — костлявое, я тебе скажу, зрелище, — потом в хатку сунул и дверь запечатал. Вечным проклятием. А потом еще дикий мужик приплыл, знаешь, Ильин, и свое добавил, ну, не проклятие, но то самое добавил, что дикие мужики обычно только и говорят. Вот и конец призраку.

— А не жалко его?

Лицо академика окаменело.

— Нет, Павел Павлович. Хватит этого призрака и с нас, и с вас, и вообще хватит. Лишний он. Пусть лежит под Рифейским хребтом, и никакие хозяйки медной горы к нему не ползают. Тарах праздник сегодня по этому случаю устраивает — говорит, от этого призрака у него даже посева морской капусты с тоски кисли сколько лет. Надоел, словом.

Бык выруливал из Селезни в Рифей. Европу у него на спине уже нельзя было разглядеть, да и сам он даже в бинокль виделся светлым пятнышком на темных водах реки. А что же Европа?

Академик вдруг засмеялся — наверное, от облегчения.

— Я вот тоже задумался — а что Европа? Я, Павел Павлович, так думаю: дура она старая, эта Европа — вот и весь сказ.

1994–1999

Москва